ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

Дружба на вырост

- *Булат Ханов*
  Непостоянные величины
  Роман

- *Джон Ноулз*
  Сепаратный мир
  Роман. С английского. Перевод Ирины Дорониной

- *Керен Климовски*
  Дорога. Скорость. Высоцкий
  Повесть

- «Только детские книги читать...»
  Ильдар Абузяров, Василий Авченко, Валерий Айрапетян, Андрей Аствацатуров, Ольга Брейнингер, Игорь Булкаты, Александр Григоренко, Михаил Дурненков, Наталья Ключарёва, Майя Кучерская, Сергей Пагын, Андрей Родионов, Владимир Салимон, Игорь Сахновский, Ольга Столповская, Дмитрий Трибушный, Алексей Устименко
  Вспоминают о любимых книгах своего детства

11'2017

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.09.2017.
Подписано в печать 26.10.2017.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 6838. Цена свободная.

Дружба народов

11'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Лев АННИНСКИЙ

Ирина ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
Александр ЭБАНОИДЗЕ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

СОДЕРЖАНИЕ

«ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ...» *В заочном «круглом столе» принимают участие: Ильдар АБУЗЯРОВ, Василий АВЧЕНКО, Валерий АЙРАПЕТЯН, Андрей АСТВАЦАТУРОВ, Ольга БРЕЙНИНГЕР, Игорь БУЛКАТЫ, Александр ГРИГОРЕНКО, Михаил ДУРНЕНКОВ, Наталья КЛЮЧАРЁВА, Майя КУЧЕРСКАЯ, Сергей ПАГЫН, Андрей РОДИОНОВ, Владимир САЛИМОН, Игорь САХНОВСКИЙ, Ольга СТОЛПОВСКАЯ, Дмитрий ТРИБУШНЫЙ, Алексей УСТИМЕНКО* **3**

Проза и поэзия

Станислав ЛИВИНСКИЙ. Замри, умри, воскресни! *Стихи* **33**
Булат ХАНОВ. Непостоянные величины. *Роман* **36**
Джон НОУЛЗ. Сепаратный мир. *Роман. С английского. Перевод Ирины Дорониной* .. **98**
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. И запоёт иной тростник. *Стихи* **160**
Керен КЛИМОВСКИ. Дорога. Скорость. Высоцкий. *Повесть* **164**
Светлана МИХЕЕВА. Необыкновенная страна. *Стихи* **185**
Александр СНЕГИРЁВ. Вторая жизнь. *Рассказ* **187**
Сергей ДИГОЛ. Последняя четверть мелового периода. *Рассказ* **190**

Первые стихи

Галина КЛИМОВА. «Как живётся тебе...» **195**

Семейное чтение

Анастасия ОРЛОВА. Сердце — рыбка. *Стихи* **197**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Александр БЛИНОВ. Синий Слон, или Девочка Которая Разговаривала с Облаками. *Из будущей книги* **200**
Наталья ИГРУНОВА. Мир, в котором сбываются мечты **205**

Детям о детях

Кадри ХИНРИКУС. Даниил Второй. *Главы из книги. С эстонского. Перевод Майи Мельц* **208**

КНИЖНЫЙ ОПЫТ

Ольга ЛЕБЁДУШКИНА. Учебная история (*Ю.Кузнецова. «Первая работа»*) **223**

Будущее в настоящем

Дмитрий РУБАШКИН. «С головой, повернутой назад» **226**

Учителя и ученики

«...ЧТОБ БЫЛО У КОГО ПОТОМ УЧИТЬСЯ». Ованес АЗНАУРЯН, Дмитрий БЫКОВ, Ирина ВАСИЛЬКОВА, Александр ОРЛОВ, Арслан ХАСАВОВ **243**

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

На страницах «ДН» — победители Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелёва **251**

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Голоса из хора **265**

Эхо

Праведность неправильности. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **270**

© «Дружба народов», 2017

«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие: Ильдар АБУЗЯРОВ, Василий АВЧЕНКО, Валерий АЙРАПЕТЯН, Андрей АСТВАЦАТУРОВ, Ольга БРЕЙНИНГЕР, Игорь БУЛКАТЫ, Александр ГРИГОРЕНКО, Михаил ДУРНЕНКОВ, Наталья КЛЮЧАРЁВА, Майя КУЧЕРСКАЯ, Сергей ПАГЫН, Андрей РОДИОНОВ, Владимир САЛИМОН, Игорь САХНОВСКИЙ, Ольга СТОЛПОВСКАЯ, Дмитрий ТРИБУШНЫЙ, Алексей УСТИМЕНКО

Два года назад мы впервые предложили писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о любимых книгах детей и внуков[1]. Опыт удался. Разговор продолжается.

Ильдар Абузяров

«Если однажды летним днём искатель...»

1

Как я начал читать? Читать по-настоящему, самостоятельно, а не из-под палки, как бывало в детстве, когда мне по школьной программе предлагали, подсовывали, упрашивали меня, увещевали, заставляли, ругали... Какие там еще есть глаголы принуждения и насилия?

Но все было не впрок. Строчки разбегались, растекались, ускользали, туманились, терялись. Тут можно привести много глаголов ускользания.

Но вот однажды отец вернулся с Дальнего Востока и попросил меня сходить в библиотеку и взять для него что-нибудь. Отец в тяжелые безденежные девяностые, будучи по профессии электриком, устроился золотоискателем в артель в Амурской области. Мы ждали его несколько месяцев с настоящим золотом. И он вернулся с загорелым обветренным лицом, с жизнерадостной (сверкающей, как слиток золота) улыбкой, и отказать ему, его улыбке не было никаких сил. Он был этаким героем Джека Лондона. Единственного автора, которого я смог прочитать в детстве. Всего несколько рассказов. Золотые прииски, путник, которого преследуют по пятам волки, а спасает лишь костер, боксер, которому для победы не хватило куска мяса...

И тут отец, словно герой со страниц книги:

---

[1] См.: «ДН», 2015, № 11 и «ДН», 2016, № 11.

— Улым (сынок), гляжу, тебе нечем заняться. А сходи-ка ты в библиотеку. Возьми что-нибудь почитать.

— Ты же знаешь, я не люблю читать. И не хочу.

— Тогда возьми что-нибудь для меня, раз тебе нечем заняться.

И я иду. Перехожу дорогу, которую отец, отвыкший от города в тайге, переходил бы с опаской, захожу в пыльное, пахнущее старой бумагой и типографской краской хранилище...

Я впервые в библиотеке, я не знаю, что взять, не знаю, как искать книги по каталогу. Беру с полки то одну, то другую, натыкаюсь на полку со стопками журналов. И тут вспоминаю, что накануне отец после трансляции футбольного матча смотрел передачу про Сальвадора Дали. А на меня прямиком смотрит журнал «Иностранная литература» (№ 5-6, 1992 год). На обложке — репродукция картины «Медитативная роза» Сальвадора Дали. Пустыня. Над пустыней знойное звенящее небо с кучевыми розовыми облаками. Но вместо солнца в центре картины — огромная, яркая роза. С этих лепестков на выписанные фигурки людей внизу сочится живительная капля росы. Внутри — «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим».

Я хватаю этот журнал, а чтобы ноша не выглядела слишком легковесной, а я сам слишком легкомысленным, хватаю в придачу еще один номер «Иностранной литературы» (№4, 1994 год). Это был тематический номер, посвященный Италии, и взял я его, потому что в тот июнь сборная Италии со своими звездами Роберто Баджо и Альбертини уже блистала на чемпионате мира по футболу.

Итак, я несу эту большую красную розу домой. Я уверен, отцу будет интересна тайная жизнь и автобиография самого Сальвадора Дали в одном флаконе.

2

Убежден, что не мы выбираем книги, а книги нас. Сейчас, по прошествии времени, я порой задаюсь вопросом, как же так получилось? Почему именно библиотека? Почему именно эта книжка?

Ведь у нас была своя домашняя библиотека. Ее собирали в обмен на макулатуру. Так в ней появился, в том числе, трехтомник Пушкина в красной обложке с золотым тиснением. Впрочем, все книги, как и Пушкин, пылились за стеклом стенки.

Отец прочитал все книги — я ни одной. Отец принадлежал к рабочей интеллигенции. Был такой особый тип. Я принадлежал непонятно к чему. Не знал, чем заняться, куда пойти, что бы такое еще придумать. Отец с образованием в 8 классов в свободное время учился играть на аккордеоне, пытался учить немецкий по журналам из ГДР, проектировал по книгам и чертил проект собственного дома. Я окончил 11-й класс и изнывал от тоски, не зная, что делать дальше, куда пойти учиться. Я не знал даже, стоит ли мне поступать в ВУЗ. Не проще ли сразу пойти работать, как отец?

Что касается библиотеки, то были в ней и многотомники. Четырехтомник Джека Лондона. Двенадцатитомник Достоевского. Наша тетя, директор московской школы, сделала всем своим родным подарки. Сестре подарила собрание сочинений Толстого. Другому брату — Бунина. Нам достался Достоевский. Не знаю, чем был обусловлен такой выбор, но с тех пор на вопрос: Достоевский или Толстой — сама судьба предопределила мой ответ — Достоевский.

Но не Пушкин, Толстой и Достоевский, а Итало Кальвино стал моим первым чтением. Хотя чисто теоретически это могла быть любая другая книга. Но мне было интересно — что же я взял, что принес для отца.

Журнал лежал на столике возле дивана. И однажды я потянулся к этой книге. Роману, в котором рассказывается о том, как книга движется навстречу к человеку и как человек идет к книге, как они встречаются, влюбляются или, наоборот, расходятся, пробегают мимо друг друга, не замечая иного, кроме себя самого... Как сказал бы мой

друг: «Настоящая библия читателя — книга о чтении и для чтения, пособие, инструкция для гаджета — как правильно считывать роман».

3

Итак, это было начало лета, и я маюсь, хожу по квартире. Я маюсь в перерывах между футбольными матчами чемпионата мира. И в какой-то момент не выдерживаю и беру журнал. Открываю роман с названием «Если однажды зимней ночью путник». За окном июньский полдень, тополиный пух, словно снег, застилает город, и я вовсе не путник, а не знающий, чем заняться, ленивый подросток, не знающий, куда идти дальше, обыватель.

Что может быть общего у меня с путником итальянского романа? Мы с ним живем в разное время в разных странах. И казалось бы, нет ничего необычного. Не тут-то было. Тебе попадается в руки роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» — и вот ты уже сам и странник-искатель, и ждущий у порога чудесной встречи ребенок, ты и вероломный захватчик пространства, и захваченный врасплох читатель, ты заложник строк и залог, оставленный за следующую главу. Книга о книгах, книга о чтении — может ли быть что-нибудь более головокружительное для впервые погружающегося в текст?

Я, как и положено неофиту, раскрыл роман на первой попавшейся странице и прочитал первую попавшуюся строку: «Уединенный домик в горной долине. На веранде шезлонг. В шезлонге молодая особа. Она читает. По утрам, прежде чем сесть за работу, некоторое время смотрю на нее в подзорную трубу».

Все, я пропал. Я смотрю на страницу книги, как в подзорную трубу. Она для меня замочная скважина, в которую можно подглядывать за другими людьми.

Первая книга — как первая любовь. Но роман Кальвино стал для меня и первой детской книжкой. Книжкой-игрой, книжкой-квестом.

Все, что я до этого момента любил делать, — это играть в футбол. И вдруг я с удивлением для себя обнаружил, что литература — как игра в футбол. Роман Кальвино состоял из набора историй, которые разворачивались стремительно, как атаки, обрывались в самом интересном месте. Все это можно было сравнить с разнообразными острыми пасами, атакующими действиями, что накатываются то на одни ворота, то на другие. И, обрываясь, заканчиваются зачастую ничем в самой высшей точке напряжения. Впрочем, иногда они заканчивались катарсисом-голом. И чувством полного восторга.

4

Мало какой город на Волге так тесно связан с литературой, как Горький. Мало какой город был назван именем писателя. В Горьком начинал свой путь Алексей Максимович. Нас в детстве всем классом возили на экскурсию в домик-музей Каширина. Дома, улицы, сады и площади буквально сроднились с романами, поэмами, стихами — они воспринимались как живые страницы литературы.

Из экскурсии в домик Каширина запомнились слова: «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди».

И Алеша Пешков пошел. Пошел пешком, стал этаким «бродягой дхармы», «очарованным странником», путником, ищущим правды, Керуаком XIX века. Стоит сказать «Горький», как сразу сознание рисует картинки: «Горький и бурлаки», «Горький стреляется на берегу Волги», «Горький и ночлежка», «Горький и остров Капри».

Гены ли это кочевника или якоря, заложенные в подсознание, и влияние романа «Если однажды зимней ночью путник», но меня уже было не остановить. Меня тянуло

в дорогу... Только я благодаря Горькому, но в отличие от него, путешествовал, не покидая границ города Горький.

Книги стали моим путешествием. Открывая обложку, словно потайную дверь в «Хрониках Нарнии», я отправлялся в путь в неведомые мне страны и земли.

Я стал паломником библиотек. Каждый раз, выходя из библиотеки с новым романом, я отправлялся в сквер на площади Горького, либо в сквер перед университетом. Я читал запоем, читал вместо лекций на истфаке, вместо встреч с девушками и даже, о ужас, вместо походов в спортзал...

Я стал сам собирать библиотеку, покупать книги на книжных развалах, менять книги на макулатуру. В приемные пункты относил ворох бумаги и картона, по сути мусор, и получал взамен книжные слитки в блестящей глянцевой или матовой обложке.

5

Существует средневековая легенда о том, как к знаменитому алхимику Парацельсу приходит ищущий священных знаний ученик. В одной руке он приносит мешок с деньгами, в другой — розу. Он готов отдать все деньги, если только Парацельс бросит розу в камин, сожжет ее, а потом снова воскресит. Или превратит ее в золото. Для того чтобы спровоцировать Парацельса, ученик сам швыряет розу в камин, но видя, что Парацельс не способен возродить розу, ученик решает, что Парацельс шарлатан и аферист. Когда дверь за учеником закрывается, Парацельс выгребает пепел из камина, произносит одно слово — и появляется роза, живая, ароматная. В чем мораль этой легенды? Сложно сказать однозначно. Многие считают, что мораль в доверии или вере. Что нельзя купить веру чудом. Что каждый сам выбирает свой путь. Для этого нам и дана свобода воли.

У великого библиотекаря Борхеса есть рассказ на эту же тему. Приведу цитату из него:

«Юноша поднял перед собой розу.

— Говорят, что ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка.

— Ты слишком доверчив, — сказал учитель. — Я не нуждаюсь в доверчивости. Мне нужна вера.

Вошедший стоял на своем.

— Именно потому, что я недоверчив, я и хочу увидеть воочию исчезновение и возвращение розы к жизни.

Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею.

— Ты доверчив, — повторил он. — Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее?

— Каждый может ее уничтожить, роза может сгореть, — упорствовал ученик.

— Однако в камине останется огонь, — сказал Парацельс.

— Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а пепел будет настоящим.

— Я повторяю, что роза бессмертна и что только облик ее меняется. Одного моего слова хватило бы, чтобы ты ее вновь увидел».

6

Борхес написал о том, что вначале было слово. Что слово сильнее и важнее всего. А еще что ничего в этом мире не пропадает, не исчезает бесследно. Что зерна, брошенные в землю, прорастут и дадут плоды. Пусть не сразу, а через поколение.

Для меня же эта легенда — квинтэссенция всех суфийских легенд или историй.

Человек ищет смысла, ищет бессмертия, ищет Бога. Человек — как соловей, что стремится к Богу, поет восхваляющие гимны. Его цель — слиться с Всевышним в любви и радости.

На обложке журнала, который я принес, красовалась «Медитативная роза». Она как мираж над пустыней в голубом мареве, как огненная луна. Считается, что Дали рисовал «Медитативную розу» в лучший период своей жизни. В период восходящей славы, уверенности и в наивысшей точке любви к Гал*е*. И поэтому благоухающая роза, заменившая солнце в знойном небе, символизирует то, что только любовь способна согреть и осветить путь человека на земных просторах.

Однажды, поняв, как я увлекся чтением, отец вынул из домашнего архива старое пожелтевшее черно-белое фото человека в чалме.

— Знаешь, кто это?

— Нет.

— Это твой прадедушка. Из деревни Сафаджай. Он был суфием. Его почитали как суфийского ученого, шейха-учителя.

— Кто такой суфийский ученый?

— У него был сундук с книгами. С книгами с Востока. Он их понимал, объяснял.

— Он был на Востоке? Как ты?

— Не на Дальнем, а на Ближнем Востоке. Он умер в дороге в пустыне. Во время хаджа.

— Зачем он туда отправился? — я тогда еще был слишком нерелигиозным, чтобы понимать такие слова как «хадж» или «шейх».

— Он искал Бога...

— Ужас, — посмотрел я на ветхое фото. — Ему, наверное, было тяжело и одиноко умирать в пустыне?

— Думаю, легко. Но не буду тебе мешать. Читай, сынок.

Я как раз читал второй роман в жизни. Роман из того самого журнала с розой: «Невыносимую легкость бытия».

Василий Авченко

Просто я живу на улице Чкалова

С детства и навсегда моей читательской любовью стали книги про летчиков. Вырасти из них оказалось невозможно.

Чаще всего это были мемуары — потому ли, что летная профессия моложе моряцкой и традиции «большого небесного романа» еще не выработалось, а значит, воздушные «Моби Дик», «Пятнадцатилетний капитан» и «Морской волк» еще впереди?

Своего Экзюпери — большого писателя-летчика (*летератора*?) — у нас не родилось, но, право слово, отечественные пилотские воспоминания увлекают не хуже романа. Эта безыскусная литература обеспечена золотым запасом правды — факта, эмоции, жизни. Вот почему так завораживают скромные «воениздатовские» переплеты с вытисненными на них наивно-пафосными заглавиями: «Звезды на крыльях», «Эскадрильи уходят на запад», «Крутые виражи», «Крылья победы», «Чистое небо»...

С детства я знал, что у «аэрокобры» мотор сзади, что Ла-5 делали из огнестойкой фанеры, которую безуспешно пытался поджечь своей трубкой Сталин, что Чкалов с Байдуковым, пролетая над Северным полюсом, скалывали лед со стекла кабины своего негерметичного и промерзшего АНТ-25 обычной финкой. Восхищался

сверхдарвиновскими темпами эволюции самолетов — и ковавшимися в небе сверхчеловеками, из которых образцом для меня стал летчик Покрышкин, сочетавший со смелостью и физподготовкой мощнейший интеллект, создававший «с колес» новую тактику истребительной авиации, боровшийся одновременно со злыми немцами, косными командирами и самим собой. Асы Второй мировой казались мне ангелами-хранителями страны: когда умер Покрышкин — стартовала перестройка, когда умер Кожедуб — распался Советский Союз...

Но и в усеченном состоянии Россия — рай для авиации. Летчику нужен планетарный размах. Вот почему тот же Экзюпери (это от его соотечественников нам достались поэтические авиационные термины: элерон, шасси, фюзеляж, эскадрилья... — как когда-то от голландцев морские) срывался в Сахару и Южную Америку, пытался долететь до Вьетнама. Нам проще — наши зауральские пространства, которые принято измерять франциями и испаниями, часто лишены шоссейных и железных дорог. Остаются временами жидкое море, временами твердые *зимники* да вечно газообразное небо.

С Чкалова и Маресьева делали жизнь. Летчики и космонавты были рок-идолами советской эпохи. «Он так прекрасен, что нас колбасит», — сформулировала группа «Ундервуд» в хите о Гагарине.

Сейчас колбасит от других — но мне по-прежнему жизненно необходимы зафиксированные летчицкими мемуарами человеческая цельность и непреходящая вера, пусть даже их авторы считали себя атеистами.

Ворожейкин, Голубев, Береговой, Девятаев, Галлай, Каманин, Савицкий, Шахурин... — летных и окололетных мемуаров написано столько, что они не помещаются в квартиру. Благо, с некоторых пор у меня появился гараж.

Среди авторов и героев авиаповестей есть суперзвезды, как те же Покрышкин и Чкалов. Есть известные в узких кругах асы — как герои «незнаменитой» Корейской войны Евгений Пепеляев и Сергей Крамаренко, каждый из которых одержал по два десятка личных побед на реактивных машинах. Куда менее известным, чем Нестеров, с которым он вполне сопоставим, остается Константин Арцеулов — ас Первой мировой, первый отечественный планерист и испытатель, укротитель страшного штопора. После ссылки Арцеулов не вернулся к полетам, но с авиацией не расстался: внук Айвазовского, он прекрасно рисовал и с особым удовольствием иллюстрировал книги летчиков — как, например, воспоминания Михаила Водопьянова.

Поэзия и небо всегда были рядом. Даже само слово «самолет» ввел в обиход поэт Каменский, а слово «летчик», по одной из легенд, — поэт Хлебников. Иначе пришлось бы нам пробавляться «аэропланами» и «пилотами» — тоже ничего, но не совсем то...

Сегодня, несмотря на наличие относительно доступной пассажирской реактивной авиации, небо стало от нас дальше. Мы не записываемся в аэроклубы, не мастерим планеры, не рвемся в военно-воздушные училища, не платим взносов в ОСОАВИАХИМ и не поем про «пламенный мотор». Во Владивостоке 90-х, где я рос, у нас были уже другие «комсомольские призывы»: возить лапшу из Кореи, шмотки из Китая, тачки из Японии — или записываться в рэкетиры.

...И все-таки небо еще не отвердело.

Над нашей улицей Чкалова почти ежедневно проносятся истребители 22-го гвардейского полка. Всякий раз я останавливаюсь и провожаю взглядом их серебристые силуэты. Мне по-прежнему кажется, что в их кабинах сидят какие-то особые, небесные сверхлюди (себя я могу представить максимум за штурвалом скромного Ан-2, и то чисто гипотетически). Иные возмущаются: мол, от рева реактивных двигателей просыпаются дети, а на автомобилях срабатывают «сигналки». Но моим детям под рев отечественных боевых машин спится замечательно, а если они вдруг проснутся, то только обрадуются.

Почему меня до сих пор волнуют эти старые книги? Потому ли, что летчик имеет

дело с не свойственной двуногому стихией, пытаясь, подобно Икару, покорить иное измерение, разорвать кандалы гравитации, опровергнуть тезис о «рожденном ползать», ибо излишняя приземленность опаснее витания в облаках? Потому ли, что авиационная работа (как и морская, геологическая...) дает примеры человеческого поведения, идущие вразрез с трендами современного глянца?

Мой дядя был летчиком бомбардировочной авиации, но это, конечно, не удивительно. Удивительнее оказалось другое. Недавно мне стало известно, что моя бабушка еще до войны выучилась на авиатехника (к вопросу о равноправии полов и «мужских» профессиях). Воистину — у нас была великая эпоха. Бабушка, которую я запомнил музыкальным руководителем в детсаду и скромной пенсионеркой, когда-то прыгала с парашютом и готовила истребители И-16 к боевым вылетам.

Подействует ли магия старых книжек про летчиков на моих сыновей — правнуков авиатехника Елизаветы Ивановны, жителей улицы Чкалова Советского района города Владивостока постсоветской эпохи?

Не знаю. Надеюсь.

Точно знаю: самолеты — это не только про войну, «логистику» или тем более пошлый туризм.

Валерий Айрапетян

«До этого чтение было сродни пытке»

Мамины братья — хулиганы, весельчаки и бездельники — внушили мне, ребенку, что читающий слаб. «Очкарики не умеют драться», — твердили они. В семье же читали все — отец, мать, сестры. Последние посмеивались надо мной — косноязычным троечником, неспособным заучить и двустишия — и называли «мужланом», «солдафоном», «балбесом». Я не обижался, потому что многое умел и всегда был при деле. К тринадцати годам я хорошо разбирался в травах, знал лес, умел быстро срубить дерево, забивал птицу и скот, метал топор с десяти шагов в любую цель, ловко разжигал костер, ловил скорпионов лопуховым листом, знал, как пасти овец, доить козу и корову, выращивать овощи, обрабатывать землю, готовить компост и многое другое. Какие тут книги! В общем, сестринские выпады, достигая ушей, не ранили моего эго.

Но случилось так, что сильно простыл и залег. Осень, дом на самой окраине села, льют дожди, кругом грязь, редкий человек за день пройдет мимо окна. Устав от безделья, протянул руку к полке, достал книгу и, обреченно вздохнув, принялся читать. До этого чтение было сродни пытке, я считал прочитанные страницы и редко когда доходил до середины. И это вдруг произошло. Не стало ни времени, ни пространства, ни меня, ни осенней слякоти, ни болезни — остались лишь черные, объятые пламенем, строки, повествующие о титанической борьбе, о любви, о красоте, о настоящем человеке, о сильном парне в кепке и в парусиновых штанах, переступившем однажды порог дома Морзов. Закончил читать под утро, но уснуть в тот день уже не смог. «Мартин Иден» оказал на меня то самое сокрушающее воздействие, после которого принято делить жизнь на «до» и «после». Словно стянули с мира старое пыльное покрывало и явили полную чудес Вселенную.

Месяц после прочтения ходил молчуном, глядя себе под ноги. Не мог поверить, что такое возможно, что написанное может быть таким живым, таким ярым и сильным. Все это время жил с героями книги, вспоминал самые волнующие моменты, проговаривал диалоги, оплакивал самоубийство Рэсса Бриссендена и Мартина, злился на Руфь, искал книги Герберта Спенсера и Ницше, проклинал издателей и буржуа.

Эффект первой книги был обусловлен еще и первой влюбленностью. Предмет моего воздыхания, Наташа, дочка председателя колхоза — стройная, бледная, с остреньким носиком, голубыми глазами, длинным хвостом соломенных волос, перехваченным на затылке каким-то нелепым куском ткани, напоминавшим старый мужской носок, а возможно, им и являвшимся, — была на удивление (не без помощи моего воображения, конечно же!) похожа на Руфь Морз. И я, разумеется, воображал себя Мартином — сильным и неотесанным работягой, а ее Руфью — чистым духом, воплощенным в девушке из высшего общества, чей отец в сознании селянина уступал в своем могуществе разве что президенту страны. «Мартин Иден» не только оглушил меня, но и переформатировал мой мозг. Без особого труда стал запоминать большие куски текста с одного прочтения, начал каждодневно вести дневник, писать стихи, читать в неделю не менее одной книги и, как Мартин, заучивать около двадцати иностранных слов в день (правда, из Словаря иностранных слов под ред. проф. Петрова, 1949 г., с соответствующими году издания определениями, типа: «Генетика — вражеская, буржуазная, чуждая советскому человеку псевдонаука...»).

Пару лет назад, после долгого перерыва, перечитал (в восьмой, наверное, раз) «Идена» и нашел его хорошо написанным, незамысловатым, с идеализированным протагонистом, текстом, но с по-прежнему родными и близкими персонажами, сценами, разговорами. Нечто подобное откликается во мне, когда смотрю сейчас на своих приблатненных дядек — несуразных, наивных, трогательных пожилых детей с выцветшими роговицами, — казавшихся мне в детстве всемогущими эпическими героями, с богами на «ты».

Моей дочери Лере четырнадцать. В этом возрасте я прочитал первую свою книгу, у Леры же книжный счет давно перевалил за сотню. Любит, когда под рукой две-три книги с заложенными страницами, так чтоб почитать немного одну, потом другую, третью. «Так легче воспринимать особенности авторского стиля, да и веселее как-то», — считает она. После прочтения книги обязательно звонит мне, делится впечатлением и пересказывает сюжет, даже если он мне прекрасно известен. Если я категоричен в оценках того или иного персонажа, дочь меня поправляет: «Падре (испанская гимназия, я уже смирился), ты никогда не был тем человеком в тех обстоятельствах, не суди так строго». Часто прошу в двух словах, не задумываясь, высказаться о том или ином авторе/книге, дочь отвечает, я иногда записываю. Выходит что-то вроде блиц-опросника: «Он до усрачки страшный, но при этом пронзительный и сверхскоростной. Хотя его "Страна радости" весьма жиденькая и растянута, как сопля» (о Стивене Кинге), «Впечатляет, что сильный мужчина так искренне умеет сочувствовать и при этом так щедро любит жизнь» (о Джеке Лондоне), «"Автостопом по галактике" — неплохая сатира, которую надо читать в один присест, иначе надоедает», «"Отверженные" — это, конечно, очень мощно. Не книга, а синяя пучина, а ты потом попробуй, выплыви» и т.д.

Когда задал дочери вопрос о первой книге, которая ее по-настоящему поразила, Лера, эта любительница фильмов ужасов и триллеров, пересмотревшая все — от «Психо» до «Человеческой многоножки» и «Затащи меня в ад», Лера, которую я недавно встретил с поезда «Москва—Санкт-Петербург» в вылинявших семейниках («Падре, это старые дядины труселя, выпросила у тетки. Правда, клевые шорты?»), Лера, зависавшая на современной, преимущественно западной, литературе, решительно заявила: «"Первая любовь" Тургенева». На вопрос «Почему эта?» дочь прислала мне сообщение в социальной сети:

«До "Первой любви" я и не подозревала о величии отечественной классики. Было ощущение, что мне просто пришли и вышибли мозги, со всеми понятиями о литературе в принципе, а потом просто установили рамки в десять, нет, в двадцать раз шире, чем у меня были. Все, что описывал Тургенев, я чувствовала на уровне тела,

разглядывала героев, слушала их речь. Там все настоящее, там все живые. Это был настоящий инсайт, я и не подозревала о таких возможностях литературы. Все вдруг изменилось. Я по-другому стала ощущать мир. Самое интересное, что книгу я обнаружила в семейной библиотеке, когда мне было одиннадцать, а прочитала только в этом мае. И это событие стало целым этапом в моем взрослении, неким дождем, после которого появилось новое я».

Андрей Аствацатуров

«...С ним менялся и не умирал весь мир»

На свете не так уж много вещей, которые нас способны по-настоящему сблизить. Наука, религия, спорт, искусство, общие интересы давно уже стали зонами агрессивного противостояния. Однако книги, прочитанные и полюбившиеся в детстве, обладают редким свойством пусть ненадолго, но разрушать стены, возведенные между нами зрелостью. В тех сильных чувствах, которые они у нас вызывали, нет трезвости, нет умозрительности, а есть лишь только бессознательное, неотрефлексированное удовольствие, которое потом еще долгие годы сохраняет взрослая память. Эти книги, вроде прустовского *la petite madeleine* вовлекают нас в поток существования, требуют принятия всего, даже самого неприемлемого и неприятного, но в то же время густой мелодией напоминают о скоротечности наших человеческих жизней. Только здесь, обретя себя, можно почувствовать присутствие других. Если встречаешь прочитавшего «твою» книгу, сразу чувствуешь родство.

В детстве я много читал, но по-настоящему читать не умел и не любил. Единственное удовольствие, которое я получал от чтения — похвала взрослых за то, что я не гоняю мяч, а сижу за книгами, как положено внуку академика. Первой книгой, которой я всерьез увлекся, был роман Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Мне было 12. Все, конечно, вокруг нравилось — шел 1981 год, — но угнетало какой-то обязательностью и однозначностью. Герои книг и фильмов, симпатичные советские взрослые и школьники, были как-то уж слишком хороши, а если и не хороши, то старались исправиться, чтобы стать хорошими, теперь уже навсегда, и жить по правде, которая всегда одна и та же. И вот я нашел книгу, где все оказалось очень неоднозначным, где герой, Уленшпигель, который явно хорош, вовсю безобразничал, и его безобразия являлись вроде как обязательными. То есть если бы он не хулиганил и не безобразничал, он не мог бы сделать столько хорошего. Его хулиганские выходки, обманы и розыгрыши были условием его доброты. В книге оказалось много полезного для советского школьника. Тут прославлялись борьба за свободу, протестантская простота, трудолюбие, преданность в любви и дружбе, презрение к роскоши. Но тут же выглядывало что-то чуждое — продажная любовь, обжорство, грубые розыгрыши — и все это тоже прославлялось. Я тогда еще ничего не знал о карнавале, который отменяет все ценности, который соединяет духовное и низменное, нравственное и безнравственное, который отрицает все, что мнит себя окончательным.

Но книга мне понравилась безумно. Герой все время куда-то шел, менялся и никогда не умирал, и с ним менялся и не умирал весь мир. То, что было правильным и прочным еще недавно, сегодня вдруг исчезало. Я часто открывал «Уленшпигеля», перечитывал его, пересказывал друзьям. Но, увы, я не помню, чтобы хоть кто-то разделил мою к этой книге любовь.

Ольга Брейнингер

Ключ к объяснению мира

Когда я думаю о том, какие книги я могла читать в те самые минуты, что родители дежурили у телевизора, ожидая экстренных выпусков новостей о расстреле Белого дома — литературный антрополог во мне моментально загорается идеей увлекательнейшего исследования: историей детского чтения в ранее постсоветское время. Довольно необычный набор:

— «Сказки дядюшки Римуса», написанные Джоэлем Чандлером Харрисом по мотивам негритянского фольклора;

— полные мрачноватого очарования «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса — их христианскую символику я, конечно, не могла тогда прочитать, но отчетливо чувствовала то и дело пробегающий по коже холодок;

— «Книга Джунглей» Ридъярда Киплинга, которая еще до появления «Гарри Поттера» знакомит меня со змеей по имени Нагайна;

— сборник казахских народных сказок, герои которых — Ер-Тостик, Козы Корпеш и Баян Сулу — все чаще и чаще будут мне встречаться по мере взросления в независимом Казахстане;

— «Чеченские народные сказки» в тонкой темно-синей обложке, которая быстро расклеилась, оставляя по всему дому страницы с Алхастом, Мовсуром и Магомедом, с пери и шайтанами и сундуками, полными сокровищ.

Сама история о том, как ко мне попали эти книги — одно из любимых воспоминаний детства.

В одну субботу летом 1993 года мои родители сели на рейсовый автобус и отправились в Каркаралинск — маленький (около 8000 человек) город в центральном Казахстане, расположенный в четырех часах езды от Караганды. Каркаралинск — помимо того, что он расположен в центре одной из главных курортных зон в стране — был примечателен в свое время и как областной административный центр, куда по разнарядке попадало столько же книг, сколько, скажем, и в наш город, второй по численности населения в советском Казахстане. Именно из этой каркаралинской экспедиции родители и привозят мне большую — там их штук двадцать, не меньше — стопку книг, подборка которых мотивировалась простым правилом: то, что удалось найти. Большая часть названий, конечно, потеряется в моей памяти, но эти пять — без всякой причин — запомнятся надолго. Я помню, как читаю Киплинга, сидя в кресле около окна в квартире на девятом этаже дома, расположенного на Бульваре мира. Как до чеченской сказки про три жемчужины дело доходит уже осенью, когда дни становятся короче и, сидя в том же самом кресле, приходится зажигать торшер, подсвечивающий страницы книги тусклым оранжеватым светом. А «Хроники Нарнии» становятся предметом сочинения на тему «Что я прочитала летом» — и страницы, где волшебный лев Аслан создает мир Нарнии, превращаются в одно из первых окон в мир легенд о сотворении мира.

Лет восемь-десять спустя знакомство с большой историей в старших классах школы, наконец, приводит и к тому, что родительская библиотека становится предметом осмысления, переложения тезисов о советской истории на воспоминания о нашей повседневной жизни. И так я начинаю понимать, что то, что в детстве воспринималось как общее место, неотъемлемая принадлежность любого дома — обширная родительская библиотека, возможность медленно бродить от одной книжной полки к другой, переходя из комнаты в комнату и выбирая, что бы такого почитать

сегодня — особенно на летних каникулах, которые чаще всего и превращались в три месяца непрерывного, запойного чтения — оказывается, не аксиома, а результат долгих и кропотливых усилий. И так я узнаю о всех тех путях, которыми книги появлялись в нашем и других домах: о многочисленных подписках, о распределении на работе; о шести книгах в нагрузку к двум, что давно мечтали найти; о тех томах, что приходили на полки в обмен на собираемую макулатуру. За каждой книгой, как оказывается, могла быть увлекательная, непростая история. Моей любимой, впрочем, продолжает оставаться та, где из Каркаралинска родители привозят мне подборку вроде бы случайных, совершенно не складывающихся в общую историю книг.

Эклектичность и непредсказуемость этого набора для чтения странным образом становится отражением всего того непростого и непредсказуемого времени. Пересаженная на классическую основу традиционного детского чтения — русские народные сказки, Шарль Перро, братья Гримм, советская детская классика, «Рассказы о животных», «Что я видел», Андерсен и многое другое — комбинация Рикки-тикки-тави, Братца Кролика и Баян Сулу становится своего рода прививкой от попыток видеть мир как логичную, рациональную картину, где все со всем связано и подчиняется набору правил и последовательных установок. Чеченские сказки из экзотической находки превращаются во вполне ожидаемое чтение в стране, что неразрывно связана с историей депортации кавказских народов. «Сказки дядюшки Римуса» — часть мира классической для всех подростков «Хижины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. А уличный фонарь на пересечении Хай-стрит и переулка Святой Мэри в Оксфорде и вовсе оказывается старым добрым другом, возвращающимся в мою жизнь много лет спустя.

Понятный мир детства распадается, и жизненные траектории моих друзей, выросших в уютном мирке Казахстана девяностых, соперничают одна с другой за право предложить самую необычную историю первого постсоветского поколения. Ни одна из них, впрочем, не кажется такой уж удивительной. Все, что только можно было вообразить и нет, уже было заложено в том странном и как будто бы несвязном круге детского чтения; на поверку, оно дало лучший ключ к объяснению мира вокруг.

Игорь Булкаты

Возвращение

После семи вечера дверь в кабинет отца была приоткрыта — отец по обыкновению вставал из-за письменного стола, надевал кроссовки и шел гулять по окрестностям города — и мы с другом детства, длинноносым и голубоглазым коротышкой, бесшумно входили в комнату. Пахло пишущей машинкой и кожаными переплетами.

Нам было по восемь лет, и мы стояли в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу и осматривая кабинет, будто попали в музей. Вдоль стен, до самого потолка, высились стеллажи с книгами — левую половину занимали Шекспир, Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс и неполный словарь Брокгауза и Эфрона, и до них невозможно было дотянуться, даже если придвинуть кресло. Ниже стояли Джон Голсуорси, Марк Твен, Сервантес и Лев Толстой, которые вполне можно было достать. Еще ниже — Джек Лондон, Проспер Мериме и серия «Библиотека приключений». У входа стоял диван, покрытый ковром, слева, у окна, зеленое кресло, а справа — древний шкаф, набитый грампластинками и сувенирами. Письменный стол был большой, на углу нестопкой лежали словари, рядом обрамленная черно-белая фотография нашей семьи,

источающая счастье, в центре же, на войлочной подстилке, заправленная пишущая машинка «Оптима», возле которой — исписанные аккуратным почерком страницы, прижатые серой китайской авторучкой с накрученным на перо блестящим колпачком.

Через сестер и маму отец периодически передавал нам запрет входить в кабинет и трогать книги, подогревая наш интерес. И мы, повинуясь чувству протеста, только и ждали, когда он отправится на прогулку, чтобы юркнуть в помещение и погрузиться в чтение «запретных» книг. Все, конечно, делали вид, что не замечают наших тайных посещений кабинета, пока однажды отец не застал нас, сидящих на полу в окружении раскрытых иллюстрированных фолиантов.

— Я же запретил входить сюда! — улыбаясь в усы, произнес отец и видя как мы поникли головами, спросил: — Что читаем?

— «Приключения Тома Сойера», — ответил я.

— А ты? — обратился он к моему другу, трясущемуся уже от страха.

— «Принц и нищий».

Отец забрал у мальчика темно-синий том, быстро пролистал, потом захлопнул, и глаза у него заблестели хитрым блеском.

— Нравится?

— Ага, — отозвался друг.

— А что делал Том Кенти фамильной печатью короля Генриха Восьмого? — поинтересовался отец.

Мой друг растерянно оглянулся на меня, ища поддержки, но я и сам не знал, что делал Том Кенти фамильной печатью короля Генриха Восьмого.

— Разве он не колол орехи этой самой печатью? — смягчился отец.

— Да, — улыбнулся мой друг, — колол, просто я забыл.

— Забыл? — переспросил отец и засмеялся так громко, что сбежалась вся родня. — Он забыл, что Том Кенти колол орехи фамильной печатью!

Все смеялись, даже глухая бабушка Досыр смеялась, и в конце концов мы засмеялись тоже, понимая, что выцыганили индульгенцию на пользование библиотекой. И позже, перечитывая повесть про замечательных мальчишек Тома Сойера и Гекльберри Финна, мы подражали им во всем, ходили на реку Рион, выискивали дохлых кошек, чтобы свести бородавки на тыльной стороне ладони друга, следили за вечно небритым паромщиком Калистратом, пьяницей и бабником, называя его не иначе как индейцем Джо, и когда тот привязывал свой паром к сосне, снимал бугель с троса и прятал в траве, а сам наведывался на базар, мы были тут как тут. Но однажды он спас девушку, которая то ли из-за несчастной любви, то ли чтобы избежать позора, прыгнула в воду, и Калистрат не задумываясь нырнул следом и вытащил ее на берег, мы изменили о нем свое мнение и стали для него таскать с соседского двора спелый инжир, айву и сливы и сделались закадычными друзьями.

Много лет спустя, когда мне довелось вернуться в город детства, я повернул ручку двери, по-прежнему скрипящую и напоминающую тормозной башмак, вошел в кабинет и с удивлением обнаружил, что время усилиями сестры Жу остановилось, даже пишущая машинка не зачехлена, попахивает петитом, и диван с креслом на прежних местах, и так же пахнет кожаными переплетами. Я потянулся и снял с полки четвертый том Марка Твена с повестью о замечательных мальчишках, раскрыл его и стал листать и поймал себя на мысли, что немногое может доставить радость человеку на склоне лет. Из гостиной доносились голоса и радостный смех, кто-то двигал стульями, и звенела посуда, но откуда-то из глубины подсознания всплыла мысль, что возвращаться все-таки опасно, даже если на месте любимые книги, и мебель поскрипывает, и ковер на полу скрадывает отголоски жизненных перипетий, опасно, потому что остановленный грудью мир радушен лишь до тех пор, пока Том Сойер и Гек Финн олицетворяют безмятежность, и на душе тепло от вечности, ибо что, как ни вечность, баюкает совесть. За стеной была спальня с пуховыми подушками и атласными

одеялами, где от сердцебиения отца, заставившего нас своим запретом любить книги, по ночам тряслась кровать, и зала с сервантом и «Неизвестной» Крамского на стене, а дальше столовая и белый викторианский буфет, и балкон с качалкой. Признаться, я часто входил мысленно в кабинет отца с надеждой устроиться, как раньше, на полу и перечитать Тома Сойера — почесать сердце, как говаривала бабушка Досыр, — уверенный, что если даже время меняет нас, то в душе мы все-таки остаемся такими же простаками, как и раньше, но оказалось, что это не совсем так. Мир, откуда ты был вытеснен теми или иными обстоятельствами, может не принять тебя больше, и не потому, что стал другим. Просто воздух в нем гораздо разреженнее и чище, и чтобы заново привыкнуть к нему, нужно снять с плеч торбу, набитую бесценным жизненным опытом, и высыпать содержимое в окно, как сухую труху.

Александр Григоренко

Периферия и магистраль

Лет в пять мне по ночам виделась одна и та же картина — настолько ясная, что, проснувшись, я не сразу понимал, на какой стороне бытия нахожусь.

Сквозь зеленую муть крапивы, бузины, борщевика несется человек на мотоцикле. На сердце у него тревожно. Он останавливается, кричит: «Костылин, где ты?» Вместо ответа доносится лай — хозяин спустил с цепи подлую собаку Уляшин и сам бежит следом. Человек вновь зовет Костылина, но его не слышно, а лай все ближе. Жилин — это у него тревожно на сердце — говорит «эх», мотоцикл под ним взрывается ревом и дымом. Жилин выскакивает на открытое пространство — на нашу дорогу, ведущую к пруду. По ней несется мотоциклист — и это, несомненно, спасшийся от погони Костылин. Жилин дает газу, и вместе они исчезают в ниспадающем ландшафте, увенчанном на линии горизонта белыми коровниками села Румянцева.

«Кавказского пленника» — самое раннее и сильное впечатление от литературы — сам я в ту пору не читал. Его читали мне, на печи, по нескольку раз подряд — я требовал этого, как пьяница требует ставить одну и ту же пластинку. Ни жалость, ни мораль, ни слог никоим образом не касались меня — только сладость бегства, погони, которая оборачивалась захватывающим сном. В том, что сон все осовременивал, был особый смысл: ключевые сюжеты должны происходить здесь и сейчас. Библейских героев Европа обряжала в одежды своего времени и местности, Боттичелли изобразил в «Поклонении волхвов» все флорентийское начальство, своих друзей, себя, и, конечно же, не только он один так делал. Потому что ключевые сюжеты должны происходить не только здесь и сейчас, но и с тобой. И мне казалось, я был кем-то из них, Жилиным или Костылиным. Лет через пятнадцать после тех чтений я совершил побег из неволи, историю которого опускаю, признаюсь только — тот сон был правдой: это неизъяснимое наслаждение, пусть даже продлилось оно лишь несколько часов... До сих пор истории побегов мне интересны, будь то «Граф Монтекристо», «Последний бой майора Пугачева», фильм про тюрьму Шоушенк или «Ушаночка» Ивана Кучина.

Так или иначе, первое мое чтение я воспринимал не как литературу, а как руководство к действию. После «Робинзона Крузо» я захотел жить на дереве. В нашем дворе рос гигантских размеров тополь, посаженный моим прадедом, там я решил построить сначала рабочее место — прибить к подходяще расположенным ветвям по доске, которые станут столом и стулом, потом можно будет подумать о полноценном жилье с крышей. Я забирался на ветви и примеривался.

Робинзон и тополь, как я теперь понимаю, имели единственную связь — быть отдельно от всех, не как все, совсем один. Множество раз я обдумывал, как буду перетаскивать с земли вещи в мой надземный дом, как Робинзон перетаскивал их с погибшего корабля... Но идея оказалась технологически сложной (и опасной — мне запретили лазить на дерево), причем настолько, что в попытках приступить к ее воплощению я повзрослел и сам над ней посмеялся. Лет пять назад мне попалось недавнее издание романа Дефо, заглянув в которое я ужаснулся — разве это та самая книга, которую я читал восьми-девятилетним? Он ведь там, оказывается, только молился, сокрушался о том, что неправильно вел себя на большой земле и получил наказание от Бога. Как я пропустил это? Может, и в самом деле тогда было что-то переписанное — специально для меня, советского мальчика?

Однажды мое понимание литературы обернулось личной катастрофой. Я дружил с девочкой Клавой. Ее отец, обладатель огромной (по нашим меркам) библиотеки, дал мне «Малыша и Карлсона». Там был эпизод, в котором Малышу приносят два великолепных персика, он спешит поделиться с другом, а «мужчина хоть куда» путем хитрой манипуляции сжирает оба фрукта. И в конце концов все ему прощается, потому что злиться на него невозможно. Нам с Клавой тоже принесли два таких же великолепных персика из Ташкента — ее отец был летчиком, он мог доставать подобные чудеса — и я в точности повторил то, что сделал Карлсон. Клава простила мне, когда я с расстояния двух шагов выстрелил ей в затылок из духового ружья, а персика — не простила.

Как-то я захотел купить своим детям «Малыша и Карлсона», но при всем изобилии — не нашел. Вместо подлинного романа с полок глядели десятки мелких цветастых изделий толщиной с небольшую резательную доску. Текст был разодран на сюжеты (чтоб вышло больше книжек), изуродован (т.е. адаптирован). Этот вандализм возмутил меня до глубины души. Успокаиваюсь я лишь тем, что подлинник — пожамканный, зачитанный — есть в городской библиотеке: недавно дети принесли его.

Надломом обернулось и чтение подшивки журнала «Семья и школа»: я знал, как нужно меня воспитывать «по науке», а родители, так выходило, что не знали, и до сих пор непонятно, зачем только выписывали...

Завершающим этапом претворения литературы в жизнь стало чтение «Речной газеты» — сборника об устройстве и обитателях пресных водоемов России. Я решил всерьез заняться подводной охотой и кое в чем преуспел на этом пути. Первым делом сшил гидрокостюм из бабушкиной трикотажной ночнушки. Сложнее было с маской и трубкой — комплект стоил около пяти рублей, а это, кто не знает, не так уж и дешево. В конце концов деньги я выклянчил. Покупка состоялась жарким днем в помпезном здании бывшей Нижегородской ярмарки (в советское время она называлась как-то иначе): я решительно направился к воде, приказав сопровождавшим меня Светке и Ленке ждать меня на другом берегу. Десятилетние Светка и Ленка подняли настоящий бабий вой, чем дали мне возможность отказаться от затеи без видимого урона для чести — устье Оки, гладенькое, мирное издали, вблизи поражало своей широтой и неприветливой мощью. Часа через два я лежал на дне ванны и читал под водой газету. Воду, кстати, в тот день давали только холодную.

До настоящей охоты дело так и не дошло, и не только по причине все тех же материальных сложностей — о том, чтобы купить настоящее подводное ружье, не стоило даже мечтать, идея использовать вилы в качестве трезубца оказалась несостоятельной, равно как и попытка сконструировать нечто вроде подводной рогатки...

Но ближайшей осенью «Речная газета» получила продолжение — отец Клавы дал мне том сочинений Жака-Ива Кусто. Одну за другой я прочел, видимо, все его книги, изданные в СССР, и Алена Бомбара в придачу. Такое продолжение выглядело закономерным, но оказалось — это я понял, только повзрослев, — революционным.

Произошло нечто вроде Большого взрыва: вдруг я ощутил (не понял, а именно ощутил), что мир на самом деле огромен, он не просто больше двора, тополя, реки — а непостижимо больше. Он — настоящий, совсем не сказочный, даже не жюльверновский мир, его невозможно освоить и обыграть. В него можно вглядываться, не отрываясь.

С той поры я, сам того не понимая, начал относиться к книге именно как к книге. Как к источнику знаний, поскольку ценность знания — самого по себе — была для меня закрыта. Знание оказалось намного интереснее действительности, и — все наоборот: «теория» пышно зеленеет, а «древо жизни» есть одеревеневшая обыденность.

По сути, это был прыжок в идеальное.

Первой неосознанной данью той перемене стало изготовление двух книг при помощи писчей бумаги, канцелярского клея, туши и твердых обложек старых учебников. Эти два текста не имели никакого сакрального значения, просто они мне очень понравились. Первой стала выдранная из нескольких номеров «Молодой гвардии» автобиография Пеле «Моя жизнь и эта замечательная игра», написанная в соавторстве с Робертом Л. Фишем. К футболу я тогда был почти равнодушен (сейчас абсолютно равнодушен), но это не имело никакого значения. Книга Пеле была первой прочитанной мною подлинной историей человека, незамысловатой, а потому правдивой. К числу подобных историй я не причисляю тогда уже знакомые мне биографии революционных героев, поскольку это были жизнеописания существ выше мира сего. Как будущий святой в младенчестве отворачивался по средам и пятницам от материнской груди, так и эти персонажи появлялись на свет, наделенные чувством справедливости, жаждой борьбы и невыносимым благородством, отчего я понимал — ни мне, ни кому-либо из окружающих такими не быть.

Из автобиографии Эдсона Арантиса ду Насименту я узнал очень важную вещь: великие, всемирно известные — такие же люди, их жизнь состоит из заурядных подробностей. Впоследствии это спасло меня от нелепой, постыдной страсти поклоняться живым людям. Пацаны во дворе считали Пеле далеким божеством, но я-то знал, что это не так: он был двоечник, сватался к продавщице универмага, переживая при этом, что на самом деле она любит только его славу... Да и само его прозвище означает по-турецки «баран» — так говорил один тамошний турок, когда Эдсон мазал по воротам — значит, он не родился великим, он им стал. Наконец, благодаря этой книге я узнал, что в Бразилии живут люди, а не представители социальных классов и не картинки из детской энциклопедии. И в других странах, видимо, так же...

Я не стесняюсь говорить о таких элементарных открытиях, потому что сегодня вижу, как они опровергаются на каждом шагу, в прессе и в «откровенных» разговорах: один человек недавно уверял меня, что в Европе совсем нет коррупции, потому что там «принципиально другие люди».

Вторым экземпляром «самиздата» стал роман Владимира Возовикова «Поле Куликово», также позаимствованный из «Молодой гвардии». Не так давно я видел полное издание — оно впятеро объемнее журнальной публикации — и, просмотрев несколько страниц, понял, что не стал бы его читать. Сейчас эта книга осталась далеко позади, что нисколько не умаляет ее веса в моей биографии, читательской и человеческой. В школе уже начался курс истории, но только после «Поля Куликова» мир для меня получил новое расширение — во времени. Прошлое — во временной дистанции от «Борьбы за огонь» Рони-старшего, ефремовской «На краю Ойкумены» до, скажем, «Пошехонской старины» (позже — уже не прошлое) — настолько захватило меня, что современную литературу (т.е. ту, в которой описаны живущие со мной в одно время) я начал читать где-то после сорока лет, да и то не без самонасилия, чтобы не выглядеть совсем отсталым. Теперь я не вижу никакого противоречия в том, что в то же время очень любил Шукшина — его сборники «Наказ» и «Калина красная»

родители достали ценой сверхъестественных усилий, о них говорили чуть ли не шепотом, будто о полной трехлитровой банке денег у кого-нибудь под кроватью... Но Шукшин для меня был чем-то вроде кухонных, застольных рассказов «за жизнь», о том, что произошло вчера с тобой или знакомым тебе человеком, о том, как бывает в жизни обидно, радостно или глупо. Это очень интересно, от этого иногда захватывает дух, но в моем тогдашнем понимании такие рассказы не являлись в полном смысле литературой — между ней и действительностью нет равенства. В жизни — и в моей тоже — все меняется, и все в ней можно переменить своим умным или ошибочным действием: в прошлой четверти Савчук был мне друг, в нынешней — нет, потому что я злоупотребил мягкостью его характера (видимой, как оказалось), но Савчук никуда не делся, я могу все вернуть... А настоящая литература касается только законченных вещей, тех, в которых поставлена точка. Разумеется, тогда я не мог объяснить этого так, как сейчас, потому что точка эта — смерть, о которой я в силу возраста думать не мог. Ощущение существовало как инстинкт. Лет в тринадцать даже начал писать роман — о восстании Болотникова. Помню первую строку: «Семнадцатый век наложил свой отпечаток на все, что было вокруг». И Болотников, и этот самый век были для меня намного интереснее и значимее одноклассников, личных трагедий, мечтаний. При такой предрасположенности следовало бы пойти по исторической части, но у меня даже мысли такой не возникало. Наверное, потому что меня привлекало не установление событий и связей между ними, а сама плоть давно ушедшей жизни, ее запах, цвет, вкус, мелодика.

Из книг, которые тогда отпечатались во мне, назову лишь несколько самых главных: «Петр Первый» Алексея Толстого, «Чингисхан» Василия Яна, «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера. Да, и еще учебник по истории Древнего Рима...

Перечитав этот текст, понимаю, что за его пределами осталось очень многое. Куда, например, подевалась русская и зарубежная классика, с которой я, конечно, был знаком? У классики была одна родовая травма — ее преподавали в школе. Не то чтобы плохо преподавали — совсем нет: просто это было обязательное чтение, а все вещи такого порядка побуждали к одному — побыстрее от них отвязаться. (Вообще половина предметов, особенно точные и естественные науки, принесли мне весьма своеобразную пользу — они тренировали выносливость, готовили к жизни, в которой придется делать много тяжкого, непонятного, даже отвратительного.) Поэтому живой интерес у меня вызвали, наверное, только «Герой нашего времени», «Тарас Бульба» и отрывки из Гомера. Но школьная программа вбила колышки на пустыре. В десятом классе я — сам! — прочитал полный вариант «Преступления и наказания», поцеловал обложку — и началась уже совсем другая история, не детская.

А детство я проблуждал по литературной периферии: рассказы о монгольских пионерах, военная реформа Гая Мария, проскрипционные списки Суллы, болгарский журнал «Кино изкуството», который читал в оригинале (никак, это у меня получалось: недавно прислали болгарский перевод моей книжки — почти ничего не понял), занимали меня куда больше, чем персонажи «Невского проспекта», тем более Онегин с Ленским...

Мои дети блуждают примерно там же, отчасти по моим стопам. Пройдя с ними обязательную младенческую программу — Чуковский, Линдгрен, Андерсен, Успенский, Михалков, Тувим, Маршак, «детский» Толстой, Хармс, — я отпустил вожжи. И как-то сами собой, вместе с кучей макулатуры про юных детективов и принцесс, стали проникать к ним Чехов, Горький и даже Шекспир... Мне бы хотелось видеть своих детей фундаментально начитанными, но я их вижу просто хорошими. Всякий человек не только наследует и продолжает, но и начинает все с нуля — а здесь любые влияния условны.

Михаил Дурненков

Поезд из детства

Самый страшный для меня вопрос, это какой у меня самый любимый фильм, самая любимая музыка, самая любимая книга. Необходимость свести всю свою жизни к чему-то одному приводит меня в состояние паники, как будто бы надо подвести черту и в двух словах рассказать, о чем была моя жизнь, да и уместить сюда то утро, когда все спали, а я вышел и долго пил кофе с молоком на солнечной веранде, и та поездка с мамой в мерзлом автобусе, и зависание над морским дном, когда я загадывал желание, перед тем как вынырнуть. Словом, тут есть в чем покопаться психоаналитику, а вот вспомнить любимую книгу детства и правда легко, то ли их было не так много, то ли в детстве все было как-то яснее и прозрачнее.

После того как я написал предыдущий абзац, я открыл браузер и набрал в поисковике «Поезд Стихов», после чего узнал, что кроме того, что книга эта — издания 1974 года, иллюстрации к этой книге, каждую из которых я запомнил на всю свою жизнь, созданы никем иным, как самим Ильей Кабаковым. Далее я узнал, что предисловие написано Валентином Берестовым, а содержание этой книги — это стихи 49 авторов из 25 стран, в основном соцлагеря, но с вкраплениями и авторов таких капиталистических стран, как ФРГ, Англия, Франция, США и Япония.

Открывает сборник стихотворение «Скажите, кто испортил сыр, кто в нем наделал столько дыр» Яна Бжехвы. Когда я уже вырос, я прочел эти же стихи в книге Заходера и так узнал, что некоторые писатели гораздо лучше реализовались как переводчики, вспомним хотя бы гениальный перевод Заходером Милновского Винни-Пуха. К слову сказать, в «Поезде Стихов» есть и «вагон» с произведениями Милна. А какие потрясающие у Бжехвы-Заходера остальные стихи в сборнике! Точеный ритм «Волшебника Ковальского»: «Куда ни пойдете, Ковальских найдете, везде и повсюду, на всякой работе», веселая утопия «На Горизонтских островах», триллер про сбежавший клей и так далее. В «Поезде Стихов» я впервые прочитал, еще не зная, кто этот человек и что он значит для мирового театра, стихи Бертольта Брехта «Зимний разговор через форточку» и «Слива», здесь впервые открыл для себя стихи Родари, Тувима, Элиота, Лорки, Киплинга — все с гениальными иллюстрациями Кабакова. Здесь познакомился с известнейшей, как потом узнал, во всем мире доктором Сьюзи, в сказке про слона Хортона, который был верен себе от кончика хобота и до хвоста, а также с авторами, с которыми больше никогда не пересекался. Например, с норвежцем Турбьерном Эгнером, я еще долго мечтал, чтобы у меня тоже было такое имя — Турбьерн, с японцем Ито Масао — «Песни, и щебет, и гомон птиц спрячу я в красный мешок, а лепетанье цветов полевых спрячу я в синий мешок...», с индусом Винадкумаром Сутой — какое и тут прекрасное имя! — и многими-многими другими. Для меня, советского ребенка, эта книга сама была что-то вроде путешествия — по мирам, странам, языкам.

Я часто думаю, глядя на своего ребенка, о том, что ограниченность мира, в том числе материального мира, в котором я находился в детстве, нехватка источников новой информации, книг, событий, фильмов, заставляла вглядываться в предмет, видеть больше, чем в него вложено, домысливать, придумывать, фантазировать. Для меня рисунок Кабакова возле стихотворения Ванды Хотомской «Июль», где был изображен похожий на лепрекона человечек Июль (вспоминаю по памяти), который стоял у тропинки, ведущей в кипящую зеленью чащу, все более темнеющую в глубине, почти до черного со звездами цвета, — было самым настоящим приглашением в чудо. Я часто смотрел на эту тропинку и представлял, как пойду по ней, пойду, пойду и уйду....

Желтый цвет пригоршней полной
Липа сыплет.
Ходит в жёлтых лапоточках
С сотом мёда
Пчеловод из пчеловодов
Месяц Липец —
Так Июль когда-то звался
Средь народа.

Всё звенит, гудит, как скрипка, —
Липа, улей...
Полны музыки листочки
И травинки.
Вот не выдержало солнце
И с Июлем
В пляс под липами пустилось
Вдоль тропинки.

А когда махнуло солнце
Через прясла,
За околицу, за речку,
И погасло,
Взял Июль бутыль большую,
Два стакана,
Взял он пряников медовых
Два кармана.

Два стакана разболтались,
Как соседи,
И по саду заструился
Запах мёда.
Глядь — и самая Большая
Из Медведиц
Прибежала в сад за мёдом
С небосвода.

Получила столько мёду,
Сколько выпьет,
И урчала, попивая,
Как живая.
А что пряников медовых
Дал ей Липец!
И сегодня облизнётся,
Вспоминая.

Кстати сказать, подводя черту под детскими воспоминаниями, иллюстрация в детской книге абсолютно равна тексту по значимости для восприятия, и кто читал в детстве сказки Шарля Перро с невероятными иллюстрациями Эрика Булатова, тот не сможет их забыть никогда. И конечно же, эти книги с этими иллюстрациями было первое, что я приобрел для своего ребенка. Но, увы и ах, у этого поросенка оказался свой вкус! И кроме гениального Свена Нурдквиста, создателя самой настоящей персональной Вселенной, и многочисленных произведений Роальда Даля, которого я, уже взрослым человеком, с упоением открыл для себя, мы мало в чем сошлись. Михаэль Энде, полюбившийся мне когда-то из-за «Бесконечной Истории», уступил в популярности не менее талантливому Якобу Мартину Стриду, который, как мне кажется, умеет извлекать книги прямо из головы моего сына. А Рональд Руэл Толкиен, которого я почитаю за автора, которого всякий интеллигентный малыш должен знать чуть ли не наизусть, идет следующими номерами за талантливейшим Алмондом Дэвидом и еще более экзистенциальной и пронзительной Кейт Ди Камилло.

И я даже не могу сказать, что эти авторы меня не потрясли, но... знаете, почему «Макдоналдс» до сих пор популярен? Нет, не потому, что там весело и вкусно, а потому, что выросшие дети водят туда своих детей, вспоминая, что когда-то в этом месте, в субботу, они переживали ощущение праздника. И я не давлю на своего ребенка, который не хочет читать про шлепающего по туннелям за Бильбо Горлумом, вполне возможно, что это правильно, что одни праздники сменяют другие, как в свое время Рождество сменило праздник Бога Митры.

Правильно, но грустно, так же грустно, как вспомнить любимейшую детскую книгу и себя, глядящего на тропинку, ведущую в начало жизни, ведь жизнь тогда только начиналась, только открывала свои зеленые июльские завесы...

Наталья Ключарёва

«На Достоевском я как будто проснулась»

Моя внутренняя читательская биография начинается вовсе не с детских книг, а со взрослых книг, прочитанных в полудетском возрасте. Это странно, потому что я выросла в очень «литературно насыщенной» среде (мама работала в издательстве), в детстве мне много читали, потом — с увлечением читала сама. Но все мое детское чтение как-то не проникало глубоко, оставаясь на периферии моего существа, занимая воображение, но не трогая душу.

И странное дело: о многих книгах, которые я как будто любила, я не могу вспомнить ничего, кроме того, что я, действительно, их читала. Не могу восстановить своих ощущений, того внутреннего отклика, который они должны были рождать. Может, его и не было.

Помню, нравился «Питер Пэн», потому что я тоже отчаянно не хотела взрослеть (и до сих пор не хочу). Помню, плакала, когда кончалась «Мэри Попинс». Помню, как бесконечно перечитывала на каникулах «Кортик» и «Бронзовую птицу» — единственные детские книги, которые были у бабушки, — но от героев и сюжета ничего не осталось не только в душе, но и в памяти.

Начальная школа прошла под знаком приключений, я глотала Дюма, Жюля Верна, Майна Рида, книги о первобытных людях... Помню запах этих книг, помню тактильное ощущение от прикосновения к обложкам, даже место в книжном шкафу, где они стояли. Но о чем они были, чем отзывались внутри — опять пустота.

Зато очень хорошо помню тот внутренний атомный взрыв, который я пережила, когда нам классе в пятом или шестом на уроке литературы прочитали вслух «Мальчика у Христа на ёлке».

Дальше была «Неточка Незванова». Я читала ее дома, почему-то прислонившись к горячей батарее, с пылающей головой, и это очень хорошо рифмовалось с тем, что происходило внутри. Внутри было то же ощущение жара, ожога, будто тебя обварили кипятком, — и из этой боли и ужаса вдруг, как в сказке, вынырнула твоя незнакомая душа...

И до сих пор, когда я перечитываю Достоевского, мне кажется, что у меня поднимается температура и сознание то ли вот-вот соскользнет в горячечный бред, то ли, наконец, поймет «последнюю правду» о том, как все тут устроено, а главное — зачем.

На Достоевском я как будто проснулась. Для меня он гораздо больше, чем «любимый писатель» (и, вообще, как писателей я люблю совсем других). Это пожизненный мучитель и возмутитель спокойствия, которого я порой ненавижу. А порой вспоминаю, как в 14 лет с другой такой же восторженной дурочкой целовала страницы...

Князь Мышкин, Алеша и Иван Карамазовы живут во мне так глубоко, что уже давно воспринимаются не как литературные персонажи, а как... не знаю, архетипы, что ли?

О Достоевском я могу говорить долго. Поэтому лучше остановлюсь. И расскажу о еще одной встрече, случившейся примерно тогда же — лет в 12—13 и по силе ожога вполне сравнимой с Фёдором Михайловичем.

Это было начало 90-х, в издательстве, где работала мама, начали публиковать запрещенных авторов. И ко мне в руки попала Цветаева. Не скажу, что это были отношения на всю жизнь, как с Достоевским. Сейчас я иногда (очень редко)

возвращаюсь к ее прозе. И никакая сила не заставит меня перечитать стихи. Видимо, та часть души, которая так сокрушительно на них отзывалась, уже выгорела. Не знаю, к сожалению или к счастью.

Но тогда, в отрочестве, Марина Ивановна со своей яростью и беззащитностью, жуткой судьбой и серебряными перстнями на руках прачки — прожгла меня насквозь...

Помню, мою пол и вслух (потому что нет сил вести этот разговор про себя) по-французски (чтобы не поняли окружающие) убеждаю ее не совершать самоубийства... И это мое самое сильное воспоминание о «детском» чтении.

Многие детские авторы, которых я люблю и с удовольствием перечитываю, пришли ко мне уже во взрослом возрасте. Это Туве Янссон с сагой о муми-троллях, Толкиен с «Властелином колец», Михаэль Энде с «Бесконечной историей», Юрий Коваль и современная американская писательница Кейт ДиКамилло.

Моим собственным детям, которым сейчас 3 года и 6 лет, практически все из этого списка (кроме Коваля и некоторых историй о муми-троллях) читать пока рановато. Так что у нас с ними сложился свой круг читательских симпатий.

На первом месте — и вне всякой конкуренции — стоит Свен Нурдквист. Его смешные, лиричные, абсурдные и философские книги мы никогда не устаем перечитывать, а главное — разглядывать. Нурдквист сам иллюстрирует свои тексты (или пишет комментарии к своим картинкам) и создает такой густонаселенный фантастический мир, что даже при сотом просмотре можно обнаружить что-нибудь новенькое.

Большой популярностью у нас в семье пользуются книги нидерландской писательницы Анни Шмидт. Особенно, конечно, простенькие истории про Сашу и Машу, идеально соразмерные детскому мировосприятию.

Еще в числе любимых можно назвать норвежскую писательницу Анну-Катарину Вестле. Больше всего нам нравится ее цикл «Мама, папа, бабушка, восемь детей и грузовик» — заразительно оптимистичные истории о буднях бедной многодетной семьи.

Наше недавнее читательское открытие, одинаково восхитившее и детей, и меня, — это книги о Простодурсене норвежца Руне Белсвика, конгениально проиллюстрированные для русского издания молодой художницей Варварой Помидор.

Из классики мы с большим удовольствие читаем и перечитываем Отфрида Пройслера, «Пеппи Длинный Чулок» и «Эмиля из Леннеберги» Астрид Линдгрен, а также веселые и познавательные книжки о медвежонке Паддингтоне английского писателя Майкла Бонда.

Мы читаем все вместе, перед сном. Но основной адресат вышеперечисленных книг — это, конечно, старшая, шестилетняя дочка. А наш самый младший читатель, которому недавно исполнилось три, тоже имеет собственные литературные предпочтения: обожает истории о незадачливой кошке Мяули англичанки Джудит Керр и все, что написано Джулией Дональдсон (и великолепно переведено Мариной Бородицкой) — автором знаменитого «Груффало» и еще десятка-другого не менее замечательных книг.

Современных российских авторов мы тоже читаем немало. Но почему-то никто из них не западает в душу настолько, чтобы потом хотелось перечитать. Единственное исключение здесь — это стихи неподражаемой Анастасии Орловой, которые сопровождают моих детей с младенчества и давно уже вошли в обиход нашей семьи, стали частью повседневного речевого потока, чем-то вроде пословиц и поговорок.

Майя Кучерская

Писатель номер один

На втором этаже — раньше он был чердаком, теперь тут комната — на столе, рядом с сухим листом подорожника, лежит книжка. «Всадники со станции «Роса». Старенькая, заслуженная, 1975 года рождения, на когда-то белой, а теперь желтовато-серой обложке проступают всадники в нелепых, островерхих буденовках. Внутри — дарственная надпись прилежным воспиталкиным почерком. Сашеньке, по окончании детского сада. Сашенька — мой муж, с бородой, сединой и семейством.

Зову дочку, почитать вместе. Она садится рядом. Читаю вслух, и... невозможно. Первый абзацы еще ничего, а дальше никак. Слишком медленно. Слишком подробно. Слишком долго ничего не происходит. Какая-то собака, станция, тягучие разговоры — тоска! Теперь совсем другие книжки и ритмы. Дочка убегает играть, я ее не удерживаю. Листаю книгу сама — нет, не идет.

А ведь когда-то... Я не просто любила, я обожала Крапивина. Писатель номер один. Бесстрашный, благородный Сережа Каховский, мальчик со шпагой. Это я, я Сережа, любимое мужское имя, я слушаю мудрого журналиста и хочу быть всадником, чтобы легко и вовремя прилететь на коне и выручать из беды любого. Я читаю все, все подряд, что только находится в библиотеке на улице Дмитрия Ульянова, куда прихожу каждую неделю за новой порцией.

Но вскоре все оказывается прочитано. И «Та сторона, где ветер», и «Колыбельная для брата», и «Тень Каравеллы», и еще сборники рассказов. Ни одного нечитанного Крапивина в библиотеке больше нет. Кого же мне читать? Мама подсовывает «Человека с луны» про Миклухо-Маклая («что ты все ерунду какую-то про школьников глотаешь, вот лучше!») Я морщусь, но вскоре зачитываюсь — в этой книге тоже все так необыкновенно и интересно — Маклай нашел общий язык с полными дикарями, которые не знают цену золоту, а любят разные безделушки. Я хочу еще, в том же духе, про путешественников, ученых, еще лучше, конечно, новую книгу Крапивина, но библиотекарь только разводит руками... Ни про ученых, ни Крапивина.

И вдруг чудо. Приходит новый номер журнала «Пионер», пахучий, цветной, я выписываю его со второго класса... а там! Владислав Крапивин «Журавленок и молнии», новая повесть. Брошено, отложено все, так-так, но что за девчонка скачет на первой странице, а где же мальчики, мальчик, крапивинский, фирменный, худенький, чистый душой, где? Вот он. Звонит в дверь. Входит, хочет снять кроссовки. Угловатый, застенчивый, учится не так, чтобы очень, зато! Все ему интересно. И он — искренний. Веселый. С щедрым сердцем. И все время попадает в разные истории... приключения начинаются! Какое счастье. Нет, Журка все же не Серёжа, но почти. Первая часть проглочена в вечер, и целый бесконечный месяц приходится ждать, ждать следующего номера.

А однажды журнал «Пионер» рассказал про морской клуб Крапивина «Каравелла» в Екатеринбурге — мальчики в матросках изучали там корабельное дело, а потом как настоящие моряки, отправлялись в плавание. Девочек туда не брали. Вот как всегда.

Да, это была сентиментальная детская проза, продутая ветром романтики и дальних странствий. Она вышибала слезы и манила за горизонт. Владислав Крапивин — Людмила Чарская советских подростков 1970-х-1980-х годов. Конечно, такие правдивые и прямодушные мальчики, которые жили на страницах крапивинских книг, повзрослев, обречены были погибнуть в том мире, который тогда существовал. Куда им было идти с их романтизмом, верой в справедливость, честностью? В

парторги? Разве что в педагогику или науку... Или скакать на своих конях прямиком в чувствительные романы и рассказы Константина Паустовского, жаль, он уже умер к тому времени. Так они и остались в книгах на чердаках, в воспоминаниях, но приятных, согревающих не хуже чарочки рома, в такие вот дождливые, ледяные дни, как сегодняшний.

Сергей Пагын

Далеко от дома и без родителей

В детстве я читал много, но особые воспоминания у меня связаны с одной книжкой — «Приключения ёженьки и других нарисованных человечков» Александра Шарова.

Кажется, в первом классе я серьезно заболел и оказался в столичной детской больнице — далеко от дома и без родителей. Однажды мама, навещавшая меня, дала мне книжку, на обложке которой на огромном носороге сидела девочка с тремя мальчиками-богатырями, и между ними — ежик. Мне, конечно, было очень грустно расставаться с мамой, но, вернувшись в палату, я с головой погрузился в сказочный мир, где нарисованные человечки странствуют по морям на большой рыбе-бутылке, сражаются с бешеными буквами и все заканчивается хорошо. В общем, меня эта замечательная книжка здорово тогда выручила.

А потом, через много лет, я читал ее своим детям, и для меня снова нашлось место на волшебной рыбе-бутылке, между ёженькой и ее храбрыми братьями.

Андрей Родионов

Самая легкая лодка в мире

В Москве есть одна река, которую я считаю своей. Она течет от окраины к центру и называется Яуза. На берегах Яузы я прожил всю жизнь.

Сначала я жил в Мытищах, в районе платформы Перловская. Двенадцатиэтажка, где я жил с мамой, стоит в ста метрах от Яузы. У Яузы один берег высокий, а другой низкий, болотистый. Я с детства жил на высоком берегу, на этом я еще остановлюсь подробнее ниже.

Потом я женился и стал жить с женой недалеко от метро Бабушкинская, тоже в двенадцатиэтажке, такой же, как в Перловке. Недалеко от дома протекала Яуза, и также, как и раньше, наш дом стоял на высоком, крутом берегу этой речки. Прошел довольно большой отрезок времени. Я развелся с первой женой и женился во второй раз. Мы стали жить на Таганке, в пяти минутах от нашего дома протекает река Яуза, и я опять живу на высоком, на крутом ее берегу. Всю жизнь я постепенно приближаюсь к тому месту, где Яуза впадает в Москву, в реку Москву. Яуза в итоге впадает в Каспийское море.

С детства я полюбил реку Яузу и все свободное время проводил на ее берегах,

исследуя болота и остатки старого русла Яузы, все что располагается на правом, болотистом ее берегу.

В детстве я выписывал журнал «Пионер», и в этом журнале когда-то, в начале восьмидесятых, я встретил повесть Юрия Коваля «Самая лёгкая лодка в мире», с иллюстрациями автора. В книжке рассказывается удивительная история о том, как автор хотел, чтобы у него была самая легкая лодка в мире, как ему изготовил такую лодку из случайно найденного бамбука подмосковный лодочный мастер. Как эта лодка была впервые испытана на Яузе. Кстати, любопытно, что Петр Первый, будучи подростком, первую свою лодку также испытывал на Яузе. Эту лодку, ботик, потом назвали «дедушкой русского флота».

Так вот. Дальше автор, Юрий Коваль, отправлялся на этой лодке вместе с напарником, фотографом, в какие-то болотистые земли, по которым текут маленькие речки — макарки, микитки — эти речки ведут к таинственным, почти недоступным озерам, полным красивых и вкусных рыб, а еще в тех краях водятся странные сказочные персонажи. Как радовался я, читая эту повесть!

В детстве я занимался ровно тем же самым, что и герои повести Юрия Коваля: я ходил по правому, болотистому берегу Яузы, проникая в самые труднодоступные места — островки посреди болота. Во времена моего детства вдоль левого высокого берега Яузы стояли избушки, довольно старые на вид, и местные жители сажали картошку повсюду, где только возможно. Они сажали картошку на левом, высоком берегу, на правобережном болоте и на островках в болоте тоже. Хотя к тому времени большинство этих плантаций были заброшены или пришли в запустение. Главным в путешествии по правому, болотистому берегу Яузы были черные резиновые сапоги. О, я знал в них толк! На этот правый берег реки надо было как-то попасть, и обычно я попадал туда, перейдя каменный мост, за мостом был почтовый терминал, и круглые сутки по мосту, грохоча и подпрыгивая, носились грузовики с письмами и посылками. За мостом было несколько тропинок, сначала хорошо видных, а потом терявшихся в болотцах, прудиках и зарослях камышей. Там я находил странные, сказочные вещи. Островок, со всех сторон окруженный протокой, которая играла тут роль крепостного рва, по периметру островка — частокол, и, когда ты проникал за него, остатки какого-то трухлявого колодца, покосившийся шалаш, брошенные, заросшие картофельные грядки.

В другом месте я находил старую деревянную платформу на вбитых в болото сваях, с перилами, напоминающую небольшую театральную сцену. Как она оказалась посреди болота в зарослях ивняка и таволги, и каково было ее предназначение? Предчувствуя, что всю свою жизнь я проведу, любуясь театром, я сидел на этом помосте. Мечтая обо всем об этом, я ел бутерброд с докторской колбасой и смотрел, как солнце садится в почтовый терминал.

Я любил бродить по берегам Яузы в любое время года, и мои тогдашние товарищи иногда тоже отправлялись со мной в такие экспедиции. Однажды, учась в классе четвертом, мы с моим товарищем Лешей Ш. прогуливались по болоту и увидели на дне одной из проток камень-валун, а на камне том лежала серебряная монета. Тогда была зима, декабрь, но Яуза не замерзала. У поэта Ивана Ахметьева есть даже такое короткое стихотворение

Яуза
Не замерзает

Было очень холодно. Мы пытались отбить эту монету найденным железным прутом и полозьями захваченных с собою санок. Но монета так и осталась там, в глубине, на дне. Может это вообще не монета была. Мы промокли, но не смогли ее достать. Блестящий серебряный кругляш. Леша Ш. умер несколько лет назад. Он был веселым, храбрым, сильным человеком. Его убил алкоголь. Леша ходил в длинном

кожаном пальто нараспашку. Он завел дружбу с какими-то депутатами-единороссами, мечтал сделать политическую карьеру. Мир его праху.

Сейчас в Яузе фотографируют даже бобров, а тогда я даже рыб в Яузе не видел. Один-единственный раз я тогда, в детстве, видел в Яузе небольшую серебряную рыбешку. И так разволновался, что побежал к своим товарищам просить удочку. Но мои товарищи не особо увлекались рыбной ловлей, и я не нашел удочки. Только утки жили на Яузе, и солдаты из военной части у платформы Тайнинская били этих уток своими военными ремнями, а когда утка умирала, получив бляхой по голове, они ощипывали ее и жарили на углях.

Сегодня утром проезжал Мытищи
И вдруг увидел я из множества строений
Давно покинутое мной жилище
Средь хвойных и безлиственных растений
Что там теперь, в той сказочной Перловке?
По-прежнему ли по ночам в тумане
Плывут по Яузе светящиеся лодки
Наполненные бледными тенями?

Владимир Салимон

«Из чего сделаны мальчики?..»

Прирастая всякими полезными и бесполезными знаниями и опытом, совершая массу самых невероятных превращений, я в конце концов стал тем типом, кем являюсь сегодня. Но ведь и двадцать, и пятьдесят лет назад этот самый тип был Владимиром Салимоном и никем другим по сути, то есть меняясь, я не менялся вовсе. И вот теперь у меня спрашивают, что повлияло на вас, что изменило вашу жизнь? И многое, и ничего. Так как Судьба моя была предрешена.

Какой-либо одной любимой книги у меня, пожалуй, нет.

С детства я не был книгочеем, предпочитая проводить досуг на заднем дворе за игрой в футбол или пристенок, однако не могу среди первых своих любимых книг, подсунутых мне самой жизнью, не назвать учебники — «Родная речь», «История Древнего мира». О, сколько сладостных минут провел я наедине с ними, подолгу разглядывая чудесные картинки, открывающие мне золотые дверцы. «Колокольчики мои»! — это и о них.

Упомянув об учебниках, почитаю своим долгом сказать краткое слово в защиту сказок народов мира, чтение которых ныне не в моде. Я прочел их великое множество, до сих являюсь обладателем приличной коллекции чудесных выдумок и побасенок, чем горжусь. Многим из них я обязан устремленностью к добру и любви. Многие прочел даже раньше Святого Писания.

Из чего сделаны мальчики? Из Стивенсона и Дюма, Жюля Верна и Майна Рида, а также Рабле и Сервантеса, Дефо и Свифта, Марка Твена. Вслед за героями их книг я путешествовал во времени и в пространстве, и кое-чего понабрался, хотелось бы надеяться, ума-разума.

Естественно, что русская литература была, как, впрочем, и остается, моим любимым чтением. Среди книг тех лет Толстой и Аксаков, Гоголь и Пушкин, потом Некрасов и Тургенев, еще потом — Пришвин, Бианки, Соколов-Микитов и так до

Андрея Некрасова и Юрия Коваля. Так сказать, для справки, Юрий Коваль, например, жил неподалеку, за забором, и был короткое время дядей моего ближайшего друга, потому его рассказы и повести мы, я и мой друг, читали первыми, когда многие наши сверстники и не подозревали, что есть такой замечательный писатель. Таким образом, важную роль в формировании моего внеклассного чтения играл случай, или Судьба.

У меня она была счастливой, дай бог всякому!

А еще — повторю общеизвестное: не оставляйте чтения!

Игорь Сахновский

«Книги я поглощал в оптовых количествах»

Читать я научился в четыре года. Меня учила моя бабушка по старому советскому букварю. Этот букварь сразу поразил тем, что в нем встречались глубоко интимные слова. Интимное от официального я стал отличать довольно рано. Я, например, точно знал, что интимное слово «козы» означает козюльки в носу и ничего другого не означает. И если бабушка говорит: «Пойди-ка, выгони коз», — значит, пора хорошенько высморкаться, потому что из-за насморка уже дышать нечем, а платок опять куда-то задевался. Как же я был изумлен, когда в официальном букваре рядом с чьей-то казенной мамой, которая, конечно, мыла раму, и непременными башнями Кремля мне вдруг попалось наше домашнее слово «козы». Я прочел его вслух по слогам дважды, сильно смутился и спросил: «Откуда *они там* узнали?»

Вскоре я стал читать безостановочно все подряд, вплоть до заборов и конфетных фантиков. Книги я поглощал в оптовых количествах, собраниями сочинений — из маминого шкафа, без малейшей системы и логики: Майн Рид, Лермонтов, Виктор Гюго, Конан Дойль, Гоголь.

Пожалуй, не рискну объяснить (даже самому себе), почему «главной» и любимой книгой в детстве для меня стал сборник историй и сказок Вильгельма Гауфа, выпущенный Ивановским книжным издательством в 1959 году на плохонькой желтоватой бумаге. Я читал его, как заведенный, доходил до последней страницы и начинал заново. В конце концов эта бедная провинциальная книжка была доведена до состояния грязненькой лохматой тряпицы и утеряна где-то в переездах, о чем я до последнего времени прямо горевал, не надеясь ее вернуть. А в прошлом году на букинистическом сайте alib.ru мне встретился мой любимый Гауф — то самое Ивановское издание, и за какие-то смешные деньги мне прислали эту книгу: новенькую, буквально нечитанную, но с такими же серо-желтыми страницами.

Так получилось, что Гауф мне подсказал некоторые места в мире, которые потом стали ненаглядными, любимейшими. Например, в «Рассказе об отрубленной руке» в полночь происходит встреча с незнакомцем в красном плаще с наглухо закрытым лицом — во Флоренции, на старинном мосту Понте Веккио. И вот этот прекрасный мост стал для меня источником радости и всяческих волнений.

В 2007 году у меня вышел роман «Человек, который знал всё», который взялся экранизировать режиссер Владимир Мирзоев. В романе одна из финальных сцен случается как раз на мосту Понте Веккио — там происходит захват серийного убийцы, а главный герой, наоборот, избавляется от своих конвоиров и мучителей. Мы заранее обговаривали, что надо снимать эту сцену именно во Флоренции, чтобы все было по-честному. А Флоренция ведь маленькая и тесная, как шкатулка, набитая сокровищами. Не говоря уже о толпах туристов. Режиссер говорит: «Мы же не будем снимать город

"с плеча!" — это непрофессионально. А значит, нужен кран или вертолет...» И, честно говоря, у меня от этих слов мороз бежал по коже. Просто в голове не укладывалось, что своей детской (а потом и взрослой) любовью к этому драгоценному мосту я «навел» на него краны, вертолеты и прочие кинематографические войска. Вот и получается, что, влюбляясь в кого-то (во что-то), мы конкретно посягаем на чью-то жизнь — на ее неприкосновенность, замахиваемся на нее довольно тяжелыми предметами. А душа иногда тоже — далеко не самая легкая вещь.

Но в результате все же снимать во Флоренции не удалось — там очень короткое время для съемок давали. Эпизод сняли на Мальте.

Свою дочку я тоже учил читать по старому советскому букварю. Ее любимой детской книжкой был «Волшебник изумрудного города», которого она раз пять перечитывала — именно эту первую вещь из всего волковского цикла. А немного позже увлеклась «Тайнами анатомии» Кэрол Доннер: про путешествия мальчика и девочки по телу человека.

Ольга Столповская

Потрясающая книга

Чтобы окно не хлопало, между рамой и створкой вставляли серый пыльный том.

Я обратила на него внимание, когда прадед попросил закрыть окно.

До того вечера я не видела, чтобы с книгами обращались подобным образом. В моей комнате всю стену занимала тщательно подобранная отцовская библиотека. Если книгу брали почитать, ее оборачивали белоснежной калькой, словно крестильной рубахой.

Но прадед жил в Киргизии, там многое было по-другому. Например, рукомойник с пимпочкой, в который нужно было наливать воду из ведра. А за водой ходили к колонке.

На клееной тканевой обложке тома виднелись отпечатки грязных пальцев. Книга была так затерта, что на сером корешке, который был когда-то льняного цвета, с трудом можно было прочитать название.

Прадеда я любила абсолютной детской любовью за то, что он разрешал мне все. Разрешал есть сахар ложками. Разрешал себя щипать. Я старалась захватить маленькими пальчиками вены на его запястьях, выступавшие как корни деревьев, и пыталась выкрутить их. Прадед молчал, казалось, он не чувствует боли. И я из любопытства силилась ущипнуть его как можно больнее, чтобы проверить, на сколько ему хватит терпения.

Прадед рассказывал мне о своей жизни. Он был сыном коробейника. Рано пошел работать в лавку при фабрике, оказался толковым и вскоре стал правой рукой фабриканта. Фабрикант так проникся к нему, что пожелал выдать за него свою младшую, тринадцатую, дочь. Прадед был безнадежно влюблен в девушку из старообрядческой семьи. Ей запретили с ним встречаться по религиозным причинам.

Младшая дочь фабриканта не пришла в восторг от идеи папеньки, но все достойные женихи города были выработаны предыдущими двенадцатью сестрами.

И прадед пошел к алтарю в состоянии полной апатии, а его невеста с красными

от слез глазами. Чтобы утешить новобрачных, фабрикант построил им хорошенький особнячок и подарил модный магазин.

Потом случилась революция. Однажды ночью в дверь хорошенького особнячка постучались. Прадед не стал спрашивать: «Кто там?», а вытолкнул в окно жену, выпрыгнул следом и они вскочили в первый попавшийся поезд, который привез их в Киргизию. Достойные мужья двенадцати других сестер не оказались столь решительны и погибли. А прадед дожил в Киргизии до девяноста восьми лет.

Он был аккуратистом и франтом. Даже собираясь в булочную через дорогу, тщательно брился безопасной бритвой, взбивая мыльную пену помазком с янтарной ручкой. Пришпиливал булавкой галстук, начищал туфли и, тронув пимпочку рукомойника, проводил по волосам ладонями, приглаживал пряди. Волосы у него были густые. Когда-то он был красавцем, а теперь осталась лишь щегольская грация.

Он не был грязнулей. Только вот книга...

Я бережно высвободила фолиант из оконных створок и забралась на дерево. Ствол шелковицы расходился на четыре ветви, образуя удобное место для чтения. В то лето мной уже был прочитан научно-фантастический роман «Калисто» про то, как в недалеком будущем в страну победившего коммунизма прилетели гости из другой галактики. Была выучена наизусть книга стихов М.Ю.Лермонтова и несколько раз с удивлением пролистан отрывной календарь.

И вот я открываю свою новую гостью и читаю:

«Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная свойствами товарного тела, она не существует вне этого последнего. Поэтому товарное тело, как, например, железо, пшеница, алмаз и т.п., само есть потребительная стоимость».

И вдруг меня клонит в сон. Я перечитываю снова и снова, стараясь вникнуть в суть написанного, и никак не могу продвинуться дальше первой страницы. Для меня, готовой читать все подряд, это потрясение. Сладкое солнце играет на листьях тутовника. По радио звучит монотонная киргизская песня. И я понимаю, что мне никогда не осилить эту большую книгу. Никогда не понять, ради чего шли на смертный бой рабочие и крестьяне. Навсегда закрываю покоробившиеся страницы и разглядываю обложку. «Капитал», Карл Маркс. Кладу том на место. Между створок окна.

Эта книга продолжала долго и честно служить нашей семье. Между ее страницами я засушивала цветы для гербария. А бабушка придавливала квашеную капусту всеми тремя томами. Вес был изрядный, ведь третий том был издан в двух частях. Четыре серых добротных кирпича. Потрясающая, загадочная книга, которую никто из нас так и не прочел.

Священник Дмитрий Трибушный

«Слово спорит с самим небытием»

Прошло уже лет тридцать, а я до сих пор помню этот день, его несущественные подробности: бесконечный дождь, пустые автобусы, тусклый свет в книжном. Помню само ощущение — ощущение причастности к чему-то большему. В тот день мы с отцом были похожи то ли на удачливых искателей сокровищ, то ли на заговорщиков. Мы возвращались домой с бесценной находкой. Это была книга. Рэй Брэдбери.

«Память человечества». Сборник, включающий в себя «451° по Фаренгейту» и рассказы о литературе.

«Память» мы поменяли (приобрести подобный сборник в провинциальном городе было нереально) в донецком «Доме книги». Выбирали долго. Признаюсь, что сам наверняка искусился бы чем-то другим, более подходящим для ученика четвертого или пятого класса. На Брэдбери настоял отец. Мама покупала на вырост одежду. Отец нашел книгу на вырост.

Порой мне кажется, что все, что было, и все, что будет в моей жизни, включая Церковь и священство, определили двести страниц «Памяти человечества». Чтение Брэдбери стало для меня непростой, но необходимой инициацией, посвящением в реальность.

Чему могла научить советского школьника книга, начинавшаяся словами: «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек»? Не слишком ли рано заразил невероятной тоской по настоящему тихий американский книжник, оказавшийся пророком?

Брэдбери приглашал не в уютный детский мир с его абсолютными героями, осуществленными надеждами и многообещающей верой в будущее. Любовь в «Памяти» была обреченной. Рукописи горели. Сила Божия совершалась в немощи: совсем не героические люди совершали свое само-стояние в опрокинутой хрупкой Вселенной.

Для мальчика, взрослеющего на фоне гибели большой и сложной родины, было особенно важно услышать благую весть о том, что тоталитарное рождается не извне, но изнутри человеческого сердца. Рождается там, где боятся благословенной сложности мира. Тоталитарное — вечное искушение бытия, его нелепо отождествлять с определенным строем или конкретной страной.

И слово в «Памяти человечества» возникало на пути тотального как тихое, но действенное орудие сопротивления. Оно не только хранило и транслировало культуру. Слово держало мир.

Автор «Памяти человечества» показал, что слово противостоит не строю. Для него это слишком мелкая и недостойная цель. Слово спорит с самим небытием.

Надеюсь, что американский фантаст обратил в свою веру не только наивного советского пятиклассника. Уверен, что каждое слово Брэдбери, одного из последних пророков, до сих пор спасает наш мир от окончательной разгерметизации.

Алексей Устименко

Бумажные люди барака

«Трех мушкетеров» я не читал. Не получилось. В бараке, где нас поселили, пообещав скоро дать нормальную квартиру, жили случайные люди. А в их комнатах жили случайные книги. «Три мушкетера» ни к кому из них тогда не явились... Мушкетерам, оказалось, трудно доскакать до моей послевоенной новосибирской Сибири.

В конце сороковых годов немцы, потихоньку отработав учиненное на войне, отпускались в Германию. А в пустоту освобожденных деревянных труб-бараков, разгородив их на комнаты и квартиры, государство вселяло своих свободных людей.

С бараком нам повезло. Это не был стандартный барак, где прежде жили пленные рядовые немцы. Не строение из худых стен, похожее на квадратную трубу с нарами в одинаковых рядах. Не скучное антиархитектурное сооружение, напоминающее

насквозь продуваемый общий сортир, тут же, очко за очком, тянущийся во дворе... Существующий с тою лишь разницей, что в бараке нары — чтобы жить лежа, а в сортире очко — чтобы думать о жизни сидя. Утекающее вдаль философическое пространство. Одинаковые ряды одинаково обреченного житейского существования.

Наши комнаты были элитнее обще-барачных. Их выгородили из квадрата бывшего офицерского клуба. Они имели беленые стены с голубым трафаретом, набрызганным синькой по всему периметру потолка, да еще и теплые деревянные полы, лежащие по-настоящему — на приподнятых лагах.

Обживающиеся люди, еще с войны продолжавшие строить ближайший оловозавод, одновременно работая на нем же, притаскивали вовнутрь собственную мебель, холодные клеенчатые коврики для утепления еще более холодных стен и разные книги, чтобы их, как полагалось, держать на шатких этажерках. Под книги стелили салфетки, чтобы издания существовали в красоте.

Не помню дня, когда книги читались бы взрослыми. Но мы, семилетние и десятилетние, все-таки жили среди них, легче обмениваясь ими, чем свинцовыми битами — сокровищем мальчишеской главной игры.

Книги любили. Они не могли жить беспризорно, как послевоенные мелкие дети.

Иногда и у них, как у эвакуированных детей, не сразу выяснились настоящие имена, утерявшиеся обложки равнялись утерянным документам. Только через десяток лет я узнал, например, что самой тогда неопределяемой, до голых листов раздетой, но одинаково для всех интересной — была «Цусима» Новикова-Прибоя.

В шесть утра гудок оловозавода, как железная дудка невидимого пастуха, скликал всех, обозначая рабочий подъем.

И просыпаясь вместе со взрослыми, я понимал, что всю ночь спал на книге. Если на толстой «Цусиме» без ее обложки — тогда было еще ничего, почти мягко. Если на комедиях Шеридана — книге крепкой, с тисненым сиреневым коленкором, — бок болел полдня, это точно.

Среди кожаного и картонного корешкового тепла от вечера до утра обсыхало любое посеченное жизненным снегом мокрое лицо.

Книги растрепанно, но без устали работали на нас. Бумажные люди — их жители, невидимо поселившиеся в бараке, плотно сжавшись между собой, охраняли и спасали. И когда через полностью загороженные оконные стекла опасно виделась ледяная черно-синяя мгла свистящего ветром утра, то и дело забрасываемого густыми горстями остро серебрящегося снега, белыми змеями сжимающегося и разжимающегося в свете морозно затуманенных фонарей, здесь, рядом с книгами и с еще ленивым только-только просыпающимся печным теплом, уже существовало вечное книжное лето.

Своими первыми перечитываемыми книгами я спасался от метельной зимы.

Книги не пополнялись. Они совершали круговорот и возвращались в те же исцарапанные детские пальцы, что оставляли цепкие пятна, загнутые углы и сухие листья-закладки.

Неприкосновенно чистыми оставались в бараке только две непрочитанные нами книги — «Сказки братьев Гримм» и какая-то еще (вдруг, да и «Три мушкетера»?). Эти отдельно стояли в комнате молчаливых одиноких супругов, никому не выдавались и не передавались; хранились непотревоженной собственностью. Двери их комнаты всегда запирались на крючок изнутри.

Супругов так не любили, что с радостью тотчас заметили — когда оба вдруг разом исчезли. Двери раскрыты, все на месте, а их — как не бывало. Переселили? Переназначили? Дали другую квартиру?..

Мебель их постепенно растащили. Книги же долго побаивались брать. Но и те однажды исчезли как-то сами собой. Будто соскучившись. Вслед за хозяевами перенеслись в никуда.

Да нам и не надо было их «Сказок». Новиков-Прибой, помноженный на Шеридана, — чем не «сказки» для бараковских мальчишек?

Ничуть и не странно, что именно так мы в своем большинстве их и понимали.

Книги помнились поименно. Авторы отчего-то нет.

Помню: отголоском Гражданской войны — «Подвиг Кири Баева», отголоском Отечественной — «Рассказы старшины Арбузова», эхом близких таежных опасностей — «Инсуху — маралья вода».

Местные издания местечковой литературной значимости.

Самым растрепанным по рукам ходил Луи Буссенар, продиктовавший всем нам — в кого все-таки следует играть, если волею случая не произошло заражения мушкетерством. Капитан Сорви-голова — в том я уверен и сегодня — стоил десяти Д'Артаньянов.

Юный герой Буссенара — француз Жан Грандье, прозванный капитаном Сорви-головой, вместе с благородным доктором Тромпом и со своими друзьями-«молокососами» Фанфаном и Полем Поттером, руководимые командующим армией буров генералом Вильжуэном, легко прижились среди обжигающих метелей Сибири.

Мальчишки называли себя их именами. Но героических имен на всех не хватало. Дрались, менялись ими по дням.

В «Трех мушкетерах», конечно, имен нашлось бы побольше. Но ведь что такое похождения мушкетеров? Пусть королевское, да все же дело семейное, служба. Всего-навсего чьи-то внутренние переживания.

А капитан Сорви-голова?

Горизонты много-много шире. Отстаивание справедливости не частной, но общей. Оранжевая республика, знаменитый Трансвааль!.. Непокорные буры, погибающие за независимость, англичане — за подчинение всех себе...

Честь маленькая и честь большая. Обе — честь. Однако на весах истории, несомненно, немалое неравновесие.

Мы все-таки учились жить еще и для всех.

Станислав Ливинский

Замри, умри, воскресни!

* * *

Как в первый раз — да будет свет!
Земля и небо, дом с трубою
и ты, и я, и мы с тобою,
Ну, со свиданьицем! Привет!

Я знаю, всё — из пустоты.
И дождь, и заросли крапивы,
и я, конечно же, и ты
зеленоглазый и счастливый.

Мы здесь с тобою навсегда,
чтоб вечно помнить эти песни.
Твои года,
мои года.
Замри, мой друг!
Умри!
Воскресни!

И ты опять увидишь свет,
услышишь снова на опушке
не то припев, не то куплет
беспечной песенки кукушки.

* * *

Зло вымещая на природе,
лягушек мучают мальчишки.
Глядит задумчиво на воду
рыбак на тракторной покрышке.

Огромный сом, смутивший реку,
а с ним комар, попавший в ужин.
Как мало нужно человеку,
как человеку много нужно.

Чтоб сохранить свою улыбку,
чтоб находить детей в капусте.
Он на крючок поймает рыбку,
но пожалеет и отпустит.

Ливинский Станислав Аликович — поэт. Родился и живет в г. Ставрополе. По специальности фотограф. Автор книги стихов «А где здесь наши?» (М., 2013). Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2012).

* * *

Пересохший фонтан и дорожка с мостом,
лев, застывший у входа, с отбитым хвостом,
козырёк остановки, точней — бескозырка,
и лохмотья афиш возле старого цирка.

А ещё — как музей городской гастроном,
чёрно-белые «волги» у местного ЗАГСа.
И тутовник в июне под нашим окном
оставлял перезревшие крупные кляксы.

Всё по кругу — о жизни, о хитрой судьбе,
хоть и сам до сих пор ничего и не понял.
Кто ты есть и зачем улыбалась тебе
незнакомая девочка в парке на пони.

* * *

Ещё вчера катались с горки
и домик делали жуку,
и пчёлка с маленьким ведёрком
спешила к майскому цветку.

Ну а теперь не до веселья,
когда пропитые мужи
срезают в парке карусели
и умножают гаражи.

Да я и сам из ветеранов
любви и прочей ерунды,
и на «Заводе автокранов»
схожу с пакетами еды.

Бреду по кочкам мускулистым
вдоль мрачных стен и пустыря,
где пацанята-футболисты
и с бантом девочка-судья.

У них совсем другие страсти,
не признающие цены.
Они не думают о счастье,
они ещё не влюблены.

* * *

Снег, похожий на парашютиста,
ставшие стоянками дворы...
Тоже мне зима-аккуратистка —
ейные повсюду хархары.

Ледяным поводит стеклорезом,
говорит красивые слова.
Снег идёт над городом и лесом:
не поймёшь — где хвост, где голова.

Снег идёт и люди, как статисты,
хлопают глазами каждый миг.
Мнит себя заправским теннисистом
мальчик, выбивая половик.

Хоккеистов красочные крики,
пять минут осталось до конца.
Человек несёт на свалку книги,
он похоронил вчера отца.

* * *

У дивана вместо ножки
небольшая стопка книг.
Говорят, просил морошки,
успокаивал родных.

Я и сам бы, зная прикуп,
четверых бы нарожал,
обратясь к святому лику,
жёнку за руку держал.

Чтоб у церкви схоронили,
ничего, что там песок.
Чтобы крестик на могиле
рос — не низок, не высок.

Привезли б землицу, доски
в годовщину бы мою,
посадили там берёзку,
сколотили бы скамью.

* * *

Для любителей ремейков
гонишь свой велосипед.
В бардачке звенит семейка,
а семьи давно уж нет.

Нет ни радости, ни горя,
но ещё блестит слеза.
Жизнь огромная, как море,
переполнила глаза.

А на береге — русалки
в суете своих сует.

С низким верхом раздевалки
в синий выкрашены цвет.

За девчонками с пригорка
подсекают пацаны.
Наливай скорее с горкой.
Лишь бы не было войны.

Лишь бы пенились чернила,
продолжая наш рассказ.
Лишь бы всё на свете было —
пусть уже не будет нас.

* * *

Сколько золота и бронзы
в этой заспанной глуши.
Из-за тучи вышло солнце.
Солнце, солнце, не спеши

заходить, чтоб на контрасте
чайник с чашками блестел
и, зажмурившись от счастья,
кот на лавочке сидел.

Чтоб на гвоздик связку перца
мать повесила сушить.
Чтоб и мне чуть-чуть согреться,
чтобы зиму пережить.

Булат Ханов

Непостоянные величины

Роман

Восточное направление

У него были свои счеты с Христом и к фарисеями.

Бравый пенсионер в майке и трико альпийского цвета всеми способами привлекал к себе внимание с боковой полки. Едва тронулись, он представился Сергеем Дмитриевичем и каждому предложил баранки и хлеб с изюмом. Роман нехотя слушал легенду о блудном сыне, который многократно возвращался к всепрощающему Сергею Дмитриевичу после бесплодных скитаний. Легенда незаметно перетекла в размытые рассуждения о том, что правда крепче семейных уз, зато любовь к человеку важнее и сильнее правды. На майке человеколюба проступил пот. Своим храпом пенсионер и ночью не давал покоя. Наутро Сергей Дмитриевич неизвестно к чему вспомнил Пахмутову и Добронравова и развил вечернюю мысль, прибавив, что истина заложена в любом из нас и нужно учиться говорить с Богом, дабы постичь ее. Уклоняться от беседы с закаленным моралистом стоило усилий.

Сосед напротив, благодушный толстяк Михаил с женой, тоже задавал вопросы. Каверзные, однако из разряда привычных. Как зовут? Откуда? С какой целью держит путь? Толстяк утверждал, что Москва — красивый город, а Казань еще красивее. Рекомендовал отведать татарской кухни и съездить в аквапарк. Когда пенсионера заносило на нравоучительных виражах, Михаил подмигивал Роману и улыбался, точно выказывая снисхождение к старому чудаку. Шутки ради толстяк утром поинтересовался у Сергея Дмитриевича, чем гражданский кодекс отличается от нравственного, на что услышал гневную отповедь. Вечером Михаил заказал себе, жене и Роману чай с лимоном, прелюбезно держась с проводницей. А при сдаче белья свернул все в комок, долго высморкавшись в белое полотенце напоследок.

Вопросы Михаила не подразумевали никаких ответов, кроме однозначных, поэтому Роман говорил коротко, воображая себя агентом под прикрытием. Он из Москвы. Студент. Гуманитарий. (Это правда.) Социолог. (Неправда.) Едет повидаться с другом по переписке. (Неправда.) В Казани впервые, хотя за пределы МКАД выбирался. Санкт-Петербург, Геленджик. Друг, зовут Шамилем, встретит на вокзале и по канонам гостеприимства покажет город. Спасибо за наводку с местной едой и аквапарком.

Ханов Булат Альфредович родился в 1991 году в Казани. Окончил филологический факультет Казанского федерального университета. Кандидат филологических наук по специальности «История русской литературы». Печатался в журналах «Дружба народов», «Идель», «Казань». Участвовал в Форумах молодых писателей (2011, 2014, 2015). Последняя публикация в «ДН» — подборка рассказов (2016, № 5).

Дипломированный филолог, за плечами годы фриланса. Биография из заурядных. А вот с целью поездки неясность неясная. Когда ты навеки проклял всякий транспорт и расстояния, когда устал волочиться и ненавидишь саму идею движения, когда закупаешься текилой и виски впрок, точно вот-вот закроют границы лет на десять, когда два года застряли в горле и впереди невиданных размеров черная дыра, когда всем вокруг неловко от твоего поведения, когда вечный недосып и комплексы, когда искорежен и подавлен — это тот самый случай, чтобы записаться в социальный проект и исчезнуть. Переезд — чтобы отстраниться от себя и понять современность, которой нет, ибо есть прошлое и будущее.

Роман проснулся раньше попутчиков, в пять. Чтобы унять возбуждение, он попробовал писать письмо и бросил на третьей строке. Спящие словно подглядывали из-под сомкнутых век. Тогда письмо стало выстраиваться в голове.

«Здравствуй.

Когда ты выбрала восток, я дал себе обещание шагу не ступать в восточном направлении. Теперь вот неразумно еду в Казань. Это не Камчатка и не Алтай, не Индия и не Япония, но тоже не запад, не север, не юг.

Зная тебя, могу предположить, что ты бы оценила мой поступок как манерный. Точнее пафосный, так бы выразилась. Вымарывать прошлое, увеличивать дистанцию, прекрасно понимая, что расстояниями связь не разорвешь. Как ни верти. Вертеть, терпеть, обидеть, зависеть, смотреть, видеть, ненавидеть, любить.

Передавай привет горам и шаманам. Я буду писать. На бумаге, разборчивым почерком. И отсылать, куда фантазия заведет. Первое письмо черкну, например, Карлу Людвиговичу Самоедову из Липецка. Улица Оружейных Баронов, д. 19, кв. 84, 398813. Карл Людвигович одинок, ему будет лестно получить пару теплых строчек, пусть и не предназначенных для него».

К тому времени, как Роман закончил сочинять, соседи по вагону проснулись. Сергей Дмитриевич зевал, прикрыв рот костлявой ладонью, Михаил пересказывал жене подробности удивительнейшего сна, в котором они катались по парку аттракционов в карете.

Если бы не эта необходимость все держать в тайне. Как дьявол, интересно, заманивая простаков, борется с искушением поведать о себе настоящем? Какую силу воли нужно иметь, чтобы так притворяться?

Пригретые солнцем

На первый взгляд, пригретая солнцем провинция.

Покинув поезд, Роман последовал по указателям, протискиваясь сквозь вокзальный люд. Сновали коммерсанты с пирожками и водой и носильщики с тележками. Пацаненок, если верить надписи на кепке, сотрудник ФБР, дергал мать за платье, требуя сахарного петушка. Две старухи в галошах спорили, с хвоста или с головы поезда пронумерованы вагоны. Пререкались они вяло, потому что распалившееся солнце, казалось, отбивало всякую охоту резких движений и решительных действий. В голосе, объявлявшем рейсы, тоже мнилась сонливость.

Вокзал и прилегающая к нему площадь на удивление внушали доверие. Мелкие бандиты с угрюмыми рылами, облаченные в «Абибас» среднеазиатского покроя; нечесаные бродяги в тулупах, продирающие веки на скамейках; окурки, фантики, обрывки туалетной бумаги под ногами — все это словно убрали с глаз долой к прибытию столичного гостя.

Роман оставил в камере хранения два чемодана, а с портфелем и ноутбуком

поехал по первому адресу — на улицу Красной Позиции. Некий Андрей Леонидович сдавал там однокомнатную за десять, а в шаговой доступности располагались две школы с вакансиями. Район рядом с центром, что немаловажно. Есть где погулять. Потому что квартира по второму адресу — на Гагарина — находится в монотонном спальном районе, который словно один на всю Россию, с клонами от Калининграда до Владивостока. Если в ментальном поиске переезжать в другой город, то вплотную к его сердцу.

Неделями рисуя в своем воображении Казань, Роман допускал три версии, почти не стыкующиеся друг с другом.

В первой властвовал дикий контраст между центром и периферией. В центре по прихоти элиты проводились мировые форумы и Всемирная летняя Универсиада, а на периферии текла самая будничная пятиэтажная жизнь с пьянством, скандалами и поножовщиной. Будущее детей определялось на генетическом уровне: в центре они рождались избалованными и испорченными, на периферии — озлобленными и обреченными. Ночью город превращался в шум. В сердце асфальт сотрясался от гвалта корпоративов и ночных клубов, пока по краям, в рюмочных, с хрустом разбивались носы и проламывались черепа, а на пустырях лезли драться стенка на стенку.

Во второй версии Казань представала тихой провинцией, бессобытийной и однообразной. Милые и сердечные бюргеры неспешно прогуливались по тенистым аллеям и бормотали под нос песни, давно выпавшие из хит-парадов и горячей ротации. Почти все были знакомы между собой, а гостей из иных краев сразу зазывали на чай и исподволь, точно ненароком, приучали к своим нравам и обычаям. Все отдавалось на откуп середнячкам. Здесь не водилось ни гениев, ни злодеев, так как все неповторимое и угловатое, сточив зубы, либо растворялось в кислотно-заедающей среде, либо исторгалось из дружной семьи середнячков без права на возвращение.

Согласно третьей версии, Казань завлекала национальным своеобычием. К узнаваемой общероссийской ментальности, где в странных пропорциях перемешались отфильтрованные установки из «Домостроя», советские привычки и самые безвкусные образцы западной культуры, в Казани добавлялись этнические оттенки. Так как фундаментализм не приветствовался, женщин, конечно, не заставляли носить хиджаб и паранджу, а непритесняемая административными мерами русская речь слышалась всюду. При этом модно было надевать тюбетейки, громко говорить на татарском и по-дружески подкалывать Ивана: помнишь, мол, как ваши словили под Калкой, а?

Платить за проезд оказалось проще, чем в московских автобусах. Водитель, смуглый южанин, на правильном русском объяснил, что турникетов в казанском наземном транспорте нет, и указал на кондуктора. Купив билет с рекламой пластиковых окон на оборотной стороне, Роман занял сиденье у окошка. Обхватив руками портфель и сумку с ноутбуком, он наблюдал, как мимо проплывают старые дома, залатанные и не очень, автобусная стоянка, рынок. На остановке южный водитель рискнул обогнать коллегу по цеху по второй полосе, едва не подрезав успевший в последний миг сбавить скорость «Рено». В награду смельчак получил два истошных сигнала в спину.

Взгляд Романа зацепился за здание с голубой покатой крышей и площадь с фонтанами рядом с ним. За площадью простирался водоем, на акватории которого белели многочисленные лодки и катамараны. Роман тут же забросил удочку в поисковик на смартфоне. Здание — театр имени Галиаскара Камала, родоначальника татарской драматургии, комедиографа, разбавлявшего собственное творчество адаптированными переводами из Островского. Ну-ну. Постановки в театре идут строго на татарском языке, в том числе пьесы Шекспира, Мольера, Джармуша. Занятное зрелище, должно быть. Так. Фонтаны светомузыкальные, а площадь с ними — в ряду

обязательных для ознакомления достопримечательной. Это неинтересно. Надо долго жить в норе или в пещере, чтобы тебя изумили светомузыкальные фонтаны. Водоем — древнее озеро Кабан, окутанное сонмом легенд и преданий. И на Кабане действует прокат лодок.

Во вторую встречу с К. они катались на лодке. Она категорически не принимала слово «свидание», ни в первый раз, ни после.

Увлекшись переходом по ссылкам, Роман едва не пропустил остановку. Чуть не подумал назвать ее своей — да какая она своя?

Но прилично

Путь на улицу Красной Позиции простирался через мост над железной дорогой. Ветка пролегала в широком овраге и исчезала за поворотом вдалеке. Светлые новости. Когда нагрянет неодолимая хтонь, известно, что в двух шагах разъезжают составы, груженные товаром и пассажирами. Лев Николаевич, думается, немало способствовал популяризации гибели под колесами поездов. Впрочем, это все Гёте виноват со своим Вертером. Скольких надоумил, и не счесть.

Улица Красной Позиции растянулась вдоль оврага. Повсюду росли деревья. Кособокие, кучерявые, ветки местами спилены. Из домов преобладали хрущевки, также встретились два старых общежития и вытянутое строение, смахивающее на казарму. Нужный адрес Роман отыскал быстро.

Идиллический двор, спрятавшийся среди домов-близнецов, порождал тоску по вымышленному времени, когда все были равны и счастливы и довольствовались малым. Роман насчитал пять скамеек — все с голубыми сиденьями и красными ножками. Три из них облюбовали бабки. Еще выделялась железная беседка, не предназначенная, очевидно, для уединения, потому что она находилась на виду у сотен окон. Траву здесь словно и не стригли.

Андрей, хозяин квартиры, приступил без раскачки:

— Я в курсе, что сдаю ниже рыночной стоимости. Сам живу за городом, в Казань наведываюсь нечасто. Дом хороший, три года назад проводили капремонт. Окна, как видишь, не на солнечную сторону, поэтому не жарко. Зимой топят исправно, мерзнуть не станешь. Не Москва, но прилично.

Завершив последнюю фразу, Андрей на мгновение замер, остановив взгляд на госте, точно ожидая капризов от столичного фрукта. В хозяине, несмотря на отсутствие могучей стати, безошибочно подмечалось нечто мужицкое, не измеряемое рейтингами и социальными опросами. Не составляло труда вообразить, как Андрей колет дрова или, расстелив на асфальте куртку, сосредоточенно латает что-то в брюхе машины.

— Куришь?

— Нет.

— Тогда ладно. Потому что балкона тоже нет. Если вдруг закуришь, то во дворе.

— У меня астма, — соврал Роман, чтобы прозвучало убедительнее.

Андрей повел Романа на кухню. Если в комнате лежал линолеум песчаного цвета с крапинками, местами вздувшийся, то на кухне хозяин положил кафель. Допотопная газовая плита просилась в утиль, зато навесные шкафы, микроволновка и вместительный холодильник производили впечатление надежных товарищей.

Чиркнув спичкой, хозяин зажег последовательно три огня на плите.

— Вторая конфорка нерабочая, предупреждаю. Что касается посуды, то вся есть. Кастрюля и сковорода тоже.

— А духовка работает?

— Пашет. Вчера картошку жарил.

Тесной ванной комнате Роман выставил бы четверку с минусом. Задвижки на двери не было, плотно она и не закрывалась. Смеситель мужественно доживал свой век. До четверки по пятибалльной шкале ванная дотягивала благодаря стиральной машине, чудесным образом размещенной в крохотном пространстве так, чтобы не загораживать проход. Пахло одеколоном.

Андрей опустошил сливной бачок, словно заверяя в его исправности.

Они вернулись в комнату.

— Меня все устраивает, — сказал Роман. — Скажите, пожалуйста, вы сегодня еще здесь?

— Нужно поразмыслить еще, посоветоваться?

— Вероятно, недолго. Не больше двух часов.

— Смотри, в пять я уезжаю. На крайний, можешь сегодня решать, а завтра мне позвонишь.

— Обещаю до пяти позвонить.

Спускаясь по лестнице, Роман обнаружил две вещи, не замеченные поначалу. Во-первых, четвертый этаж. Во-вторых, в квартире нет противных запахов — от стен ли, от пола, от мебели, от жильцов бывших.

Марат Тулпарович

Директор самолично снял трубку и сразу взял доверительный тон. Сообщил, что едва вернулся с совещания. Педагог им требуется, и Роман может заглянуть в школу хоть сейчас. Вы просите вакансий? Их есть у меня.

Огороженная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки, баскетбольными щитами и воротами для мини-футбола давала понять, что к чему-чему, а к спорту в школе настроены серьезно. Учебное здание из четырех этажей, точно вытесанное из белого камня, смотрелось свежо.

Вахтерша в будке объяснила, что директорский кабинет искать следует в конце коридора. На полу там и сям попадались остатки строительного мусора. Один рабочий на корточках красил плинтус. В запыленных штанах, где карманов было что на жилетке Вассермана, и в рубашке в черно-белую клетку, рабочий управлялся с кистью по-свойски и в меру неряшливо.

Секретарь, немолодая дама, представившаяся Еленой Витальевной, сказала, что директор пока занят.

— У него родительница. Посиди тут. Устраиваться пришел?

— Да.

Роман занял стул напротив секретарского стола и положил на колени рюкзак и портфель с ноутбуком. Елена Витальевна отодвинулась от монитора и оценила посетителя взглядом из-под очков.

— Что преподаешь?

— Русский язык и литературу.

— Полезное дело. Алина Фёдоровна довела свой одиннадцатый класс до выпуска и ушла. В июле замену не подобрали, а в августе Марат Тулпарович одного педагога не принял.

Роман пожал плечами на это «довела», избавив себя от необходимости озвучивать пошлость в духе «всякое бывает» или «случается и так».

После родительницы настал черед Романа.

Чтобы поприветствовать его, директор поднялся из-за стола. Богатырские габариты директора внушали уважение. Высокий, ширококостный, с волосатыми руками, он мог показаться атлетом, если бы не малость выпуклый, небогатырский живот. Маленький подбородок и живая улыбка делали его похожим на ребенка, поэтому

нельзя было с уверенностью предположить, сколько Марату Тулпаровичу лет. Тридцать, сорок? Голубая рубашка с короткими рукавами в сочетании с синим в тонкую белую полоску галстуком подтверждали, что даже на время ремонта директор не позволит себе являться на службу в свитере или, страшно подумать, футболке.

Обменялись приветствиями.

— Что заканчивали?

Осознавая, какой он недогада, Роман стал доставать из портфеля документы, стараясь при этом надолго не отрывать взгляд от директора.

— МГУ, филологический.

— Московский университет? — уточнил Марат Тулпарович.

— Да. Вот.

Роман протянул директору папку.

— Красный, — с уважением отметил Марат Тулпарович. — Преподавали?

— Нет. Два года работал репетитором.

Директор еще раз открыл паспорт.

— Почему переехали в Казань? Редкий выбор для молодого москвича.

— Дедушка родом отсюда. В детстве много славных историй рассказывал. Еще собираюсь научную работу писать о казанском поэте Петре Перцове. Это друг Пушкина, — добавил Роман, видя, что имя Перцова ничего Марату Тулпаровичу не говорит.

— Не сорветесь в Москву посреди года? — спросил директор, улыбаясь и вместе с тем серьезно.

— Настрой у меня решительный, — заверил Роман. — Уже снял квартиру неподалеку.

— Где, если не секрет?

— На Красной Позиции.

— Настрой и правда боевой, — согласился Марат Тулпарович. — Что ж, работа вас ожидает интересная, пусть и нелегкая. Я сторонник привлечения в школу молодых специалистов. В прошлом году пришел информатик, в этом году — преподаватель английского. Все полны сил и хотят трудиться. Я три года директор и вижу, что детям нравится заниматься с молодыми мужчинами. Мужчинам проще завоевать доверие и авторитет.

— У меня получается наладить контакт с учениками, — на всякий случай сказал Роман.

— Бывают и неудачи, — продолжил Марат Тулпарович. — К нам историк устраивался. Начитанный, эрудированный. Панк при этом. Через неделю уволился. Не справился с детьми. Сказал: «Нет, не мое».

— По-моему, слабый поступок, — сказал Роман осторожно: дозволено ему выносить суждения или пока нет? Директор неудовольствия не выразил. — Обещаю отнестись к работе ответственно. Если бежать от трудностей, то никогда не обретешь себя.

Хорошая сентенция, отметил мимоходом Роман. В духе производственного романа.

— Рад слышать, — сказал Марат Тулпарович. — По нормативу ставка составляет восемнадцать часов. Иногда педагогам добавляют дополнительные два-три часа, не больше.

— Чтобы распределить по учителям все классы?

— Правильно. Раньше могли и тридцать часов нагрузки вписать в план, и тридцать шесть, теперь министерство против этого. Наоборот, ставки сокращают. У вас больше двадцати часов точно не будет.

— Спасибо.

— Зарплата около двадцати тысяч плюс премия. Учителям по русскому и

математике доплачивают за проверку тетрадей. У вас нет категории и стажа, зато вам полагается надбавка как молодому специалисту — двадцать процентов. Кроме того, есть баллы за эффективность. Они высчитываются поквартально, там целый ряд параметров: как успевают ученики, как содержится кабинет, нет ли нарушений дисциплины...

Марат Тулпарович обстоятельно вводил Романа в курс дела. К первому сентября нужно составить календарно-тематический план на учебный год и сдать его Ирине Ивановне. До начала учебы рабочая неделя длится с понедельника по пятницу, с девяти до четырнадцати часов. Дети по характеру и темпераменту разные: есть победители конкурсов, а есть трудные подростки. Двоих перевели на домашнее обучение, директор уже ходатайствует об их переводе в вечернюю школу. Все оценки, информацию о посещении требуется ежедневно до полуночи вносить в электронный журнал. Из формы обязательны брюки, рубашка и вторая обувь, никаких джинсов.

Пока Роман писал заявление, Марат Тулпарович снял копии документов на секретарском принтере.

Напоследок директор сердечно пожал руку новоиспеченному молодому специалисту и спросил:

— Что для вас главное в работе учителя, Роман Павлович?

— Для меня нет бо́льшей радости, как слышать, что дети благодарят меня, — сказал Роман важно.

И прибавил мысленно: «И ходят в истине».

У выхода, прощаясь с вахтером, Роман заметил сбоку от стенда для расписания намалеванного на стене Карлсона, в полете прижимающего к груди банку с вареньем. В голове вмиг ожил голос Ливанова, всплыли сценки из мультфильма. Художника стоило похвалить и за талант, и за тщание.

Всякий, кто оставит

Хозяин квартиры обрадовался возможности уладить дела сегодня. За чаем он достал припасенный договор о найме. Условились, что сумму за первые два месяца Роман внесет сразу, а деньги за квартплату будет вручать Андрею по факту появления платежки. Когда чай был выпит, а подписи поставлены, хозяин раскрыл премудрости дверного замка.

— Поворачиваешь влево до упора, а через секунду делаешь ключом движение влево и как бы вниз. Попробуй.

С четвертой попытки Роман освоил технику «Влево-и-как-бы-вниз».

Андрей бесплатно довез гостя до вокзала, там и распрощались. Забрав вещи из камеры хранения, Роман привез их на Красную Позицию. Свалив чемоданы в угол, он снова выбрался на улицу. Магазин «Наша марка», расположившийся в доме, предлагал рядовой набор товаров, почти такой же, как в какой-нибудь «Пятёрочке» или «Магните». Повинуясь необъяснимой воле, Роман взял на ужин бородинский хлеб, вареную колбасу и три бутылки горького эля «Алтайский ветер» по акции.

Бабки на скамейке провожали заселенца долгими взглядами.

Жаря на сковороде нарезанную кружками колбасу, Роман вообразил, как ночью из подъездов вылезают отоспавшиеся вурдалаки и на гоповском наречии выясняют, кто чего стоит. Стекла дрожат от звериного хохота, а неприкаянные волчьи морды переполняет ненависть ко всем.

Картинка эта существенно разошлась с действительностью: к позднему вечеру двор опустел, место бабок не занял пьяный сброд. Значит, Казань из второй версии, тишайшая провинция, где размеренность возведена в ранг добродетели.

Эль пах хвоей, а во вкусе угадывалась приятная кислинка с цитрусовым оттенком.

Колбаса пригорела, но с хлебом шла за милую душу. Захмелевшего Романа настигло озарение, почему его повлекло именно к жареной колбасе: Карлсон в школе. Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. И с «Алтайским ветром» тоже предельно ясно.

Уже за полночь отослал родителям письмо с аккаунта, который завел вчера специально для связи с прошлым: «Добрался более чем оптимально. В первый же день устроился и заселился. Хозяин квартиры и директор школы произвели самое положительное впечатление. Не теряюсь, и вы не теряйтесь. Завтра изложу все в деталях. На связи, Рома».

Перед сном открыл «Евангелие от Матфея» и пробежался по фрагментам, подчеркнутым карандашом. Вот оно. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную».

Письмо № 1

От кого: Незванова Сарацина Рахматовича, город Казань, улица Бывалых Вояк, дом 7, квартира 77, 420480.

Кому: Тюрикову Сократу Парменидовичу, город Ярославль, улица Статных Оккультистов, дом 8, квартира 88, 150840.

Привет-привет!

Что-то мне подсказывает, что весточки от тебя не дождусь. С чего бы, собственно, тебе мне писать?

В Казани всего третий день. Само собой, не обвыкся. Знаю, тебе интереснее, какая у города душа, какие о нем сложены мифы и легенды, что особенного в архитектуре. Об этом я умолчу, чтобы тебя подразнить. Приезжай и увидишь. Сварю тебе кофе — с имбирем и корицей, как ты любишь.

Если вкратце, мои дела так: первый день — бегал и разруливал, второй — пил и прокрастинировал, сегодня — выбрался в исторический центр, как всякий культурный человек. В местном театре ставят Шекспира на татарском языке, прикинь? По отзывам критиков, постановки солидные, не какие-нибудь школьные спектакли, где пресные Самоделкины из-под палки участвуют в постыдном зрелище. Здесь Шекспир так Шекспир. Обстоятельный. И зал полный.

А еще я брал напрокат лодку на озере Кабан. Как в нашу вторую встречу, в Царицынском парке. Твое лицо в тот вечер освещал лунный свет, все было торжественно и искристо, прямо как в английских романтических балладах. Никогда не забуду, как моторка с серфером на тросе проносилась невдалеке, образуя волны. Я чувствовал себя, как танцор средних талантов, под которым вдруг зашевелился ковер, заставляя нервно перебирать ногами.

Я не люблю выискивать символы вокруг: во-первых, это ведет к шизофрении, во-вторых, повсюду море знаков, противоречащих друг другу. И все же случай с волнами дал ясное понимание того, что всегда будут силы, способные тебя сокрушить. Меня поставили перед выбором: либо смириться с превосходящей силой, фанатично уверовав в Того, Кто ходит по воде, либо брать на себя ответственность за тех, кем дорожишь, и бороться за них. Я твердо выбираю второе, пусть этот выбор приводит к поражениям. Не сегодня уступим, так завтра. Волны большие, мы крохотные, поэтому мы должны быть готовы к тому, что в любую минуту нас опрокинет. Не по чьему-то злому умыслу, а из-за общего движения жизни.

В тот вечер в метро я был уверен, что во всех пассажирах есть что-то неповторимое, мысленно наделял их сверхъестественно положительными качествами. К каждому

хотелось подойти, чтобы спросить, правда ли, что за всякое, даже мимолетное, счастье нужно расплачиваться? За всякое счастье, пусть многие не увидели бы в нем ничего необыкновенного, пусть ты и не поведал об этом счастье никому.

Спросить я не решился. Они бы не сказали: «Это неправда. Тебе показалось. За счастье не расплачиваются». Они бы сказали: «Ты пьян, мистер Джонс, ты пьян. Все получают частичку прекрасного, но ты не вправе никого винить, когда прекрасное ускользает. Это как идти против смерти. Ложись спать, мистер Джонс».

Сижу ностальгирую, а завтра мне на службу. Ты не поверишь, я устроился в школу. Никаким не охранником, не смешно. Директора зовут Марат Тулпарович, и никакой он не француз и не революционер. Сложно сказать, как мы с ним сработаемся. Задачи-то у нас противоположные: он призван поддерживать общепринятые устои, моя воля — расшатывать их. В его интересах — сплотить паству, в моих — вывести породу, привитую от конформизма. У него широкие полномочия, у меня — молодость и задор.

Как ты?

Насчет кофе я не шучу.

Живопись

В первый день он красил.

Роман явился в школу в 8:40, за двадцать минут до начала рабочего дня, за что получил сдержанную похвалу от Елены Витальевны. Секретарь сообщила, что Марата Тулпаровича еще нет, и предложила новичку ознакомиться с кабинетом русского языка. Старушка-вахтер, оторвавшись на минуту от дачно-огородного еженедельника, объяснила, где брать ключ и как расписываться в служебном журнале.

Удивляясь, какой прок в советах для садоводов, когда дачный сезон близится к завершению, Роман поднялся на четвертый этаж. В конце длинного коридора высилась стремянка, на полу и подоконниках осела зримая строительная пыль. Эталонное безмолвие. Идея заговорить вслух воспринималась как покушение на мировой порядок.

Убранство класса соответствовало представлениям о Среднестатистическом Кабинете Русского Языка и Литературы. Зеленая доска, парты в три ряда, портреты великих и образцовых, два шкафа. Первый — канцелярский, почти новый. Второй — платяной, дряхленький и покосившийся влево. Будет леваком, коммунистом. Из пластикового ведра в углу торчала деревянная швабра. Стрелки электронных часов над доской застыли на половине третьего. Информационные стенды пустовали, если не считать приглашения на масленицу и буклета, завлекавшего в автошколу.

Что более всего поражало, так это грязь. Ремонтники, орудовавшие по всем этажам, не обделили вниманием и будущего учителя русского. Под ногами скрипело, линолеум едва виднелся под слоем неведомой белой порошкообразной дряни. На окнах проступали пятна, отдаленно напоминающие засохший птичий помет, будто на летние каникулы класс арендовал дрессировщик голубей и внезапно исчез. От одной мысли, что все это придется отскребать и оттирать, сердце сжималось от тоски.

Директор встретил молодого специалиста радушно. Облаченный в изумрудную рубашку с большими карманами, Марат Тулпарович, закатав рукава, восседал на высоком стуле.

— С первого дня с докладом к начальству, — сказал Марат Тулпарович, широко улыбаясь. — Как настрой?

— Боевой, — доложил Роман.

— Это хорошо. Как Казань?

— Обживаюсь. Красивый город. И район мне нравится.

Директор отложил документы.

— Как кабинет?

— Вполне. Светлый, просторный. Чуть пыльный после каникул, но это поправимо.

— После ремонта всю школу перемывать надо, — заявил директор. — Скажу техничке, чтобы убралась у вас.

— Спасибо. А в течение года тоже она будет убираться?

— Будет. У классных руководителей убираются их ученики, у остальных педагогов — техничка.

Роман мысленно возблагодарил босса, не навесившего на него классное руководство. Ходят слухи, что оно превращает жизнь в нескончаемый нервный срыв и сокращает ее на пять лет.

— Скоро вам выдадут ноутбук, — сказал Марат Тулпарович. — Перед тем, как приступить к составлению учебного плана, зайдите к Ирине Ивановне. Она завуч по учебной части и куратор по русскому языку. Отчеты у вас будет принимать она. По всем вопросам касательно программ и организации учебного процесса смело обращайтесь к ней.

— В каком кабинете ее найти?

— В триста седьмом. Это позже. Сейчас вас просит помочь Андрей Константинович, учитель труда. У него кабинет номер сто два, между лестницей и библиотекой. Разберетесь?

Андрей Константинович, склонившись над потемневшим от времени верстаком, перебирал инструменты. Услышав шаги за спиной, он обернулся с остроконечным молотком в руке, словно готовый к труду и обороне одновременно. Роман признал в трудовике вчерашнего рабочего, в штанах с множеством карманов и в клетчатой рубашке красившего плинтус.

— Роман Павлович. Меня направил к вам Марат Тулпарович.

— Андрюха, — представился трудовик. — Живопись любишь?

— Простите?

— Значит, полюбишь.

Они двинулись в левое крыло, отведенное для начальных классов. В столовой, гремя, передвигали столы и скамейки. Из рукомойника стекала тонкой струйкой вода.

— Цени, какая тишина, — сказал Андрей Константинович, вручая Роману кисть. — Началку я ненавижу, особенно в перемену. Орут, галдят, по стенам лезут, седлают друг друга и скачут наперегонки.

Красить с трудовиком оказалось неожиданно просто. В действиях Андрея Константиновича сквозила невычурная легкость, в карих глазах проступало здоровое любопытство. Он спрашивал Романа, откуда тот, что заканчивал, на какие оценки учился в школе. В душу не лез.

— Главное, чтобы тебе восьмые классы не дали в нагрузку, — сказал трудовик. — Если дадут, требуй к зарплате молоко за вредность.

— Настолько непокорные?

— Жулье, а не дети. Любого доведут до ручки. Я молотком в них кидаюсь — без толку. Уворачиваются. Я за показательные расстрелы на школьном дворе, но директор считает это негуманным.

Хотя Андрей Константинович явно иронизировал, желание беседовать о Пушкине и Салтыкове-Щедрине с восьмыми пропало и не появившись. Не всякая глина годна для лепки.

Вдруг объявившийся Марат Тулпарович, посмотрев на красящих учителей, удовлетворенно отметил:

— Процесс идет. Хорошо.

В труде и в изнурении, часто в бдении. Директор убедился, что все соответствовало утвержденным в незапамятные времена правилам, и удалился в свои покои.

По окончании рабочего дня Роман вернул ключ на вахту и расписался в служебном журнале. 406. Его кабинет теперь 406.

Вечером Роман провел ревизию. Наличных — 35 734 рубля. Плата за квартиру — 14—15 тысяч. Еда. Мобильная связь и Интернет. Зимой точно понадобится теплая куртка. Вдобавок расходы, для приличия нареченные непредвиденными. Директор обещал зарплату около двадцати. Плюс премия, точно. В той же организации, где инструктировали Тихонова Романа Павловича, ему подыскали двух учеников. Репетиторство по «скайпу». Одиннадцатиклассник из Москвы и девятиклассник из Барнаула. 4000 + 2400 ежемесячно. Что за верблюжья привычка сперва подсчитывать убытки, пинками загоняя себя в долговую яму, а затем припоминать о доходах? Чтобы уверить себя, будто ты не такой уж и вырожденец?

Трава и краска

Покраски на второй день снова выдалось больше, чем русского.

К малярскому искусству приобщились два других учителя. Роман при рукопожатии мысленно окрестил их толстым и тонким.

— Артур Станиславович, учитель информатики.

— Вадим, учитель кибернетики.

Толстый говорил неторопливо, редко и не к месту, словно не нуждаясь в слушателях. Хотя он едва ли был старше тридцати, волос его коснулась седина. Видимо, из-за этого Артур Станиславович стригся по-спортивному. Один взгляд на грузного информатика напоминал Роману, что ему пора сокращать собственную пивную норму на вечер, несмотря на худощавость и быстрый обмен веществ. Толстый время от времени хватался за красную шею, точно отгонял невидимых комаров.

Блондин тонкий, ровесник Романа, тоже устроился в школу в августе. Преподавал он не кибернетику, а английский. Каждая его фраза таила едва уловимую иронию. Вадим выразил мнение, что работа с кистью — это лишь первое испытание в цепи, уготованное старожилами новичкам. Дальше последуют ссылка в канцелярский магазин за редким видом скрепок и танцевальный номер на День учителя. Обаятельный и остроумный, изящно и неброско одетый, англичанин был обречен нравиться. И школьницам тоже.

К полудню объявился торт-безе. Его принесла женщина в длинном чесучовом сарафане с широкими бретелями. По важности походки и пытливому взгляду из-под очков Роман догадался, что по статусу она никак не ниже учителя первой категории. Не ошибся: то спустилась с третьего этажа завуч Ирина Ивановна и позвала всех пить чай в столовую.

Андрюха от торта отказался и ел хлеб с солью. Артур Станиславович забрал и долю трудовика, без стеснения набивая рот и кроша безе на стол. Ирина Ивановна, шапочно познакомившись с новичками, велела им сегодня заглянуть к ней.

— Мы сначала с Романом Павловичем все вопросы обсудим, а затем с вами. Хорошо, Вадим Анатольевич?

Она тщательно произносила имена, точно запоминая их таким образом.

Кабинет завуча по учебной части отличался от директорского небольшими размерами и уютом. Глиняные цветочные горшки, римские шторки из полупрозрачной белой ткани, семейный портрет в рамке на столе. Лучезарные Ирина Ивановна с супругом чувствовали себя на фото комфортнее мальчугана, с кислой миной сносящего мамины руки на плечах. На стене в кабинете также красовались дипломы и грамоты. Награждается 10 «А» класс за победу в районном конкурсе «С песней по жизни». И так далее.

— Как видите, классы небольшие. Нигде нет больше двадцати одного

человека, — сказала Ирина Ивановна, протягивая Роману четыре распечатки со списками учеников. — У 6 «А» я вела в прошлом году. Дети там по большей части, скажем так, шебутные. В начальной школе у них каждый год менялась учительница, и это повлияло на дисциплину. Есть там такой Эткинд. Ашер зовут. Он любит всякие неуместные вопросы задавать. Про бороду Толстого, про спартанских воинов.

Роман записывал все в блокнот. Возможность поработать с представителем ветхозаветной национальности прельщала.

— У 5 «А» та же история с учителями. Три сменилось. Имеют привычку стоять на ушах. Какими вы их сделаете, такими они и будут. Поэтому так важно донести правила поведения и настроить на учебу с первых дней. 8 «А» — это слабый класс. Есть неугомонные товарищи, которые портят атмосферу. Когда их нет, остальные спокойно занимаются. В 8 «Б» учатся наши главные звездочки — Гараева и Мингазина. В целом класс шумный, но способный. Опять же важно сразу направить их в нужное русло. Не потакайте слабостям.

После общих оценок Ирина Ивановна прошлась по некоторым персоналиям.

— Может быть, заметили: в 6 «А» есть Елисеева Эвелина, а в 8 «А» — Елисеев Марк. Это брат с сестрой. Они из большой семьи, баптисты. Все их братья и сестры учились у нас, это младшие. Дети очень вежливые и умные. В том же 6 «А» есть новичок — Исмаев. Мальчик из татарской деревни. Наверное, будут проблемы со знанием языка.

Чувствовалось, что завуч привыкла работать со школьниками помладше. Объясняла она докучливо и до чрезмерности обстоятельно. А завершила Ирина Ивановна лаконичным советом:

— Завоюйте их доверие!

Команда

Андрюха извлек из закромов ноутбук и наказал беречь. На зарядник почти стерлась выведенная когда-то белой акварелью надпись «Русский язык». Привередливый тачпад чудил и таки вынудил раскошелиться на мышку. Заодно Роман купил две пачки мела, тряпки, чистящие средства и батарейку для электронных часов над доской.

Ирина Ивановна сообщила, что вай-фай в школе появится к сентябрю. Роман изнывал от скуки в своем кабинете и, засев за последнюю парту, под видом разработки календарно-тематических планов смотрел четвертый сезон «Американской истории ужасов». Для приличия учитель обложился учебниками и пособиями. Читать не хотелось, работать — тем более.

Выходили из отпуска другие учителя. По их примеру молодой специалист не закрывал дверь в класс. Пусть не думают, что изолируется от коллектива и бросает вызов партийной линии.

Математик Галина Леонидовна, поздоровавшись, окинула взглядом кабинет. Она пожелала удачи и прибавила:

— Не теряйтесь, если ученики будут говорить по поводу некоторых моментов, что у Алины Фёдоровны было не так. Сравнения — это нормально.

Техничка явилась аккурат к концу четвертой серии. Пока она мыла пол, у нее с Романом завязалась дружелюбная беседа. Узнав, что Роман устроился в школу впервые, уборщица посоветовала не бояться.

— Дети всякие бывают, добрые и не очень. Тех, кто не очень, больше. Это нестрашно. Главное — помнить, что вы тут главный.

Последняя фраза произвела эффект. В тот же день Роман на правах главного, набрав воды на первом этаже, отчистил от строительной дряни окна и подоконники. Жить стало веселей, хоть и не легче.

Приходила знакомиться историк Анастасия Олеговна, толстенькая дама из

кабинета по соседству. Выяснив, что молодой коллега москвич, она обрадованно сказала, что приехала в Казань из Йошкар-Олы месяц назад и теперь живет с дочкой в общежитии рядом. Анастасия Олеговна похвасталась, что ее ученики занимали призовые места на всероссийской олимпиаде.

— Вам какой-нибудь класс дали?

Роман догадался, что речь о классном руководстве и ответил:

— Нет, я еще маленький.

— А мне пятиклашек вписали в нагрузку. Теперь вот голову ломаю, куда букеты девать после первого сентября, — невесело пошутила историк.

На прощание она позвала к себе на чай, не уточнив ни адреса, ни даты.

Директор нагрянул неожиданно, на сцене очередного жестокого убийства в «Американской истории ужасов». Вмиг оробевший Роман поспешно выдернул наушники и открыл заготовленную вкладку с таблицей для календарно-тематического плана. Со стороны могло показаться, будто учитель составляет программу под музыку, чтобы сосредоточиться.

— Процесс идет?

— Идет!

Роман сжался. Марат Тулпарович чинно прошествовал по кабинету и критически обозрел классиков на портретах, словно решая, позволить Пушкину и братии красоваться у всех на виду или заменить их на Президента и его приближенных. Классики поникли, замялся даже неистовый Виссарион. Чистые окна и подоконник от директорского внимания ускользнули, зато пустующие стенды привлекли интерес.

— Заполните их, Роман Павлович, — сказал директор. — Вывесьте устав школы, правила поведения в кабинете, нормы сдачи ЕГЭ и ОГЭ, советы сдающим. На стендах у доски лучше поместить термины разные и текущие правила. Согласны?

Несмотря на то что его классам экзамены не грозили, Роман послушно обещал исполнить.

Забегал Андрюха со встопорщенными волосами.

— Я тебе ключ сделал. От философской комнаты.

— От чего?

— От туалета учительского, говорю. Он на втором этаже, в конце коридора. Видел, как ты на первый за водой гонял. Держи.

Странный визит нанес Артур Станиславович. В белой рубашке с короткими рукавами и высоко натянутых брюках он напоминал пионера из старого букваря, только красного галстука не хватало. Информатик пустился без вводной части в воспоминания о норовистом вузовским преподавателе по педагогике, заставлявшем покупать пособия его авторства. Пренебрегших его научными трудами старый шантажист срезал на экзамене. Чего ради Артур Станиславович рассказал эту историю, он и сам едва ли знал.

Загорелая учительница татарского в платье с цветочным узором попробовала заговорить на родном языке, чем смутила москвича. Заметив его изумленно распахнутые глаза, она на великом и могучем отрекомендовалась как классный руководитель 6 «А» и заверила, что окажет любую посильную помощь. Имя татарки моментально выпало из памяти.

Заявился с визитом англичанин. Не Вадим, другой. Крупноносый, с квадратным лицом, в безупречном костюме и бордовой рубашке. Вид портили старомодные очки с толстыми стеклами. Бесцеремонно широкими шагами незваный гость преодолел расстояние от двери до последней парты, где Роман в очередной раз нажал на стоп в проигрывателе и щелкнул по вкладке с таблицей. Вошедший принес крепкий запах самцового парфюма.

— Тук-тук.

— Здравствуйте. Я новый учитель по русскому и литературе. Роман.

Хмурость взгляда зашкаливала. Судя по всему, с любезностью гость не дружил.

— Без отчества?

— Романович. То есть Павлович.

— Бесконечно рад, Романович Павлович. Максим Максимыч я. Инглиш лэнгветч, — с этими словами англичанин протянул увесистую грубую длань.

— Вы серьезно? Насчет имени?

— Хоть бы один филолог не уточнял. Эх, жизнь!

Не оборачиваясь, Максим Максимыч неторопливо удалился. Он сознавал себя глыбой, совершенно определенно.

Искусство чесать языком

Максим Максимыч в своей фирменной неприветливой манере предложил выпить пива:

— Угощаю в честь знакомства.

Англичанин закурил. В его руке покачивался старомодный дипломат с позолоченными заклепками, эффектная рубашка цвета электрик контрастировала с вялым выражением лица.

Привычный путь лежал через дворы, которые хотелось миновать быстрее. Поблекшие дома, турники с облупившейся краской, замаранные машины эконом-класса, разбитый асфальт — все это настраивало на самое заурядное существование без малейшего сопротивления среде. Местные вряд ли задумывались, насколько необыкновенны названия их улиц — Пугачевская, Хороводная, Сквозная.

— Добро пожаловать на Калугу, Палыч, — сказал Максим Максимыч. — Слышал о Калуге?

— Сразу ясно, что вы не географию преподаете, — сказал Роман как можно добродушнее. — Калуга маленечко в другой стороне.

— Район такой. Издревле так повелось называть, до всяких там бандитских жаргонизмов в девяностые. В словаре Даля дается толкование: «калуга» — это топь, болото.

— Намекаете, что я угодил в трясину? — Роман прищурился.

— Да не в образном значении «болото», а в самом прямом. Район располагается в низине, раньше ее затапливало весной. Обитали тут бедняки, зато с характером. Переселиться они не могли, вот и притерлись к суровой жизни. Представь, снег тает — вода по колено. Теперь, конечно, иначе — не так экстремально. А дух калужский сохранился. И название тоже.

— Только перебрались калужане в хмурые высотки.

— Не все, — возразил англичанин. — Тут частный сектор в двух шагах. Там до сих пор уцелели старые деревянные дома. Хватает и частных кирпичных новостроев — с вычурными заборами, с сигнализацией, с породистыми сторожевыми собаками. Но этим породистым никогда не перелаять тамошних бродячих псов. Будут лишь потявкивать из конурок своих.

Роман и Максим Максимыч миновали «Хлебозавод №3» и шагали вдоль желтого каменного забора. Справа тянулся овраг с железной дорогой. Асфальт выровнялся.

— Тебе, наверное, говорили: найди с учениками общий язык, стань для них авторитетом, завоюй их доверие, — сказал англичанин. — На первый взгляд, эти затасканные девизы никчемны. И все же зерно истины в них есть. Особенно, если учитывать, что мы на Калуге. Для того чтобы не ударить в грязь лицом, тебе надо стать для калужских своим.

— У вас получилось стать своим, Максим Максимыч?

Роман мысленно укорил себя за глупость, еще не закончив вопроса.

— Если бы не получилось, то не задержался бы на двенадцать лет.

— Планируете работать тут до пенсии?

Вторая скудоумная фраза подряд.

— Силы у меня не те, что прежде, но за десять лет я ручаюсь.

Максим Максимыч снова закурил. Выдохнув дым, он сказал:

— По логике вещей ты должен спросить, как сделаться своим для детей. А я на правах мудрого наставника обязан надавать тебе советов. Остерегайся того-то, поступай так-то, верь в себя, дерзай. И прочее. Заявляю сразу: ни от меня, ни от Макаренко ты свода заповедей не дождешься. Так, пара общих правил. Не навязывай ученикам ни дружбы, ни покровительства. Не дави своей властью. Не впадай в педантство и не распахивай душу. Не качай права и не кивай на устав — они не по закону живут. Балансируй: будь чуть саркастичным, чуть продвинутым, чуть благородным. И главное — дай понять, что ты знаешь их язык, но не собираешься до него опускаться.

Трактир «Старый амбар», куда Максим Максимыч привел Романа, производил сносное впечатление. В просторном помещении преобладало дерево. К деревянным столам прилагалось по четыре стула, у отделанной лакированными досками барной стойки выстроились в ряд еще пять стульев, пока пустовавших. Под потолком вдоль стен тянулись деревянные полки со сказочным хламом — закопченными подсвечниками, старинными часами, масляными лампами, допотопными радиоприемниками, пузатыми кувшинами и бутылками. На плазменных экранах транслировали Бундеслигу.

Пухлощекая официантка с собранными в пучок каштановыми волосами принесла меню, не успели Максим Максимыч и Роман разместиться.

— Пиццу не бери, — предупредил Максим Максимыч. — Тонкая, жесткая, кусок отрезать невозможно. Будто резину клеем намазали.

Роман, до того и не помышлявший о пицце, затосковал по «Маргарите», щедро политой оливковым маслом из зеленой бутылки.

Максим Максимыч заказал «Цезарь» с креветками, сырный крем-суп и два бокала нефильтрованного пива. Роман, поколебавшись, остановился на драниках «по-новому» и светлом пиве.

— По слухам, здесь один нефтяник обедал и оставил чаевых на сто тысяч, — сказал англичанин. — Нескромно, верно? Официанточка на радостях всем газетам рассказала. Впрочем, это случилось еще до того, как доллар взбесился. Сейчас все прижимистее, нефтяники тоже.

Роман вежливо кивнул. Англичанин расценил жест по-своему.

— Наверное, для москвичей сто тысяч — так себе сумма. Кредит выплатить, коммуналка, продукты, проезд — и все. Поверь, и для меня не запредельная цифра. Школа плюс репетиторство — за три месяца столько же выходит. Я о том, что история с официанткой убеждает, что верить в шару небезосновательно. Это как сказка про Емелю или про Золушку, только с декорациями из рыночной экономики. Чушь, а все равно трогает.

На Максима Максимыча напала словоохотливость, словно язык ему развязала сама мысль о пиве. Вместе с тем он не лез в душу московскому гостю, не выпытывал, с чего тот сорвался из столицы. Собеседник будто не интересовал англичанина.

Когда подоспело пиво, Максим Максимыч произнес тост:

— Чтобы год пролетел без педагогических эксцессов.

Одним глотком он уничтожил треть кружки. Роман счел пиво разливухой, как в типичном сетевом бирмаркете.

— Что вы больше любите из выпивки? — спросил Роман.

— Не буду притворяться — водку. С сибирскими пельменями. Коньяк армянский. С шоколадом.

— И текилу с лимоном?

— Пиво с раками еще вспомни до кучи. Признайся, что не пробовал водку с сибирскими пельменями?

— Ни с какими не пробовал.

— И зря. Привык, наверное, в нерезиновой коктейли через соломинку дуть, — пробурчал Максим Максимыч.

Прозвучало грубо. Собеседник Романа по-ребячески насупился и, не убирая кружку на стол, втянул из нее мутно-коричневую жижу.

— А как насчет виски? — Роман постарался не заметить, как раздражен Максим Максимыч.

— Запутанно, — неохотно откликнулся тот. — Шотландцев пробовал, американцев. Красного «Джонни Уокера» и «Джек Дэниэлза». С ирландцами не знаком.

— Давайте я угощу вас ирландским? — предложил Роман. — Скажем, на Новый год?

— Принимается. Учти, память у меня долгая. «Бородино» наизусть знаю.

И англичанин принялся рассуждать о литературе:

— Мне классический Максим Максимыч, по-честному, не нравится. Не спорю, мужик он крепкий, твердый. Добросердечный при этом, что редкое сочетание. Гармония, какой говнистый Печорин никогда не достиг бы.

— Кроме того, Максим Максимыч не циник и не боится им стать, — сказал Роман.

— Кто такой циник? В твоем понимании? — Англичанин подался вперед, не донеся до рта кружку.

С ответом на этот вопрос Роман определился давно.

— Тот, кто делает вид, что верит в какие-то ценности и побуждает верить в них других людей. Печорин, к примеру. А доктор Вернер не циник, потому что не притворяется, будто верит в ценности. Он скептик.

— Ловко. Тогда школа — обитель цинизма. И цинизм прописан в трудовом договоре. В твоем, кстати, тоже.

— Чем вам все-таки досадил Максим Максимыч?

— Недалекий он. Туповатый, если напрямую. Я не о том, что университетов не кончал и в искусстве не разбирается, что не до метафизических прений ему. Это второстепенное.

— Тогда что?

— Чуткости не хватает ему. Эмпатии, говоря на нашем педагогическом языке. Хотя в разведку с Максим Максимычем самое то ходить.

Принесли сырный крем-суп и драники «по-новому» с тонкой поджаристой корочкой, приукрашенные тремя стебельками петрушки. Англичанин прибавил к своему заказу два нефильтрованных по ноль-пять, для вящей убедительности щелкнув пальцами, и отправился на улицу курить.

Свежий воздух не согнал хмель с лица Максима Максимыча.

Дальше он нес совершеннейшую чушь, рифмовал Емелю с земелей и прогнозировал взлет курса доллара до восьмидесяти. Вылазки с сигаретой на улицу чередовались с походами в сортир. Количество кружек пива Максим Максимыч довел до шести. Он, насколько мог судить Роман, принадлежал к числу тех, в ком алкоголь пробуждал философские наклонности. Такие готовы подогнать базу под самые сумасбродные догадки.

— Хороший писатель схватывает дух эпохи, а гениальный... Гениальный указывает место своего времени среди прочих времен. Отыскивает вечное в текущем. Как бы ты охарактеризовал нашу эпоху, Палыч? Двумя словами? Только двумя?

В обобщениях Максим Максимыч добрался до космического размаха. Оставалось лишь гадать, какие рамки он разумеет под «нашей эпохой».

— Боюсь, что никак. Я не писатель и...

— Нервное безвременье, — обронил Максим Максимыч. — Мы укоренены в нервном безвременье. У нас нет языка, в который упаковать иллюзорную реальность вокруг. Нет прибора, чтобы прозондировать зыбкую почву. Нас разложили на элементарные частицы и распределили по соционическим типам, а истина снова укрылась от нас. Нас любили и вышвырнули.

— С вами все в порядке, Максим Максимыч?

Пьяный англичанин в недоумении уставился на Романа. Что-то обиженно-ребяческое проскользнуло в глазах Максима Максимыча, нижняя губа чуть подалась вперед.

— Счет, пожалуйста, — тихо сказал он ближайшей официантке.

В счете, доставленном через пару минут, значилось восемь кружек нефильтрованного вместо шести. Официантка с собранными в пучок с каштановыми волосами, обслуживавшая Максима Максимыча и Романа, состроила глупое лицо, когда англичанин заявил, что платить не собирается.

— Вам калькулятор принести, что ли? — возмутился он. — Может, мне еще стейк из семги приплюсуете?

— Успокойтесь, пожалуйста, — твердила официантка.

На подмогу к ней явилась администратор, низенькая девушка с крепкой грудью и широкими бедрами, представившаяся Камиллой. Ее фальшивая улыбка оповещала, что она намерена соблюдать приличия.

— Разное случается, — сказала она, взяв переговоры на себя. — Выпили, увлеклись, сбились со счета. Это нормально, никто вас не винит.

— Вы спятили, мои дорогие? По-вашему, я такой забывчивый?

— Не грубите, это некрасиво. Заплатите, пожалуйста.

— Мой друг прав... — пытался вмешаться Роман, его не слушали.

— Заплатите по чеку.

Максим Максимыч не нашелся, как отреагировать на любезный до наглости тон. Поникший англичанин захлопал себя по карманам рубашки цвета электрик, словно там хранилась записная книжка с расходами.

— Мой друг прав, — снова произнес Роман. — Я считал. Он заказал шесть кружек. Вы ошиблись.

— Это исключено. Мы строго следим за обслуживанием.

— Разное случается, вы сами говорили.

— Вы прекрасно понимаете, что я имела в виду.

Невероятно, но Камилла умудрялась все так же улыбаться, будто законы маркетинга она осваивала параллельно с даосскими методиками.

— Покажите, пожалуйста, запись с камеры, которая подтверждает ваши слова, — попросил Роман учтиво. — Обещаю, мы с радостью все оплатим и принесем искренние извинения. В противном случае переправьте цифру «восемь» в чеке на «шесть».

Камилла кивнула и отлучилась за записью. Официантка погрузила посуду на поднос и тоже отчалила. Кислый Максим Максимыч вертел в дрожащих пальцах незажженную сигарету. Вскоре администратор вернулась и с огорчением призналась, что в системе видеонаблюдения произошел сбой, требующий починки. Англичанин, огрызнувшись насчет ста тысяч чаевых, с демонстративной брезгливостью отсчитал деньги.

— Будьте внимательнее в следующий раз, — сказала Камилла напоследок.

— Как дай вам Бог любимой быть другим.

На улице Роман протянул Максиму Максимычу двести рублей — за драники и светлое пиво.

— Я пригласил — я угощаю. Правила этикета, — сказал Максим Максимыч и властным жестом отмел все возражения. Ты где остановился в Казани?

— На Красной Позиции, — сказал Роман.

Во рту у него пересохло. Хотелось есть.

— И я в ту сторону. К брату поеду.

— Вам бы домой, Максим Максимыч...

— Отставить.

Они пересекли дорогу на светофор и добрались до остановки. Максим Максимыч, как утомленный путник, расселся на железной скамейке и с наслаждением вытянул ноги.

— Красиво их уделал, обязательно брату расскажу, — произнес он. — Чтоб ты и с учениками так справлялся. Чую, ты непрост.

— Давайте я вам такси вызову, — предложил Роман.

— Еще чего. Мне всего остановок пять. Слушай, а справедливо, что русский мужик Мартынов завалил Лермонтова, верно? Это как если бы Максим Максимыч пристрелил Печорина, взбешенный его выходками. По всем канонам дуэльного кодекса. А вон и мой автобус.

— Я пойду, — сказал Роман полувопросительно.

— Ну, иди.

Святая святых

Будучи школьником, Роман мог смутно вообразить, как объясняет у доски тему с мелом в руке и попутно подавляет мятежные очаги на задних рядах. Однако Роману и в голову не приходило, что его допустят в святую святых — на учительское совещание. Тогда мнилось, что на совещаниях доведенные до белого каления Марь Иванны и Зинаиды Степанны пьют чай, плачутся друг дружке в плечо и в порыве злорадства разрабатывают изощренный план мести несносным ученикам.

Перед первым совещанием директор вызвал Романа к себе, чтобы сообщить, что вместо семи часов в 5 «А» молодому специалисту доверили три часа литературы в 11 «А». В приемной стрекотали два завуча — Элина Фаритовна и Рузана Гаязовна, по воспитательной части и по национальному вопросу. Они словно равнялись друг на друга. Кряжистые, с глазами горчичного цвета, с пикирующими к носу бровями, завучи стриглись коротко, красились в медный и носили деловые костюмы. Как завзятые кумушки, они обсуждали отпуск.

Из приемной Роман повлачился в кабинет ОБЖ, отведенный для совещаний. Стены в нем занимали крупные памятки пожарной безопасности и первой медицинской помощи, а также огромный стенд с законом о военной службе. Над доской висели портреты моложавого Путина образца первого срока и неизвестного политика с добрым деревенским лицом. В углу стоял отчужденный манекен ростом со старшеклассника в военной форме с сержантскими погонами. Натянутый на неживую голову противогаз болотного цвета вносил в облик манекена неземные черты.

Педагоги рассаживались за парты. Ирина Ивановна и Артур Станиславович настраивали проектор. Роман, поздоровавшись, занял место рядом с классным руководителем 6 «А», той самой татаркой с заметным акцентом, которая на днях заглядывала познакомиться. Оставалось гадать, какие испытания уготованы новичкам и в какие таинства их посвятят.

Когда с папкой бумаг, поправляя на ходу очки, в кабинет ОБЖ вступил директор, Роман едва не вскочил по старой школьной привычке. Марат Тулпарович пристроился за кафедрой у доски. За рядовым приветствием последовало зачитывание муниципальных указов о начале нового года. Свинцовый слог документов был до того серьезен, что почудилось, будто без одобрения чиновников, к школе имеющих самое отдаленное отношение, четверть и впрямь могли отложить.

— В нашей дружной команде пополнение, — приступил к представлению новичков директор.

Никаких таинств с инициацией не случилось. Марат Тулпарович произносил имя и кратко знакомил коллектив с новичком. Каждый, кого называли, поднимался, получал свою порцию аплодисментов и садился.

Вслед за директором выступали завучи. На доске, куда падал свет проектора, замелькали графики, таблицы, диаграммы со школьными показателями 2014—2015 учебного года. В статистику и отлитые в чугун фразы уложили все: от успеваемости до охвата бесплатным питанием.

Итог подвел Марат Тулпарович:

— Отпуск закончен, и мы вступаем в учебный год с новыми силами. Работу свою мы любим, на работу мы ходим с удовольствием, работа у нас полезная и нужная. Поэтому все у нас будет хорошо! Вы же, братия, не унывайте, делая добро.

На выходе из кабинета Романа задержал за плечо Максим Максимыч. Деланная хмурость, размашистые движения — все это куда-то исчезло. Англичанин будто вычитал между графиками и диаграммами секретное послание, ошеломившее его.

— У меня ученик был. Матвеев. Талантище, сразу видно. Но робкий. Раньше его и замечать никто не замечал. На олимпиаду его отправил я. Бац. Первое место по району. Снова бац. Четвертое по городу. Мне директор и говорит: он самородок, какая удача, что вы его отыскали.

— И что с Матвеевым, — спросил Роман. — Умер?

— Лучше б умер. В гимназию его увели. С углубленным изучением английского. Трансфер века. Самое обидное, что Матвеев мне и весточку не послал. Хотя бы эсэмэс прощальное. Спасибо, желаю, свидимся — гордость не задушить, верно? Вот какая у них короткая память.

Письмо № 2

От кого: Эгегейского Тезея Орфеича, город Кносс, улица Оборванных Нитей, дом 7, квартира 40, 740740.

Кому: Мертвякову Селифану Богдановичу, город Киров, улица Незначительных Беженцев, дом 40, квартира 7, 407407.

Второе мое письмо к тебе за месяц. Готов поклясться на крови младенцев, предыдущее ты не читала.

А у нас сегодня праздник. С большой буквы — День знаний. Все причастные выстроились в круг во дворе школы. По правде говоря, по форме это больше напоминало прямоугольник, но символически означало именно круг. Солнце повисло в безоблачном небе. Физрук, старый дядька, хлопками прогнал собаку, объявившуюся аккурат к началу гимна и норовившую вмешаться в обряд. Директор, как и подобает суровым мужчинам, не лишенным сентиментальности, толкнул речь. Общие слова обрели звучание и смысл. Одиннадцатиклассник Митрохин усадил на плечи девочку-первоклашку с колокольчиком и прошагал вдоль офицерского состава и призывных отрядов.

Мне букетов ученики не преподнесли, но без цветов я не остался. Целых три пышных букета мне всунул в руки Максим Максимыч, еще по одному подарили историк Анастасия Олеговна и татарка — со словами: «От 6 “А”!». Теперь я на полных правах в учительском комьюнити. Одно печалит — имени татарки до сих пор не знаю. Уточнять неловко — знакомились ведь.

Что до страшилок о дедовщине, какими потчуют выпускников, рискнувших податься в школу, то в моем случае эти легенды имеют под собой столько же

оснований, сколько и клонирование мамонта или золото «Спартака» в Премьер-Лиге. Старожилы не задирают нос перед новичками, ни разу я не слышал в свой адрес обращения в духе «подай-принеси-ты-ж-молодой». Напротив, старшие опекают — неназойливо, чтобы не налетел со всего размаху на скалы.

К примеру, Лилия Ринатовна (это тоже учитель по русскому) помогла с программами, а они, надо признаться, кошмарные. Представь, нужно на год вперед расписать уроки по русскому в шестом классе. Сходу и не разберешь, что от тебя требуется: то ли навыки гениального стратега, то ли дар провидца. Я должен распределить, какая тема за какой следует, какое домашнее задание, когда диктант, когда изложение, когда сочинение. В придачу предсказать планируемый результат по каждой теме. И так сто сорок занятий, с сентября по май. Заметь, это лишь русский язык в шестом классе.

Если верить статистике, то погоду в школе делают заядлые троечники, некоторые из них с четвертными двойками. Как видно, к русскому-математике-физике и к дисциплинарным нормам детки не очень-то восприимчивы. На это можно посмотреть и с другой стороны, диалектически, как выражались когда-то. Сопротивляясь налагаемым рамкам, школьники тем самым сигнализируют о своем нежелании социализироваться, то есть подчиняться повсеместным установкам и следовать общепринятым правилам.

Надо сохранить в них этот дух нонконформизма. Иначе невыполненные домашние задания или нелюбовь к школьной форме так и останутся мелкими частными возражениями, не посягающими на правила и установки. Слепое бунтарство быстро иссякает и оборачивается в итоге самым жутким приспособленчеством. Сердце разрывается при виде панков, которые к тридцати годам обзаводятся семьей, скучной работой, пивным животиком, бредут на выборы по велению начальства и послушно празднуют День города.

Внимание, главное. Чего ради затевал это письмо.

Все, против чего восстаю я, сосредоточено в христианстве, в авраамических религиях вообще. Жесткая иерархия, зиждущаяся на безотчетном послушании и повиновении, мнимое равенство, основанное на навязчивой тяге сводить все к единому знаменателю — Богу, узаконенная несвобода, неоспоримые авторитеты, патриархальные нравы, запугивание грядущей расплатой, вмешательство во все сферы жизни, расправа с инакомыслием, оправдание любых деяний руководящего состава, высокий стиль — все это роднит христианство с тоталитарными системами. По-научному это зовется гетерогенностью. Она проникла на все уровни.

На мой взгляд, излишне проводить строгую границу между первоначальными стремлениями христианства и практикой его распространения, между учением Иисуса и испанской инквизицией. То, дескать, религия, а это вера. Принципы, роднящие христианство и тоталитаризм, в полной мере утверждаются уже в Новом Завете. Традиция альтернативной культуры XX века изображать Христа то патлатым хиппарем, то отвязным анархистом, ратующим за любовь, дружбу и справедливость, кажется мне далекой от истины. В Евангелии от Луки Иисус прямым текстом сообщает, что пришел дать земле не мир, а разделение, настроив отца против сына, мать против дочери (глава 12, стихи 51—53). Там же есть эпизод, где Иисус запрещает новому адепту захоронить умершего отца и проститься с семьей, веля вместо этого благовествовать Царство Божие (глава 9, стихи 59—62). Мало соотносится с растиражированным божественным образом, верно?

Стоит только отбросить в сторону идеологические пристрастия и вчитаться в новозаветные тексты, как библейский Иисус предстает вздорным малым, почти самодуром, как бы кощунственно это ни звучало. Посуди сама, он навсегда делает бесплодной смоковницу только из-за того, что она не накормила его. Между тем в Евангелии от Марка говорится, что «еще не время было собирания смокв» (глава 11,

стих 13). Не по сезону обратился, Боже. Какие претензии к дереву, существующему по природным циклам?

Другой фрагмент, не менее известный, связан с заточением бесов в свиней, сбросившихся затем с обрыва. При всем своем безмерном могуществе Сын Божий мог избавиться от нечистой силы иными путями, не прибегая к уничтожению целого стада невинных животных. А он предпочел горделивость, игру мускулами на публику. Может быть, эпизод со свиньями отчасти объясняет увлеченность западной культуры, в формировании которой важную роль сыграло христианство, всяческими шоу? Не буду торопиться с ответом, чтобы не умалять значение древнегреческой драмы, сатурналий, гладиаторских боев и прочих зрелищных достояний античности, где внешний эффект ценен сам по себе.

Для меня не принципиально, есть ли Бог. Очевидны две вещи.

Во-первых, доказать или опровергнуть существование Бога нельзя. Во-вторых, атеизм столь же пристрастен, как и вера. Сегодня модно как носить нательный крестик, так и неразборчиво ссылаться на Дарвина и Докинза, ознакомившись с их воззрениями по цитатам в социальных сетях.

И то, и другое равно свидетельствует о слабом воображении и неразвитом критическом мышлении.

Напористая ожесточенность, с которой насаждается христианское учение, и безапелляционная интонация новозаветных текстов отталкивают меня. Как и Старший Брат, религия внушает страх и требует всецелого поклонения, а я не собираюсь воспитывать в детях раболепие перед кем-либо. Буду наставником, но не пастырем.

Как ни странно, больше всего в Библии меня потрясла сцена из Откровения, малозначимая на фоне других. Процитирую:

«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, из народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» (глава 7, стихи 9 и 10)

Только допусти, покорность в чистой форме, без малейшей примеси сомнения или дискомфорта. Еще страшнее, что в этой сцене стерты различия между языками и культурами, отсечено все неповторимое и уникальное. И все ради того, чтобы верноподданные в униформе, точно под дурманом, раз за разом ублаготворяли слух Всевышнего повторяющимися восклицаниями.

Механически отлаженный процесс.

Все равно что елей из-под крана в неограниченных количествах, без перерасчета на кубометры.

Однородность и замкнутость, подчеркну снова, суть признаки тоталитарных систем. В противовес им я выставляю разнообразие. Я за мирное сосуществование разных традиций и за открытость новаторским идеям, а не за довлеющее положение какой-либо доктрины, какие бы блага она ни сулила, какую бы неземную любовь ни обещала.

По-моему, здесь неуместны софизмы из серии: «Раз ты такой умный, тогда и педофилам слово дадим!», «Привычки каннибалов тоже уважать будем?». Под мирным сосуществованием я не подразумеваю свободу использовать других в собственных целях, будь то свобода чувственных наслаждений или пищевых пристрастий. Возможность диалога не обязательно включает необходимость диалога с насильником, верно? Говоря языком Герберта Маркузе, долой репрессивную толерантность, ведь и она есть часть репрессивного механизма.

Пожалуй, стоит закругляться. А то письмо перерастет в трактат. Мне завтра вставать рано. Не сильно ошибусь, если предположу, что первый день весьма важен.

Доброй ночи.

Ты узел на моей шее.

«А вы добрый?»

Роман поклялся, что запираться изнутри он больше не станет.

В семь утра, закрывшись в кабинете, торжественно вывел на доске число и тему и обложился методичками. В половине восьмого за дверью прорезались детские голоса. Шум нарастал, и вскоре молодой специалист решил впустить шестиклассников. Тут и выяснилось, что ключ в замке не поворачивается. Голоса притихли.

— Он там открыть, что ли, не может? — предположил кто-то смелый.

Упрямый ключ и вовсе застрял. Против всех правил Роман с первых мгновений доказывал свою несостоятельность.

Положение выправила Рузана Гаязовна, завуч по национальному вопросу. Властно постучав, она осведомилась, все ли в порядке. Роман с трудом выдернул злополучный ключ и, бормоча извинения, просунул его под дверью. То были смятенные пять минут.

Поурочный план рекомендовал вступить в учебный год с отвлеченной беседы. Здравствуйте, дети. Шестой класс — это важный этап в жизни каждого ученика. Еще шестой класс можно назвать экватором. Кто знает, что такое экватор? Все желали понравиться и наперебой тянули руку. Особенно упорствовал горластый хитроглазый брюнет, предпочитавший сидеть один. Не без гордости он сообщил, что его имя Ашер Эткинд. Именно его советовала остерегаться Ирина Ивановна.

Компактный одиннадцатый класс насчитывал всего десять учеников, каждый в милицейской форме болотного цвета. Две девочки, восемь парней. Парни, Митрохин и Аюпов, будто условившись держаться вместе, разместились за одной партой. Пусть и не так бойко, как шестиклашки, 11 «А» выразил готовность сотрудничать. Роман сразу дал понять, что легко не будет, загрузив старшеклассников лекцией по русскому модернизму, помянув и крах позитивистских установок, и Ницше с его шизофренией и богоборчеством, и экстравагантного Верлена, который, не рассчитав с абсентом, с топором бегал за женой по дому. Лица учеников выражали заинтересованное недоумение.

Пестрый 8 «Б», которому поставили сдвоенный урок, поначалу оглушил. Никто не дерзил и не зарывался — ученики элементарно не могли наговориться между собой. Даже во время словарного диктанта. Роман то и дело гасил очаги возгорания, увещевая нерадивых болтунов обратить внимание на доску. На второй урок часть класса явилась после звонка. Группа опоздавших, остановленная учителем, топталась на пороге с недоеденными пирожками.

— Вот кто у нас самый безответственный. — Роман нахмурился. — Фамилии?

Нарушители назвались.

— Мусатов, читал Бахтина? «Слово в романе», книга такая. Между прочим, на лето задавали. А ты, Идрисов, Бахтина читал?

Дозволив пришибленным восьмиклассникам сесть, Роман завязал разговор о летнем чтении уже со всеми. Обсуждение ожидаемо вышло кратким. Кто-то осилил «Капитанскую дочку», кто-то «Шинель», кто-то нашел дома на полке «Мартина Идена» и необязательную книгу одолел. Один мальчик, по всей видимости, еще не научившийся лгать взрослым и незнакомцам, якобы нашел в деревне интересную книгу, запамятовав при этом и ее название, и фамилию писателя.

— В литературных произведениях этого года мы не раз встретимся с историческими деятелями — Иваном Грозным, Петром Первым, Емельяном Пугачевым, — сказал Роман. — Надеюсь, эти фамилии вы хотя бы слышали. Например, что вы знаете о Петре Первом? Чем он знаменит?

— Бороды заставил брить! — гаркнул со второй парты низкорослый веснушчатый мальчуган.

— Царь это, — последовал неуверенный ответ с задних рядов.

— Почти угадали. Император. В каком веке он правил?

— В двадцатом...

На перемене, предшествовавшей заключительному уроку, Роман понял, что с 8 «А» нужно держать ухо востро. Создалось ощущение, что сюда сослали всех отщепенцев, не уместившихся в 8 «Б», и для баланса разбавили агрессивную компанию несколькими приличными ребятами. К несчастью последних. Два малолетних бандита с наглыми лицами, один в розовой рубашке, другой в голубой, до вмешательства Романа перекидывались пеналом тощего паренька, который подпрыгивал чуть ли не до потолка, чтобы перехватить пенал в воздухе. Самого учителя, нарочито увлеченного ноутбуком, обступили ухмыляющиеся школьницы в коротких юбках.

— А вы добрый?

Крашеная блондинка с распущенными волосами не сводила с Романа бесстыжих глаз.

Любой прямой ответ равнялся поражению в микродуэли. Да, добрый. Нет, злой, детей ем на завтрак. Чудовищно неубедительно.

— Всему свое время, — не сразу отреагировал Роман, мысленно давая себе клятву в ближайшие сорок пять минут быть ироничным, насколько это возможно.

Ученицы не нашлись, как продолжить разговор. Иногда лучше ляпнуть загадочную чушь.

После звонка на урок 8 «А» начал торговаться. Доверенным представителем выступила Хафизова, староста, полная девушка с командирскими нотками в голосе.

— Раньше у нас историк был. Мы не болтали, а он ставил четверки.

— Вы советуете мне следовать его примеру?

— Да! Ставьте нам хорошие отметки, мы тоже тихо сидеть будем.

Великодушие делающих первые шаги гангстеров умиляло. В обмен на никчемный товар — четвертные оценки — эти мастера сделок предлагали безусловную драгоценность — спокойствие учителя.

— А где сейчас этот историк? — поинтересовался Роман.

— Уволился! — объявил хулиган в голубой футболке. — У нас часто учителя увольняются. По истории уже четыре сменилось.

— С пятого по седьмой класс?

— С пятого по седьмой. Мы такие! — улыбался парнишка, как перевыполнивший норму трудяга.

Учебник он вытащил, чистую тетрадь — нет.

— Гордость переполняет, а, рядовой?

— Чего?

— Уволившиеся учителя — типа достижение?

— Типа да.

— Тоже мне, достижение. Если б ты собрал рекордный урожай зерна, тогда да.

Впрочем, какой урожай? Роман был готов биться об заклад, что наглец не отличит пшеничный колос от ржаного.

От обсуждения прочитанных летом книг передовые люди 8 «А» манерно воротили нос. Само предположение, будто они читают книги, вызывало у заводил класса усмешку. Глядя на них, те, кто поприличнее, также избегали открытой беседы. Особняком держался одинокий толстяк, размером с приличный шкаф, в белой сорочке навыпуск. Богатырь меланхолично глядел в окно, отрешившись от происходящего. Поурочный план трещал по швам. Сознание Романа заполонял страх.

Он обязан проявить цепкость на первом занятии. Обязан защитить тех, кто готов учиться и не валять дурака. Иначе в дальнейшем отношения не построить, будь ты хоть первоклассный психолог...

— А сколько вам лет? — осведомилась юная особа с квадратным лицом, расположившаяся рядом с любопытной блондинкой.

— Пятьсот восемьдесят! — заорал Роман. — Открываем страницу номер три. По цепочке читаем по одному предложению! Спросить могу любого! Кто не следит — двойка в журнал!

И этих Ирина Ивановна отрекомендовала как «неугомонных товарищей». Еще чуть-чуть, и Роман выкинул бы парочку отборных негодяев в окно. Для острастки.

Пришибленного Романа, мрачно потягивающего минеральную воду, обнаружила в кабинете классный руководитель 8 «А» Энже Ахатовна. Молодой специалист так устал, что не нашел в себе сил во всех готических красках обрисовать ее вампироподобных подопечных. Энже Ахатовна, сочувственно кивая, обещала завтра же утром разобраться.

Вернувшиеся из школьных лагерей, выдернутые из подъездов, оторванные от компьютеров, школьники источали энергию и не намеревались направить ее на созидание. Суровые дети, которые по неведению разбивают в пух и прах идеалистические учебники по педагогике, предписывающие не травмировать нежную детскую психику. Не знаете истории — будет вам история. Будет вам травматический дискурс. Не хотите жить по анархии, по Бакунину, — придется терпеть фашистскую диктатуру и просвещенный абсолютизм. Или непросвещенный. Как получится.

Дома Роман завалился на диван, последнее пристанище чуткого и ранимого человека в России. Учитель мечтал сжаться до размеров халата, чтобы его засунули в стиральную машину и запустили барабан на всю мощь.

Агент под прикрытием

Менее чем за сутки 8 «А» чудодейственно преобразился.

Каждый из детей поздоровался и до звонка приготовил на парте учебник, тетрадь и ручку. Приблатненный Аксенов в розовой рубашке, давеча кидавшийся чужим пеналом, выразил желание сменить воду в ведре и помыть доску. Толстяк Гаранкин, посвятивший ознакомительный урок созерцанию заоконного пейзажа, предпочел трудиться наравне со всеми. Девочек словно перестали занимать обстоятельства биографии загадочного Романа Павловича. Класс встал на путь перековки.

Решать упражнение вызвалась Камилла Залилова, нарядная девочка с собранными в хвостик волосами. Ее лукавый взгляд наводил на подозрения, что тонкие белые гетры, скрывающие колени, Камилла надела не в последнюю очередь ради молодого учителя. Впрочем, со сложным заданием она справилась превосходно, лишь однажды допустив ошибку и написав «еще непроверенный путь». Когда Роман объявил о пятерке, Залилова неспешно, с достоинством вернулась на место за дневником и столь же неторопливо принесла его учителю, хлопая ресницами.

— В конце урока надо дневник давать, — сказал Роман, но оценку вывел.

На перемене Энже Ахатовна поинтересовалась, как вел себя ее класс. Восторженный Роман рассыпался в благодарностях, уверяя, что прежде не встречал таких метаморфоз. Приходилось внутренне признать долю истины в словах святого апостола Иуды, утверждавшего, что иных следует спасать страхом, исторгая из огня, потому что некоторые расценивают дружелюбие и милость как слабость.

Перед занятием с шестиклассниками Роман повстречался в коридоре с Маратом Тулпаровичем. Он осматривал свои владения, время от времени упирая руки в бока и останавливаясь возле какой-нибудь батареи или двери. Завидевшие директора издалека школьники, все, от мала до велика, соскакивали с подоконников и на всякий случай убирали оттуда и портфели.

— Роман Павлович, в середине урока прозвенит тройной звонок, вы не пугайтесь, — сообщил директор. — Мы организуем учебную пожарную тревогу. Вы должны построить детей и вывести через один из выходов.

— Будет выполнено, Марат Тулпарович, — заверил Роман. — Никто не пострадает.

Как назло, тема намечалась интересная и важная — обрядовый фольклор и его значение в культуре Древней Руси. Пришлось урезать материал на ходу, и Роман все равно не успевал из-за обилия вопросов от школьников, некстати вторгающихся в учительский рассказ.

— Вы нам про экзорцизм расскажете? — произнес веснушчатый Шавалиев, застегнутый на все пуговицы, несмотря на духоту в кабинете.

— Это почему? — удивился Роман.

— У нас же обряды. А экзорцизм тоже обряд.

— Если бы я был занудой, Шавалиев, я бы сказал, что экзорцизм — это не фольклор, поэтому изгнание демонов — это не по нашей теме. Однако я ценю твой интерес. Какие фильмы об экзорцизме смотрел?

— Ну, всякие, — замялся ученик. — Там еще к девушке монах приезжал в деревню и связывал. У нее вены на лице вздувались и платье порвалось.

Разговор про календарные обряды также сбивался с курса.

— Чего они какие тупые были, эти древние славяне? — воскликнул Эткинд. — Чучел сжигали, чтобы весна пришла, хороводы водили. Ясно же, что и так зима закончится и снег растает.

— А ты умный?

— А я умный. — Эткинд зубасто улыбнулся.

— Друзья, кто верит в примету о черной кошке, которая перебегает дорогу? — обратился к классу Роман.

Рискуя остаться в гордом одиночестве и прослыть мракобесом, он первым поднял руку. За учителем последовали другие: кто — уверенно и сразу, кто — колеблясь. Две трети класса, включая и Ашера, опасались черных кошек.

— Вот видите, — сказал Роман. — Почему в сожжение чучела мы не верим, а в черную кошку верим? Никто не вел статистику несчастных случаев, возникших по вине усатой живности. И почему непременно черная? Не серая? Не черепаховая?

— Это другое же, — возразила девочка, до того все время молчавшая. Ее имени Роман не вспомнил. — Весна по-любому придет, а с черной кошкой еще неизвестно, повезет или нет.

Класс с шумом одобрил мудрые слова. Роман снова был вынужден искать доводы.

— Неужели вы думаете, что единственная цель обряда заключалась в том, чтобы всеми способами отделаться от зимы? — спросил Роман, тщательно продумывая фразу на ходу. — Неужели все эти ритуалы устраивались лишь ради того, чтобы сжечь чучело?

Стройный блондин со второго ряда, поразмыслив, ответил:

— Роман Павлович, может быть, обряд — это причина собраться вместе? Наши предки общались, пели, готовили еду.

— В точку! Как фамилия?

— Самодин.

— Пятерка, Самодин! Молодец!

Похваленный ученик, по-прежнему серьезный, едва заметно кивнул. Роман прошагал к учительскому столу, открыл в ноутбуке электронный журнал и с довольным видом поставил Самодину заслуженную оценку. Радость учителя подкреплялась тем, что шестиклассник лаконично сформулировал мысль, которая зарождалась у Романа и никак не облекалась в словесную плоть. Мысль, интуитивно казавшаяся верной.

— И не только поэтому неправильно считать наших предков тупыми, — сказал он, отвлекаясь от экрана. — И в современную эпоху у людей много странных убеждений, непонятно на чем основанных. Многие, например, верят, будто чем лучше товар разрекламирован, тем он качественнее. Или будто изобретение лекарства от рака сделает человечество счастливым. Или что технологический прогресс — это главный показатель развития...

Роман почувствовал, что сейчас он напоминает брюзгливого старика, поносящего плееры с наушниками и прочие новшества.

— Между прочим, заметьте, — сказал учитель после секундного замешательства, — если древние крестьяне объединялись и устраивали обряды по доброй воле, то с течением времени массовые мероприятия потеряли привлекательность и в них заставляли участвовать. Скажите честно, всем нравятся линейки, смотры строевой песни, спектакли для родителей и начальства и прочая дребедень?

Класс единодушно выразил протест против массовых мероприятий, лишь староста Софронова добавила:

— Хэллоуин ничего, там реально весело.

Диалог прервался, потому что прогремел звонок. Трижды подряд. Дети в недоумении переглянулись.

— Всем сохранять спокойствие, — сказал Роман. — В нашу школу прокрался злоумышленник и поджег ее.

Шестиклассники, смеясь, охотно строились в шеренгу по парам. Одинокий Эткинд рвался руководить колонной, за что был поставлен в конец.

Краем глаза Роман заметил в дальнем конце коридора распахнутую дверь, до того всегда запертую. В проеме без суеты исчезали друг за другом ученики с сопровождавшими их преподавателями. Очевидно, второй лестничный проход открыли на время учений по пожарной тревоге.

Учителя, осведомленные о пожарной тревоге, появлялись с классами из главного и запасных выходов и вели детей на спортивную площадку, в точку сбора. Всякий педагог будто стремился явить образчик дисциплины и надежности. Хмурый Максим Максимыч на фоне гогочущих пятиклашек, змейкой следовавших за ним, смотрелся еще огромнее и апатичнее. Андрюха в солнцеотражающих очках нес в каждой руке по красному огнетушителю. Марат Тулпарович в окружении завучей настраивал микрофон. Еще одна навязанная форма единения для отчетности.

— А вы служили в армии? — спросил Шавалиев.

— Спецназ, — буднично произнес Роман.

— Ого! — мальчики подобрались ближе.

— Вообще-то мне не положено об этом рассказывать, — сказал Роман. — Я агент под прикрытием. В школе обнаружился американский диверсант, начальник разведки поручил мне его вычислить. Каждый день прилетаю сюда на вертолете из Москвы. Дело государственной важности.

— Мы знаем, кто диверсант, — сказал Эткинд и ткнул пальцем в тщедушного паренька, державшегося в сторонке. — Это Ильназ!

— Это не я! — обиженно вскрикнул Ильназ Хаирзянов.

С нездоровым желтым цветом лица и тоненьким голоском, с неровно подстриженными висками и спрятанными в карманах руками, он меньше всего казался неприступным.

— Точно, Ильназ! — воскликнули остальные. — Сдавайся, агент, тебя раскололи!

Намечавшуюся перебранку прервали треск микрофона и директорское «раз, раз». Все приготовились слушать речь об успешной эвакуации.

Боевое крещение

Роман изобрел многообещающий способ бороться с опозданиями. Явившегося после звонка ученика он останавливал на пороге и заставлял прочитать стихотворение или спеть песню — на выбор. Система имела свои упущения. Заторможенный Халитов, судя по виду закоренелый троечник, признался, что ни песен, ни стихов не помнит, и без пререканий согласился на альтернативу — десять отжиманий от пола. Возник

вопрос о девочках, которым отжиматься не предложишь. Тогда Роман для себя решил, что у тех из опоздавших, кто предпочтет скрыть вокально-декламаторские таланты, домашнее задание будет проверяться в первую очередь. И никаких исключений.

Не обошлось без конфликтов. Мурашов из 8 «Б», брюнет с рыбьими глазами, с тонкими, почти бесцветными губами, заявился на урок в момент, когда Роман записывал на доске правило, параллельно его комментируя. Мурашов бросил на ходу «здрасьте» и направился к парте.

— Здравствуй, Егор. Вернись, пожалуйста, к двери.

Мурашов нехотя повиновался.

— Можно войти? — пробурчал он.

— У нас новое правило, — сказал Роман, сохраняя благожелательный тон. — С того, кто опаздывает хотя бы на минуту, стихотворение или песня. Любой куплет или припев.

Мурашов стоял с угрюмым выражением на лице.

— Я не знаю, — сказал он.

— Не беда. Тогда с тебя десять отжиманий.

— У нас не физкультура.

— У нас принято приходить вовремя.

— Не буду я ничего делать. Вы не имеете права меня заставлять.

По рядам зашептались. Взгляды Романа и Мурашова пересеклись. Ученик не боялся, смотрел с вызовом. Дело было не столько в смелости, сколько в наглости, которую до поры обуздывали предписания: возрастные, социальные, в меньшей степени этические.

— Игорь, ты отнял у всех нас время, — сказал Роман. — Я мог бы задержать класс на три минуты после звонка, но много людей не должны страдать из-за одного безответственного. Сдавай тетрадь и садись. Еще поговорим.

Домашняя работа в тетради отсутствовала. Неряшливая классная обрывалась предложением с незавершенным синтаксическим разбором.

— Где десятое упражнение?

— У нас гости были.

— Два. В журнал.

Мурашов начал возмущаться, но Роман в перепалку не вступил.

Под конец рабочего дня он успел забыть о конфликте. Тем неожиданнее оказался визит матери Мурашова. Как и сын, она не считала нужным стучаться. Она коршуном нависла над Романом. Пепельная краска не шла кудрявым волосам незваной гостьи, от нее раздавался приятный и вместе с тем резкий запах духов.

— Не хотите извиниться? — вместо приветствия поинтересовалась она.

Роман растерялся лишь в первую секунду. Прежде чем заговорить, он заученно набрал полные легкие воздуха.

— Меня зовут Роман Павлович, и я не уверен, что вы обратились по адресу. Если я могу чем-то помочь...

— Сколько вам лет?

Бесцеремонность вошедшей не вывела Романа из себя.

— Присядьте, пожалуйста. Я решительно ничего не понимаю.

Приглашение сесть гостья проигнорировала. Она критическим взором обвела все вокруг, на миг задержав глаза на портретах классиков.

— Как вы смеете унижать моего сына перед классом? Заставлять петь, отжиматься?

— Ваш сын — Егор? — догадался Роман.

И как он сразу не обнаружил сходства? Те же скользкие рыбьи глаза, та же линия губ, та же манера едва разжимать рот при разговоре.

— Какое право вы имеете мстить, ставя двойки? Разве такое поведение достойно учителя? У вас педагогическое образование вообще есть?

— Я никого не заставляю. — Роман старался сохранять спокойствие. — Я не думаю, что прочесть стихотворение перед классом — это унизительно. И двойку я поставил за отсутствие домашней работы, а не из мести. Повторюсь, ни о чем постыдном я не прошу. Быть может, вы полагаете, что это верх порядочности — врываться в кабинет, взывать к совести и всячески грубить. Я иного мнения.

Пожалуй, многословно и слишком много оправданий.

— Мой сын звонит мне, расстроенный, говорит, что вы на него накричали, обозвали! Егор мне никогда не врет! Как думаете, улучшится у него отношение к русскому языку?

Роман с трудом удержался от встречного вопроса, улучшится ли у русского языка отношение к Егору.

— Как я его обозвал?

— Это вы мне скажите.

— Пообщайтесь с классом. Дети подтвердят, что никто на вашего сына не кричал и никто не обзывал. А школьный устав существует для всех, и про опоздания там написано.

— Вы какой вуз закончили? Покажите диплом.

— Московский университет. Филологический факультет. Копия диплома лежит у директора. Если будут детальные возражения, всегда готов выслушать. А теперь прошу извинить, у нас совещание.

Роман закрыл ноутбук и поднялся из-за стола.

— Я вас научу уважать права детей, — остервенело произнесла Мурашова. — Я все разузнаю о вас. По судам затаскаю.

— Составляйте петицию. Обращайтесь в Страсбург. Всего доброго.

Внутри все клокотало. Роман будто отстоял честь русского языка и литературы на глазах у классиков на портретах — сплошь дуэлянтов, картежников, заядлых спорщиков.

В кабинете ОБЖ, где проводились совещания, ничего не изменилось, разве что манекена в противогазе повысили. Вместо сержантских лычек на его погонах красовались лейтенантские звездочки. Роман снова сел за парту с классным руководителем 6 «А», татаркой, имени которой не запомнил. Она справилась относительно своих подопечных и отдельно — насчет Эткинда, который за неполную неделю вывел из себя двух учителей: по физкультуре и по химии. Роман заверил, что все отлично.

Директор начал совещание с зачитывания нормативных актов. Всех повеселил запрет на пользование мобильниками во время уроков.

— Марат Тулпарович, как быть, если ученик раз за разом достает телефон, а двойка за поведение его не пугает? — спросила Лилия Ринатовна, учительница по русскому, помогавшая Роману с программами.

— Забирайте телефон. Вы имеете полное право отнять его и выдать только родителям.

— Кулаками отбирать? — поинтересовался Максим Максимыч. — Может, в полицию звонить?

— Не удается забрать — вызывайте родителей. Доведите запрет до них. Пусть работают со своими детьми.

Судя по лицам Лилии Ринатовны и Максима Максимыча, ответ их не удовлетворил.

Затем директор объявил, что в следующую субботу РОНО организует для сотрудников школы поездку на остров-град Свияжск, и велел никому не пропускать мероприятие. В речи прозвучали окаменевшие словосочетания «дружный коллектив» и «культурное событие», ассоциировавшиеся с чем угодно, только не с культурой и дружбой.

После совещания Роман рассказал Максиму Максимычу о взбалмошной Мурашовой. Англичанин закатил глаза, хлебнул чаю и изрек:

— Не подумай, что я за лагеря, за массовые расстрелы и все такое. Ненавижу, когда посягают на мою свободу, и поэтому не посягаю на чужую. Но тварей, которые чуть что качают права, требуют документы, грозят судом, тоже не выношу. Считаю, что с каждым надо пытаться по-хорошему все уладить, потому что с порядочным человеком можно любой конфликт словами разрешить. Ведь так? А эту юридическую муру про суды стоит подключать, если только перед тобой законченный негодяй или совсем невменяемый тип.

— У нее юридическая терминология пополам с базарной руганью, — сказал Роман.

— С боевым крещением, — похлопал его по плечу англичанин. — Родительский наезд — неотъемлемая часть учительской профессии.

Любопытно, как Максим Максимыч расценил эпизод в трактире, когда Роман затребовал с зарвавшегося персонала запись с камеры? Тоже как качание прав?

Печально я гляжу

На перемене к молодому специалисту подошла Энже Ахатовна, классный руководитель 8 «А», и сказала:

— Роман Павлович, подпишите, пожалуйста, бумаги по вступлению в профсоюз. Все учителя вступают.

Членство стоило двести рублей каждый месяц — один процента от зарплаты. И взамен ничего. Ни защиты прав рабочих, ни требований увеличить жалованье, как положено в профсоюзе.

По завершении занятий Роман столкнулся с директором на первом этаже. Марат Тулпарович возвращался из крыла начальной школы. Кратко справившись о делах, он добродушно порекомендовал избегать крайних мер в борьбе с опозданиями, а именно исключить стихи и песни.

Мурашова все-таки донесла.

— Ставьте в дневник двойку за поведение, — сказал директор. — Если опоздания войдут в привычку, пишите докладную на мое имя. Разберемся.

Первому нововведению хода не дали. Битва была проиграна.

Дома обозленный Роман заварил чай и устроился в комнате перед экраном ноутбука. Прозрачный чайник и сахарница, полная рафинада, расположились на учебнике русского языка за 8-й класс.

Настала пора ближе познакомиться с учениками.

То есть прошерстить их страницы в сети.

Для присутствия «ВКонтакте» Роман, удаливший свой аккаунт перед отъездом из Москвы, создал поддельный на имя Дьюлы Грошича. Не то чтобы Роман фанател от знаменитого венгерского вратаря или сокрушался по поводу неудачи мадьяр в финале ЧМ-1954 с немцами. Дьюла Грошич — прежде всего это красиво звучит. Хлестко, мощно. Ничуть не менее эффектно, чем Ференц Пушкаш. Или Ричард Чемберлен. Или Лев Толстой.

Раз пошла футбольная тема, для начала Роман принялся искать «ВКонтакте» заторможенного восьмиклассника с лошадиной фамилией, путающего глагол с наречием. На первых занятиях Гриша Слуцкий выглядел заспанным, на последних — утомленным. На аватаре у него разместился покрытый шкурами суровый усатый викинг с рогатым шлемом.

Через список друзей Слуцкого «Дьюла Грошич» попал на страницы его одноклассников по 8 «Б». Выяснилось, что некоторые из них посещают секцию гребли

в местной спортшколе. Мусатов, Идрисов, Шишкин и Халитов регулярно выкладывали фотографии с тренировок на воде и занятий в спортзале, довольно поигрывали в кадре крепнущими мускулами. В подростковом желании вызвать восхищение пусть крохотными, зато не надуманными достижениями Роман ничего предосудительного не находил. Наоборот, гребцы импонировали ему открытостью и простотой, они не бросали вызов учителям и не самоутверждались за счет слабых. Стена у Мусатова и его друзей пестрела схемами с упражнениями по становой тяге и таблицами с содержанием белка. Также спортсмены любили грубые шутки и делали перепосты с брутального паблика, где достойные и незатейливые, в общем-то, цитаты о том, как важно верить в мечту, беречь любимых и не кидаться словами, перемежались фотографиями полуголых девиц в обтянутых джинсах. Привычные мужицкие ценности в концентрированном виде, нравится это вам или нет.

Гоповская гвардия из 8 «А» предпочитала другие локации для фотосессий: дворы, подъезды, гаражи. Если бы Роман взялся за сценарий фильма о малолетней хулиганской братии, он бы избрал те же самые фоны. В спортивных обносках, в натянутых поверх кепок капюшонах, с гордо выставленными вперед средними пальцами — шпана с ее грязными ужимками будто пародировала саму себя. Нелепо, что эти самые комичные никчемушники отравляли существование десяткам детей, приучая их жить в страхе. Из таких никчемушников вырастали упыри, полагающие своим долгом ткнуть человека носом в его слабости и недостатки.

На фотографиях с гопниками попадались Идрисов и Шишкин, а также веснушчатый болтун Марютин из 8 «Б», на одном из уроков вспомнивший о брадобрейских инициативах Петра Первого. Шпана тоже питала теплые чувства к низкосортному юмору и подписывалась на пацанские паблики, наводнявшие сетевое пространство фразами из «Брата», «Бумера» и «Бригады». Цитаты о братьях по крови и беспокойной душе бродяги приправлялись соответствующими картинками и песнями Круга и «Каспийского груза». На одном из изображений бритоголовая братия в тельняшках распивала водку на кухне. Фотографию украшала надпись «Алкоголь — это анестезия, помогающая перенести операцию под названием жизнь». Роман не без труда опознал слова Бернарда Шоу.

Гопники на фотографиях пускали дым плотными клубами, окружали себя пивом, позировали за рулем авто, тискали девушек. Среди последних узнавались ученицы восьмого, девятого и даже десятого классов, гордые своей причастностью к изуродованному миру. Со шпаной водили дружбу и сравнительно приличные девочки, та же Залилова.

Впрочем, не будь Роман с ней знаком, он бы не рискнул дать ей определение «приличная». Камилла, как и многие ее ровесницы, жаловала группы «Шкурные интересы», «50 оттенков серого», «69 оттенков пошлости», «Шепот разврата» и им подобные. В группах участники делились своими интимными похождениями и выкладывали обучающие видео на тему «Эрогенные зоны. Где искать? Как воздействовать?». Роман не помнил, чтобы в четырнадцать-пятнадцать лет задавался такими проникновенными вопросами, притом что духовную семинарию не оканчивал. Лишь спустя годы вместе с К., будучи навеселе, они заходили на страницу «Шепот разврата», чтобы с притворным придыханием зачитать друг другу чужие истории и рассмеяться.

В третий раз заливая кипятком ромашку, он поймал себя на мысли, что отвар, вопреки своим свойствам, не успокаивает, а будоражит. И еще осознал, что идеализирует прежние нравы в пику нынешним и обличает тех, кто младше. Верный признак старения...

В десятом часу обнаружил, что напрочь забыл связаться по «скайпу» с Антоном, одиннадцатиклассником из Москвы, который готовился к ЕГЭ. Репетитор чертов. Может, ученик согласится восстановить занятие. А не то минус тысяча рублей.

Воинственный утопизм

Поначалу Роман с опаской смотрел в глазок перед выходом из квартиры, а затем привык. Соседи не докучали.

Рузана Гаязовна, составляя расписание, сделала молодому специалисту нежданный подарок: установила ему методический день в понедельник. Роман наслаждался сдвоенным выходным на диване. В воскресенье отправил весточку родителям, посмотрел цикл передач по истории Древнего Египта, провел по «скайпу» занятие с Ильей, девятиклассником из Барнаула. Илья держался молодцом, употреблял редкие для ученика слова «гнушаться» и «недомолвка». Напоследок Роман велел алтайцу перечитать «Левшу» и занести в тетрадь самые яркие языковые находки Лескова.

В том, чтобы связаться напрямую с человеком из другого часового пояса с целью поведать ему о синонимах и антонимах, мнилось что-то потустороннее. Как будто гадать по фотографии или оформлять справку о доходах в фирме, где никогда не работал.

Саднило горло, письмо К. не писалось. Что более существенно — рушился замысел, ради которого затевалась вся эта эпопея. Детей не интересовали, по большому счету, ни свобода, ни справедливость, ни избавление от конформизма. Они твердо верили, что умнее мамы и папы, а тем паче и бабушки с дедушкой, что прогрессивнее и практичнее их, что деление столбиком унижает при наличии калькулятора, а перепихон в машине или на кухне — верх раскрепощенности и предел удовольствия. Те, кто сильнее, без раскачки наводили свои порядки везде, где только можно, и кормились чужим восхищением. Самые наглые — и страхом вдобавок. Те, кто слабее, мучились от накопленных обид и искали отдушину в виртуальном пространстве, огнем и мечом очищая от злодеев вымышленные миры и добиваясь воображаемого признания. Эдакий нестройный отряд Уолтеров Митти, но с хромой фантазией и стерилизованными мечтами.

Навязанная — разношерстным окружением, стечением обстоятельств, новостным потоком, раскрученными фильмами, рекламой с экранов и билбордов — логика рано или поздно приведет каждого ученика к заключению, которое предстанет как неисправимо горькая мудрость — нехитрая, зато окончательная. Не прочитав и строчки из Гоббса, дети вырастут и придут к выводу, что они зажаты в тиски. По одну сторону — спятивший от избытка власти и мании все держать под контролем старик-государство с крючковатыми пальцами, все еще могучий и гарантирующий какую-никакую безопасность. По другую сторону — разнузданность, алчность и полное отсутствие совести, воплотившиеся в делягах, менялах и прочих воротилах разного пошиба, несильно стесненных писаным законом. Выбраться из тисков невозможно — заявит едва ли не любой из этих детей, когда вырастет. Будь ты воспитательницей из младшей группы, дамочкой с мартини, попом в рясе, волейболистом, штукатуром или бродягой на нарах, ты разделишь эту логику, если позволишь себе принять ее правила и преломить хлеб с теми, кто считает, что человек человеку волк.

Неужели Роман возомнил, будто сумеет убедить учеников, что жизнь может быть иной — без Левиафана? Что человек вовсе не велик, как уверяют некоторые писатели, но и демонизировать его — поспешный ход?

Что парадоксально: сложные вещи иногда объяснить проще, чем очевидные. Казалось, ученикам легче растолковать, что такое феноменология духа или эпистема у Фуко, чем внушить представление, что учеба не столь плохая штука и каждый имеет право требовать справедливости.

Как ни тривиально, остается засучить рукава и трудиться. Или сбежать из школы через неделю. Извините, мол, переоценил себя.

Мысленно засучив несуществующие рукава на желтой футболке, Роман наварил

перловки на вторник и среду. В школьной столовой молодой специалист не был замечен главным образом потому, что носил еду в контейнере и чай в термосе и обедал после уроков в кабинете.

Ночь перед очередным будничным испытанием выдалась беспокойной. Через стенку назойливо тянуло табаком, точно соседи думали думы, смоля сигарету за сигаретой. Бессчетное количество раз перевернутая подушка разогрелась до последнего квадратного сантиметра. Чтобы заглушить стук сердца и молоточки в висках, Роман в темноте босиком прошагал сорок четыре круга по комнате — по двадцать два в обе стороны — и снова лег. В постели молоточки настигли.

Гордыня и гнев

— Здравствуйте, Роман Павлович! Вы не будете возражать, если я поприсутствую на вашем уроке?

Нагрянувший на четвертый этаж Марат Тулпарович с толстой белой папкой под мышкой переступил порог кабинета русского языка и выбрал место в последнем ряду. Предстоял разбор «Господина из Сан-Франциско» в 11 «А», до звонка оставалось пять минут. С началом недели, дорогая инспекция.

Ученики, все в милицейской форме, переглядывались и шептались, смущенные директорским надзором. Трели звонка подняли их из-за парт. Роман решил не ломать привычную схему урока. Согласно ей, перед совместным обсуждением текста в одиннадцатом классе каждый по очереди высказывал собственное впечатление.

— Мне рассказ понравился больше, чем «Антоновские яблоки». Тут есть сюжет, а там его нет. На первой странице мне показалось, что дальше будут приключения...

— Мне рассказ не очень понравился. Я все ждала, что с героем случится что-то важное, а он умер неизвестно почему. Его даже не жалко. Вот смерть Оли из «Легкого дыхания» была трагичной...

— Мне текст понравился...

Марат Тулпарович словно бы целиком погрузился в документы из белой папки и не слушал.

Когда ученики отстрелялись, слово взял Роман.

— Скажу вещь, какую учителю говорить не положено. Статус не позволяет. Тем не менее буду с вами откровенным. Я бы солгал, если бы заявил, будто чтение Бунина приносит мне удовольствие.

Все в классе подобрались, даже Марат Тулпарович поднял голову.

— Безусловно, я ценю мастерство писателя, но когда я читаю «Антоновские яблоки», или «Темные аллеи», или «Грамматику любви», у меня возникает чувство, будто я еду на дряхлой телеге по осенней грязи. Накрапывает дождик, лошадь еле плетется, спицы застревают в колее, ямщик напевает тоскливую песню, а дороге нет конца. И неясно, куда путь ведет, зачем.

— Тогда почему Бунина в школьную программу включили? — робко поинтересовалась Гафарова, блондинка на втором ряду.

— Резонный вопрос, Диана. Когда я признался, что ценю бунинское мастерство, я не лукавил. Моя задача состоит и в том, чтобы вы научились правильно определять сильные и слабые стороны любого явления. Пожалуй, многие согласятся, что Бунин — автор неувлекательный. И характеров ярких, мясистых, бьющих наповал, как у Грибоедова или Гоголя, у него нет. Зато проза Бунина обладает своими достоинствами, которые отметили в Нобелевском комитете. Если бы я предложил вам выступить в качестве адвокатов Ивана Алексеевича, на что бы вы обратили внимание в первую очередь?

На брошенный клич никто не отозвался. На доске, под темой, Роман нарисовал единичку.

— С такими заступниками приговор будет неутешительным, — сказал Роман. — Тогда начну я. Первый аргумент в защиту, он же самый очевидный. Бунин великолепно владеет деталью. Его художественный мир населен разнообразнейшими цветами, звуками, вкусами, запахами. Припоминаете, какой сигнал слышат пассажиры перед обедом?

— Вроде гонг, — сказал Митрохин.

— Если точнее, китайский гонг. На протяжении всего рассказа возникают фоновые звуки: звенит гонг, завывает сирена, играет оркестр...

Кимранова, листавшая на первой парте сборник бунинских рассказов, не отрывая глаз от текста, торопливо и невыразительно зачитала фразу:

— «Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей». Здесь говорится, что есть звуки громче сирены.

— Верно, Аида, и это важное наблюдение. Какими бы громкими ни были звуки цивилизации, им не сравниться со звуками стихии: с бурей, ветром, вьюгой. К этому мы вскоре вернемся.

Роман написал на доске, рядом с единичкой, слово «Деталь».

— Кто-нибудь, кроме меня, желает выступить адвокатом? — снова обратился к классу Роман.

Гафарова неуверенно подняла руку.

— Я бы к плюсам отнесла напряженную атмосферу. Весь рассказ я ждала, что произойдет что-то особенное.

Под первым пунктом Роман нарисовал похожую на лебедя двойку и вывел рядом с ней слово «Атмосфера».

— И, наконец, третий аргумент. Прежде чем перейти к нему, мы все послушаем пересказ «Господина из Сан-Франциско» в исполнении Марселя.

Аюпов, засмущавшись от улыбок вокруг, опустил голову. Розовощекий, с кудрявыми волосами песочного цвета, он смотрелся бы уместней не в милицейской форме, а в футболке с заковыристым принтом, бриджах и кепке козырьком на затылок.

— Пересказывать? — переспросил Аюпов.

— Именно.

— Ну, на старости лет богатый американец отправился в кругосветное путешествие... — начал Марсель.

— Звучит как первая фраза многообещающего анекдота, — сказал Роман.

Смешки одноклассников храбрости Аюпову не прибавили.

— Он взял с собой жену и дочь и купил билеты на пароход «Атлантида»... — Марсель почесал лоб и обреченно замолк.

— Рекламная пауза? — поинтересовался Роман.

Аюпов, придавленный смехом, неловко улыбался. Марат Тулпарович, подавшись вперед, наблюдал с последней парты за развитием ситуации.

— Я бы на твоем месте, Марсель, так не расстраивался. Едва ли кто перескажет текст лучше, чем ты. Даже учитель.

11 «А» затих, гадая, шутка это или нет.

— В действительности, в пересказе «Господин из Сан-Франциско» превращается в невразумительную и скучную историю. Богатый американец отправляется в кругосветку, как давно мечтал. Погода обманывает ожидания, маршрут корректируется. Запланированная радость отменяется, американца преследует немотивированная тревога. А затем он, вопреки логике, умирает. Вот вам и фабула. Однако настоящий смысл рассказа гораздо богаче внешнего плана. И в этом заключается третье достоинство прозы Бунина.

На доске появилась запись «Искусство выражения мысли». Роман так и не сумел

дать толковое название третьему пункту и внутри нещадно критиковал себя за это. Что за искусство выражения мысли? Что за очередная высоколобая глупость?

— С младших классов вы пересказывали тексты. Было такое?

— Постоянно!

— И в выпускной год прийти к выводу, что лучшие произведения пересказу не поддаются. Самое ценное спрятано между строк. Мастеровитый автор — это тот, кто способен ясно и емко доносить свои мысли, не озвучивая их напрямую...

Ученики с широко раскрытыми глазами впитывали прописные истины. Роман не находил в их глазах понимания, но видел желание понять.

— ...согласно внешнему плану, — продолжал он, — смерть господина из Сан-Франциско абсурдна. Согласно внутренней логике рассказа, гибель закономерна. Бунин отмечает, что главный герой стремится распланировать всю жизнь. Вплоть до последнего часа, эпизод за эпизодом. Он привык побеждать и доверять негласным законам цивилизации. Такой жестокой и лицемерной, чудовищной и все же предсказуемой. Однако Бунин считает, что есть вещи мощнее несправедливой цивилизации. У них нет имени, их невозможно описать, ими нельзя пренебрегать...

Роман почувствовал, что ветер уносит его в выжженную степь досужих домыслов и бесприютной абстракции, и поспешил в пыльный и душный кабинет, в пространство вялотекущего времени.

Где-то на интуиции, где-то на скудном опыте, но Роман управился. Обсудили и столкновение цивилизации со стихией на различных уровнях текста, и социальный подтекст, и образ корабля. Коснулись даже сцены с шейной запонкой, с которой господин из Сан-Франциско мучился незадолго до смерти. Кимранова без подсказки верно определила ее функцию.

— ...до предела ослабел, а все равно не нарушил распорядка, не пропустил обеда, — закончила ответ ученица.

Роман не обделил вниманием и наиболее молчаливых, подключая к беседе каждого. Невнятные ответы выдавали не читавших рассказ, однако Роман никого не обличал. Не сегодня.

— Гонг, — сказал он, когда прозвенел звонок.

Когда 11 «А» покинул кабинет и Роман остался с директором наедине, Марат Тулпарович пожал учителю руку.

— Работа идет, хорошо, — сказал директор. — Ученики не ленятся, к занятиям готовятся. Книги надо читать, книги надо любить, и вы эту мысль продвигаете. Несмотря на некоторые методические недочеты, диалог с классом налажен. Так держать!

Не конкретизируя, какие именно методические недочеты он обнаружил, Марат Тулпарович удалился по своим начальственным делам.

Окрыленный Роман без запинки провел два русских языка — в 6 «А» и 8 «Б». Шестиклашки с увлечением разбирали на морфемы непростые слова «передвигать» и «затененности», восьмой класс усердно разбирал простое предложение. Работа спорилась.

Перед заключительным уроком Роман пребывал в благодушном расположении духа. Молодому учителю было о чем предметно поговорить хоть с Макаренко, хоть с Ушинским. Министерству образования Республики Татарстан, или кто там главный, стоило задуматься о внеочередном присвоении высшей категории. Калужские дети не ленились, к занятиям готовились.

Не менее благодушное расположение духа отличало, судя по всему, и 8 «А». У половины на партах отсутствовали учебники; отпетый хулиган Хидиятуллин в полный голос рассказывал умеренно неприличные анекдоты; шкафоподобный толстяк Гаранкин, подперев кулаком подбородок, мечтательно созерцал заоконный пейзаж, точно позировал для фотографа.

При звонке все неохотно поднялись с мест, кроме Хидиятуллина. Это он на первом занятии хвастался, что у класса сменилось четыре учителя истории. Роман приблизился к Хидиятуллину.

— Привет, Ранель. Поздороваться не желаешь?

Лицо Хидиятуллина расплылось в улыбке блаженного балбеса.

— Здрасьте.

— Где твой учебник? Тетрадь с ручкой? Почему не встаешь, когда звенит звонок?

— Устал.

Ранель словно прилип к стулу. Улыбка его делалась все дурашливее.

Осознав, что над ним издеваются, Роман закричал:

— Быстро поднялся и вытащил на стол учебник с тетрадью!

— Ого, как орет, — сказал Хидиятуллин, обращаясь к приятелю Аксенову, с усмешкой наблюдавшему за сценой.

Роман рывком схватил портфель Ранеля и широкими шагами двинулся в коридор. Шпаненок увязался за учителем.

— Отдай сюда! Отдай, я сказал!

Очутившись за дверью, Роман швырнул портфель на подоконник.

— На мои уроки ты больше не ходишь, ясно?

— И не буду, — пробурчал Хидиятуллин, просовывая руки через лямки. — Я пацанов позову.

— Ты мне угрожать собрался? — Роман впал в ярость. — Прибор не вырос мне угрожать!

Он следовал за шпаненком, который направлялся в конец коридора, к лестнице, постоянно оборачиваясь.

— Я пацанов позову, — огрызнулся Хидиятуллин через плечо.

— У тебя язык отвалится от извинений! — кричал Роман на весь коридор.

По окончании урока Энже Ахатовна заверила обескураженного учителя, что проведет воспитательную беседу с классом, и рекомендовала писать докладную на Ранеля.

Сочувственно кивая, Марат Тулпарович выслушал Романа. На просьбу освободить Аделя от русского и литературы до конца года директор ответил отказом, вместо этого пообещав назавтра утром поговорить с Хидиятуллиным и заставить того принести извинения.

— Войдите в положение, Роман Павлович. У человека тяжелая ситуация в семье. На глазах убили отца, мать толком не следит за детьми.

Роман долго осмыслял, каково это: преподавать Фонвизина и роль второстепенных членов в предложении озлобленному подростку, на глазах у которого убили отца. Не осмыслил.

Будь Роман христианином, раскаивался бы в смертных грехах: в гордыне и в гневе. Ибо переоценил свои силы и легко впал в ярость, не совладав с побитым жизнью мальчишкой. Потому что Бог гордым противится. Однако христианская мотивировка заведомо отметалась. Дело не в небесной каре, а в расплате за самонадеянность.

Впредь нужно держаться настороже. И определиться, наконец, кто перед ним. Потенциальные друзья из числа врагов? Заблудшие души? Овцы, настроенные против пастыря? На четверть исписанные тетради?

Утопический проект пора сворачивать. Цели должны быть реалистичными. К примеру, внушить страх гопникам и вытравить из них ощущение вседозволенности. Их жертвам — привить чувство собственного достоинства. А дальше и на высшую категорию можно замахнуться.

Остров-град

Разговор с директором возымел частичное действие. Хидиятуллин вроде извинился, а вроде и нет. Желчно пробормотал перед уроком под нос стандартные слова и уселся в одиночестве. Собрав у 8 «А» тетради, Роман горестно вздохнул при виде почерка Ранеля. Слова не подвергались идентификации. Крупные закругленные буквы-близнецы сплетались в бусы, растянутые на каждой строке.

Методов, одобренных педагогикой, перестало хватать. Во всех классах, кроме 11 «А», приходилось покрикивать. Крик придавал уверенности и дарил чувство контроля над ситуацией. Роман условился с самим собой повышать тон не чаще двух раз за урок. Власть развращает, да и напоминать сварливую моську, которая лает почем зря, не хотелось. Ни в будущем, ни сейчас Роман не видел себя в комической роли.

Перед уроками Роман по обыкновению спускался за водой, чтобы мыть доску в течение дня. В пятничное утро его с полным ведром застала на лестнице историк Анастасия Олеговна, соседка по этажу, приглашавшая на чай в первую встречу. Учительница тяжело дышала, с трудом покоряя ступеньку за ступенькой.

— Роман Павлович, вы разве сами воду таскаете? Это не учительское занятие. В каждом классе есть дежурный. Если его нет или это девочка, вы свободных мальчиков отправляйте. Цените свой статус.

Анастасия Олеговна говорила с убежденностью кота Матроскина, сведущего в бутербродах. Роман отложил совет до времен, когда заработается до одышки или дослужится до высшей категории.

В субботу, как и известил заранее директор, для учителей школы в РОНО организовали поездку на остров-град Свияжск. После шестого урока все погрузились в большой синий автобус, и усатый водитель в кепке включил «Авторадио» и завел мотор.

Среди пассажиров Роман не видел Максима Максимыча и Андрюху, хотя утром обменялся приветствиями с обоими. На коленях учительницы по физике играл в телефон ее сынишка в кепке сочного апельсинового цвета. Когда мальчишка вертел головой, он будто пытался смахнуть огонь. Учителей сопровождал еще молодой батюшка в черной рясе с внушительным позолоченным крестом на груди. Чертами лица священник напоминал Каллена Бохэннона из сериала «Ад на колесах». Роман мрачно настраивался всю дорогу внимать наставлениям о законе и благодати, однако батюшка удивил. Он вполголоса беседовал с Анастасией Олеговной и свой исключительный статус не демонстрировал.

Несмотря на середину сентября, дни стояли безоблачные и по-летнему жаркие. Как подметил классик, как бы хрустальные. Распахнутое синее небо услужливо предоставляло иллюзию простора и точно нашептывало бросить все и стремглав бежать на юг, цепляясь за хвост растраченного лета.

Тепло и солнце предсказуемо вызвали у учителей шутки, что погоду будто подали по заказу. Роман занял место в конце салона, рядом с Вадимом, молодым учителем английского. Сосед рассказал о двоюродной сестре, занимавшейся конным спортом и получившей награду из рук Президента Татарстана.

Батюшка зарекомендовал себя отменным проводником. С пути группа не сбилась ни разу. Священник угадывал, когда лучше поведать что-нибудь об истории острова или о его достопримечательностях, а когда уместнее помолчать. Когда на пути повстречалась хромая корова с обломанным правым рогом, щипавшая жухлую траву у плетня, батюшка безбоязненно похлопал ее по черному боку и произнес на ухо ласковые слова.

Из разрозненных сведений Роман выяснил, что Свияжск основал Иван Грозный

как аванпост перед решающей битвой за Казань. Град славился храмами и монастырями, выстроенными без единого гвоздя. Здесь же в 1918 году учинил показательную расправу Троцкий, казнив каждого десятого красноармейца за неудачную попытку отбить Казань у Каппеля. Позже советская власть использовала храмы и монастыри по партийному усмотрению, организовав на острове лагеря и колонию для малолеток. А в постсоветские годы татарстанское руководство привлекло инвесторов, каковым вменялось в обязанность восстановить и реставрировать архитектурные памятники, придать острову хитовый туристический облик и возвести дамбу, чтобы соединить Свияжск с материком.

— Места здесь особенные, целебные. Когда у вас тревога на душе, вы приезжайте сюда в одиночестве. Необязательно даже в храм идти и свечку ставить. Погуляйте, посидите на берегу. И смятение отступит.

Священник выражался необычно, по-старинному, что ли. Тем не менее его лишенная интонационной вычурности речь была проникнута естественной простотой, будто иначе батюшка и не умел разговаривать. Мальчик в апельсиновой кепке — и тот заинтересованно слушал.

На обратной дороге в хвосте салона образовалось подобие застолья — без стола, зато с выпивкой и закуской. Участвовали завучи, информатик Артур Станиславович и Вадим. Ирина Ивановна извлекла из сумки бутылку и разлила теплую водку по стопкам и стаканам. Сметливая Рузана Гаязовна вытащила припасенную курицу и нарезанный бородинский хлеб. Жир гнойного цвета стекал с курицы на бумагу. Глядя на обтянутые обгоревшей пупырчатой кожей крылышки и бедрышки, Роман почувствовал, что его вырвет, если он притронется к ним. От водки и закуски он вежливо отказался, взяв лишь огурец, которыми Артур Станиславович разжился у бабок на Свияжске. Зазвучали тосты.

— Молодой специалист не хочет вливаться в коллектив, — пошутила раскрасневшаяся Ирина Ивановна, и завучи засмеялись.

— Изжога мучает, — сказал Роман. — Зря свечку не поставил.

Батюшка в другом конце салона делал вид, что не замечает пирушку.

Под диктовку

Стало известно, что Антон, ученик из Москвы, прекращает занятия по «скайпу». «Мама нашла другого репетитора», — так начиналось сообщение. Ученик не поздоровался. Будто оковы вежливости сбросил.

Минус четыре тысячи в месяц — квартплата плюс солидный запас ячменной крупы и подсолнечного масла. Между тем деньги таяли. Из 35 734 рублей, бережно подсчитанных при разгрузке багажа, 13 953 были потрачены за четыре недели.

Директор выдал зарплату за август. Шесть тысяч с вычетом налогов. Марат Тулпарович поспешил успокоить, что за сентябрь выйдет гораздо больше, так как в августе нет занятий и только полмесяца рабочие. Роман почесал затылок. Есть Илья, ученик по «скайпу» из Барнаула, с доходом 2400. Есть школа, где зарплата «гораздо больше», чем 6000. Есть квартира, арендованная за 12000. Вдобавок платить за коммуналку.

Обстоятельства вынуждали присоединиться к трезвенникам. Для особых случаев можно спрятать в шкафу дешевую водку. Прихлебнешь такую с горя и удостоверишься, что безалкогольная жизнь лучше. А вместо пива пусть будет чай с песком и самоотверженный труд.

Насчет еды Роман смекнул, что выгодно следить за акциями в супермаркетах. В «Пятёрочке» он набрал полную сумку разностей со скидкой — рис, картофель, кетчуп, зеленый чай, специи, и еще зубную пасту и губки для мытья посуды.

Как назло, магазин пробудил аппетит. Проснувшийся гурман свирепствовал, мечтая о лазанье и гаспачо, об артишоках и фетучини с белыми грибами, о карамелизированных бананах и кокосовом пудинге.

В конце сентября Ирина Ивановна велела учителям русского провести административный диктант.

Трудности с 6 «А» начались при оформлении титульника. Романа семь раз переспросили, сколько строчек пропускать сверху. Староста Софронова испортила два листка с печатью, прежде чем переписала с доски набор стандартных слов. Шестиклашки пожаловались на шум с улицы. Как только Роман запер окно, дети возроптали на нехватку свежего воздуха. По просьбам трудящихся окно было открыто вновь. Спустя секунду мимо школы промчался мотоцикл. Его водитель долгим рокотом приветствовал округу.

Посредине диктанта Исхаков, с первой недели старавшийся сразить всех эрудицией и жизненным опытом, вдруг ударился в воспоминания о том, как летом видел в Абхазии дачу Сталина. Титова и Сумарокова то и дело просили повторить, что произнес Роман Павлович: «забывать» или «завывать», «резкий» или «редкий». Девочки с кротким видом переносили в тетрадь все, что расслышали, и не вникали в смысл. По-хорошему въедливый Самодин, напротив, увлеченный содержанием, интересовался, что такое подлесок и бурелом. Одинокий Ашер Эткинд на последней парте всеми средствами требовал к себе внимания. Он громко пыхтел, сопел, смеялся над словом «плетень», проклинал ручку и магазин, где ее купил. Когда все выполняли грамматическое задание, Эткинд раздраженно восклицал, что оно ему непонятно и синтаксический разбор слишком сложный.

Учительское терпение иссякло после того, как Ашер в сердцах швырнул на стол линейку, запутавшись в определениях и дополнениях. Два десятка глаз уставились на него. Роман, который проходил между рядов и ловил списывающих, вырвал листок из рук смутьяна.

— Я не закончил!

— Мешаешь всем. Считай, что тебе повезло. Будешь в следующий раз болтать — отберу работу в середине урока.

В 8 «А» и 8 «Б» с контрольными тоже не дружили. Наученный горьким опытом с шестиклашками, Роман пресекал на корню разговоры, особенно лирические — про сталинские дачи и прочие подлески. Также молодой учитель не повторял раз за разом для отстающих, чтобы не нарушить темп. Создавалось впечатление, что не успевающие записать продолжат тормозить, даже если текст будет диктовать заслуженный артист с безупречной дикцией.

Проверка трех стопок заставила содрогнуться. Двоечники двоечниками, но когда твой подопечный допускает сорок три ошибки только в орфографии, ты поневоле усомнишься в своей методике. Пускай это и Исмаев из татарской деревни, которого удивит, что «ево» и «летнево» пишутся иначе. Ведь есть и другие, те, в чьем мире «Катерина Петровна дожевала свой век в старом доме», в чьем мире обретались «натупившее» утро и «бог-о-бок», в чьем мире блуждали неприкаянные запятые.

Пятерками порадовали отличницы Гараева и Мингазина из 8 «Б», Елисеева Эвелина из 6 «А» и Елисеев Марк из 8 «А», брат с сестрой, и замкнутый парень из 8 «Б» Корольков с редким именем Оскар. Роман однажды на литературе пошутил, что встреча с Ди Каприо ученику не суждена. Корольков никогда не тянул вверх руку и неуютно чувствовал себя у доски, кусая губы и теряясь в элементарном. Если его спрашивали, Оскар отвечал сжато и по существу.

Впрочем, общая картина все равно напоминала руины. В памяти всплыла крылатая фраза из знаменитого кинофильма: «Тут усыплять нужно каждого третьего!». Расстроил любознательный Самодин. Слуцкий потерял где-то целый абзац, толстяка Гаранкина лишь на абзац и хватило, Хидиятуллин снова накатал убийственным

почерком нечто не для простых смертных, точно упражнялся в шифровании. Девочки писали чисто и ясно, однако по преимуществу безграмотно. Поля пылали от красных пометок.

Роман приготовился наставить единиц. В электронном журнале имелась такая опция.

Ирина Ивановна дала отмашку — никаких колов.

— И двоек столько нам ни к чему. Иначе получается, что в пятом и в седьмом классе наши ученики ничем не занимались, раз административную запороли. В РОНО нам головы оторвут, если узнают.

— Что теперь делать? — спросил Роман, прижав к груди стопку листов.

— С шестым классом у вас завтра урок? Там и проведите диктант заново. Помогите детям в сложных моментах. Хаирзянова и этого новичка, Исмаева, кажется, усадите вместе и положите перед ними работу Елисеевой. Пускай переписывают.

Роман широко раскрыл глаза.

— А если на пять перепишут?

— Не перепишут. — Ирина Ивановна устало махнула рукой. — С восьмыми поступите следующим образом. Всех двоечников соберите после уроков и доведите их работы до ума.

— Хорошо, — пробормотал Роман.

— Вот такие у нас дети. Не звезды.

На уроке Роман пригрозил 6 «А», что он пригласит комиссию из министерства, если они снова опозорятся. Кроме того, всем, кто получил двойку, были заданы пять дополнительных упражнений. Кто-то исправился, кто-то нет. Хаирзянов и Исмаев умудрились натворить по дюжине ошибок на брата при списывании.

В 8 «А» и в 8 «Б» Роман устроил разнос, прочитав в обоих классах яростную лекцию о пользе русского языка, об ответственности и самовоспитании. Пришибленные школьники молчали, пережидая лавину. Финал лекции ознаменовало появление на доске списка произведений: Лукреций «О природе вещей», А. Шопенгауэр «Афоризмы житейской мудрости», Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», Г. Маркузе «Репрессивная толерантность»...

— Интернет у всех есть? Тогда слушаем сюда. Вбиваем в поисковик любое из названий и переписываем произведение...

— Целиком? — подскочил спортсмен Халитов.

— Целиком и задом наперед! Нет. Три тетрадные странички. На отдельном двойном листе. Жду к четвергу.

На перемене Лилия Ринатовна поинтересовалась, как дела. Роман поведал о злоключениях, в конце упомянув о проблесках.

— Елисеевы всегда выделялись в хорошем смысле, — сказала Лилия Ринатовна. — В их семье восемь детей, все через нашу школу прошли. У них свой дом, огород, куры и свиньи есть. Дружно живут, каждый помогает по хозяйству. О них и сюжет по телевизору показывали.

— И все дети на пятерки учились? — удивился Роман.

— Были и ударники. Зато всех отличает образцовая порядочность. При Елисеевых мне и других учеников неловко ругать.

Исправлять административный диктант явились исключительно мальчики. Роман опешил, припоминая, не числятся ли за ним шовинистские грешки. Не припомнил. То ли ученицы разом охладели к нему, то ли что.

Окинув суровым взором изнывающую от скуки разношерстную компанию из гребцов, хулиганов и лодырей, Роман по-хозяйски упер кулаки в переднюю парту второго ряда и произнес:

— Четкого пацана определяют три вещи. Умение говорить кратко и по существу. Умение разрулить ситуацию. И чистый взгляд, с которым он уступает дорогу пенсионерам, инвалидам и беременным женщинам. Доступно объясняю, тунеядцы?

В глазах «тунеядцев» заиграли искорки.

— Однако есть условие, без которого эти три пункта не работают. Это условие — знание языка. Вы языка не знаете. Следовательно, я вас четкими пацанами не считаю.

Восьмиклассники замерли. У Гриши Слуцкого дернулся кадык.

— Буду честным. — Роман распрямился. — Мне за дополнительные занятия не доплачивают. Я выдохся сегодня, как и вы. Поэтому текст читаю медленно и по слогам. На месте запятых делаю большие паузы. Большие — для особо невнимательных — паузы. Готовы?

Двойки исправили все. Максим Максимыч мог быть доволен методами молодого учителя.

Детских душ погубители

На столе у Романа выросла стопка листов с фрагментами из философских трудов. В редкие минуты, свободные от суеты, молодой специалист вытаскивал наугад из стопки лист и с удовольствием вчитывался в коряво начертанные строки: «...в бесконечных дебатах, ведущихся в средствах массовой информации, глупое мнение воспринимается с таким же уважением, как и разумное, плохо информированный человек может иметь столько же времени для своего выступления, как и хорошо информированный, пропаганда соседствует с образованием, истина с ложью...»

Учителям тоже положено развлекаться. Если же кто-нибудь из учеников вдруг задумался над содержанием, то в минусе не остался.

Максим Максимыч, услышав историю, как двоечники дополнительным уроком исправляли диктант, мрачно произнес:

— Заклинатель змей. Подарю тебе дудочку.

Как всегда, нельзя было ручаться, похвала это или сарказм. В любом случае Роман чуточку расстроился, что его успехи на англичанина впечатления не произвели.

На совещании выяснилось, почему не произвели. Максима Максимыча неделю донимала разъяренная родительница. Англичанин выгнал ее сына-девятиклассника с занятия и влепил сразу две двойки в журнал — за невыполненную домашнюю и за отсутствие учебника с тетрадью. Девятиклассника, болтающегося по школе с плеером, застал директор, а затем мамаша пригрозила Марату Тулпаровичу, что пожалуется в отдел образования.

— Во-первых, любой учитель знает, что выгонять детей с урока запрещено, — отчитывал из-за кафедры директор Максима Максимыча. — Во-вторых, двоек за отсутствие учебных принадлежностей мы не ставим. В-третьих, ни детям, ни родителям ни при каких обстоятельствах не грубим. Если мать Сырникова пойдет по инстанциям, обвинят всю школу. Вы этого добиваетесь?

Учителя замерли, никто не осмеливался повернуть голову в сторону Максима Максимыча.

— Моя правда хоть сколько-нибудь весит? — возмутился англичанин. — Этот ваш Сырников с первого сентября без домашней работы и без учебника. Я его родителей уже сто раз звал к себе на разговор — хоть бы кто явился.

— Если родители не являются, надо решать вопрос через классного руководителя или через меня. Елена Вячеславовна, к вам Максим Максимович обращался по поводу Сырникова? — сказал директор классному руководителю 9 «А».

Елена Вячеславовна, тоненькая остроносая тетенька с бородавкой на щеке, прокашлялась и сказала, робея:

— На Сырникова Максим Максимович жаловался неоднократно, но про родителей речи не было, Марат Тулпарович.

— Вот видите! — сказал директор. — Ни ко мне, ни к Елене Вячеславовне вы за помощью не обращались. Делали вид, что ситуация под контролем. Теперь вы обязаны без конфликтов довести Сырникова до конца учебного года. После экзаменов он поступает в колледж и покидает нас. Задача ясна?

— Ясна, — пробурчал Максим Максимыч.

— За нарушение профессиональной этики и превышение должностных полномочий вам объявляется официальный выговор, а также назначается штраф в две тысячи рублей, — объявил Марат Тулпарович, поднимая лежащий перед ним документ. — Когда совещание завершится, подпишете.

— Чего? — вскрикнул англичанин. — Я этого лентяя и без штрафов до выпуска доведу. Его что, в колледж за эти две двойки не возьмут? Если Сырников ни вполсилы, никак иначе заниматься не хочет, мне для него персональную программу составить, что ли?

— Успокойтесь, — велел директор. — И найдите с учеником общий язык.

— Общий — это русский или английский?

Марат Тулпарович снял очки и направил на колкого бунтаря взгляд, способный пробить приличный лист металла. Роман украдкой обернулся: сгорбившийся англичанин опустил глаза.

— Неумение найти общий язык свидетельствует о пробелах в компетенции педагога, — заключил директор. — Мало знать предмет, надо развивать коммуникативные навыки. Ладить с детьми.

Роман подумал, что подписанный выговор Марат Тулпарович продемонстрирует матери Сырникова ради примирения, чтобы та не двинулась по «инстанциям».

А в понедельник, 5 октября, Роман впервые пожалел, что ему выделили методический день. По иронии календаря в главный учительский праздник молодой специалист был отлучен от школы. Разумеется, никто не помешал бы ему прогуляться до работы и прошествовать по коридорам, собирая по пути поздравления, однако ярый нарциссизм Роману претил.

Рано утром во вторник, когда сонный Роман выводил на доске число, в кабинет постучали. Дверь приотворилась, и в проеме показалась Залилова из 8 «А».

— Здравствуйте, Роман Павлович!

Дверь распахнулась. Залилова вместе со старостой Хафизовой ступили в класс.

— С прошедшим вас праздником! Мы вас любим и желаем успехов в нашей школе!

Девочки вручили Роману коробку кексов. Он, пытаясь уместить в руках кексы и мел, растерянно оглядел учениц.

— Видимо, не зря я на вас кричу, — сказал Роман, понимая, какую чушь городит. — Лет семь назад сказал бы своим преподавателям что-то вроде «С Днем мучителя, душителя и детских душ погубителя!», но не теперь. Теперь я понял, что учителей стоит ценить. Хотя бы за то, что они работают на пределе натянутых нервов. И здорово, что вы цените. Спасибо вам.

Выживание для начинающих

Зарплата за сентябрь так потрясла Романа, что он без причины распекал школьников и придирался к ответам. За такие деньги выкладываются исключительно дураки. Нет, по-другому: за такие деньги работают исключительно дураки. Тринадцать с половиной тысяч! Это все равно что трудиться на общественных началах да получать шапку сухарей до кучи. В Москве Роман запросто имел бы в полтора раза выше,

перенося бумажки с одного стола на другой. Инвалиды умственного труда — и те достойны большего заработка, чем провинциальные учителя.

— У вас, как у всех новичков, нет доплаты за эффективность, — объяснил Марат Тулпарович. — По окончании квартала мы подсчитаем квартальные баллы за качество работы. Зарплата сразу возрастет, не волнуйтесь.

Тот же директор в день знакомства вел речь о сумме в двадцать тысяч. Плюс премия. В августе и в сентябре премий Роман не видел.

— Чего ты хотел? — сказал Максим Максимыч. — У тебя ни стажа, ни категории. Провинция — она такая. Учти, в Татарстане молодым учителям еще прибавка есть. Вообрази, что в Сыктывкаре творится или в Кургане.

— Воображаю, — пробормотал Роман.

— Ты обещал мне виски на Новый год. Ирландский. Если сорвется, злым не буду.

Гнев сменился раскаянием перед учениками, попавшими под разнос. Они виноваты в ряде преступлений, однако точно не в низких доходах Романа Павловича. И Марат Тулпарович не виноват. Да и районный отдел образования, как ни крути, тоже. Кругом лжецы, лицемеры, нечестивцы, однако все до единого в итоге правы, если судить по большому, если судить мирно, по-человечески.

Из подсчетов выходило, что съемную квартиру Роман потянет по ноябрь включительно. Будет питаться воздухом — оплатит и декабрь. Это при условии, что не слетит репетиторство с Ильей из Алтая. Парню занятия по «скайпу» нравились, и он прогрессировал. Главное, чтобы его родители не разорились или Илью не загрыз медведь.

Для хрупкого спокойствия требовалось дополнительных тысяч пять в месяц. Скидки и распродажи изумительны, и тем не менее грядет день, когда Роман будет утолять голод водой с кетчупом и мечтать о куске масла на толстом ломте хлеба. К тому же в гардеробе нет зимней куртки. Фантазия рисовала барахолки и пункты питания для бомжей, Роман, как мог, гнал сумрачные образы прочь.

Можно попросить родителей отправить ему куртку почтой, но Роман стыдился. Он регулярно сообщал им, что дела идут хорошо и что он ни разу не пожалел о выборе.

Изобретались планы. Согласно первому из них, Роман вызывал к себе родителей порядочных учеников, не безнадежных, но и не передовых, выражал тревогу по поводу успеваемости условного Миши, по необходимости сгущал краски. Всполошенные родители настаивали на сверхпрограммных занятиях. Начать следовало с восьмых классов — у них экзамены на будущий год. В 11 «А» и так все с репетиторами сидят, а для 6 «А» экзамены за горами и морями.

Хотя Роман и не сомневался в своей способности убедить парочку впечатлительных матерей, план смущал нечистоплотностью. Верный способ растерять остатки самоуважения. Избрав благую цель, избегай грязных путей, так говорили мудрецы. Может, не дословно, зато верно по сути.

На минуту вспыхнула дикая идея поклониться Энже Ахатовне и обратиться в профсоюз. Каким бы кукольным он ни был, в любом случае там предусмотрены единовременные выплаты работникам, угодившим в финансовую засаду. Роман как раз из их числа. Однако затею он отбросил. В профсоюзе затребуют вагон документов, в том числе и московских.

Неожиданный вариант подкинул Артур Станиславович. Однажды после уроков он заявился к Роману в кабинет, блистая неординарным одеянием: костюмом-тройкой цвета желтого кирпича, голубой рубашкой, рябиновым галстуком и горчичными мокасинами. Похожий на пасхальный кулич информатик справился о делах. Роман посетовал на учеников, которые болтают за его спиной, пока он записывает материал на доске.

— А вы не отворачивайтесь от класса.

— Это как?

— Есть разные способы.

Артур Станиславович взял мел и, находясь спиной к доске, начертал на ней замысловатую математическую формулу. У Романа глаза на лоб полезли при виде того, как ловко информатик выгнул запястье и какими ровными вышли знаки.

— Ваше кун-фу сильнее моего, — признал молодой специалист.

— Есть разные способы, — скромно сказал Артур Станиславович. — Можно и вполоборота к детям стоять. Вообще-то, я к вам по делу...

Информатик предложил присоединиться к Интернет-проекту. Первоначальный взнос — и ты в системе. Приглашаешь друзей, регулярно посещаешь страницу, следишь за цифрами. Чем больше пользователей в твоей команде и чем чаще они появляются на сайте проекта, тем выше доход. Прибыль гарантированная.

Роман взял время на раздумья, чтобы не огорчать Артура Станиславовича сразу и не указывать тому на выпирающие нестыковки в заманчивом предложении. К примеру, как Роман создаст собственную команду, если информатик зовет в свою? Откуда гарантированная прибыль, если любой здравомыслящий друг откажется, узнав о стартовом взносе? И так далее. Неизвестно, что унизительнее: клянчить милостыню на французском или добровольно перечислять деньги в сетевую шарашку.

Да и вообще, образовательный проект, в котором участвует Роман, запрещает посторонние заработки.

Роман решил, что пора приобретать навыки выживания, не оттягивая до момента, когда опустеет холодильник. Бабушка рассказывала, как в военные годы ее семья притупляла голод отваром полыни. Учитель запасся полынью в аптеке, где покупал пастилки шалфея, и наметил эксперимент с голоданием на воскресенье.

С утра Роман пил кипяченую воду, в обед — воду и полынный отвар. До позднего вечера учитель пересматривал «Властелин колец» в гоблинском переводе. Непросвещенный живот не был в курсе насчет взаимозаменяемости смеха и сметаны и требовал уважения. Желудок скручивало, Роман бесконечно сглатывал слюну. Он прикончил остатки отвара и лег в постель, вспоминая вкусности. Задремав, он очутился поздним летом в парке Коломенское. Старушки сбивали длинными железными палками поспевшие яблоки и наполняли ими тележки. Один из румяных плодов катился по земле перед Романом и всякий раз ускользал. Яблоко досталось старушке, которая мастерски остановила его палкой, вытерла платком и положила в тележку к остальным.

От горького разочарования Роман проснулся. Ноги понесли его на кухню, к хлебу, к толстому ломтю с дорожкой соли поверх. Окончательно стряхнув сон, Роман понял, что он перебирает гречку. В кастрюле закипала вода. Неважный выживальщик, чтобы хоть как-то оправдаться перед собой за слабую волю, затеял ночную уборку в квартире. Роман управился к трем утра и завалился в кровать, намереваясь повторить опыт с голоданием в следующее воскресенье.

По ветру

В заключительные дни первой четверти Роман сократил и без того скудный рацион. Вынужденно, потому что есть элементарно не успевал.

Сначала Ирина Ивановна проинспектировала учителей русского языка, лично собрав в каждом классе тетради. Обычно Роман уделял им по два часа в день и воспринимал это как бесполезную до неприличия трату времени. Ирина Ивановна методы молодого специалиста не одобрила:

— Роман Павлович, почему в некоторых местах стоит «см» и нет разбора ошибок?

— Домашнюю работу я проверяю целиком, а классную — только ключевые темы.

Практика показывает, что на прогресс это не влияет. Некоторые ученики по-прежнему допускают одинаковые ошибки, хоть пять раз их красной пастой обведи.

— Значит, говорите с такими товарищами лично. Пока до них не дойдет.

— Я поговорю.

— Мне ваш подход не нравится. Проверьте работы целиком. На будущей неделе проконтролирую.

До глубокой ночи Роман орудовал ручкой. Чудилось, она вот-вот задымится. Буквы перед глазами наползали друг на друга. Из красных палочек и галочек на полях, выложи их в ряд, выстраивалась дорога от Петербурга до Москвы.

С пакетом проверенных тетрадей Роман побрел в школу, зевая и спотыкаясь. Его взяла досада оттого, что он превращался в конформиста. Бесспорно, проще думать, что ты на ножах с системой и тебя не запугать потерей денег или работы. Конформист не готов признать, что он конформист. Между тем он продирает утром глаза и спешит с докладом об успешно проделанной работе к начальству, которое злит.

Э-ге-гей, дружок, проснись и пой, плетись и матерись, ты даже трех часов не спал.

Директор на совещании дал команду не церемониться с отстающими:

— Троечников не тяните. Выходит двойка — ставьте двойку. Жалеть никого не надо. Обеспечьте им настрой на вторую четверть.

По литературе Роман пощадил всех. В 8 «А» и 8 «Б» тонущие зацепились за спасательный круг в виде легчайших тестов по «Недорослю» и «Капитанской дочке». Чтобы разжиться тройкой, было достаточно знать, как зовут Пушкина и к какому художественному направлению относится комедия Фонвизина. Подробности не требовались.

6-му «А» досталась почетная миссия: написать продолжение «Дубровского». Судя по энтузиазму, с каким шестиклашки взялись за перо, они ошалели от вседозволенности. Роман просчитался, не введя ограничений по объему. Щедрые на слова юные сочинители завалили учителя своими трудами, доходившими до пяти страниц. Дубровский с отрядом приспешников врывался в жилище Верейского и устраивал там кровавую баню. Дубровский, сдружившись с колдунами, оборачивал время вспять. Дубровский обращался за помощью к юристам и прижимал к ногтю коварных врагов. Маша то сбегала из дома в Европу, то подсыпала яд в кофе немилому супругу, то манерно отвергала прибывшего к ней инкогнито Владимира Андреевича, тронутого сединой и морщинами, но по-прежнему привлекательного.

На уроках русского Роман проявил принципиальность, последовав рекомендации Марата Тулпаровича. Исмаев и Хасбулатов сразу осознали, что протестовать против двойки в четверти бессмысленно. Михеева из 8 «Б», мешковатая девица с квадратной челюстью, неизменно собирающая волосы в пучок, попробовала надавить на жалость. По словам ученицы, ее мама принимала школьные оценки близко к сердцу. Поразительно, как загорелся привычно безжизненный взгляд Михеевой, когда перед ней замаячила неиллюзорная двойка. Не меньше задергались Хидиятуллин с Аксеновым. Их предложения помыть окна и соскоблить жвачки Роман пропустил мимо ушей.

— Ранель, Леша, я вам на протяжении четверти обещал неприятности. Было дело?

Хидиятуллин и Аксенов угрюмо молчали.

— Просил активизироваться, отрабатывать прогулы. Было дело?

Убеждения шпаны не позволяли им согласиться с чужой правотой.

— Сколько домашних заданий вы выполнили?

— Роман Павлович, да на тройбан совсем ничего надо! — не выдержал Аксенов. — Мы же четверку не ждем!

— А ты тройбан заслужил? — повысил тон Роман. — Может, разберешь на доске словосочетание по схеме? Счастья попытаешь?

Учителя охватил азарт. Он ощущал себя следователем, который, преодолев

длительные мытарства, наконец-то возделывал подследственного, чья вина тяжела и бесспорна. Жаль, Хидиятуллин и Аксенов на чистосердечное не пойдут — не тот сорт.

Засомневался Роман только по поводу Ильназа Хаирзянова из 6 «А». По букве образовательного стандарта ученик программу не усвоил и должными умениями и навыками не овладел. При устных ответах Ильназ имел обыкновение бормотать что-то бессвязное, засунув руки в карманы и опустив голову. Он произносил «что» и «конечно» через «ч» и тушевался по любому поводу. Само собой, над тихим мальчиком, коротко стриженным машинкой, насмехались одноклассники.

В день выведения оценок Роман, оставив Ильназа после занятий, дал ему шанс на спасительную тройку. Тихоня, известив по телефону маму, стал выполнять упражнение за упражнением. Буквы выпадали из слов, запятые терялись в нужных местах и всплывали в ненужных, синонимы выдавались за антонимы. Вхолостую потраченные усилия будто не волновали Хаирзянова, потому что он безропотно и безрезультатно заполнял страницы каракулями. Видимо, Ильназ принадлежал к числу исполнителей, которые даже не капитулируют без приказа.

Когда Роман, отчаявшийся добиться от шестиклашки чего-либо путного, подыскивал утешительные выражения, в дверь постучалась Фируза Галиакбаровна и объявила о визите матери Хаирзянова. Толстая тетка буквально выскочила из-за спины учительницы и с рыданиями двинулась на Романа. Сквозь слезы прорывалась татарская речь. Отпрянувший учитель машинально выставил перед собой руку, как шлагбаум. Смущенная Фируза Галиакбаровна, поспевая за посетительницей, обратилась к ней на родном языке.

— Умоляю, поставьте тройку! Умоляю! — вопила гостья.

Ее растрепанные сальные волосы слипались в сосульки. На леопардовой блузке проступали заскорузлые разводы. На локтях и на шее сбивались в кучки красно-оранжевые псориатические пятна. Ко всему прочему, от женщины разило водкой.

— Успокойтесь, — вымолвил Роман. — Успокойтесь, пожалуйста.

Нахлынула паника. Главное — сосредоточить внимание. На чем угодно. На доске, на окне, на ведре с водой.

— Поставьте тройку! Если папа узнает, он нас убьет!

— Секунду. Секунду.

Глубокий вздох. Еще один. Отлегло. Мгновение назад Роман хотел метнуться через парты к окну, разбить стекло и нырнуть в проем.

Из верещания матери Хаирзянова стало известно, что ей и сыну в случае двойки несдобровать. Отец служил в полиции и воспринимал семью как подчиненных. Глухой к мольбам и объяснениям, он избивал сына по пустякам. Матери также доставалось. Очевидно, тумаками и устрашениями отцовское воспитание и ограничивалось.

— Ильназ, ты получишь тройку, — сказал Роман ученику, который во время разговора продолжал писать. — Авансом. При условии, что после каникул прибавишь.

Хаирзянов усиленно закивал. Гостья бросилась на все лады прославлять отзывчивого Романа Павловича. Ее опухшие губы раз пять растянулись в виноватой улыбке.

— Меня беспокоят не только оценки Ильназа, — сказал Роман. — У человека совершенно нет друзей, он отделен от класса, не ладит со сверстниками. Ваш сын выходит гулять?

— Нет. Там плохие мальчики, — заявила родительница.

— Согласен, в основном полные отморозки, — согласился Роман. — Но ведь есть и порядочные.

— Нет, они не любят Ильназа, — отрезала гостья, почесывая псориатические пятна на локте.

Роман махнул рукой. Как растолковать матери, что ребенок не приспособлен ни к чему? Что у него нет талантов, сноровки, упорства, чутья, что он самостоятельно

даже в торговом центре не сориентируется? Предположим, завысят ему оценки и экзамены он с грехом пополам сдаст. А дальше? Дед Мороз вытащит из бездонного мешка военный билет и пристроит охранником на склад канцтоваров, где Ильназ на веки вечные разминется с плохими мальчиками? Или его по специальной программе отправят на Марс?

Проводив Хаирзяновых, Фируза Галиакбаровна вскоре вернулась и выразила благодарность за тройку.

— Такой класс, — сказала она. — У Тенишевой мать сутками пропадает. Амирову опекает бабушка, внучка у нее ворует деньги на пиво и сигареты. А директор нас с 6 «Б» сравнивает. Как будто не знает, что к нам отправили всех, кого в 6 «Б» не взяли. Когда еще набирали детей в первый класс. У 6 «А» до меня четыре учителя сменилось. Разве это правильно?

Разобравшись с обязанностями за первую четверть, Роман распахнул окно и высунулся в него по пояс. Холодный ветер провентилировал замороченную голову. Андрюха, одиноко бросавший мяч в корзину на спортивной площадке, замахал рукой и крикнул:

— Вызываю тебя на баскетбольную дуэль!

— Сейчас спущусь, — ответил Роман, поднимая кверху большой палец.

В спортивных штанах и в рубашке с коротким рукавом трудовик смотрелся грозно. Суровое облачение в преддверии ноября.

Возвращаясь домой с проигранного поединка, молодой специалист подумал, что зря дразнил Хидиятуллина с Аксеновым. С одной стороны, шпана имела понятие только о строго вертикальных отношениях. Тот, кто не из их круга, либо фраер, либо гражданин начальник. Гопник либо наглеет без границ, либо вынужденно повинуется. С другой стороны, возвышаясь за счет малолетних бандитов, Роман словно примирялся с вертикалью. И шел на сделку с совестью, потому что ехал в провинцию в том числе за тем, чтобы бороться с иерархиями.

Письмо № 3

От кого: Сатурна Япета Титановича, город Кольцов, улица Солнечная, дом 6, квартира 66, 646646.

Кому: Нептун Талассе Протеевне, город Синь Сосет Глаза, улица Системная, дом 8, квартира 88, 464464.

Как ты там, моя наяда?

Спешу поделиться открытием: практической пользы от гуманитарного образования нет.

А вред есть. Не беда, что оно не учит жизни и не задает правильный алгоритм на будущее. Беда в другом. Университет не объясняет законы, по которым действуют человек, общество, цивилизация. Преподаватели предпочитают изложить ряд теорий — ловите, ребятки, вот вам Платон, вот Аристотель, вот Локк и Руссо, я же своим мнением не обладаю и снимаю с себя ответственность за ваши просчеты. С уважением, ваш доцент. Или ваш профессор.

Опаснее всего, когда тебя напрямую вводят в заблуждение. Как на педагогике, например. Очередная очевидность, ставшая для меня откровением: педагогическое, вне всякого сомнения, словосочетание «трудный подросток» лишено смысла, потому что подростки не делятся на легких и трудных. Все они трудные, а иные еще труднее. Простых людей вообще не существует. Простой человек — тот, с чьими тараканами ты имел счастье разминуться.

Учительствовать мне скорее нравится. Вести уроки интереснее, чем заниматься

околоучебной поденщиной, да и времени последняя отнимает ого-го. В каникулы нас часами вынуждают заполнять в школе отчеты. Понятия не имею, читают ли их где-нибудь.

Я не марксист и даже Фейербахом не увлекаюсь, но в последний месяц все чаще ловлю себя на мысли, что бытие определяет сознание. Бытие отводит мне шесть-семь часов сна в сутки, сознание подстраивается под график. Бытие бьет ключом по голове, сознание выбирает терпимое отношение к такому неучтивому обхождению со мной сил, от меня не зависящих. Бытие сосет соки из сознания и... Впрочем, довольно.

Помимо главного тезиса материализма, меня преследует и диалектика. Я научился кричать, не выходя из себя и не напрягая связок, — это плюс. Я привыкаю кричать — это минус. Я снова объясняю вещи простым языком — это плюс. Я привыкаю растолковывать банальности — это минус. Правда, диалектика эта какая-то нарушенная, избирательная. Перехода количества в качество по-прежнему нет, развития — тоже. Какое развитие, если самые продуктивные часы каждый день я трачу не на себя, а на обязательства? В те же минуты, когда остаюсь наедине со своим «я», мне нужно накапливать душевные силы, мне лень читать, узнавать новое, шевелить извилинами. Меня одолевает дрема, когда надеваю наушники или смотрю фильм по ноутбуку.

Я по-прежнему люблю запрокидывать голову и упираться взглядом в небо — синее, бледно-желтое, грязно-сизое, маренговое, любое. И по-прежнему не принимаю лозунгов и девизов.

И вроде ничего жуткого не случилось. У меня не вырос живот, я не угодил в тюрьму, я не живу от попойки до попойки. В Интернете не зарабатываю, тоже плюс. Я потерял тебя, однако бывает и страшнее. Только не бей, бывает, честно. Знакомый моего знакомого (пусть будет Коля), который собирался порвать с опостылевшей подружкой, узнал о ее беременности. Засада, верно? Как новообращенный материалист, он уверен, что быть с нелюбимым человеком хуже, чем не быть с любимым. Колю съедает настоящее, меня греет прошлое. Картинки из него.

Как правило, вспоминается милая чушь. Как я торопился на лекцию, а ты со смехом вцепилась в мою ногу, чтобы не выпускать из постели. Чуть не оторвала. Или как ты съела тарелку нектаринов на свой день рождения. На стенку лезть охота, как вспомню. Затем шок отступает и накатывает легкая переливчатая меланхолия. С оттенками, полутонами, послевкусием. Кому расскажи об этом, он покрутит у виска и растолкует, что лучшие воспоминания — это первый поцелуй и закаты на крыше, а не тарелка с нектаринами.

Ну и пускай.

Может быть, сама того не ведая, ты бережешь меня от черствости и равнодушия. Мне подчас недостает терпения и воли быть справедливым с учениками. И все же я не отказываюсь от своих принципов — от разнообразия и равенства. Неизвестно, насколько получается им следовать. Если бы надо мной занесли меч и дали последнее слово, я бы сказал, что не учил детей тому, во что не верю сам, и не предъявлял им требований, которые не предъявляю и себе. Слабое оправдание, наверное.

Кира, возвращайся в Москву или домой, пожалуйста. К черту упрямство. Меня оно довело до того, что я фантазирую о плошке с оливковым маслом и о восьмичасовом сне. Это мечты, пригвожденные к земле. Так нельзя.

Возвращайся. К черту обиды и ментальные ранения. Какие бы потери мы ни несли, они не критичны при условии, что мы уцелели физически и не озлобились на мир.

Устал возмущаться и обличать

За окном ночи становились все длиннее, а для Романа — все короче. Он ловил себя на мысли, что приличных слов, чтобы описать его жизнь, осталось мало.

Туктарова из 8 «Б» без зазрения совести вытащила посредине урока планшет. Роман, вполоборота к классу рисовавший на доске схему прямых и косвенных дополнений, чуть не выронил мел.

— Роман Павлович, у меня важное сообщение, — оправдалась Туктарова, ловя на себе возмущенный учительский взгляд.

— Гузель, ну-ка! — рявкнул Роман.

— Минуту, — отмахнулась Туктарова.

Вне себя от возмущения Роман широкими шагами преодолел расстояние до парты. На экране носился человечек в оранжевой каске и синей униформе, уворачиваясь от сыплющегося с небес строительного мусора. Пойманная с поличным Туктарова моментально закрыла игру, обрекая виртуального подопечного на верную смерть, и поспешила спрятать планшет. Роман вцепился в него с твердым намерением разбить об стену.

— Вы офигели? — Гузель потянула планшет к себе.

Роман разжал пальцы, и Туктарова едва не врезалась спинкой стула в парту позади.

— Повтори.

— Вы совсем?

— Значит, так. — Роман сбавил тон. — Побросала игрушки в сумку и долой отсюда.

— Да что вы...

— Долой отсюда.

Через десять минут Рузана Гаязовна привела заплутавшую душу в кабинет. Всем видом завуч выражала недовольство агрессивными методами молодого специалиста.

— Роман Павлович, почему девочка во время урока по школе гуляет?

— Пусть войдет, Рузана Гаязовна, — сказал Роман. — После занятия я объясню вам свое решение. Уверяю, были полные основания так поступить.

Отпустив 8 «Б» с домашним заданием, Роман отправился к завучу и рассказал почти обо всем, кроме нахлынувшего желания сломать планшет. Рузана Гаязовна, качая головой, велела составить на имя директора жалобу и особой строкой отметить нарушение субординации. Завуч поручилась, что невоспитанная Туктарова принесет публичные извинения. Напоследок Роман удостоился дружеского совета не выгонять учеников в коридор.

— И вам Марат Тулпарович по шапке настучит, и мне.

Классный руководитель 8 «Б» Вера Семеновна, высокая дама с грубоватым чувством юмора, на перемене бодро сообщила, что Михеева переводится на домашнее обучение.

— Пропуски не ставьте, задания передавайте через меня.

— Почему она теперь на домашнем? — полюбопытствовал Роман.

— Она беременна! — без малейшей неловкости сказала Вера Семеновна.

Прозвучало как рапорт.

— Что?

— Слухи все равно распространятся, так что скрывать не буду. Свежие, так сказать, известия.

Онеметь можно. Косолапое, аморфное, безыдейное, безынициативное, бесталанное творение с квадратной челюстью и деревянным лицом, с конским смехом и со словарным запасом не больше, чем у меню музыкального проигрывателя

«Винамп», — забеременело? В пятнадцать лет? Да она сама ребенок. Набивает рот пирожками и хватает маслеными руками тетради. Какой неприхотливый мушкетер осмелился?

Хм, восьмиклассница. Нелепое дитя. По географии трояк, в десять ровно мама ждет тебя домой. Ибо таковых есть Царство Небесное.

Когда Роман после уроков проверял тетради, в отворенную дверь вошел директор. Добрых вестей это не сулило, и учитель припомнил за секунду свои погрешности и провинности за последние дни. Туктарову выгнал, на Эткинда накричал за болтовню, задержал 6 «А» на диктанте. Всегда отыщутся причины наказать и выговором, и рублем.

Марат Тулпарович поздоровался и прогулялся по классу. Многозначительно провел пальцем по доске, касанием ладони подвинул выпирающую из второго ряда парту, властно посмотрел на портреты классиков. Когда внушительная тень нависла над Романом, он прекратил дышать. Рука с красной ручкой застыла в воздухе. Сейчас директор обнаружит ошибку, какую молодой специалист пропустил из-за усталости, и разочарованно поцокает.

— Процесс идет?

— Так точно, — сказал Роман, поднимая голову.

— Через две недели в школу приедет комиссия. Выборочно проверит кабинеты и учительские ноутбуки. Молодые специалисты у них на особом счету, имейте в виду.

— Непременно, Марат Тулпарович.

Казалось, такими визитами директор и сам задним числом тестировал подшефных на стрессоустойчивость.

Грядущая комиссия вынуждала тратить внимание на стенды и на компьютер. Неужели кто-то из педагогов хранит что-то противоестественное и недостойное на выданных школой слабеньких ноутбуках? У Романа даже стандартный набор офисных игр типа «Сапера» и «Косынки» отсутствовал.

Следом за Маратом Тулпаровичем прибежала историк Анастасия Олеговна из соседнего кабинета. Глаза ее горели.

— Роман Павлович, вы знаете социальную сеть «ВКонтакте»?

— Что-то слышал.

— Я вас искала там и не нашла. И по Москве пробивала, и по Казани.

— Удалился. Я скряга, когда дело касается времени.

Про Дьюлу Грошича Роман, разумеется, не распространялся.

— Жаль! — воскликнула Анастасия Олеговна. — Наши неблагодарные ученики создали группу «Подслушано» с номером школы, где выкладывают всякие пакости, да еще и анонимно. Фотографии учителей с гадскими комментариями, грязные мысли свои. Постыдные тайны друг друга выбалтывают. Кто-то рассказал, что Соловьева из 10 «А» до сих пор девственница, и девочку высмеяли. Кошмар!

— Ужас, — поддакнул Роман.

Он устал возмущаться и обличать.

— Потом удивляются, когда девочка в восьмом классе беременеет. А как иначе, если никакой телесной чистоты. Если нравы испорчены.

— Кругом разврат, — согласился Роман.

— Я в шоке! Саяпова из 7 «А» уже с девятью парнями перепробовала. Законченный, считайте, человек. Ей теперь прямая дорога дальнобойщиков обслуживать, простите за грубость. Тяжело соблюдать приличия, обсуждая явления, где приличия нет ни грамма.

Казалось, из кабинета русского Анастасия Олеговна без промедления и с крестом наперевес двинется в поход против распутства.

— Может, врут, — предположил Роман. — В седьмом классе проблематично вести столь насыщенную интимную жизнь.

— Вряд ли, — сказала Анастасия Олеговна. — Читали бы вы, какие там детали всплывают. Причем самые грязные секреты выбалтывают бывшие ухажеры Саяповой.

— Скорее пользователи, чем ухажеры, — сказал Роман.

— Вы правы, — сказала историк. — Пользователи и потребители. Наверное, я старомодная. Уверена, что все должно быть по любви. Цветы, прогулки под луной, поход в кино...

Кольцо в шампанском, знакомство с родителями, безмятежный сон троюродного дяди в свадебном оливье, — мысленно дополнил ассоциативный ряд Роман.

Из дальнейших слов учительницы выяснилось, что первым о группе «Подслушано» прознал Артур Станиславович. Информатик с историком, координируя усилия в режиме онлайн, задали жару сплетникам. Педагоги написали уйму комментариев и вдоволь повеселились над теми, кто засветился. Особенно не повезло ученикам, участвовавшим в опросе «Кто из учителей больше всех тупит?» с публичным голосованием. Наблюдая, как по ходу рассказа негодование на лице Анастасии Олеговны сменяется злорадным восторгом, Роман вспомнил, что отмечал подобную реакцию у шестиклашек, взахлеб повествующих о проступках и злоключениях друг друга. Та же мимика, тот же тон.

На школьном ноутбуке доступ к соцсетям блокировался, пришлось терпеть до дома. Сколько же голосов он получил в голосовании и кто из негодяев осмелился выбрать его?..

Дома выяснилось, что группа переехала. Все посты исчезли, кроме анонимной записи: «Спалили! Гоу в новую группу без учетелей и родителей!» Ссылка вела в комьюнити с закрытыми материалами. Чтобы попасть туда, требовалось одобрение администратора. Роману оставалось только гадать, часто он тупит или нет.

Предстоящее

Родители по-прежнему получали сообщения, что все хорошо.

Несмотря на ежедневную порцию взрывных ситуаций в школе, однообразие утомляло. Чем дальше, тем сильнее.

Дабы не закостенеть в суждениях и не сузить свой мир до размеров квартиры и школы, Роман дал себе зарок гулять в свободное время. Помнится, перед отъездом он часами фантазировал о Казани и ближе к центру поселился, чтобы слышать стук сердца тысячелетнего города. Поэтому в очередной методический день Роман подкрепился перловкой и выдвинулся мимо железнодорожных путей в сторону оживленной автотрассы. Дорога вела, согласно карте, к участку, где сцеплялись улицы со звучными именами — Льва Толстого, Гоголя, Горького. Маститую литературную братию дополнял Карл Маркс, другой головач, навострившийся развивать умные мысли на бумаге.

Жидкий дождик то накрапывал, то переставал. Упрямый ноябрь упивался властью, держа в неволе солнце и охраняя свои владения от поползновений зимы. Снежинкам не дозволялось даже появиться в воздухе, не то что умереть на земле. Назойливый ноябрьский ветер легко добирался до шеи, руки Роман прятал в карманы. Покупка перчаток и шарфа откладывалась до кусачих морозов.

Отвыкший от разнородных впечатлений, Роман жадно рассматривал попадавшие в поле зрения объекты: магазин салютов и фейерверков, лавку ритуальных услуг, кладбище за красной кирпичной стеной, торговый центр, высокий отель с синим панорамным остеклением.

Во дворе статного красно-белого храма Святой Варвары, построенного в XVIII веке, расположился двухэтажный черный барак с голой по осени клумбой. Дом Толстого разочаровал простотой и неприметностью. В скверике напротив Роман отобедал ржаным хлебом под приглядом бородатого классика, усеченного по грудь и

водруженного на постамент. К одинокому едоку присоседились птицы. Разжалобленный Роман крошка за крошкой скормил им ломоть.

На улице Большой Красной, куда свернул Роман, исчезли автобусы и троллейбусы, движение ослабело. Зашевелились мысли, тусклые и тяжелые. Вспомнилось, как директор отчитал на совещании Артура Станиславовича за то, что информатик опаздывал и проверял тетради черной ручкой вместо красной. Марат Тулпарович шутливым тоном сообщил Артуру Станиславовичу, что тот при таких успехах с нового года будет зарабатывать деньги по Интернету. А еще Марат Тулпарович наказал педагогам ставить оценки чаще, потому что ученик менее чем с шестью оценками автоматически оставался без аттестации в четверти. Вспомнилось, что надвигаются контрольные, олимпиады, комиссии. Отдельным пунктом намечался конкурс кабинетов. Роман не хотел ни с кем состязаться, однако конкурс обязывал каждого учителя составить паспорт кабинета, опись инвентаря, опись справочной литературы, график проветривания и ряд прочих невеселых документов.

От тягостных дум Роман спрятался в причудливом доме на Большой Красной. Первый этаж наполовину уходил под землю, и окна с деревянными рамами будто врастали в асфальт. Второй этаж, деревянный, был выкрашен в изумрудно-зеленый цвет, на фоне которого рдели багряные наличники. Рядом с белой дверью, располагавшейся в боковой пристройке, красовалась вывеска «Одежда из Европы». Дверь вела на первый этаж, где также размещались крохотная типография и некое креативное бюро по организации праздников.

Магазин с европейскими нарядами оказался на поверку обычной комиссионкой. С вешалок свисали аляповатые женские платья, допотопные юбки, клетчатые рубашки для дедушек-домоседов и выцветшие ремни. К чести Романа, он извлек для себя выгоду из заведения с прогорклым местечковым привкусом, прикупив сносные синие перчатки по стоимости двух буханок хлеба.

Предстоящие кусачие морозы уже не вызывали трепета.

Вооруженный перчатками, Роман шагал по историческому центру и, дабы не впасть в искушение, отводил глаза от кафе, закусочных, пироговых, пекарен, гастропабов, трактиров, пивных и кофеен. Впрочем, вывеска алкостора все же заманила учителя, а ирландский виски «Джеймсон» по акции словно прорвал плотину, возведенную рассудком.

Покидая алкогольный бутик с завернутой в пакет бутылкой, Роман просчитывал плюсы и минусы своего положения, как Робинзон Крузо, исполняя роль должника и кредитора в одном флаконе и примиряя добро со злом. Добро: он сдержит слово, данное Максиму Максимычу. Зло: до аванса полторы недели и шесть с половиной тысяч рублей в активе (шесть отложить на плату за квартиру и прочие непредвиденности). Добро: квартира и Интернет оплачены по ноябрь включительно, а жилье и доступ к сети в краткосрочной перспективе важнее еды. Зло: доллар растет, продукты дорожают, праноедение — шарлатанство. Добро и зло одновременно: возобновляются тренировки по лечебному голоданию и стартует очередной этап по притиранию к обстоятельствам. Из соображений экономии Роман давно исключил из репертуара ромашковый отвар и пастилки шалфея. Настал момент пересмотреть суточные пайки хлеба и чая.

При мысленном подведении итогов прогулки обнаружилось, что самое глубокое впечатление произвел самовольный рисунок безымянного художника, нанесенный на стену одного из отреставрированных зданий. На оранжевом фоне изображались старинные настенные черные часы. Со стрелок свисали жуткие капли, а внизу часы растекались, как лед на солнце, отчего в образовавшуюся дыру из циферблата устремлялись в хаотичном порядке римские цифры. Круг разрывался, время необратимо ускользало.

Безальтернативные меры

К зиме Эткинд из 6 «А» окончательно отбился от рук.

Жалобы на него учителя писали пачками, обеспокоенные родители донимали Фирузу Галикбаровну и директора, требуя выгнать хулигана из школы. Ашер беспрерывно болтал, не делал домашнюю и издевался над одноклассниками. Ради потехи он запихал коробку из-под сока и шоколадные обертки в портфель Хаирзянова и спустил в унитаз его пенал. Пущенный Эткиндом железный транспортир просвистел в считанных сантиметрах над курчавой головой Сафиуллиной, отказавшейся одолжить на урок учебник. Старого Габбаса Юнусовича, добродушного физрука, без проблем ладившего с шантрапой десятки лет, Ашер без стеснения отправил по известному адресу на три буквы за незачет по прыжкам в длину, чем оскорбил всеми уважаемого педагога до глубины души.

Уборщица, мывшая полы в кабинете у Романа, также была возмущена шестиклашкой:

— Выжимаю тряпку, а проходит мимо он и плюет на пол, бесстыжий. Я прикрикнула на него и добавила тихо: «Вот паразит». В сторону, почти про себя. А он услышал и говорит: «Вы не имеете права нас такими словами называть, мы еще дети».

Случай с физруком переполнил чашу директорского терпения, и Марат Тулпарович устроил после традиционного пятничного совещания суд на Эткиндом. Помимо директора и обвиняемого, присутствовали завуч по воспитательной части Элина Фаритовна, учителя-предметники и мама Ашера, дородная женщина, компенсирующая бесцветность облика броской помадой и тушью. Марат Тулпарович взял слово.

— Все мы здесь сегодня собрались, чтобы обсудить плохого мальчика, — с ледяным сарказмом начал директор. — Плохого мальчика Ашера, который считает, будто достоин особого внимания. Мама нашего почетного гостя по неясным причинам не научила его хорошим манерам. Мама не довела до его ума, что нужно уважать учителей и других ребят. Теперь мы видим бесконечные жалобы на ее сына. — Директор потряс в воздухе пачкой докладных, которых накопилось изрядно.

Роман настолько привык, что Марат Тулпарович изъясняется сухим языком, на казенный лад, что чуть не прыснул.

Директор произнес сокрушительную, уничижительную речь, вкрапляя в нее выразительные цитаты из докладных родителей и учителей. Адвокатский спич матери уступил директорскому по накалу и яркости. Мама оправдалась тем, что отец живет в Израиле, а она работает до глубокой ночи и не в состоянии контролировать сына.

Затем выступили учителя. Роман обнаружил, что он, как и другие, тушуется неизвестно почему и не выдает всего, что накипело. То ли вид подростка, вжимавшегося в стул, то ли тяжелая доля матери-одиночки, то ли сама нарочитость обстановки — что-то определенно давило. Габбас Юнусович нетвердым голосом рассказал, как он обижен и как ему грустно теперь перешагивать порог спортзала и школы вообще. Математичка Фания Гиниятовна и географ Вера Семеновна сместили акцент на неуспеваемость, отделавшись общими фразами, как важно образование и почему нельзя запускать учебный процесс. Роман, к своему стыду, почти повторил за ними.

— Что вы скажете, Максим Максимович? — спросил директор.

— Много мы с ним возимся, — отозвался англичанин. — Из ребенка растет настоящий бандит, в то время как мы всерьез разглагольствуем о неусвоенных темах и тетрадях без обложек. У мальчика срывает крышу от собственной безнаказанности. Сегодня он унизил одноклассника и послал педагога. Что завтра? Готова ли его мать к тому, что сын станет преступником, который никого в грош не ставит? Включая ее саму. Или она думает, что все образуется и школа подкрутит гайки, где надо?

— Спасибо, Максим Максимович, — вмешался директор.

Эткинд-старшая не отреагировала.

— Не образуется, милочка, — добавил англичанин. — Мальчика воспитывать необходимо. У Елисеевых восемь детей — все добрые, приличные. У вас один и уже упырь полный.

— Довольно, Максим Максимыч, — сказал директор жестче.

— Я закончил.

По итогам было постановлено, что при рецидиве Эткинда ставят на учет в полицию и школьная администрация пишет заявление в органы опеки. Мать Ашера обещала следить за сыном и заняться поведением и оценками.

Направляясь в тот день домой, Роман столкнулся с Максимом Максимычем, нервно курящим во дворе школы.

— Будь моя воля, застрелил бы упыря хоть сейчас, — сказал Максим Максимыч. — Рука бы не дрогнула. Навидался я таких. Как взрослеют, либо сбиваются в стаю, либо превращаются в аморальных типов. То есть при любом исходе отравляют существование всех, кто вокруг.

— Как с ними бороться? Без расстрелов, имею в виду.

— Я бы в одиночную камеру сажал пожизненно. С одной стороны, накладно для государства, а с другой, сигнал для всех, кто плохо себя ведет. Еще вариант: прятать в дурку и колоть препаратами до овощного состояния.

— Жестоко, — сказал Роман. — Я имею в виду легальные методы. Как законно с такими бороться?

— Да никак. — Максим Максимыч вдавил окурок в кирпичную стену. — Механизмов нет. Учет в полиции — фигня. Более хлопотно для школы, чем для ученика. Отчеты регулярные, характеристики. С органами опеки тоже возня. В вечернюю школу берут с пятнадцати, и сбагрить туда паршивца — целое искусство. Без подписи родителей в вечерку не примут. Мать может запросто заявить, что ее сокровище имеет право учиться с остальными детьми, и все будут вынуждены терпеть негодяя до конца девятого класса.

— И никаких лазеек?

— Колония. Если совершат ощутимое преступление. Машину угонят или подрежут кого-нибудь. Только из колонии они выйдут отпетыми отморозками. Так называемые исправительные учреждения, детские и взрослые, ведь не исправляют. Поэтому я за одиночные камеры и смертную казнь.

Заполняя вечером электронный журнал, Роман ударился в размышления. В идеале учитель должен обладать недюжинным педагогическим талантом, чтобы раз за разом доходчиво доводить до каждого учебный материал и заставлять заниматься закоренелых двоечников. Быть благожелательным, так как ребенок — существо с хрупкой психикой.

Как реагировать Роману, если кто-нибудь его пошлет или плюнет в его кабинете? Писать докладную? Проще приобрести муляжный маузер и носить его в кобуре за поясом.

Шутки шутками, а решения вопроса Роман не придумал.

Тернистый путь в трамвайный парк

Когда Роман всерьез размышлял над тем, чтобы нарушить условия программы и выведать у Артура Станиславовича сведения насчет расхваленного информатиком Интернет-проекта, решение по деньгам возникло само собой. Илья из Барнаула, ученик по «скайпу», сказал, что два его друга также изъявили желание подтянуть русский язык.

— Твои одноклассники? — спросил Роман.

— Нет, они из Новосиба. Мы на игровом форуме зафрендились.

— Вот как.

— Роман Павлович, а вы играете в «Ворлд оф Тэнкс»?

— Мне и на работу времени не хватает порой.

Роман слышал истории, как оголтелые фанаты онлайн-игр наподобие «Доты» и «Танков» сутками не отрывались от монитора, подкрепляясь в лучшем случае бананом, который заботливый товарищ из реального мира всовывал в руку геймера.

Влад и Кирилл, приятели Ильи по игровому форуму, вышли на связь без промедления и начали занятия. Ежемесячный достаток Романа увеличился почти на пять тысяч. Воодушевленный этой новостью, он дождался первого перевода на банковскую карту, заказал пиццу «Маргарита» и купил две банки темного «Козела». Настоящего, из Чехии.

По наблюдению знаменитого островитянина, внезапная радость, как и скорбь, ума лишает. Покончив с пиршеством, Роман принялся тиранить губную гармошку, извлекая из нее звуки, какие отвадили бы и черта, вздумай он явиться по душу молодого учителя. Когда музицировать надоело, проснулась потребность творить добро. Роман задал «ВКонтакте» поиск свежеиспеченных именинниц от 18 до 22 лет по всей России. Наиболее симпатичные девушки из Череповца, Ростова, Магнитогорска, Иркутска и не менее прекрасных городов удостоились роскошных поздравлений от Дьюлы Грошича, вратаря золотой сборной Венгрии.

Отличные известия доставил Марат Тулпарович. Утром в школьном холле он сказал Роману, что девочку из 5 «Б» из-за операции на ноге переводят на надомное обучение и Романа прикрепляют к ней учителем русского и литературы. Теперь он должен посещать ее раз в неделю по два часа. В рабочей нагрузке девочка приравнивалась к целому классу, и Роман быстро высчитал, что надомница будет стабильно приносить около тысячи рублей. Не по-княжески, но жаловаться нет причин.

Ладный порядок событий нарушился на уроке русского в 8 «Б».

Неповоротливый Гриша Слуцкий страдал у доски, склоняя числительное «двести шестьдесят два». С четырьмя падежами он с грехом пополам справился, а на творительном восьмиклассника парализовало.

— Двухстами? — выдавил он.

— В сложных числительных склоняются оба корня, обе части.

— Двухста?

— Григорий, давай так. Забудем о второй части, о сотне. Остается слово «два». Доволен чем?

— Двух? Двум?

Мальчик дышал, как будто только что наматывал круги вокруг школы.

— Нет.

— Двух? Не знаю я этот ТП.

Класс засмеялся. Все понимали, что под аббревиатурой Слуцкий подразумевал «творительный падеж», однако комизма ситуации это не убавляло.

— Сам ты ТП! — крикнула Туктарова.

— Иди ты, — огрызнулся Слуцкий.

— ТП! Ха-ха!

Одного удара кулаком об стол не хватило, и Роман повторил, приковав к себе внимание двух десятков глаз.

— Григорий, садись. Три.

Сконфуженный Слуцкий юркнул на место.

— Гузель, расскажи всем, как расшифровывается «ТП»?

— Ну, м-м, творительный падеж.

— Может, иначе? В творительном падеже ничего смешного.

— Там неприлично, — замялась Туктарова.

— Ты, значит, приличная девочка?

— Наверное.

— Раз приличная, почему оскорбила Слуцкого?

— Я не оскорбляла!

— Тупая пизда — это не оскорбление, по-твоему? Или ты у нас лучше остальных склоняешь числительные?

Класс ахнул. Туктарова выкатила глаза.

— Вас смущает, когда учитель произносит грязные слова? — сказал Роман. — Я потому и произношу, чтобы вы оценили, насколько мерзко они звучат. Есть еще более мерзкие вещи. Например, тыкать пальцем в надписи на заборах и хихикать в ладошку. Слово из трех букв, ха-ха-ха.

— Роман Павлович, давайте продолжим урок? — мягко попросила отличница Гараева.

— Погоди, Алина. «ТП» может означать все что угодно. Творительный падеж, тульский пряник, теплый пляж. Тем не менее некоторым личностям не терпится свести все к ругательству. Я вижу в этом дефицит фантазии. А дефицит фантазии в пятнадцать лет — это диагноз. Это куда страшнее, чем неумение склонять числительные.

Класс молчал, пережидая неловкие секунды.

— Итак, возобновляем работу. Мингазина, твой черед идти к доске.

Роман пожалел, что зря завелся. Надо было перевести в шутку. По мнимому приличию и по скудному воображению он прав, спору нет. Будь он императором, как Ашока, он бы учредил пособие по инвалидности для тех, у кого туго с фантазией. Ошибка Романа в том, что он обнажил конфликт, заговорил с учениками на их языке и, вероятно, уронил себя в их глазах. Ради чего? Туктарова — непростительно легкая мишень. Отчитывать ее — все равно что палить из базуки по витрине с плюшевыми медведями или рисовать карикатуру на Киселева.

И разве сам Роман праведник, чтобы стыдить школьников направо и налево? Разжившись деньгами, заказал пиццу и накидался пивом. Не образец для подражания.

На пятничном совещании Марат Тулпарович объявил, что за сквернословие и неподобающее поведение на занятии Роман подвергается штрафу в четыре тысячи. Кто донес, было неизвестно.

Дабы успокоиться, москвич целый вечер подбирал расшифровки к печальной аббревиатуре. Тунгусский панк. Тайный поклонник. Тайный покупатель. Тайный поклонник тайного покупателя. Татарстанский президент в театре пантомимы. Труп паралитика в тонне песка. Танец параноика в темном подъезде. Толпа поэтов и тучка поклонников. Снова поклонники, м-да. Тернистый путь в трамвайный парк. Техника пьянства тайной полиции. Топология пространства в «Тверском пассаже». Торкнутая Полина и типичный Путин...

Во имя добра

Предновогодние дни выдались суетными, в самом непраздничном смысле этого слова. По приказу Марата Тулпаровича все классные руководители в спешном порядке развешивали в кабинетах гирлянды и игрушки и вырезали с подопечными снежинки. Педагоги шептались, что профсоюз снова скупится на новогодние подарки для их детей.

— Моему сыну шесть, а ему даже символическую шоколадку не подарили, — сказала Галина Леонидовна. — Между тем взносы из зарплаты исправно вычитают.

Кроме того, при подсчете квартальных баллов за качество выяснилось, что учителя, выставившие хоть кому-нибудь четвертную двойку, теряли в зарплате.

Вспомнив, как настаивал директор на справедливом вынесении оценок по итогам первой четверти, Роман поклялся себе, что впредь с двойкой у него никто не останется. Решимость в этом вопросе подкрепляло то обстоятельство, что квартальная премия своими скромными размерами расстроила бы и заведомого оптимиста.

На улицу Даурскую, к Максиму Максимычу, Роман отправился с ирландским виски и вафельным тортом. Англичанин, обитавший в хрущевке, поджидал у подъезда с сигаретой в зубах. Как выяснилось, вторую неделю домофон функционировал с перебоями и порой звонки по нему достигали чужих квартир либо не достигали никого.

— Моя крепость в опасности, — сказал Максим Максимыч на лестнице, кивком указывая на пожелтевшую стену с черными разводами и надписями «АУЕ» и «Цой ЖИВ!».

Не обошлось и без привычной какофонии подъездных ароматов, в каждом доме узнаваемой и неповторимой одновременно. В потоке запахов, подвергших обоняние массированному штурму, Роман уловил табачный дым, подгоревшую картошку на прогорклом масле и еще что-то отталкивающее. Как будто пьяница в горячечном бреду засунул носки в морозилку, а затем выложил их оттаивать на батарею.

На пороге Романа встретили жена Максима Максимовича и его дочка. Супруга Надя, блондинка с мелкими чертами лица, к приходу гостя надела желтое платье, поверх которого торчали узкие острые плечи. Маленькая Мариша в синем платье, украсившая белокурые волосы пышным бантом в тон наряду, поразила редкой внешностью, при виде которой напрашивался эпитет «скандинавская»: альбиносовые брови, бирюзовые глаза, пшеничные веснушки. Девочка с достоинством протянула Роману белоснежную ручку с браслетом для поцелуя. Наверное, в будущем немало смельчаков сорвется со скал в фьорды ради одного лишь благосклонного взгляда Мариши.

Максим Максимыч увел гостя в уютную кухоньку. Новенький шведский гарнитур будил в памяти рекламные ролики со счастливыми семьями, дружно поедающими кукурузные хлопья или бульоны из куриных кубиков. Магниты на холодильнике манили дикими пейзажами со всех сторон света.

— Есть позавчерашний борщ, но им я тебя не угощу, — сказал англичанин, доставая из духовки сковороду. — Рыбу в кляре любишь?

— Ни разу не пробовал, — сказал Роман.

Рыба...

— Тогда попробуешь. Также на повестке дня салат зимний и салат летний. Жена стряпала, а она в готовке разбирается.

— Отлично.

Максим Максимыч вытащил из холодильника салатницы.

— Ислам не принял еще?

— Чего?

— Сало, говорю, любишь?

— Не откажусь.

— Не откажусь, — задумчиво повторил англичанин, открывая морозильный отсек.

Вскоре на столе появились тарелки и салатницы, сковорода с рыбой, хлебница с нарезанным на толстые ломти караваем, блюдечко со шпиком, солонка с перечницей, ваза с абхазскими мандаринами, виноградный сок, прозрачные бокалы и стопки. Роман, опомнившись, сбегал в коридор за виски в портфеле.

— Джамесон. Ирисх вхискей, — коверкая слова, прочел Максим Максимыч. — Уважаю. Честно говоря не сомневался, что сдержишь обещание. Я даже водку для перестраховки не взял.

Англичанин разлил виски и произнес тост:

— За то, чтоб в предстоящем году нас оценивали по заслугам.

Отвыкший от спиртного Роман поморщился от опрокинутой стопки и на всякий случай плотнее сжал губы.

— Зуб даю, сильнее, чем «Беллс» и «Джонни Уокер», — заявил англичанин. — Мягче и дыма меньше.

— Иная технология перегонки.

— Закусывай давай, не стесняйся. Отощал совсем, — сказал Максим Максимыч, отрезая большой кусок рыбы и переправляя его в тарелку Романа.

Роман украдкой принюхался и не уловил отвратительного запаха, которым пропитываются рыбаки и от которого кружится голова. На вкус блюдо неожиданно оказалось не просто удобоваримым, а изумительным, чему в немалой степени споспешествовал целый букет приправ и пряностей. Жена англичанина действительно разбиралась в кулинарии.

— Математические подсчеты сообщают, — сказал Максим Максимыч, — что полулитровая бутылка, распитая на двоих, вмещает в себя пять тостов. Теперь твой черед.

— За грамотную расстановку приоритетов в любой непонятной ситуации, — сказал Роман, подумав.

— Такое не грех и салом закусить.

Осталось три тоста.

— Палыч, я соображал, как аккуратнее спросить, и не сообразил. Так что напрямик. Правда, что ты матерился на уроке? — поинтересовался Максим Максимыч.

— Одно неосторожное слово, — потупился Роман. — Я никого при этом не оскорблял.

— Охотно верю, потому что за нецензурное оскорбление тебя бы по судам затаскали, — сказал англичанин. — Неосторожность вон как дорожает. Четыре тысячи штрафа.

— Не будем о грустном, Максим Максимыч.

— Ты прав. Грустнее только курс доллара под восемьдесят и квартальная премия в четыреста тринадцать рублей.

— У вас тоже такая сумма? — воскликнул удивленно Роман.

— У всех такая. Может, у Марата Тулпаровича другая, в корешок его не заглядывал. Вслушайся, звучит-то как звонко? Квар-р-ртальная пр-ремия! Как рокот мотора. А на деле пшик. Вина грузинского не купишь... Смешно представить, но и этих копеек лишают, если хотя бы день больничного возьмешь за три месяца. Хворым и хилым премия не положена.

— Предлагаю следующий тост за здоровье.

Максим Максимыч покачал головой.

— Выдвигаю контрпредложение. Пьем за Романа Павловича Тихонова, замечательного педагога, подвижника социально полезного труда...

— Вы того, Максим Максимыч, — смущенно сказал Роман, — больше ешьте. Вкусная же рыба.

— Отставить. Пьем за тебя. Ты обменял столицу на провинцию и бесстрашно спустился в ад. Романтичный, не побоюсь этого испачканного слова, ход. Я вправе изобразить скепсис на роже, потому что Казань — это не Колыма и не Воркута. Ты в любой момент можешь уехать обратно. Можешь?

— Хоть завтра, — соврал Роман.

— И не уезжаешь. Лилия Ринатовна тоже довольна тобой. Ты самостоятелен, не бросаешься чуть что за помощью к опытным учителям. Укрощаешь змей и тигров. В общем, свет на твою голову.

Англичанин со всей очевидностью пьянел. Доверительным тоном он сообщил свежую сплетню: Артура Станиславовича выставляют из школы, так как во время комиссионной проверки на его ноутбуке нашли порно. По слухам, даже детское.

Ежели так, то грядут караваны инспекций и разбирательств, по итогам которых директора снимут. Артура Станиславовича, само собой, на нары. С нар Максим Максимыч вдруг переключился на обличение системы образования. Согласно англичанину, это импотенция правового государства, когда учителя штрафуют на треть заработка за нехорошее слово, тогда как ученику, пославшему педагога из той же школы на три буквы, лишь грозят пальцем.

Роман поднял стопку и сказал:

— За то, чтобы работа не преследовала нас на отдыхе.

— Аминь.

На выходе из уборной Роман по ошибке двинулся не туда и очутился у Мариши. Девочка, склонив голову с пышным бантом, сосредоточенно рисовала за столом. Ощущалось, что над детской комнатой родители потрудились. Белый мебельный комплект включал в себя письменный стол со множеством ящиков, широкую кровать, где Маришка запросто могла спать с раскинутыми в стороны руками, и изящный книжный шкаф с заполненными полками. Деревянный пол отливал лаком, под натяжным потолком пристроился кондиционер. Вдоль стены, на бежевых обоях, висели рисунки за авторством дочери Максима Максимыча. Никаких аниме и чародеек, преимущественно городские пейзажи с безупречным чувством перспективы и тончайшим исполнением деталей.

Мариша повернулась к гостю и спросила:

— Назовите, пожалуйста, вторую и третью форму прошедшего времени глагола «fly».

— Хм, — сказал застигнутый врасплох Роман. — Flew... И снова flew.

— Flew, flown, — поправила Мариша. — Теперь вы.

— Чего?

— Скажите любой неправильный глагол.

— Например... Например, creep.

— Crept, crept. У «Radiohead» есть песня «Creep».

— Ого, каких музыкантов ты слушаешь. А Гегеля ты не читала?

— Нет, а кто это?

— Да так. Мыслитель немецкий.

— Нельзя говорить «да так», — заметила Мариша. — Ребенок подумает, будто вы считаете его глупым, и обидится. А вообще, я сейчас читаю английские сказки в оригинале.

Ошеломленный Роман вернулся в кухню, где Максим Максимыч жевал хлеб с салом.

— Умная у вас дочка.

— Четвертый класс, пора уже умнеть, — сказал англичанин с едва уловимой гордостью.

— По-моему, она не в нашей школе учится.

— Не приведи Господь. Маришка учится в толковой гимназии.

Очевидно, Максим Максимыч не без оснований полагал, что компания Эткиндов, Хидиятуллиных и Михеевых погубит его дочь.

У англичанина созрел заключительный тост.

— Смутные дни на то и смутные, что они приводят в замешательство, — начал издалека Максим Максимыч. — Турция, Сирия, Америка, Украина, обвал рубля — ряд длинный. Нефть дешевеет, еда дорожает, лица на улице стали злее, ожесточеннее. Ни власть, ни оппозиция доверия не внушают.

— Согласен с вами.

— У самого невзрачного депутата по две-три квартиры, не говоря уже о теневом бизнесе и машинах в гараже. Членам профсоюза подарки детские не выдают. Таким, что ли, верить? Или тем, кто с придыханием рассуждает о демократической Америке?

На секундочку, Пиночет — ставленник США, да и с Хуссейном звездно-полосатые дружили до тех пор, пока дядя Саддам награбленным делился. Расправа с индейцами, резня в Гондурасе и Сальвадоре, во Вьетнаме и Лаосе — это демократично или нет?

Максим Максимыч ударил кулаком по столу. О тосте он словно и думать забыл.

— Не демократично, — рискнул вставить слово Роман.

— Ни разу не демократично. Некому верить. Сильные мира сего нам добра не желают. Но мы должны учить детей добру. Добро — это великодушие решительного человека, когда он по своей воле оказывает помощь и не ждет ничего взамен. Надо творить добро. Выпьем за это.

— За добро.

После чая с вафельным тортом Максим Максимыч вызвался проводить Романа до остановки. Супруга англичанина попросила навещать их чаще, Мариша вручила гостю новогодний дар — миниатюрный графический эскиз, где изображалось здание с ионическими колоннами и памятник перед ним. Роман узнал Казанский университет.

— Существуют две разновидности смелости, — сказал Максим Максимыч на улице, закуривая. — Первая включает умение настучать по морде подлецу и защитить свою крепость. Вторая — смелость идеалистов. Она вбирает две стадии. Первая — смелость жить и размышлять об устройстве жизни. Вторая — смелость жить и размышлять на трезвую голову.

— Третьей стадии нет? — уточнил Роман.

— Разве есть?

— Жить согласно своим принципам.

Максим Максимыч, до того шагавший, застыл как вкопанный. Сигарета выпала из пальцев.

— Вон как завернул. Впрочем, это скорее безрассудство, чем смелость. Но ты попытайся.

В холодном автобусе Роман размышлял, что значит последняя фраза Максима Максимыча. Обстоятельства не позволят тебе в каждом поступке соответствовать твоим высоким убеждениям, что будет подтачивать тебя и доведет до шизофрении? До самоубийства?

Кирила Петрович

Артур Станиславович взаправду исчез после каникул.

Шавалиев сообщил, что информатик также удалил страничку «ВКонтакте». Эткинд выразил уверенность, что информатик в страхе бежал подальше от 6 «А» и сменил имя.

Директор дал установку раз в неделю заниматься с отстающими во внеурочное время. Роман рассудил, что с восьмиклассниками номер не прокатит: предложение подучить материал после уроков они проигнорируют, а в случае уговоров пожалуются родителям, которые горазды поднимать бурю при малейшем намеке на ущемление их прав. Так что из отстающих Роман обычно оставлял шестиклашек, Хаирзянова и Исмаева, Титову и Сумарокову. В общем, всех тех, кому допзанятия помогали не больше йода при переломах и травяных настоев при пневмонии.

Однажды компанию учителю составил одинокий Алмаз Исмаев, удостоенный одноклассниками прозвища Кирила Петрович.

Все началось с «Дубровского». Пушкинский мелодраматический боевик пришелся 6 «А» по вкусу. Лишь Исмаев не включался в обсуждение. Читал он не по слогам, а по буквам и, как догадывался Роман, не понимал и половины из прочитанного. Целыми уроками Алмаз воздерживался от участия в обсуждениях, пугая учителя исключительно письменными работами, наводненными самыми ужасными ошибками, однако на

«Дубровском» Исмаев решился. Когда Роман задал классу вопрос, что общего в характерах Андрея Гавриловича и Владимира Андреевича, Алмаз выпалил:

— Кирила Петрович!

Казалось, от хохота дребезжали стекла. Таким образом паренек получил свое прозвище.

Теперь Роман занимался с Исмаевым дополнительно: повторил с ним род существительных и определил упражнения для самостоятельной работы. Пока Кирила Петрович страдал над ними, Роман мучился с проверкой тетрадей. Сосредоточиться не удавалось, поскольку шестиклашке постоянно требовалась скорая лингвистическая помощь.

— Что такое топь, Роман Павлович? — спросил Кирила Петрович.

Из-за акцента «Павлович» выходило как «Павловищ».

— Топь — это болото, Алмаз. Третье склонение, женский род.

Школьник старательно зафиксировал услышанное в тетради.

— Вы были на болоте?

— Если честно, никогда, — сказал Роман.

— А в деревне?

— И в деревне не был.

— Обязательно бывайте, — посоветовал Кирила Петрович. — У нас в деревне большая болото. Мы на тарзанке прыгаем.

Судя по горящему взору, паренька захлестнули светлые воспоминания. Забавней всего, что их пробудило не печенье, а самое что ни на есть родное болото, в прямом смысле этого слова.

— Еще мы ходим на поле. Один раз там ветер дул. Облака стали другие. Темные. Мы бежали. Я упадал и повернулся на спину. И наверху, в небе, я увидел лицо... — запнулся Кирила Петрович. — Ходаем йозен кюрдем. Как по-русски будет?

Роман пожал плечами.

— Кюктэ гомер итэ. На небе живет, — объяснил школьник.

— Бога увидел?

— Да! — обрадовался Алмаз. — У него большие глаза и борода из облаков. Он так в меня посмотрел!

— Ничего себе. Страшно было?

— Страшно! А утром, уже потом, я увидел, как солнце через облака идет. Как будто через дырки протыкает.

Роман догадался, какое природное явление имеет в виду Кирила Петрович. Кира утверждала, что оно именуется сумеречными лучами. Золотистые потоки устремляются вниз сквозь пробоины в тучах, пронзая их словно десяток мощных прожекторов.

— Не забывай про упражнение, Алмаз, — сказал Роман.

Не успел он проверить и две тетради, как Кирила Петрович снова принялся за сбивчивое повествование.

— В 8 «А» все девочки курют, — сказал Кирила Петрович.

— Неужели все?

— Все. У них тут штаб есть. Они там курют и пьют пиво.

Роман подавил в себе желание поинтересоваться, что школьники подразумевают под штабом и где он размещается.

— Ладно, возвращайся к заданию, — велел Роман.

— Ашер тоже с ними ходит, — сказал Кирила Петрович. — Вы в «Фикс прайсе» были?

— Это магазин через дорогу? Где все по сорок три рубля?

— Да, Роман Павлович. Там камер на самом деле нет. Ашер и 8 «А» в «Фикс прайсе» пиво и чипсы воруют. В портфель кладут и уносят.

Похоже, Кирила Петрович был не прочь заделаться доносчиком. Роман опять поборол искушение выведать, какие тайны скрывает будничная жизнь его подопечных.

— Алмаз, тебя упражнение заждалось, — напомнил Роман. — И еще. Ты больше никому о штабе и о «Фикс прайсе» не рассказывай. Чужие тайны выбалтывать нехорошо. Да и Эткинд тебе спасибо не скажет, если узнает. Ясно?

— Ясно, — сказал Кирила Петрович и уткнулся взглядом в учебник. — Что такое воевода?

Он вроде не обиделся на учительскую реакцию и продолжил определять род существительных.

Целый вечер Романа преследовала строчка «Людей неинтересных в мире нет».

Письмо № 4

От кого: Зимовьева Грустяна Тоскановича, город Льдов, улица Сверхурочная, дом 5, квартира 55, 634634.

Кому: Вершинину Бубну Костровичу, город Пещерск, улица Шаманова Духа, дом 0, квартира 0, #^%@&.*

Так вот.

С днем рождения тебя, Кира. Любое пожелание при данных обстоятельствах обрело бы комический окрас, поэтому без пожеланий. Пусть это будет свидетельством того, что я помню. Я помню все, что происходило с нами, но боюсь об этом говорить.

Не хотелось бы обрывать письмо на этих словах.

Опять о буднях?

Больше недели по дороге в школу и обратно я сталкиваюсь с социальным плакатом из серии «Все равно?!» Большие буквы на белом фоне билборда наставляют на дидактический лад: «Честность. Что это? Расскажите вашим детям».

Не то чтобы я категорически против социальной рекламы. Меня расстроил посыл именно плаката о честности. По моему скромному мнению, дети гораздо лучше осведомлены насчет честности. Я не идеализирую детей: маленькие стервецы врут напропалую. Как дышат, если ты понимаешь. Мне раз тридцать за урок приходится пресекать ложь — примитивную, неуклюжую, безликую. Дневник забыл, тетрадь потерял, в туалет надо, будильник сломался, электронный дневник с домашним заданием заблокирован. Такая ложь примитивна потому, что дети четко различают грань между правдой и неправдой. Их легко вывести на чистую воду. Даже если ребенок сталкивался с потерей родных и с предательством, он врет неумело, несообразно своему исключительному опыту.

На некотором этапе происходит щелчок, и представления о правде эволюционируют. Если до некоего момента ложь измерялась соотношением с реальностью (что не соответствует реальности, то ложь), то теперь она приобретает шкалу. На одном полюсе появляется «ложь во благо», или оксюморон «оправданная ложь», на противоположном — «гнусная ложь», «грязная ложь» и им подобные словосочетания. Между полюсами располагаются промежуточные, терпимые решения, полумеры, которым и названия сложно отыскать в русском языке. Человек, бессознательно смирившийся с необходимостью говорить неправду, настолько овладевает навыками лгать, что схватить его за руку крайне не просто. При попытке уличить кого-то во лжи неловкость скорее испытает уличивший, ведь неприлично заявлять в глаза, что тебе врут. Неприличнее, чем врать, например.

Если не веришь, попробуй сказать христианам, что они убеждают тебя в том, о чем сами с достоверностью не знают и знать не могут. Попытайся поймать на лжи госчиновника — в прямом эфире, встретившись с ним лицом к лицу. Или дистрибьютора,

который на пороге твоей квартиры с улыбкой толкает тебе набор ножей или электрочайник. В дураках во всех случаях окажешься ты. Даже автор социальной рекламы «Все равно?!» не признается в собственном лукавстве. Вы считаете, что детей не нужно учить честности, вознегодует он. То есть вы приветствуете ложь? Вы потворствуете нравственной распущенности подрастающего поколения? Вам все равно?!

Это и называется взрослением.

Позавчера директор попросил меня по-дружески выручить учительницу по биологии, участвовавшую в районном этапе конкурса «Учитель года». Требовалось переписать ее эссе о педагогическом кредо. Честно ли выдавать плоды чужого труда за свои и обделять соавторов? Если нет, то как воспринимать, например, редакторскую помощь писателям? У них ведь тоже соревнования: «Букер», «Большая книга», «Ясная поляна», прочее всякое. С одной стороны, редактор не вторгается в содержательный пласт, а лишь поправляет формальные недочеты, помарки вычищает. С другой — малейшее изменение формы влечет за собой и сдвиги в содержании. Как быть, если обе точки зрения верны? Получается, что профессиональные отношения между автором и редактором вне честности и лжи.

Тогда получается, что честность приносится в жертву необходимости, которая как раз оправдывает неточности в логике и, что более важно, нарушения морального кодекса. Стоит ли объяснять это детям? Должны ли родители первыми травмировать ребенка открытием, что мир строится на лжи, что притворство (менее грубое наименование для лицемерия) в малых дозах — качество, без которого в социуме не выжить? Или родители обязаны учить порядочности и честности в надежде, что ребенок самостоятельно определит момент, когда честность надо в себе погасить?

Усваивать правила, чтобы их нарушать.

Шизофрения.

Ментальный тупик.

(Окончание следует)

Джон Ноулз

Сепаратный мир

Роман

С английского. Перевод Ирины Дорониной

Роман Джона Ноулза «Сепаратный мир» — это история о взрослении юношей из закрытой американской школы-интерната, которое происходит на фоне Второй мировой войны, о юношеской дружбе, о предательстве, о ложном выборе «врага», в борьбе с которым подросток дает волю жажде соперничества и гневу, заставляя расплачиваться за это других.

С любезного разрешения издательства АСТ, которому принадлежат права на русский перевод и где роман выйдет в полном объеме, мы выбрали для журнального варианта лишь одну сюжетную линию, связанную с мальчиком по имени Финеас. Финеас — человек-стихия, человек-праздник, неотразимый лидер, ломающий все привычные устои и представления, не стремящийся никого победить, а лишь бесстрашно исследующий границы собственных возможностей и при этом обладающий даром бескорыстной привязанности и прощения. Пронзительные, осложненные чувством вины, но озаренные счастьем беззаветной дружбы и благодарности воспоминания о нем рассказчика составляют основу выбранного нами фрагмента этого увлекательного и в хорошем смысле слова поучительного повествования.

1

Недавно я съездил в Девонскую школу, и она, как ни странно, показалась мне более новой, чем была пятнадцать лет назад, когда я в ней учился. И более спокойной, чем я ее помнил, более «прямостоящей» и строгой, с более узкими окнами и более блестящими деревянными панелями, словно для сохранности здесь все покрыли лаком. Впрочем, пятнадцать лет назад шла война. Вероятно, в то время за школой не так хорошо следили, — возможно, лак, как и все остальное, уходил на военные нужды.

Не скажу, что мне очень понравился этот ее новый блеск, потому что теперь школа выглядела как музей, каковым она в сущности и была для меня, хотя мне очень этого не хотелось. Глубоко в душе, там, где чувство сильнее невысказанной мысли, я всегда ощущал, что Девонская школа начала свое существование в тот день, когда я

Джон Ноулз, выпускник Академии Филлипса в Эксетере (академия Филлипса в Эксетере — престижная независимая частная старшая школа в городе Эксетер, штат Нью-Гемпшир, США) и Йельского университета, написал семь романов, книгу путешествий и сборник рассказов. Был обладателем Премии Уильяма Фолкнера и Премии Фонда Розенталя Национального Института искусств и литературы. Выступал с лекциями во многих университетах страны. Ноулз скончался в 2001 году в возрасте семидесяти пяти лет.

в нее вошел, оставалась реальной и полной жизни, пока я в ней учился, и угасла, как свеча, в тот самый час, когда я ее покинул.

Тем не менее вот она передо мной, сохраненная чьей-то заботливой рукой с помощью лака и воска. Сохранился вместе с ней словно застоявшийся воздух в непроветриваемой комнате и хорошо знакомый страх, который окружал меня и наполнял те дни так плотно, что я даже не осознавал его, ибо, не ведая иного состояния, вне этого страха, даже не догадывался о его присутствии.

Но теперь, обернувшись на пятнадцать лет назад, я с предельной ясностью увидел, в каком страхе жил тогда, и это, должно быть, означало, что за истекшее время мне удалось сделать нечто очень важное: избавиться от него.

Было два места, которые я хотел теперь увидеть. Оба — страшные, и увидеть я их хотел именно поэтому. Вот почему, позавтракав в гостинице «Девон», я пошел к школе. Стояло промозглое, не поддающееся определению время года ближе к концу ноября, сырой, словно жалующийся на судьбу ноябрьский день, когда каждый комок грязи становится особенно заметным. К счастью, в Девоне такая погода случается редко — ледяные тиски зимы или лучезарные нью-гемпширские лета для него более характерны, — но в тот день дул унылый порывистый ветер с дождем.

Как все старые добрые школы, Девонская не была огорожена стенами и воротами, а как бы естественно вырастала из города, ее породившего. Поэтому, приблизившись к ней, я не испытал внезапности момента встречи.

Было начало дня, площадки и здания пустовали, поскольку все разошлись по спортивным занятиям. Ничто не отвлекало меня, пока я пересекал широкий двор, называвшийся Дальним выгоном, и шел к зданию, такому же краснокирпичному и пропорциональному, как все остальные здешние крупные здания, но увенчанному просторным куполом с колоколом под ним и украшенному часами и латинской надписью над входом, это был Первый учебный корпус.

Войдя через вращающуюся дверь, я оказался в мраморном вестибюле и остановился у подножья длинного марша белых мраморных ступеней. Хотя лестница была старой, ступеньки стерлись посередине неглубоко. Должно быть, мрамор обладал необычайной твердостью. Похоже, так оно и было, да, скорее всего, хотя, насколько я помнил, мысль о его исключительной твердости никогда не приходила мне в голову. Удивительно, что я упустил такой важный факт.

Больше ничего примечательного я не заметил; это была, безусловно, та же лестница, по которой я ходил вверх-вниз минимум раз в день на протяжении всей свой девонской жизни. Она была такой же, как всегда. А я? Ну, я, в отличие от лестницы, естественно, чувствовал себя повзрослевшим — с этого момента я начал оценивать свое эмоциональное состояние, чтобы понять, насколько необратимым было мое выздоровление, — сделался выше ростом и крупнее. У меня теперь было больше денег, я стал успешнее и уверенней, чем тогда, когда призрак страха ходил рядом со мной по этим ступеням.

Я развернулся и снова вышел на улицу. Двор был по-прежнему пуст, и я пошел на дальний конец школьной территории по широким гравиевым дорожкам между чопорными новоанглийскими вязами, ст*а*тью своей напоминавшими банкиров-республиканцев.

Девонскую школу иногда называют самой красивой школой Новой Англии, и даже в столь унылый день она оправдывала это звание. Ее красота складывалась из небольших упорядоченных пространств, сосуществующих в общей гармонии, — раздольный двор, группа деревьев, три одинаковых спальных корпуса, кольцо старых зданий. Я брел мимо строго пропорциональных краснокирпичных спальных корпусов, обвитых паутиной скинувшего листву плюща, через заброшенный участок города, вклинивавшийся на территорию школы ярдов на сто, мимо массивного спорткомплекса, в этот час заполненного учениками, но снаружи тихого, как монумент, мимо крытого

спортивного манежа, который называли Клеткой, — помню, в первые недели своего пребывания в Девоне, наслушавшись загадочных упоминаний о Клетке, я решил, что это место суровых наказаний, — и наконец вышел на обширный участок земли, известный под названием «Игровые поля».

Девонская школа славилась как академическими успехами, так и спортивными достижениями своих учеников, поэтому игровые поля были просторными и за исключением этого времени года всегда заполненными. Сейчас же они расстилались вокруг меня пропитанные водой и пустые; жалко выглядевшие теннисные корты слева, гигантские поля для футбола, американского футбола и лакросса — в центре, справа — лес, а на дальнем конце, впереди — маленькая речушка, местонахождение которой отсюда можно было распознать лишь по нескольким голым деревьям, растущим вдоль берега. День был настолько серым и туманным, что противоположный берег, где находился маленький стадион, не просматривался.

Над речкой висел туман, поэтому, приблизившись к ней, я оказался отгороженным от всего, кроме самой реки и нескольких деревьев на берегу. Здесь ветер дул непрерывно, и я начал замерзать. Шляпы я не носил никогда, а на этот раз забыл и перчатки. Передо мной было несколько деревьев, смутно вырисовывавшихся сквозь мглу. Любое из них могло оказаться тем, которое я искал. Мне казалось невероятным, что здесь росли теперь и другие деревья, выглядевшие так же, как «мое». По моим воспоминаниям, оно возвышалось над рекой как гигантский одинокий пик, доминировавший над берегом, грозный, словно артиллерийское орудие, и длинный, словно бобовый стебель. Тем не менее, вот она — редкая рощица разбросанных деревьев, ни одно из которых особой внушительностью не отличалось.

Шагая по мокрой задубевшей от холода траве, я начал внимательно осматривать каждое из них и наконец узнал то, которое искал, по маленьким колышкам на стволе, крупному суку, простершемуся над рекой, и тонкому отростку рядом. Дерево было не просто голым, что естественно в это время года, оно словно бы устало от минувших лет, ослабело, высохло. Я был благодарен, очень благодарен за то, что повидался с ним. Чем больше вещи остаются прежними, тем больше они в конце концов меняются — *plus c'est la meme chose, plus la change.* Ничто не вечно — ни дерево, ни любовь, ни даже память о насильственной смерти.

Внутренне изменившийся, я отправился обратно по грязи. Я промок насквозь, и было совершенно ясно, что пора мне уйти из-под дождя и укрыться в помещении.

* * *

Дерево было огромным, грозным, словно сделанным из черной вороненой стали шпилем, возвышавшимся на берегу реки. Провались я на месте, если даже подумаю о том, чтобы влезть на него. Да пошло оно к черту. Никому, кроме Финеаса, такая безумная идея и в голову прийти не могла.

Он же, естественно, не видел в этом ничего хоть сколько-нибудь страшного. А если бы и видел, ни за что не признался бы. Не таков наш Финеас.

— Что мне больше всего нравится в этом дереве, — сказал он тем своим голосом, который был звуковым аналогом гипнотического взгляда, — так это то, что оно такое пустяковое! — Он выпучил свои зеленые глаза, уставившись на нас характерным маниакальным взглядом, и лишь самодовольная ухмылка, растянувшая его рот со смешно выпяченной верхней губой, убеждала в том, что он не окончательно свихнулся.

— Значит, именно это тебе нравится больше всего? — сказал я саркастически. В то лето я многое произносил саркастически, это было мое «саркастическое лето», лето 1942 года.

— Угу-й-ага, — ответил он. Это забавное новоанглийское междометие всегда

смешило меня, и Финеас знал это, вот и на сей раз я не удержался от смеха, что снизило градус моего сарказма, а заодно и испуга.

С нами были еще трое — в те дни Финеас всегда ходил в компании числом с хоккейную команду, — и они, стоя рядом, переводили взгляд с него на дерево и обратно, стараясь не выдать своего страха. Вверх по вздымающемуся черному стволу, до солидного сука, нависавшего над берегом, шли грубые деревянные колышки. Взобравшись на этот сук и приложив невероятное усилие, можно было оттолкнуться и прыгнуть в реку достаточно далеко, чтобы это не представляло опасности для жизни. Так говорили. По крайней мере, компании семнадцатилетних ребят это удавалось, но у них перед нами было решающее преимущество в один год. Никто из средне-старших, как называли в Девоне выпускников предпоследнего класса высшей школы, никогда не пробовал это сделать. Естественно, Финеас решил стать первым и, опять же естественно, — подбить нас, остальных, тоже поучаствовать.

Строго говоря, мы даже еще не были средне-старшими, поскольку шел летний семестр, устроенный для того, чтобы, учитывая военное время, мы не отстали от школьной программы. Так что тем летом мы еще пребывали в шатком положении перехода от безропотных салаг к почти бывалым и уважаемым средне-старшим. Те, кто учились классом старше нас, мальчики предпризывного возраста, почти уже солдаты, рвались на войну, опережая нас. Они поступали на ускоренные курсы по программе оказания первой помощи и сколачивали отряды физического закаливания, которое включало в том числе и прыжки с этого дерева. Мы же пока невозмутимо и смиренно читали Вергилия и играли в пятнашки на берегу реки ниже по течению. Пока Финеасу не стукнула в голову мысль об этом дереве.

И вот мы стояли, задрав головы и глядя на него: четверо с ужасом, один — с возбуждением.

— Кто первый? — риторически обратился к нам Финеас. Мы ответили ему лишь молчаливыми взглядами, и тогда он начал раздеваться, сняв с себя в конце концов все, до трусов. Для такого выдающегося спортсмена — даже будучи еще средне-младшим, он считался лучшим спортсменом школы — сложен был Финеас не слишком атлетически. Ростом он был с меня — пять футов восемь с половиной дюймов (до того как мы стали жить с ним в одной комнате, я всем говорил, что мой рост пять футов девять дюймов, но Финеас публично, со свойственной ему непоколебимой уверенностью, заявил: «Нет, мы с тобой одного роста — пять футов восемь с половиной дюймов. Ребята с левого фланга»), а весил на десять фунтов больше — сто пятьдесят фунтов; и вся его фигура, от ног до торса, плечевой пояс, бицепсы и мощная толстая шея представляли собой сплошной монолит силы.

Он начал карабкаться на дерево, цепляясь за колышки, прибитые к стволу, и его спинные мускулы работали как у пантеры. Колышки казались недостаточно прочными, чтобы выдержать его вес. Но наконец он перешагнул на сук, простиравшийся ближе к воде.

— Отсюда прыгают? — спросил он. Никто из нас не знал. — Если я это сделаю, вы все должны будете повторить, договорились? — Мы пробормотали нечто нечленораздельное. — Ну, — крикнул он, — это мой вклад в оборону! — И, оттолкнувшись, прыгнул, пролетел через кончики нижних ветвей и плюхнулся в воду.

— Здорово! — крикнул он, вынырнув наконец и качаясь на поверхности воды; мокрые волосы смешной челкой облепили его лоб. — Это было самое большое удовольствие за прошлую неделю. Кто следующий?

Следующим был я. При взгляде на дерево меня всего, до кончиков пальцев, в которых ощущалось покалывание, окатило волной страха. В голове образовалась какая-то неестественная пустота, и неясный шелест соседнего леса стал доноситься как будто сквозь какой-то заглушающий фильтр. Должно быть, я впадал в состояние

легкого шока. Отгороженный им от всего вокруг, я снял одежду и начал карабкаться вверх по колышкам. Не помню, чтобы я что-нибудь говорил. На самом деле сук, с которого прыгнул Финеас, был тоньше, чем казался снизу, и расположен гораздо выше. По нему невозможно было пройти достаточно далеко, чтобы оказаться над водой. Поэтому, если ты не хотел упасть на мелководье рядом с берегом, нужно было сильно оттолкнуться и выпрыгнуть далеко вперед.

— Ну, давай! — понукал меня снизу Финни. — Хватит там красоваться.

Автоматически я отметил про себя, что вид отсюда открывался впечатляющий.

— Когда торпедируют транспортное судно, — кричал Финни, — нельзя стоять и любоваться природой. Прыгай!

И что я делаю здесь, на этой верхотуре? Почему позволил Финни уговорить меня совершить эту глупость? Неужели он начинает забирать надо мною власть?

— Прыгай!

С таким ощущением, словно швыряю прочь свою жизнь, я прыгнул в никуда. Кончики нижних ветвей оцарапали меня на лету, потом я рухнул в воду. Мои ноги коснулись мягкого ила на дне, и уже в следующий момент я, вынырнув на поверхность, услышал поздравления. Чувствовал я себя отлично.

— Думаю, ты прыгнул лучше, чем Финни, — сказал Элвин Лепеллье, известный под кличкой Чумной, с таким видом, словно вызывал на спор любого желающего.

— Не спеши, парень, — ответил ему Финни своим сердечным проникновенным голосом, который он извлекал из своей груди, как из звучного духового инструмента. — Не начинай раздавать награды, пока дистанция не пройдена до конца. Дерево ждет.

Чумной решительно, словно навсегда, закрыл рот. Он не стал ни спорить, ни отказываться. Не отступил. Он просто сделался как неживой. Зато двое других, Чет Дагласс и Бобби Зейн, пустили в ход все свое красноречие: они громко сетовали на школьные правила, на опасность схлопотать желудочную колику или такое увечье, о каком прежде никто и не слыхивал.

— Значит, только ты, приятель, — наконец сказал Финни, обращаясь ко мне. — Только ты и я.

Мы с ним пустились в обратный путь через игровые поля в почтительном сопровождении остальных — вроде двух сюзеренов.

В тот момент мы были с Финеасом лучшими друзьями.

— Классно ты прыгнул, — добродушно сказал Финни и добавил: — после того как я тебя пристыдил и заставил.

— Никого ты не пристыдил и не заставил.

— Нет, заставил. Я тебе нужен в таких ситуациях. Иначе ты вечно норовишь увильнуть.

— Я никогда в жизни ни от чего не увиливал! — крикнул я с тем б*о*льшим негодованием, что это было правдой. — Ты чокнутый!

Финеас, в своих белых кедах, безмятежно шел, или скорее даже пар*и*л, катился вперед с такой неосознанной плавностью движения, что слово «шел» здесь не подходило.

Я шагал рядом с ним через огромные игровые поля к спорткомплексу. Пышный зеленый дерн под ногами был тронут росой, а впереди виднелась легкая зеленая дымка, висевшая над травой и пронизанная насквозь солнечным мерцанием. Финеас внезапно замолчал, и в тишине стали слышны стрекот кузнечиков, предзакатное пенье птиц, артиллерийская канонада школьного грузовика, едущего по пустой беговой дорожке в четверти мили от них, взрыв смеха от задней двери спорткомплекса, а затем, поверх всех этих звуков, равнодушный матриархальный звон колокола из-под купола Первого корпуса, оповещавший о времени: шесть часов — самый равнодушный, самый

всепроникающий колокол в мире, благовоспитанный, невозмутимый, непобедимый и окончательный.

Колокольный звон плыл над роскошными кронами вязов, над широкими покатыми крышами и грозными дымоходами спальных корпусов, над узкими и острыми верхушками старых домов, под просторным нью-гемпширским небом — прямо к нам, возвращавшимся с реки.

— Надо поторопиться, чтобы не опоздать на ужин, — сказал я, переходя на то, что Финни называл моим «вест-пойнтским шагом». Не то чтобы Финеас как-то особо не любил Вест-Пойнт или власти в целом, он просто считал любую власть неизбежным злом, противодействие которому доставляет огромное удовольствие, а себя — своего рода баскетбольным щитом, возвращающим все оскорбления, которые она ему наносила. Мой «вест-пойнтский шаг» он терпеть не мог; его правая ступня мелькнула в воздухе, и я на полном ходу нырнул носом в траву.

— А ну, свали с меня свои сто пятьдесят фунтов! — заорал я, потому что он сидел у меня на спине. Финни встал, добродушно похлопал меня по затылку и двинулся дальше через поле, не соизволив даже обернуться, чтобы не пропустить мою контратаку, а полагаясь лишь на свой сверхчувствительный слух и способность не глядя чуять приближение сзади. Когда я бросился на него, он легко сделал шаг в сторону, но, пролетая мимо, я все же успел лягнуть его ногой. Он поймал меня за эту самую ногу, и между нами состоялась короткая борцовская схватка на дерне, которую он выиграл.

— Ты бы лучше поторопился, — сказал он, — а то тебя посадят на гауптвахту.

Мы снова двинулись вперед, теперь быстрее; Бобби, Чумной и Чет, уйдя вперед, махали нам — мол, ради бога, поскорей; так Финеас снова поймал меня в свою самую надежную ловушку: я вдруг оказался соглашателем. Пока мы быстро шагали рядом, я внезапно почувствовал отвращение к колоколу, к собственному «вест-пойнтскому шагу», к этой поспешности и к своему соглашательству. Финни был прав. И существовал лишь один способ показать ему это. Я толкнул его бедром, застав врасплох, и он вмиг очутился на земле, явно довольный. Поэтому-то он меня так и любил. Когда я прыгнул на него, упершись ему в грудь коленями, ему больше ничего и не надо было. Мы более-менее на равных боролись некоторое время, а потом, когда он уже был уверен, что на ужин мы опоздали, оторвались друг от друга.

Пройдя мимо спорткомплекса, мы направились к первой группе спальных корпусов, темных и молчаливых. В летнее время в школе нас оставалось всего сотни две, недостаточно, чтобы заполнить б*о*льшую часть помещений. По мере того как постепенно темнело небо, в спальных корпусах и старых домах загорались огни; где-то далеко громко играл патефон: не доиграв до конца «Не сиди под яблоней», он сменил пластинку на «Либо слишком молоды, либо слишком стары», потом проявил более изысканный вкус — зазвучал «Варшавский концерт»[1], потом сюита из балета «Щелкунчик», а потом патефон замолчал.

Мы с Финни отправились в свою комнату и принялись в желтом свете настольных ламп выполнять домашнее задание по Харди: я уже наполовину прочел «Тесс из рода д'Эрбервиллей», он продолжал неравную борьбу с романом «Вдали от обезумевшей толпы», поражаясь тому, что могут существовать люди, которых зовут Габриэль Оук и Баштеба Эвердин. Наше незаконное радио, работавшее так тихо, что ничего невозможно было разобрать, передавало новости. Снаружи был слышен шелест раннелетнего ветерка.

---

[1] «Варшавский концерт» (Warsaw Concerto) для фортепьяно с оркестром был написан английским композитором Ричардом Эддинселлом (Richard Addinsell, 1904—1977) в стиле Рахманинова для фильма «Опасная луна» (Dangerous Moonlight, 1941). (*Здесь и далее примечания переводчика*)

2

Наше отсутствие на ужине не осталось незамеченным. На следующее утро — чисто вымытое, сияющее летнее северное утро — мистер Прадомм остановился в проеме нашей двери. Он был широкоплеч, угрюм и всегда носил серый деловой костюм. Мистер Прадомм отнюдь не отличался тем небрежным «британским» видом, какой имели почти все преподаватели Девонской школы, потому что был приглашен временно, только на лето. Он следил за соблюдением школьных правил, которые твердо усвоил; отсутствие на ужине было нарушением одного из них.

Финни объяснил, что мы плавали в реке, потом у нас был борцовский поединок, потом начался такой закат, каким невозможно было не залюбоваться, потом нужно было повидаться по делу с несколькими друзьями... Он говорил и говорил, его голос плыл в воздухе, извлекаемый из глубокого резонатора его груди, глаза время от времени расширялись, посылая зеленые вспышки через всю комнату. Глядя на него и слушая его бессвязно-красноречивые объяснения, мистер Прадомм быстро терял свою суровую хватку.

— Если вы не пропустили девять приемов пищи за последние две недели... — вклинился было он.

Но Финни не желал упускать своего преимущества. Не потому, что добивался прощения за пропущенный ужин — это его как раз ничуть не интересовало, он бы, скорее, порадовался наказанию, если бы оно было назначено в какой-нибудь новой, ранее неведомой форме. Он продолжал эксплуатировать свое преимущество потому, что видел: мистеру Прадомму это нравится, пусть и помимо его собственной воли. Наставник с каждой минутой все больше утрачивал свою официальную позу, и не было исключено, что при достаточной настойчивости со стороны Финеаса между ними вот-вот установится безотчетное дружеское расположение, а это было одним из тех состояний души, ради которых Финни, собственно, и жил.

Все, что говорил Финни, было хоть и чудовищно сумбурным, но правдивым и искренним, и он очень удивлялся, если его речи ошарашивали собеседника.

Мистер Прадомм выдохнул, издав при этом легкий удивленный смешок, какое-то время смотрел на Финни, и все — вопрос оказался закрыт.

Тем летом наставники были склонны обращаться с нами именно так. Казалось, что их обычное состояние плавающего хронического неодобрения меняется. Теперь, в эти нью-гемпширские ясные июньские дни, они, похоже, расслабились, видя, что половину времени мы проводим у них на глазах и лишь другую половину используем для того, чтобы их дурачить. Склонность к терпимости ощущалась совершенно явно; Финни решил, что они начинают обнаруживать похвальные признаки зрелости.

Отчасти это было его заслугой. Преподавательский состав Девонской школы никогда прежде не сталкивался с учеником, в котором сочетались бы невозмутимое игнорирование правил с обаятельным стремлением слыть хорошим, с учеником, который, казалось бы, искренне и глубоко любит школу, но особенно тогда, когда нарушает ее распорядок, с образцовым мальчиком, который чувствует себя уютней всего в углу для прогульщиков. Не сумев справиться с Финеасом, учителя сдались, а заодно ослабили хватку и на всех нас.

Но существовала и другая причина. Думаю, мы, шестнадцатилетние мальчики, напоминали им о мирных временах. Нас ставили на военный учет без призывной комиссии и медицинского освидетельствования. Никто никогда не проверял нас на дальтонизм и на грыжу. Травмы коленей и прокол барабанных перепонок были жалобами, не достойными внимания, и не являлись изъянами, отделявшими меньшинство от участи остальных. Мы были беспечны, необузданны и, полагаю, являли собой свидетельство той жизни, которую всем так хотелось сохранить,

несмотря на войну. Так или иначе, учителя были теперь более снисходительны по отношению к нам, чем когда-либо прежде; все свое внимание они обратили на старших, направляя, формируя и вооружая их для войны. За нашими играми они наблюдали спокойно. Мы напоминали им о том, что такое мир, о молодых жизнях, не обреченных на гибель.

Финеас был сутью этого беспечного мира. Хотя нельзя было сказать, что его совершенно не интересовала война. После ухода мистера Прадомма <...> он завел речь о бомбардировках Центральной Европы. Никто другой из нас об этом ничего не слышал, а поскольку Финеас не мог точно вспомнить, какая именно цель и в какой стране подверглась воздушной атаке, были это американские, британские или русские самолеты и даже в какой день он прочел в газете эту новость, то «дискуссия» носила сугубо односторонний характер.

— Пойдем прыгнем в реку, — с придыханием сказал он, когда мы вышли из зимнего сада, и, чтобы не дать мне возможности увильнуть, привалился ко мне и подтолкнул в нужную сторону; словно полицейская машина, прижимающая автомобиль нарушителя к обочине, он направлял меня в сторону реки.

— На самом деле я не верю, что наши бомбили Центральную Европу, а ты? — задумчиво сказал Финни. Спальные корпуса, мимо которых мы проходили, были массивными и почти неотличимыми друг от друга под густыми покровами плюща, чьи крупные, старые на вид листья, казалось, оставались на месте всегда, зимой и летом, — вечные висячие сады Нью-Гемпшира. Вязы высоко врезались в просветы между домами; ты забывал, насколько они высоки, пока, задрав голову, не проскальзывал взглядом по знакомым стволам к нижним лиственным зонтам и дальше, к пышной зелени над ними: крупные ветви, более мелкие ответвления — целый мир ветвей с бескрайним морем листвы. Они тоже казались вечными, никогда не меняющимися — неприкасаемый и недосягаемый мир в вышине, похожий на декоративные башни и шпили гигантской церкви, слишком высокие, чтобы любоваться ими, слишком высокие вообще для чего бы то ни было, величественные, далекие и совершенно бесполезные.

— Я тоже в это не верю, — ответил я.

Бомбы над Центральной Европой здесь, для нас, были нереальными не потому что мы не могли себе их представить — тысячи газетных фотографий и кадров хроники давали нам довольно точное представление о картинах бомбардировок, — а потому, что место, где мы пребывали, было слишком благополучным, чтобы поверить в существование чего-то подобного. Лето мы провели абсолютно эгоистично, если можно так выразиться. Летом 1942 года во всем мире было очень мало людей, которые могли это себе позволить, — за исключением нашей небольшой компании, — и я рад, что мы воспользовались этим преимуществом.

— Первый, кто скажет что-нибудь неприятное, получает пинок под зад, — задумчиво произнес Финни, когда мы подошли к реке.

— Ладно.

— Ты по-прежнему боишься прыгать с этого дерева?

— В этом вопросе уже есть нечто неприятное, ты не думаешь?

— В этом вопросе? Конечно, нет. Все зависит от того, что ты ответишь.

— Я боюсь прыгнуть с этого дерева? Наоборот, я думаю, что это будет величайшим удовольствием.

После того как мы немного поплавали в реке, Финни сказал:

— Можешь оказать мне любезность и прыгнуть первым?

— С радостью.

Одеревеневший, я начал взбираться по колышкам, чуточку ободренный тем, что Финни карабкался следом за мной.

— Мы прыгнем вместе, чтобы скрепить наше товарищество, — сказал он. — Мы

организуем Союз самоубийц, а вступительным взносом будет один прыжок с этого дерева.

— Союз самоубийц, — сдавленно повторил я. — Союз самоубийц летнего семестра.

— Отлично! *Сверх*союз самоубийц летнего семестра. Как тебе?

— Замечательно. Пойдет.

Мы оба стояли на суку: я немного впереди, дальше к реке, чем Финни. Повернувшись, чтобы сказать что-то еще, просто в качестве предлога, желая отсрочить прыжок хоть на несколько секунд, я пошатнулся и стал терять равновесие. Меня на миг охватила безотчетная всепоглощающая паника, но в этот момент Финни резко выбросил вперед руку и схватил меня за плечо; я восстановил равновесие, и паника тут же прекратилась. Я снова повернулся лицом к реке, продвинулся еще на несколько шажков, оттолкнулся, прыгнул вперед и нырнул в глубокую воду. Финни тоже отлично спрыгнул, и Суперсоюз самоубийц летнего семестра был официально учрежден.

Только после обеда, когда шел в библиотеку, я в полной мере осознал грозившую мне опасность. Если бы Финни не поднимался следом за мной... если бы его там не оказалось... я мог упасть на землю и сломать спину! А если бы упал как-нибудь особенно неловко, мог и погибнуть. Финни фактически спас мне жизнь.

3

Да, он фактически спас мне жизнь. Но он же фактически и подверг ее риску. Если бы не он, я бы не оказался на этом суку, не обернулся бы, стоя на нем, и не потерял бы равновесия. Так что у меня нет причины быть так уж благодарным Финеасу.

Суперсоюз самоубийц летнего семестра имел успех с самого начала. В тот же вечер Финни уже говорил о нем как о некой почтенной, устоявшейся организации Девонской школы. С полдюжины друзей, собравшихся в нашей комнате, задавали кое-какие мелкие уточняющие вопросы, словно не было ни одного человека, который никогда не слышал о подобном клубе. Ни для кого не секрет, что школы изобилуют тайными обществами и подпольными братствами, и все восприняли Союз самоубийц как одно из них, о котором только сейчас стало известно. Без колебаний все записались в «абитуриенты».

Мы начали встречаться каждый вечер, чтобы посвящать их в члены союза. Привилегированные члены, он и я, открывали каждый сход, лично совершая прыжки. Это было первое правило, которое Финни в то лето установил априори. Мне оно было ненавистно. Я так и не привык к этим прыжкам. С каждым разом сук казался мне все более тонким, расположенным все более высоко, и все труднее было допрыгнуть до глубоководья. И каждый раз, перед тем как прыгнуть, меня охватывало изумление: неужели я и впрямь собираюсь совершить поступок, реально чреватый гибелью? Но я всегда прыгал. Иначе я потерял бы лицо в глазах Финеаса, а об этом страшно было даже подумать.

Итак, мы встречались каждый вечер. Хотя жил Финни руководствуясь вдохновением и анархией, он высоко ценил правила. Свои собственные, не те, которые навязывали ему другие, — например, преподавательский состав Девонской школы. Суперсоюз самоубийц летнего семестра был клубом; члены клубов, по определению, встречаются регулярно; вот мы и встречались каждый вечер. Постоянней этого ничего быть не могло. Еженедельные сходки Финни счел гораздо менее регулярными, почти случайными, граничащими с легкомыслием.

Я соглашался с ним и никогда не пропускал ни единой встречи. В то время мне и в голову не приходило сказать: «Сегодня мне не хочется», — между тем как на самом деле не хотелось всегда. Я был жертвой диктата собственного рассудка, который позволял мне свободу маневра не более чем смирительная рубашка. Стоило Финни

сказать: «Ну, пошли, приятель!» — и, действуя вопреки всем инстинктам моего существа, я шел, даже не помышляя возразить.

По мере того как продолжалось лето с этим ежедневным неотвратимым мероприятием — ради которого можно было пропустить урок, не явиться на обед и даже на службу в часовню — я стал замечать кое-что в складе ума Финни, казалось бы, полностью противоположном моему собственному. На самом деле Финни не был совсем уж отвязным. Я заметил, что он неукоснительно следовал некоторым правилам, которые выражал в форме заповедей. «Никогда не говори, что в тебе пять футов девять дюймов росту, если на самом деле в тебе — пять футов восемь с половиной дюймов» — это была первая из них, с которой я столкнулся. Еще одной заповедью было: «Всегда читай молитву на ночь, поскольку может оказаться, что Бог есть».

Но заповедь, которая оказывала самое существенное влияние на его жизнь, звучала так: «В спорте ты всегда побеждаешь». Это «побеждаешь» было коллективным. В спорте побеждает каждый и всегда. Для Финни это было аксиомой. Он никогда не позволял себе думать о том, что, когда *мы* побеждаем, *они* проигрывают. Это разрушило бы идеальную красоту, которую воплощал для него спорт. В спорте никогда не случалось ничего плохого, он был абсолютным благом.

Спортивная программа того лета его возмутила — немного тенниса, немного плавания, сумбурные футбольные матчи, бадминтон. «Бадминтон!» — презрительно воскликнул он в тот день, когда эта дисциплина появилась в расписании. Он ничего не добавил, но гневная, презрительная, отчаянная интонация его голоса сказала все остальное: *«Бадминтон!»*

— По крайней мере, нам лучше, чем старшим, — заметил я, вручая ему хлипкую ракетку и воздушный воланчик. — У них в расписании — ритмическая гимнастика.

— Чего от нас добиваются? — Финни с силой запустил волан через всю раздевалку. — Хотят сломить нас? — Сквозь гнев, однако, послышалась ироническая нотка, и это означало, что он придумывает, как соскочить.

Мы вышли на воздух, под радушное послеполуденное солнце. Игровые поля расстилались перед нами, оптимистически зеленые и пустые. На теннисных кортах народу было полно. Как и на площадке для софтбола. Бадминтонные сетки сладострастно раскачивались на ветру. Финни посмотрел на них с тихим удивлением. На дальнем конце поля, ближе к реке, стояла деревянная вышка высотой футов в десять, с которой тренер обычно руководил занятиями по ритмической гимнастике. Финни медленно пошел по направлению к вышке. Может, он надумал, чтобы мы отнесли ее к реке и сбросили в воду, а может, просто хотел рассмотреть поближе, ему всегда было интересно все рассматривать вблизи. Но что бы ни задумал, он обо всем забыл, подойдя к вышке. Кто-то оставил рядом с ней большой тяжелый набивной кожаный мяч, медицинский мяч для лечебной физкультуры.

Он поднял его.

— Вот, — сказал он, — видишь? Это все, что нужно для спорта. Как только было изобретено колесо, возник и спорт. Что касается этого... — Он обхватил медицинский мяч левой рукой, а в правой поднял и протянул вперед грязный волан. — Это перышко — идиотизм; единственное, для чего оно годится, это для эни-мини-майни-мо[1]. — Он выпустил мяч и начал с отвращением выдергивать перышки из волана, словно выбирал клещей из собачьей шерсти. Когда в руке у него осталась только резиновая головка с единственным торчащим пером, он изо всех сил зашвырнул ее куда-то далеко вперед. С бадминтоном было покончено.

Он снова поднял медицинский мяч и с удовольствием взвесил его на руке.

Хоть он редко это сознавал, за Финеасом постоянно наблюдали — как за погодой. В дальнем конце площадки игравшие в бадминтон почуяли изменение направления

[1] Начало американской детской считалки.

ветра, до нас донеслись их голоса: нас звали. Поскольку мы к ним не шли, они начали постепенно приближаться к нам сами.

— Думаю, сейчас самое время начать новые *упражнения,* согласен? — сказал мне Финни, склонив голову набок. Потом он медленно обвел подошедших товарищей взглядом, исполненным какой-то полуосознанной решимости, целью которого было увлечь людей своей последней идеей. Дважды моргнув, он добавил: — Можно начать с этого мяча.

— Давайте сделаем так, чтобы это имело какое-то отношение к войне, — предложил Бобби Зейн. — Ну, что-то вроде блицкрига или вроде того.

— Блицкриг, — с сомнением повторил Финни.

— Можно придумать что-нибудь наподобие бейсбольного блицкрига, — сказал я.

— Мы назовем это блицкригбол, — подхватил Бобби.

— Или короче — блицбол, — поразмыслил вслух Финни. — Да, блицбол. — Потом, бросив выжидательный взгляд вокруг, воскликнул: — Ну, начнем? — и без предупреждения бросил мне тяжелый мяч.

Я поймал его обеими руками и прижал к груди.

— Беги! — приказал Финни. — Нет, нет, вон *туда!* К реке! Беги!

Я помчался к реке, окруженный нерешительной толпой товарищей; они догадывались, что, по всей вероятности, являются моими противниками по блицболу.

— Не жадничай! — вопил Финни. — Отдай кому-нибудь другому! Иначе, — он ритмично выкрикивал слова на бегу, — мы окружим тебя и кто-нибудь собьет тебя с ног.

— Попробуйте! — Я увильнул от него, продолжая прижимать к себе мяч. — Что это за игра?

— Блицбол! — закричал Чет Дагласс, хватая меня за ноги и валя на землю.

— Это совершенно не по правилам, — сказал Финни. — *Руками* действовать нельзя, когда сбиваешь того, кто владеет мячом.

— Нельзя? — пробормотал Чет, сидя на мне верхом.

— Нельзя. Руки надо держать скрещенными на груди, вот так, а того, у кого мяч, просто подсекать. Плечами тоже нельзя работать. Ладно, Джин, начинай сначала.

— Может, кто-нибудь другой теперь возьмет мяч? — быстро предложил я.

— Нет, после того как тебя против правил сбивают с ног, мяч остается у тебя. Все в порядке, продолжай. Вперед!

Мне не оставалось ничего иного кроме как снова пуститься наутек, между тем как остальные затопали вокруг меня с новым энтузиазмом.

— Бросай его! — приказал Финеас. Бобби Зейн был более-менее открыт, и я бросил мяч ему; тот был таким тяжелым, что Бобби принял мою передачу только у самой земли. — Прекрасно, молодцы, — прокомментировал Финни, продолжая мчаться вперед на предельной скорости. — Когда передаешь мяч партнеру, он и должен коснуться земли. — Бобби, ища защиты, попятился ближе ко мне. — Вали его! — заорал мне Финни.

— Валить?! Ты что, спятил? Он же из моей команды!

— В блицболе нет никаких команд, — с явным раздражением крикнул он, — здесь все — противники. Вали его!

Я свалил.

— Отлично, — сказал Финни, распутывая нас. — Теперь мяч снова переходит к тебе. — Он передал мне свинцовый снаряд.

— Я считал, что мяч переходит...

— Нет, ты, естественно, снова завладел мячом, когда свалил противника. Беги.

— Я снова помчался. Чумной Лепелье бежал размашистым шагом вне пределов моей досягаемости, не следя за игрой, бессмысленно следуя за мной по пятам, как дельфин за проходящим кораблем.

— Чумной, лови! — я бросил ему мяч поверх нескольких голов.

Пойманный врасплох, Чумной сокрушенно задрал голову, отшатнулся, присел, чтобы мяч не попал в него, и, как это часто с ним случалось, выпалил первое, что пришло ему в голову:

— Он мне не нужен!

— Стоп, стоп! — закричал Финни голосом рефери. Все замерли, Финни поднял мяч и, держа его в руках, продолжил: — Сейчас Чумной продемонстрировал нам одно очень важное правило игры. Принимающий может по собственному желанию *отказаться* принять пасс. Поскольку все мы соперники, мы можем и будем все время играть друг против друга. Это правило назовем правилом отказа, или правилом Лепеллье. — Мы все молча кивнули. — Итак, Джин, мяч по-прежнему твой, разумеется.

— По-прежнему мой? Ради бога! Еще никто кроме меня не владел мячом.

— У них тоже будет возможность. И еще: если на отрезке между вышкой и рекой твоя подача будет отклонена три раза, ты возвращаешься на исходную позицию, и все начинается сначала. Естественно.

Блицбол стал сюрпризом того лета. В него играли все. Не удивлюсь, если в какой-то форме он и теперь популярен в Девонской школе. Но никто не умел играть в него так, как играл Финеас. Невольно он изобрел игру, которая позволяла максимально раскрыть все его спортивные дарования. Учрежденные им правила ставили владеющего мячом в вопиюще неравное положение по сравнению с остальными игроками, поэтому Финеас практически каждый день, оказываясь на этой позиции, из кожи вон лез, чтобы превзойти самого себя. Увиливая от волчьей стаи, в которую превращались остальные игроки, он использовал отходы назад, обманные движения и приемы массового гипноза, бывшие настолько эффективными, что это удивляло даже его самого; несколько игр спустя я стал замечать, как он, довольный собой, тихо хмыкает — словно сам себе не веря. Во время игры, продолжавшейся без перерыва, он также обладал преимуществом неисчерпаемого потока энергии — я ни разу не видел, чтобы она у него иссякала. Я никогда не видел его уставшим, задыхающимся, испытывающим перегрузку или обеспокоенным. И на рассвете, и в течение всего дня, и в полночь Финеас всегда был полон этой ровной несокрушимой энергии.

С самого начала было ясно, что никто другой так не приспособлен для какого бы то ни было вида спорта, как Финни — для блицбола. Я это сразу увидел. А почему бы и нет? В конце концов, это же он придумал игру, разве не так? Неудивительно, что он был в ней потрясающе хорош, в то время как мы, остальные, только создавали сумятицу на поле — каждый по-своему. Наверное, и поделом нам было, раз мы предоставили ему одному устанавливать правила игры. На самом деле я не слишком задумывался об этом. Какая разница? Это ведь всего лишь игра. И прекрасно, что Финни мог проявить себя в ней во всем своем блеске. Точно так же, во всем своем блеске, он проявлял себя и во многом другом — например, в отношениях с товарищами по общежитию, с преподавателями; в сущности, Финни привлекал к себе и очаровывал всех, с кем сталкивался. И это меня тоже радовало. Естественно — он же был моим соседом по комнате и лучшим другом.

У каждого в жизни есть исторический момент, который дорог ему особо. Это момент, когда эмоции приобретали над ним наибольшую власть, так что потом, когда этот человек слышит слова: «сегодняшний мир», или «жизнь», или «действительность», он соотносит их именно с этим моментом, даже если с тех пор прошло полвека. Благодаря выпущенным тогда на волю чувствам мир оставляет в душе человека особый отпечаток, и этот отпечаток былого момента он несет в себе до конца.

Для меня таким моментом — ибо четыре года для истории всего лишь момент — была война. Война была и остается для меня реальностью. Я все еще инстинктивно живу и думаю в ее атмосфере. Вот некоторые из ее знаковых

характеристик: Франклин Делано Рузвельт — президент Соединенных Штатов, и всегда им был. Двумя другими вечными мировыми лидерами являются Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Америка никогда не была, не является и никогда не будет землей изобилия, как величают ее в песнях и стихах. Нейлон, мясо, бензин и сталь — в дефиците. Рабочих мест много, а рабочих рук не хватает. Деньги очень легко заработать, но довольно трудно потратить, потому что покупать почти нечего. Поезда всегда опаздывают и всегда забиты «военнослужащими». Война всегда будет идти где-то далеко от Америки и никогда не закончится. Ничто в Америке не остается на месте долго, включая людей, которые вечно либо уезжают, либо временно пребывают в отпуске. Американцы часто плачут. Шестнадцать лет — ключевой, критический и самый естественный возраст человеческого существования, все другие люди выстраиваются либо впереди, либо позади гармоничного единства шестнадцатилетних мира сего. Когда тебе шестнадцать, взрослые относятся к тебе с некоторым изумлением и почти робостью. Это остается загадкой, пока ты не поймешь: такое отношение обусловлено тем, что они предвидят твое военное будущее, то, что тебе предстоит сражаться за них. Сами вы этого не осознаете. Тратить что-либо попусту в Америке — аморально. Веревка или оловянная фольга — сокровища. Газетные страницы заполонены незнакомыми картами и названиями городов; и каждые несколько месяцев Земля словно бы срывается со своей орбиты, когда вы видите в газетах нечто невероятное, например, фотографии Муссолини — который казался едва ли не еще одним вечным мировым лидером, — подвешенного вниз головой на мясницком крюке. Все по шесть-семь раз в день слушают новости по радио. Всё, что доставляет удовольствие — путешествия, занятия спортом, развлечения, хорошая еда и красивая одежда, — малодоступно и будет малодоступно всегда. Эти приятные вещи составляют лишь крохотные фрагменты окружающего мира, и в том, чтобы предаваться им, есть нечто непатриотичное. Все чужеземные страны недостижимы ни для кого, кроме военнослужащих; они далеки, смутны и загадочны, словно находятся за полупрозрачным занавесом. Преобладающий цвет жизни в Америке — грязно-зеленый, который называют цветом хаки. Этот цвет уважаем и очень важен, большинство остальных рискуют показаться непатриотичными.

Вот эта особая Америка, насколько я понимаю, совсем не типичная, незнакомая, в памяти большинства людей представляющая собой некое размытое неустойчивое пятно, для меня и есть настоящая Америка. В той недолго просуществовавшей особой стране, в Девонской школе, мы с Финни и провели памятное лето, когда он добился некоторых выдающихся результатов в спорте. В подобное время никто не отмечает и не отдает должное никаким достижениям, связанным с физическими упражнениями, если они не касаются подвигов, свершенных на поле боя, где — либо пан, либо пропал, так что тем, чего добился Финни, восхищались только мы, кучка его товарищей.

Однажды он побил школьный рекорд по плаванию. Мы с ним дурачились в бассейне возле большой бронзовой таблицы, на которой были отмечены школьные рекорды в плавании на пятьдесят, сто и двести двадцать ярдов. Под каждой дистанцией были указаны имена рекордсменов, год, когда был установлен рекорд, и время победителя. Под отметкой «100 ярдов вольным стилем» было написано: «А.Хопкинс Паркер, 1940, 53,0 сек.»

— А.Хопкинс Паркер? — прищурившись, прочел Финни. — Не помню никакого А.Хопкинса Паркера.

— Он закончил школу еще до нас, — сказал я.

— Ты хочешь сказать, что этот рекорд держится *все то время*, что мы учимся в Девонской школе, и никто его до сих пор не побил? — Это звучало оскорбительно для нашего класса, а Финни был большим патриотом своего класса, равно как и любой другой группы, к которой принадлежал, начиная от нашего с ним тандема и расширяясь

во все стороны бесконечно — за пределы человечества, к иным сущностям, к облакам и звездам.

Никого, кроме нас, в бассейне не было. Вокруг блестели, отражая свет, белый кафель и оконные стеклоблоки; тихо колыхалась, бликуя в гигантской ванне, зеленая, неестественно выглядевшая вода, испуская легкий химический запах и урчание множества трубок и фильтров. Даже голос Финни, запертый в этом глухом помещении с высоким потолком, утрачивал свою особую резонирующую звучность и сливался в неразборчивый поток шума, столбом поднимавшегося к потолку.

— У меня ощущение, что *я* могу проплыть быстрее, чем А.Хопкинс Паркер, — сказал он.

В тренерской мы нашли секундомер. Финни поднялся на тумбочку, наклонил корпус вперед — он видел, что так делают участники соревнований, хотя сам никогда еще в них не участвовал, — я заметил, как он, готовясь к прыжку, расслабляет плечи и руки, как, не переставая владеть своим телом, сбрасывает всякое напряжение, что было неожиданно для человека, намеревающегося побить рекорд.

— На старт! Внимание! Марш! — скомандовал я.

Тело его распрямилось, выстрелило вперед с внезапно обретенной упругостью металла и заскользило к противоположному борту: плечи над водой, а ступни и бедра так глубоко под нею, что я их даже не различал. По поверхности быстро расходилась поднятая им волна; в конце дорожки тело его расслабилось, на миг словно бы замешкалось, а потом, перевернувшись и снова обретя металлическую упругость, понеслось в обратном направлении. Снова поворот — и опять к противоположному борту. Коснувшись его руками, он поднял голову и посмотрел на меня со спокойным интересом.

— Ну, как мои успехи?

Я взглянул на секундомер: Финни побил рекорд А.Хопкинса Паркера на семь десятых секунды.

— Господи! Так я действительно это сделал. Знаешь, а я ведь понимал, что побеждаю. У меня в голове как будто тикал свой секундомер, и я знал, что иду чуточку быстрее А.Хопкинса Паркера.

— Хуже всего то, что никто этого не видел. А я — не официальный хронометрист. Не думаю, что результат зачтут.

— Конечно, *не* зачтут.

— Ты можешь попробовать еще раз и снова побьешь рекорд. Завтра. Мы приведем тренера, всех официальных хронометристов, я позвоню в «Девониан», чтобы они прислали корреспондента и фотографа...

Он выбрался из воды и тихо сказал:

— Я не собираюсь ничего повторять.

— Но ты должен!

— Нет, мне просто хотелось узнать, смогу ли я. Теперь знаю. Но я вовсе не хочу делать это напоказ. — В дверях появилось несколько пловцов. Финни внимательно посмотрел на них и произнес, еще больше понизив голос: — И мы не будем это обсуждать. Это останется только между тобой и мной. Ничего не рассказывай... никому.

— Ничего не рассказывать?! И это притом, что ты побил школьный рекорд?!

— Ш-ш-ш-ш! — Он стрельнул в меня острым взволнованным взглядом.

Я замолчал и уставился на него. Но он больше не смотрел на меня.

— Ты неправдоподобно скромен, — спустя несколько секунд сказал я.

— Большое спасибо, — ответил он почти безучастно.

Чего он хотел? Произвести на меня впечатление или что? Никому не говорить? Притом, что он побил школьный рекорд, не тренировавшись ни дня?! Но я знал, что он попросил меня об этом серьезно, поэтому никому ничего и не сказал. И может

быть, именно поэтому его достижение засело у меня в голове и начало буйно разрастаться в темноте, где я был вынужден его прятать. В книге рекордов Девонской школы появилась ошибка, ложь, и никто не знает об этом, кроме меня и Финни. А.Хопкинс Паркер, где бы он теперь ни был, продолжал витать в своих иллюзорных эмпиреях. Его побежденное имя по-прежнему красовалось на бронзовой таблице школьных рекордов, между тем как Финни добровольно избегал спортивной славы. Конечно, у него уже было много других почетных достижений: Мемориальный Кубок Уинслоу Гэлбрейта по футболу за христианское мужество, проявленное в играх сезона 1941—1942 годов; Почетная лента и премия Маргарет Дьюк Авентура, присуждаемая ученику, который ведет себя на хоккейном поле так, как вел себя ее сын; Премия за достижения в контактных видах спорта Девонской школы, ежегодно присуждаемая ученику, который, по мнению спортивных наставников, превзошел своих одноклассников по спортивности поведения в играх, требующих физического контакта. Но все это в прошлом, и все это — награды, а не рекорды. В тех видах спорта, в которых Финни участвовал официально — в футболе, хоккее, бейсболе, лакроссе, — рекорды не устанавливались. Переключиться на новый вид всего на один день и тут же побить рекорд — это был такой фокус, такой головокружительный кульбит, какой мне, если честно признаться, и представить было трудно. В такой непредсказуемости мастерства было нечто пьянящее. Когда я думал об этом, у меня немного кружилась голова и начинало трепетать в животе. Одним словом, в этом был ошеломляющий и недосягаемый мальчишеский шик. Когда, глядя на секундомер, я на какую-то долю секунды раньше, чем это отразилось на моем лице или послышалось в голосе, осознал, что Финни побил школьный рекорд, я испытал чувство, которое можно определить словом «шок».

То, что я вынужден был молчать о таком знаменательном событии, лишь усугубило ощущение шока. Это делало Финни слишком особенным, не для дружбы — для соперничества. А ведь основу наших взаимоотношений в Девонской школе составляло именно соперничество.

— Плавание в бассейнах все равно странное занятие, — сказал он после необычно долгого молчания, когда мы возвращались в общежитие. — Настоящее плавание — только в океане. — А потом самым обыденным тоном, каким он всегда предлагал что-нибудь действительно безумное, добавил: — Давай поедем на пляж.

Пляж находился в нескольких часах езды на велосипеде, его посещение было строго запрещено, так что предложение Финни выходило за все рамки. Поехать туда означало подвергнуться риску исключения из школы, лишить себя возможности позаниматься перед важной контрольной работой, которая предстояла мне на следующее утро, нарушить даже ограниченный в разумных пределах свод правил, которые я установил для себя в жизни, а также это требовало долгой утомительной поездки на велосипеде, которые я ненавидел.

— Давай, — ответил я.

<...>

4

<...>

В Девон мы вернулись на следующий день как раз к началу моего зачета, который я благополучно провалил. Что так и будет, я понял, едва взглянув на задание. Это был первый в моей жизни зачет, который я провалил.

Но Финни не дал мне времени на сетования. Сразу после ленча начался матч по блицболу, продолжавшийся бо́льшую часть дня, а сразу после обеда состоялось собрание Суперсоюза самоубийц летнего семестра.

Вечером, в нашей комнате, хоть и был вымотан всеми этими упражнениями, я все же попытался разобраться, что случилось со мной на тригонометрии.

— Ты слишком усердно работаешь, — сказал Финни, сидя напротив меня за столом с книгой. Настольная лампа отбрасывала круглую желтую лужицу света на середину стола, между нами. — Ты знаешь все по истории, английскому и французскому, да и по остальным предметам тоже. На кой тебе сдалась тригонометрия?

— Ну, для начала мне нужно ее сдать, чтобы закончить школу.

— Ой, только не начинай! Уж если кто-нибудь когда-нибудь в Девонской школе и мог быть уверенным, что получит аттестат, так это ты. Ты работаешь не ради *этого.* Ты хочешь быть первым в классе, чтобы произнести прощальную речь на выпускном вечере — на латыни или еще каким-нибудь скучным способом, — ты хочешь быть школьным вундеркиндом. Я же тебя знаю.

— Не будь идиотом. Я бы не стал терять время на подобные глупости.

— Ты никогда не теряешь время. Вот почему мне приходится делать это вместо тебя.

— В любом случае, — ворчливо добавил я, — должен же кто-то быть первым учеником в классе.

— Вот видишь, я же знал, что это и есть твоя цель, — спокойно заключил он.

— Да ну тебя.

А что если и так? Мне казалось, что это не такая плохая цель. Финни выиграл Кубок Гэлбрейта по футболу и получил Премию за достижения в контактных видах спорта, еще две или три спортивные награды наверняка получит в этом или следующем году. Если я стану первым в классе и мне поручат произнести речь на выпускном вечере, тогда мы сравняемся...

Он медленно поднял голову, моя резко опустилась. Я уставился в учебник.

— Расслабься, — сказал он. — Если ты будешь продолжать в том же духе, у тебя мозги взорвутся.

— За меня можешь не беспокоиться.

— Я и не беспокоюсь.

— А тебе не будет... — я запнулся, не уверенный, что мне хватит самообладания закончить вопрос: — ...досадно, если я стану первым в классе, а?

— Досадно? — Пара синевато-зеленых глаз уставилась на меня. — А ты не думаешь, что это маловероятно в любом случае, учитывая, что есть еще Чет Дагласс?

— Но тебе, *тебе* это не было бы досадно? — повторил я более низким голосом, очень четко.

Он улыбнулся той своей фирменной полуулыбкой, которая уже тысячу раз ввергала его в конфликты.

— Я бы застрелился от зависти.

Я ему поверил. Ироническая форма ответа была лишь ширмой; я поверил ему. Страница учебника по тригонометрии у меня перед глазами затуманилась и превратилась в неразборчивое месиво значков. Я ничего не видел. У меня вскипели мозги. Значит, ему невыносима даже мысль о том, что я могу стать первым в классе! В голове у меня пронеслось несколько вспышек — взрывались одна убежденность за другой: вот взлетело на воздух представление о настоящем друге, вот — о товарищеской привязанности и преданности, вот — вера в то, что есть человек, на которого можно полностью положиться в джунглях мужской школы, вот — надежда, что в этой школе — в этом мире — существует кто-то, кому я могу довериться.

Горе мое было настолько глубоким, что я больше не мог говорить. Я пробежал глазами по странице, мне стало трудно дышать, как будто из комнаты вдруг выкачали весь кислород. Одна за другой мысли мелькали в моем опустошенном разуме, отчаянно стремившемся отыскать хоть что-то, на что можно еще положиться — пусть

не полностью, не безоговорочно, эта возможность была разрушена как таковая, — но хотя бы какое-нибудь малое утешение, что-нибудь, что выжило в руинах.

И я нашел! Я нашел эту единственную мысль, дающую опору. Вот в чем она состояла: вы с Финеасом уже равны. Вы с ним равны во вражде. Вы оба хладнокровно правите вперед только ради себя самого. Ты ненавидишь его за то, что он побил школьный рекорд по плаванию, ну и что с того? Он тоже ненавидит тебя — за то, что ты до последнего семестра получал высшие оценки по всем предметам. И по тригонометрии у тебя была бы высшая оценка, если бы не он не утащил тебя на пляж. Если бы не он!

И тут новое озарение пронзило мозг, ясное и холодное: Финни нарочно устроил так, чтобы сорвать мне зачет. Этим же объяснялись и блицбол, и ежевечерние собрания Суперсоюза самоубийц, этим объяснялось его настойчивое стремление заставить меня разделять все его забавы. И вся его болтовня в духе ты-мой-лучший-друг! И тень, которая накрывала его лицо, если я не хотел что-то делать вместе с ним! Инстинктивная потребность все делить со мной? Конечно, он хотел делить со мной все, особенно длинный хвост своих слабых оценок по всем предметам. Таким образом он, великий атлет, мог по-своему опережать меня. Все это было хладнокровным расчетом, обманом, проявлением враждебности.

Я почувствовал себя лучше. Так человек от облегчения покрывается испариной, избавившись от тошноты; да, я почувствовал себя лучше. Наконец мы сравнялись — сравнялись во вражде. Соперничество не на жизнь, а на смерть было обоюдным.

После этого я стал образцовым учеником. Я и всегда был хорошим учеником, хотя учеба сама по себе не интересовала и не воодушевляла меня так, как Чета Дагласса. Но теперь я стал не просто хорошим, а выдающимся, соперничать со мной мог разве что этот самый Чет Дагласс. От Финни все это было бесконечно далеко. В классе он обычно сидел, ссутулившись за партой, с философски-понимающим видом настороженно следил за дискуссией, а когда его самого заставляли высказаться, завораживающая власть его голоса в сочетании с неординарностью мышления рождали ответы, которые часто бывали ошибочными, но которые редко можно было заклеймить как дурацкие. Письменные контрольные были для него катастрофой, потому что он не мог прочесть вслух то, что написал, и в результате получал отметки разве что проходимые. Не то чтобы он никогда не работал — работал, но спорадически: время от времени, короткими наскоками. По мере того как продолжалось то судьбоносное лето, я подтянул свою дисциплину, и Финеас тут же увеличил интенсивность своих учебных «припадков».

Все это было мне совершенно очевидно. Я все более и более уверенно шел к тому, чтобы стать лучшим учеником школы; Финеас, без всяких сомнений, был лучшим спортсменом, таким образом мы делались равными. Но если он оставался очень слабым учеником, то я был вполне приличным спортсменом, и если все это бросить на чашу весов, то они определенно склонялись в мою сторону.

Удивительно, как хорошо мы ладили с ним в те недели. Иногда я ловил себя на том, что бездумно соскальзываю обратно, в свою былую привязанность к нему, и почти не вспоминал о его предательстве.

Лето лениво тащилось вперед. Никто не обращал на нас никакого внимания, не следил за нашей дисциплиной, мы были предоставлены сами себе. Но экзамены были на носу. Я оказался не готов к ним настолько, насколько мне хотелось бы. Союз самоубийц продолжал собираться каждый вечер, и я исправно присутствовал на сходках, потому что не хотел, чтобы Финни раскусил меня так же, как я раскусил его.

А кроме того я не хотел позволить ему обойти меня, хотя прекрасно знал: совершенно неважно, кто возьмет верх на том дереве. Важно только то, что происходит в душе. А я уже понял, что тайное убежище Финни — одинокое,

эгоистичное честолюбие. Он был не лучше меня, независимо от того, кто побеждал во всех наших состязаниях.

Экзамен по французскому языку был назначен на последнюю пятницу августа. В четверг во второй половине дня мы с ним занимались в библиотеке; я повторял слова, он писал записочки — «je ne[1] дам ломаного гроша за le francais[2]», «les filles en France ne[3] носят les pantelons[4]» — и передавал мне с серьезным видом в качестве aide-memoire[5]. Разумеется, мне ничего не удалось сделать. После ужина я отправился к себе в комнату, чтобы попробовать еще раз. Финеас явился спустя несколько минут после меня.

— Вставай, старший член-основатель! — весело воскликнул он. — Элвин Чумной Лепеллье объявил, что намерен сегодня вечером совершить наконец квалификационный прыжок, чтобы сохранить лицо.

Я ни на секунду в это не поверил. Чумной Лепеллье, даже окажись он на тонущем корабле, впал бы в ступор и ни за что не прыгнул бы в воду. Финни это придумал, чтобы помешать мне хорошо сдать экзамен. Я повернулся к нему с выражением напускного смирения.

— Если он прыгнет с того дерева, можешь называть меня Махатмой Ганди.

— Ладно, — рассеянно согласился Финни. Но все равно мы должны там быть. Кто знает — а вдруг он *действительно* прыгнет на этот раз.

— Ой, ради бога! — Я захлопнул французский учебник и проворчал: — Заниматься надо! Заниматься! Понимаешь? Учебники. Работа. Экзамены. — Я встал и с грохотом придвинул стул к столу. — Ладно, пошли. Посмотрим, как трусливый малыш Лепеллье не прыгнет с дерева, и мои хорошие оценки пойдут коту под хвост.

Он взглянул на меня с интересом и удивлением.

— Я не знал, что тебе нужно *заниматься,* — просто ответил он. — Никогда не думал, что ты вообще это делаешь. Мне казалось, что у тебя получается само собой.

Похоже, он провел своего рода параллель между моими занятиями и своими спортивными способностями. Возможно, ему казалось, что все, в чем человек преуспевает, дается ему без труда. Он еще не знал, что сам-то он уникален.

Мне не удалось сохранить естественную интонацию голоса.

— Если мне надо заниматься, то и тебе тоже, — выдавил я.

— Мне? — Он едва заметно улыбнулся. — Слушай, я могу заниматься до скончания веков и все равно никогда не поднимусь выше отметки «удовлетворительно». Но ты — другое дело, ты же умный. Нет, правда. Если бы у меня были такие мозги, как у тебя, я бы... я бы вскрыл себе череп, чтобы люди могли их увидеть.

Он положил ладони на спинку стула и наклонился ко мне.

— Я знаю. Мы много дурачимся и все такое, но иногда приходится быть серьезным, в некоторых отношениях. Если ты в чем-то по-настоящему хорош... я хочу сказать, если никто или мало кто может в этом с тобой сравниться, тогда ты должен относиться к этому серьезно. — Он осуждающе нахмурился. — Почему ты раньше не говорил, что тебе нужно заниматься? Не отходи от письменного стола — и все отличные отметки будут твоими.

— Подожди минутку, — непонятно к чему повторил я.

— Все в порядке. Я прослежу за стариной Чумным. Хотя думаю, что он скорее всего не собирается прыгать. — Финни был уже у двери.

— Подожди, — более требовательно сказал я. — Подожди минутку. Я иду.

---

[1] Я не... (*франц.*).

[2] Французский язык (*франц.*).

[3] Французские девушки не... (*франц.*).

[4] Искаженное pantalones (*франц.*) — панталоны.

[5] Памятная записка, меморандум (*франц.*).

Мы отправились через весь кампус, следуя за собственными гигантскими тенями, Финеас принялся болтать на своем диком французском, чтобы дать мне дополнительную возможность попрактиковаться. Я не отвечал, мой мозг пытался постичь новые измерения обособленного пространства моего существования. Какой бы страх ни испытывал я перед тем деревом, он был ничто по сравнению с этим. Сейчас опасность грозила не моей шее, а моему рассудку. Финни никогда ни секунды не завидовал мне! Теперь я понимал, что между нами не было и не могло быть никакого соперничества. Мы были сделаны из разного теста.

Этого я вынести не мог. Мы подошли к остальным, уже слонявшимся вокруг дерева, и Финеас, в возбуждении от догорающего заката, от предстоящего испытания деревом, от соревновательного напряжения, охватившего всех нас, начал лихорадочно сбрасывать одежду. В такие моменты он расцветал и жил по-настоящему.

— Пошли, ты и я, — крикнул он. Его осенила новая идея. — Мы прыгнем вместе. Здорово придумано, а?

Теперь уже ничто не имело значения, я равнодушно был готов согласиться на что угодно. Он начал подниматься, цепляясь за деревянные колышки, и я полез следом за ним к высокому суку, нависавшему над берегом. Финеас немного продвинулся по нему вперед, для равновесия держась рукой за ближайшую тонкую веточку.

— Подойди чуть поближе, — сказал он, — и тогда мы сможем прыгнуть рядом.

Открывавшийся сверху вид был потрясающим: темно-зеленые пространства игровых полей, окруженных густым кустарником, белый, кажущийся крохотным школьный стадион за рекой. Падавшие у нас из-за спины длинные лучи заходящего солнца, бликуя, освещали кампус, делая рельефными малейшие неровности земли, подчеркивая особость каждого куста.

Крепко держась за ствол, я сделал шажок вперед, и тут колени у меня подогнулись, и я качнул сук. Финни, потеряв равновесие, повернул голову, взглянул на меня с чрезвычайным интересом, а потом рухнул боком, обламывая мелкие ветви на своем пути, и грохнулся на берег с отвратительным неестественным стуком. Это было его первое неуклюжее физическое действие, какое я видел. С бездумной решительностью я шагнул на край сука и прыгнул в воду, от моего былого страха не осталось и следа.

5

В течение следующих дней ни одного из нас и близко не подпускали к лазарету, но я был в курсе всех слухов, из него исходивших. В конце концов появился достоверный факт: у Финни оказалась «раздробленной» нога. Что точно означало это слово, я не понимал: что нога сломана в одном месте? в нескольких местах? аккуратно или с осколками? Но я не спрашивал. Больше ничего узнать не удалось, хотя предмет этот обсуждался бесконечно. В мое отсутствие, должно быть, говорили и о других вещах, но со мной — только о Финеасе. Полагаю, в этом не было ничего удивительного. Я ведь стоял прямо за ним, когда это случилось, и я был его соседом по комнате. Его травма произвела на преподавателей более глубокое впечатление, чем какое бы то ни было другое несчастье, случившееся в школе на моей памяти. Как будто они чувствовали особую несправедливость в том, что беда постигла одного из шестнадцатилетних, одного из немногих молодых людей, которые летом 1942 года еще должны были быть свободны и счастливы.

Я больше не мог всего этого слышать. Если бы кто-то в чем-то подозревал меня, я нашел бы силы защититься. Но ничего подобного не было. Никто меня не подозревал. Финеас, наверное, был пока слишком болен — или слишком благороден, чтобы что-нибудь рассказать. Но рано или поздно это должно было случиться, и оно случилось тем утром.

— Финни уже лучше! — сказал мне доктор Стэнпоул, стоя на ступеньках часовни

и стараясь перекричать заключительные аккорды органа, доносившиеся у нас из-за спины.

Пока я, спотыкаясь, пробирался сквозь толпу хористов в черных рясах, полы которых трепетали на утреннем ветерке, слова доктора бесконечно повторяющимся эхом звучали у меня ушах. Он мог разоблачить меня прямо здесь, перед всей школой, но вместо этого дружелюбно развернул в сторону аллеи, которая вела к лазарету.

— Самые тяжелые дни позади, теперь он в состоянии принять одного-двух посетителей, — добавил доктор.

— А вы не думаете, что он расстроится, увидев меня, или еще что-то?

— Тебя? Нет. С какой стати? Я не хочу, чтобы кто-нибудь из учителей хлопал крыльями вокруг него. А вот один-два приятеля пойдут ему на пользу.

— Наверное, он еще очень слаб.

— Да уж, перелом оказался не из легких.

— Но как он... как он чувствует себя сейчас? То есть, он более-менее бодрый или?..

— Ну, ты же знаешь Финни. — Я его не знал, сейчас я был совершенно уверен, что совсем его не знаю. — Да, перелом у него не из простых, — повторил доктор, — но мы его все же вытащили. Он снова будет ходить.

— Снова *ходить?!*

— Да. — Теперь доктор не смотрел на меня, и тон его голоса немного изменился. — Со спортом для него покончено после такой травмы. Это точно.

— Но он наверняка сумеет, — воскликнул я, — раз нога на месте и вы не собираетесь ее отрезать — вы ведь не собираетесь, правда?.. А раз нога на месте и кости срастутся, то он должен стать таким, каким был, почему нет? Конечно, станет.

Доктор Стэнпоул помешкал, глядя на меня, и сказал:

— Со спортом покончено. Ты как его друг должен помочь ему осознать и принять это. Чем быстрее это случится, тем лучше пойдет процесс выздоровления. Если бы у меня была хоть малейшая надежда, что он сможет больше чем просто ходить, я бы испробовал все возможные способы лечения. Но такой надежды нет. Мне, как и всем, разумеется, ужасно жаль. Это трагедия, но так уж сложилось.

Я схватился за голову, вонзив ногти в кожу, и доктор, желая утешить, положил руку мне на плечо. Но при его прикосновении я совсем потерял контроль над собой и, закрыв лицо руками, разразился рыданиями; я оплакивал и Финеаса, и себя, и доктора, верившего в то, что осознать значит смириться. А больше всего я плакал из-за доброты, которой не ожидал.

— Ну, это никуда не годится, — сказал доктор. — Ты должен быть бодрым и излучать надежду. Это то, что требуется от тебя твоему другу. Он захотел увидеть именно тебя. Ты был единственным, кого он просил привести.

От этих слов слезы мои мгновенно высохли. Я отнял руки от лица и увидел краснокирпичную стену лазарета, мы приближались к этому веселому на вид зданию. Конечно, я был первым, кого он захотел увидеть. Финеас никогда не стал бы судачить у меня за спиной, обвинение он бросит мне с глазу на глаз.

Мы поднялись по лестнице, все происходило очень быстро, уже в следующий момент я оказался в коридоре, и доктор Стэнпоул подталкивал меня к двери.

— Он там. Я присоединюсь к вам через минуту.

Дверь была чуть приоткрыта, я толкнул ее и замер на пороге. Финеас лежал, утопая в подушках и простынях, его левая нога, огромная в белых повязках, была подвешена на вытяжке невысоко над кроватью. От стеклянной бутылки, закрепленной в штативе, к его правой руке тянулась гибкая трубка. Внутри меня словно стал перекрываться какой-то канал, я понял, что сейчас потеряю сознание.

— Ну, входи же, — услышал я его голос. — Ты выглядишь хуже, чем я.

Тот факт, что он был в состоянии шутить, немного привел меня в чувство, я

направился к стулу, стоявшему возле его кровати. За минувшие несколько дней он утратил свой загар и, казалось, уменьшился физически. Он изучал меня взглядом, словно я был пациентом. В его глазах больше не было обычного добродушия, они затуманились, и в них появилось нечто потустороннее. Чуть позже я понял, что он — под действием лекарств.

— *Ты-то* почему выглядишь как больной? — спросил он.

— Финни, я... — Я уже не контролировал свою речь, слова вылетали инстинктивно, как у человека, загнанного в угол. — Что случилось там, на дереве? На этом проклятом дереве! Я спилю его! Чтобы никто с него больше не прыгал. Что случилось, что случилось? Как ты упал, как ты мог так упасть?

— Просто упал. — Его взгляд блуждал по моему лицу. — Что-то качнулось, и я свалился. Помню только, что обернулся и посмотрел на тебя, мне показалось, что это длилось целую вечность. Я еще подумал, что смогу ухватиться за тебя.

Я резко отшатнулся от него. «Ага, и утащить меня за собой!»

Он продолжал рассеянно смотреть мне в лицо.

— Ухватиться за тебя, чтобы не упасть.

— Ну да, естественно. — Мне не хватало воздуха в этой тесной комнате. — Я попытался, помнишь? Протянул руку, но она повисла в воздухе: ты уже сорвался и летел через маленькие нижние ветки.

— Я только помню, как увидел твое лицо. У тебя было ужасно смешное выражение. Ошарашенное, прямо как сейчас.

— Сейчас? Ну конечно, я *действительно* ошарашен. Кто бы не был ошарашен, господи помилуй? Это ужасно, все это ужасно.

— Но я не понимаю, почему ты выглядишь таким *лично* ошарашенным. У тебя такой вид, как будто это случилось с тобой.

— Почти так и есть! Я ведь был там, на том же суку, рядом.

— Да, я знаю. Я все помню.

Повисла тяжелая тишина, а потом я сказал очень осторожно, как будто от моих слов могла взорваться вся комната:

— Ты помнишь, из-за чего ты упал?

Его глаза продолжали скользить по моему лицу.

— Не знаю, наверное, потерял равновесие. Да, наверное, так. Правда, было у меня ощущение... ну, чувство, что, когда ты стоял рядом со мной, т-т-ы... Не знаю... было какое-то ощущение. Но что можно сказать наверняка, опираясь на ощущение? Дурацкая идея. Видно, это мне почудилось в бреду. Так что нужно просто забыть. Я просто упал, — он отвернулся, чтобы нащупать что-то между подушками, — вот и все. — Он снова взглянул на меня. — Ты прости меня за то, что у меня возникло такое ощущение.

На его искреннее, принесенное под кайфом извинение за то, что он заподозрил правду, мне сказать было нечего. Он не собирался меня ни в чем обвинять. У него было лишь неясное ощущение, и в данный момент он, должно быть, вырабатывал формулировку новой заповеди своего персонального декалога: никогда не обвиняй друга в преступлении, если у тебя есть только ощущение, что он его совершил.

А я-то считал, что мы соперники! Теперь это казалось таким смехотворным, что мне хотелось заплакать.

Если бы здесь, на моем месте, в этом омуте вины, сидел Финеас, что бы чувствовал он и что бы он сделал?

Он бы сказал мне правду.

Я вскочил так резко, что перевернул стул, и уставился на Финни в изумлении; он отвечал мне таким же взглядом, и мало-помалу губы его начали складываться в ухмылку.

— Ну? — произнес он наконец в своей дружеской понимающей манере. — Ты меня что, загипнотизировать решил?

— Финни, я должен тебе кое-что сказать. Тебе это очень не понравится, но я должен.

— Боже мой, сколько страсти, — сказал он, падая обратно на подушки. — Ты прямо похож на генерала Макартура.

— Мне плевать, на кого я похож, и когда я скажу то, что собираюсь, ты не будешь так думать. Хуже этого ничего на свете не может быть, мне очень жаль, и я сам себе противен, но я должен это сказать.

Но я не сказал. Прежде чем я успел открыть рот, вошли доктор Стэнпоул с медсестрой, и меня выставили из палаты. На следующий день доктор Стэнпоул решил, что Финни еще недостаточно окреп, чтобы принимать посетителей, даже старых друзей вроде меня. А вскоре после этого Финни на санитарной машине увезли домой, в пригород Бостона.

Летний семестр закончился, о чем было объявлено официально. Но для меня он остался подвешенным в неопределенности, странным образом остановленным еще до своего окончания. Я отправился домой, в родной южный город, на каникулы, которые провел в каком-то нереально-задумчивом состоянии, словно уже когда-то проживал этот месяц, и тогда он был мне так же неинтересен, как сейчас.

В конце сентября того, 1942-го, года я отправился обратно в Девон, с пересадками, на тогдашних суматошных, переполненных поездах. В Бостон я прибыл с семнадцатичасовым опозданием; в школе это могло служить предметом гордости: те из нас, кто жили далеко, несколько дней после возвращения держали внимание аудитории своими дорожными приключениями, реальными или вымышленными.

Мне посчастливилось поймать такси на Южном вокзале, но вместо того чтобы сказать шоферу: «Северный вокзал», вместо того чтобы проехать через Бостон из конца в конец и вскочить в последний поезд, на котором я должен был проделать оставшийся короткий участок пути до Девона, вместо всего этого я, усевшись на заднее сиденье, услышал собственный голос, произносивший адрес Финни в пригороде.

Мы очень легко отыскали его дом на улице, обрамленной древними вязами, кроны которых смыкались, превращая ее в зеленый неф. Дом был высоким, белым и странным образом очень подходящим для того, чтобы быть именно домом Финеаса. На улицу он выходил фасадом, не лишенным элегантности, хотя в глубину за ним тянулись заурядные пристройки и флигели, заканчивавшиеся и вовсе простым большим амбаром.

Финеас никогда ничему не удивлялся. Вот и теперь, когда домработница открыла дверь и проводила меня к нему в комнату, он вовсе не удивился, но, похоже, обрадовался.

— Значит, ты все-таки объявился! — Его голос знакомо взвился в порыве возбуждения. — И наверное, привез мне какое-нибудь южное лакомство, да? Ягоды жимолости, черную патоку или что-нибудь вроде этого? — Я пытался придумать какой-нибудь шутливый ответ, но ничего не приходило в голову. — Или кукурузный хлеб? Ну, ты же что-нибудь наверняка привез? Не мог же ты проделать долгий путь до Дикси[1] и обратно и не привезти ничего, кроме своей унылой физиономии. — Он продолжал болтать, игнорируя мой шокированный и смущенный вид: я онемел, увидев его сидящим в большом кресле и обложенным со всех сторон подушками, напоминавшими больничные. В отличие от того, что было в девонском лазарете, где он выглядел спортсменом, ненадолго покинувшим поле из-за травмы, и где казалось, что вот-вот войдет тренер и велит ему возвращаться в игру, здесь, на этой старинной

[1] Dixi, Dixiland — разговорное название южных штатов США.

тихой улочке, в окружении подушек, сидя перед огромным новоанглийским камином, он представился мне инвалидом, прикованным к креслу.

— Я привез... Черт, я всегда забываю что-то кому-то привезти. — Я изо всех сил старался не выдать голосом звучавшего внутри меня ропота самообвинений. — Я тебе что-нибудь пришлю. Цветов или еще чего.

— Цветов?! Да что с тобой приключилось там, в Дикси?

— Ну, тогда... — В голову не приходило ни единой легкомысленной реплики. — Тогда я пришлю тебе каких-нибудь книг.

— К черту книги. Я предпочитаю поговорить. Что интересного случилось там, на Юге?

— По правде говоря... — Я мобилизовал всю свою жизнерадостность. — Случился пожар. Загорелась трава за нашим домом. Мы... схватили несколько метел и стали сбивать огонь. Наверное, на самом деле мы его только раздували, потому что он продолжал разгораться, пока наконец не приехали пожарные. Они, наверное, догадались, где горит, по тому, как мы размахивали своими метлами в воздухе, пытаясь их загасить.

Финни история понравилась. Она настроила нас на привычный дружеский лад: приятели обмениваются байками. Как мне было после этого перевести разговор в серьезное русло? Это было бы даже не как удар молнии. Он бы просто не воспринял этого всерьез.

Только не в этом разговоре, не в этой комнате. Здесь маленькие оконные секции сияли чистотой, и на стенах висели миниатюры и старинные портреты. А кресла были либо в мягкой обивке, слишком удобные, чтобы не задремать, сидя в них, либо — жесткие, в колониальном стиле, которыми никто не пользовался. Имелось несколько массивных квадратных столов, уставленных семейными фотографиями, между которыми там и сям лежали книги и журналы, а также три маленьких изящных столика, которые ничему не служили. Это была комбинированная комната: несколько красивых «предметов мебели» предназначались для того, чтобы гостям было на что посмотреть, остальные — для использования людьми, живущими в доме.

Я знал Финни по безликому общежитию, спорткомплексу, игровому полю. В комнате, которую мы делили с ним в Девоне, множество незнакомых нам людей жили до нас и будут жить после. Именно там я сделал то, что сделал, но рассказывать об этом мне придется здесь. И я чувствовал себя дикарем, вышедшим из джунглей, чтобы разнести все в пух и прах.

Я сел поглубже в своем колониальном кресле. Его жесткая спинка и высокие подлокотники моментально привели меня в позу воплощенной благовоспитанности. Кровь застучала в висках, ну и пусть. Я был готов говорить.

— Бо́льшую часть каникул я думал о тебе, — сказал я.

— Да ну? — Он мельком заглянул мне в глаза.

— Да, о тебе и о... несчастном случае.

— Ты настоящий друг. Думать обо мне на каникулах!..

— Я думал об этом... о тебе... потому что... я думал о тебе и о несчастном случае, потому что он произошел из-за меня.

Финни посмотрел на меня спокойным твердым взглядом, его лицо было красивым и бесстрастным.

— Что ты хочешь сказать этим «из-за меня»? — Голос его был таким же спокойным и твердым, как взгляд.

Мой собственный голос звучал тихо и казался чужим.

— Я качнул сук. Все произошло из-за меня. — Осталась еще одна, последняя фраза: — Я нарочно качнул сук, чтобы ты упал.

Сейчас он выглядел старше, чем когда-либо.

— Ну разумеется, ничего подобного ты не сделал.

— Нет сделал. Сделал!

— Конечно же, нет. Дурак ты. Сядь, дурачина.

— *Ударь* меня! — Я поднял на него взгляд. — *Ударь* меня! Ты даже не можешь встать. Не можешь даже подойти ко мне!

— Если ты не заткнешься, я тебя убью.

— Нет, вы посмотрите! Он меня убьет! Ну вот, теперь тебе все известно! Я сделал это, потому что хотел! Да ты и сам это знаешь!

— Я ничего не знаю. Уходи. Я устал, и меня от тебя тошнит. Уходи. — Он утомленно обхватил голову руками — совершенно не в своем стиле.

И тогда меня осенило: я ведь снова нанес ему травму. Мне пришло на ум, что эта травма, быть может, даже более глубока, чем прежняя. Мне бы нужно сделать шаг назад, отступиться. А может, он прав? В конце концов, действительно ли я намеренно и осознанно сделал с ним это? Я не мог вспомнить, я вообще не мог ни о чем думать. Как бы то ни было, теперь, когда он знает, ему стало хуже. И я должен отказаться от своих слов.

Но не здесь.

— Ты ведь вернешься в Девон через несколько недель, правда? — пробормотал я после того, как некоторое время мы оба молчали.

— Конечно. Ко Дню благодарения уж точно вернусь.

Вот там, в Девоне, где каждая деталь мебели не кричит, как здесь, что он — неотъемлемая часть этого дома, я смогу с ним помириться.

А пока надо было как-то выходить из положения. И существовал лишь один способ сделать это: придется фальшивить.

— Ну, путь у меня был долгим, — сказал я. — А спать в поездах я никогда не умел. Наверное, поэтому сегодня не слишком хорошо соображаю.

— Не бери в голову.

— Думаю, мне лучше поспешить на вокзал. Я и так уже на день опоздал в Девон.

— Но ты ведь не собираешься начать жить там по правилам, правда?

Я улыбнулся ему.

— О нет, этого я делать не собираюсь.

И это было самой большой фальшью, величайшей ложью из всех.

6

Мир и покой покинули Девон. Хотя по виду кампуса и городка этого нельзя было сказать, они еще сохраняли свою мечтательную летнюю безмятежность. Осень едва коснулась пышного великолепия деревьев, и в зените дня солнце ненадолго вновь обретало свою летнюю силу. В воздухе ощущалось лишь отдаленное веяние холода, исходящего от дальней кромки зимы.

Но новый, энергичный ветер подхватил и понес все, как первую опавшую листву. Летний семестр — когда временные педагоги, заменявшие ушедших в отпуск постоянных наставников, пичкали знаниями несколько десятков мальчиков и когда большинство школьных традиций, чтобы уберечь от зноя, было убрано на склад, — этот летний семестр закончился. Такой семестр проводился в школе впервые, что же касается зимних, то нынешний был сто шестьдесят третьим в истории школы, и руководство, вновь собравшееся к его началу, разгоняло дух летнего благодушия, как ветер — осенние листья.

Во время первого богослужения в часовне наставники сидели на своих всегдашних местах «в партере» — перед нами и под прямыми углами к нам, — усталым выражением лиц и непринужденностью поз словно бы демонстрируя, что они вообще никуда не отлучались.

Пятеро учителей из самых молодых отсутствовали — ушли на войну. Мистер

Пайк явился в военно-морской форме; у курсанта военно-морского училища, видимо, сработал рефлекс, приведший его в этот день по старой памяти в Девонскую школу. Лицо у него было таким же мягким и безысходным, как всегда. Луной белея над щеголеватой жестко накрахмаленной матроской, оно придавало ему вид самозванца.

Преемственность была основным принципом. Исполнялись одни и те же гимны, звучала одна и та же проповедь, делались одни и те же объявления. Случился лишь один сюрприз: «на определенный период» — тогда эта фраза вошла в моду — исчезли девушки-горничные. Однако преемственность всячески подчеркивалась: не возобновление, а продолжение воспитания юношества в духе нерушимых традиций Девонской школы.

Я — быть может, я один — знал, что это неправда. Прежний Девон просочился сквозь пальцы за эти недооцененные жаркие месяцы. Традиции были порушены, стандарты снижены, все правила забыты. В те ослепительные дни манкирования учебой мы никогда не думали о том, к чему нас снова призывали теперь во вступительной проповеди, — Чем Мы Обязаны Девонской Школе. Мы думали о себе, о том, чем обязан Девон нам, и брали от него все это и гораздо больше. Для службы был выбран гимн «Дорогой Господь и Отец человечества, прости нам наши неразумные пути»[1], которого мы не слышали ни разу за все лето. У нас в ходу была другая музыка — цыганская, вольная, которая вела нас, не прощенных, как раз неразумными путями. И я был этому рад, я почти встроился за лето в ее бренчащий танцевальный дерзкий ритм.

Однако все это закончилось в длинных лучах заходящего солнца, там, на дереве, с которого сорвался Финеас.

Летом мы являли собой самочинное сборище, не управляемое ничем, если не считать эксцентричных идей Финеаса. Теперь официальные старосты и идейные лидеры классов возьмут управление на себя, полагая само собой разумеющимся свое право контролировать аллеи и поля, которые летом мы считали принадлежащими только нам. Меня поселили в той же комнате, которую мы с Финни делили летом, а напротив, через коридор, в большом двухкомнатном апартаменте, где Чумной Лепеллье весь июль и август провел в мечтаниях и в пыли, пронизанной солнечными лучами, за окнами, через которые в комнату робко протягивал свои ветви плющ, Бринкер Хедли устроил свой штаб. Эмиссары уже шныряли туда, чтобы посовещаться с ним. Чумного, горемычного, как и все учащиеся последнего класса, перевели в комнату, затерянную где-то в недрах старого здания, стоявшего среди деревьев по дороге к спорткомплексу.

<...>

Однажды на кривой, ломаной дороге, ведущей от общежития, мне повстречался мистер Ландсбери. <...>

— Тебе звонили по междугородной, — сказал он тоном судьи, выполняющего неприятную обязанность сообщить подсудимому, что тот невиновен. — Я записал номер телефонистки в блокноте возле аппарата у себя в кабинете. Можешь зайти и позвонить.

— Большое спасибо, сэр.

Он поплыл дальше по улице, больше не обращая на меня никакого внимания, а я подумал: «Интересно, кто из домашних заболел?»

Но, дойдя до его кабинета — мрачной комнаты с низким потолком, уставленной книжными стеллажами и черными кожаными креслами, с подставкой для трубки и полом, застеленным потертым коричневым ковром, комнаты, куда ученики заходили

---

[1] «Dear Lord and Father of Mankind» — гимн из сборника «Гимны для прихожан» (в редакции Гарретт Хордер), слова которого взяты из поэмы американского поэта Джона Гринлифа Уиттьера «Сомский котел».

редко, ну разве что получить нагоняй, — я увидел, что номер в блокноте был не кодом моего родного города, а кодом, от которого у меня сердце замерло.

Я набрал его и с удивлением слушал, как телефонистка привычно устанавливает соединение, словно это был самый заурядный междугородный звонок, потом ее голос ушел с линии и послышался голос Финеаса.

— С началом нового учебного года!

— Спасибо, большое спасибо! Ты... звучишь... я рад слышать твой...

— Кончай заикаться, это ведь я плачу за звонок. С кем тебя поселили в комнате?

— Ни с кем. Они никого больше в нашу комнату не поселили.

— Держат место для меня! Добрый старый Девон. Но ты в любом случае не позволишь им никого к тебе подселить, ведь правда?

Дружелюбие, естественно исходящая от него привязанность — единственное, что я мог различить в его голосе.

— Нет, конечно, нет!

— Я так и думал. Друзья-соседи остаются друзьями-соседями. Даже если время от времени у них бывают стычки. Господи, когда ты был здесь, у тебя совсем в голове помутилось.

— Да, наверное. Наверное, совсем помутилось.

— Крыша начисто съехала. Я просто хотел убедиться, что ты пришел в себя. За тем и позвонил. Я загадал: если ты позволил поселить на мое место кого-нибудь другого, тогда ты *и впрямь* рехнулся. Но ты не позволил, и я знал, что не позволишь. У меня не было и *тени* сомнения. Ну ладно, должен признать: всего на одну *секунду* была. Ты меня за это прости, Джин. Конечно, я был совершенно неправ. Ты не позволил никому занять мое место.

— Нет, не позволил.

— За то что я даже допустил такую мысль, мне следовало бы застрелиться. Но на самом деле я знал, что ты бы не позволил.

— Нет, не позволил бы.

— А я истратил столько денег на междугородный звонок! Совершенно зря. Но я же заплатил и за то, чтобы тебя послушать. Так что говори, приятель. И лучше о чем-нибудь хорошем. Начни со спорта. Чем ты занимаешься?

— Греблей. Ну не то чтобы гребу. Помогаю команде. Я помощник администратора.

— *Помощник администратора гребной команды?!* — Никто не умел голосом так передать огорошенность, как Финни. — Нет, ты *действительно* чокнулся!

— Послушай, Финни, я вовсе не стремлюсь стать звездой школы или что-то там такое.

— Что-о-о-о?! — Гораздо отчетливей, чем что бы то ни было в кабинете мистера Ладсбери, я видел в тот момент его лицо, выражавшее полное остолбенение. — Кто говорит о том, кем кто хочет стать?!

— Тогда чего ты так разошелся?

— На кой черт тебе что-то там устраивать для какой-то команды? Зачем тебе это нужно? Какое это имеет отношение к спорту?

Значит, смысл был в том, что мое занятие не имело ничего общего со спортом как таковым. А я не желал больше никакого спорта. Этот вопрос был для меня закрыт, как если бы тогда, когда доктор Стэнпоул сказал: «Со спортом покончено», — он имел в виду меня. Я больше не верил ни себе, ни кому бы то ни было другому, кто занимался спортом. Теперь мне казалось, что все, кто играют в футбол, стремятся лишь выколотить жизнь друг из друга, а боксеры реально дерутся насмерть, и даже теннисный мяч способен обернуться пулей. В 1942 году это не было такой уж игрой воображения, потому что прыжки с дерева заменяли нам соскакивание с палубы торпедированного корабля. А в бассейне, на уроках плавания, мы отрабатывали

второй этап этого действа: оказавшись в воде, нужно было изо всех сил колотить по ней руками, чтобы разогнать горящее топливо, пролившееся на поверхность.

Поэтому я сказал Финеасу:

— У меня на спорт времени не остается, я слишком занят.

За этим последовал бессвязный поток слов и восклицаний с его стороны, и я было уже решил, что тема исчерпана, пока под конец он не сказал:

— Послушай, дружище, если *я* не могу заниматься спортом, *ты* должен делать это за меня.

При этих словах как будто часть меня отделилась и безвозвратно перешла к нему, и, ощутив состояние парящей свободы, я понял, что именно это и было моей целью с самого начала: стать частью Финеаса.

7

Ближе к вечеру Бринкер Хедли пересек разделявший нас коридор и навестил меня. Думаю, он поставил себе целью в первый же день обойти все комнаты, располагавшиеся поблизости от его жилища.

— Ну, Джин... — Его сияющая физиономия появилась из-за приоткрытой двери. Бринкер выглядел типичным продуктом частной школы в своем сером габардиновом пиджаке с как будто вручную пришитыми квадратными накладными карманами, в консервативном галстуке и темно-коричневых кордовских туфлях. Все его лицо — брови, рот, нос, все остальное — состояло из прямых линий, и свой шестифутовый рост он тоже нес исключительно прямо. Он был похож на спортсмена, но, кстати, отнюдь не являлся им, поскольку был слишком занят политикой и организационными обязанностями. Ничто в Бринкере не вызывало антипатии, пока ты не видел его со спины; я это увидел, когда он повернулся, чтобы закрыть за собой дверь. Фалды его габардинового пиджака слегка расходились над мощным крестцом, и именно это, как я вспомнил безо всякой насмешки, было характерной особенностью Бринкера: его крепкие, четко очерченные, не чрезмерно большие, но очень крутые по форме и плотные ягодицы.

— ...вот, значит, как ты кайфуешь тут в своем славном одиночестве, — добродушно продолжил он. — Вижу, ты пользуешься немалым влиянием. Такая большая комната — и вся тебе одному. Хотел бы я уметь устраиваться как ты. — Он откровенно ухмыльнулся, плюхнулся на мою койку и вольготно откинулся назад, опершись на локти, — как дома.

Бринкеру Хедли, первому номеру в классе, не к лицу было признавать мою влиятельность. Я хотел было возразить, что, хоть он и делит жилье с соседом, но это лишь всего боящийся Брауни Перкинс, который никогда в жизни никоим образом не покусится на комфорт Бринкера, и что у них-то две комнаты, причем в передней даже есть камин. Но ничего подобного я ему не высказал. Несмотря на положение, которое он занял в нынешнем зимнем семестре, Бринкер мне нравился, он вообще нравился почти всем.

Однако не успел я ему что-либо ответить, как он снова заговорил своим беззаботным тоном. Если только была возможность не дать разговору принять унылый оборот, он ее никогда не упускал.

— Пари держу: ты с самого начала знал, что Финни не вернется в школу этой осенью. Поэтому и выбрал его в соседи по комнате, так?

— Что? — Я молниеносно развернулся на стуле, отодвинулся от стола и оказался лицом к лицу с Бринкером. — Нет, конечно же, нет. Как я мог предвидеть такое развитие событий?

Бринкер скользнул взглядом по моему лицу.

— Да ты же сам это и устроил. — Он широко улыбнулся. — Ты все знал наперед. Спорим, это *все* твоих рук дело?

— Не будь идиотом, Бринкер. — Я снова развернулся к столу и начал суетливо, безо всякой цели перекладывать книги. — Что за бред ты несешь? — Даже для моих собственных ушей, в которых громко пульсировала кровь, мой голос звучал слишком уж натянуто.

— Аа-а-а! Правда глаза колет, да?

Я посмотрел на него со всей язвительностью, какую способен выразить человеческий взгляд. Он принял вид обвинителя.

— Ну конечно! — Я издал короткий смешок. — Кто б сомневался. — Следующие слова вырвались у меня сами собой: — Правда всегда наружу выйдет.

Его рука свинцовой тяжестью легла мне на плечо.

— В этом можешь не сомневаться, сын мой. При нашей свободной демократии, даже если приходится драться за нее, правда выйдет наружу всегда.

Я встал.

— Курить хочется. Не составишь компанию? Пойдем в курилку.

— Да-да. С тобой — хоть в темницу.

Комната для курения и впрямь была похожа на темницу. Она находилась в подвале, в чреве, так сказать, общежития. Там уже собралось человек десять курильщиков. В Девоне у каждого было много лиц для предъявления публике; в классе вид у нас был если не ученый, то по крайней мере приличествующе внимательный; на игровых площадках мы выглядели невинными экстровертами; а в курилке очень напоминали преступников. Чтобы отвратить нас от курения, школа придавала этим комнатам как можно более гнетущий вид. Окна находились под самым потолком и были маленькими и грязными, из кожаной обивки мебели торчали внутренности, столы были изуродованными, стены — пепельного цвета, а полы — цементными. Из радиоприемника с неустойчивой связью сквозь треск неслось что-нибудь очень громкое, а потом вдруг обрывалось зловещей тишиной.

— Джентльмены, вот вам подсудимый, — объявил Бринкер, хватая меня за шею и вталкивая перед собой в курилку. — Передаю его в ваши компетентные органы.

Сквозь густой дым в курилку начало медленно пробиваться веселое настроение. Фигура, ссутулившаяся возле радиоприемника, из которого в этот момент как раз неслись громкие хриплые звуки музыки, наконец распрямилась и произнесла:

— В чем обвиняется?

— В том, что избавился от соседа по комнате, чтобы стать ее полноправным хозяином. То есть — в гнусном предательстве. — Бринкер многозначительно помолчал. — Практически в братоубийстве.

Дернув шеей, я сбросил его руку и процедил сквозь зубы:

— Бринкер...

Он остановил меня, предостерегающе подняв руку.

— Ни слова! Ни звука! Вам еще будет предоставлена возможность высказаться в свое оправдание.

— Черт тебя дери! Заткнись! Ты совершенно не знаешь меры в своих шутках.

Это было ошибкой; радио вдруг замолчало, и мой голос, громко прозвучавший во внезапно наступившей тишине, всех возбудил.

— Значит, ты убил его, да? — Какой-то парень, с трудом распрямляясь, встал с дивана.

— Ну... — рассудительно произнес Бринкер, — не то чтобы убил. Финни балансирует между жизнью и смертью дома, под присмотром скорбящей старушки-матери.

Мне нужно было как-то вмешаться, иначе я рисковал полностью утратить контроль над ситуацией.

— Я не совершил абсолютно ничего дурного, — начал я как можно более непринужденно. — Я... единственное, что я сделал, это... подсыпал щепотку мышьяка в его утренний кофе.

— Лжец! — зарычал на меня Бринкер. — Пытаешься выкрутиться с помощью ложного признания, да?

На это я коротко хохотнул, что вышло непроизвольно.

— Нам известны истинные обстоятельства преступления, — продолжал тем временем Бринкер. — Там, наверху, на этом... *погребальном* дереве у реки, не было никакого яда и вообще ничего такого коварного.

— А-а, вам известно про дерево. — Я попытался с притворным чувством вины покорно склонить голову, но получилось так, словно кто-то прижал ее вниз. — Да, гм, да, там, на дереве, случилось небольшое *contretemps*[1].

Моя уловка — смешно исковеркать французское произношение, чтобы переключить внимание, — цели не достигла.

— Расскажи нам все, — хрипло потребовал младший мальчик, сидевший за столом. Был в его голосе какой-то тревожный призвук, какая-то непритворно заговорщицкая нотка, словно он искренне верил буквально всему, что тут говорилось. Такое отношение показалось мне почти оскорбительным, как будто человек, прознавший про твой интимный секрет, обещает не сказать никому ни слова, если ты поведаешь ему все в мельчайших подробностях.

— Ну, — ответил я более уверенным голосом, — сначала я украл все его деньги. Затем обнаружил, что он смухлевал при поступлении в Девон, и стал шантажировать его родителей, а потом я... — Все шло хорошо, кое-кто заулыбался, даже тот, младшеклассник, похоже, начал понимать, что воспринимать шутку всерьез в Девоне считается большой ошибкой. — Потом я... — Мне осталось лишь добавить «столкнул его с дерева» — и цепь неправдоподобных событий замкнулась бы в комическое кольцо, всего несколько слов — и, вероятно, этот кошмар в темнице закончился бы.

Но я почувствовал, как у меня перехватило горло, и не смог произнести эти слова, так и не смог.

Я развернулся к младшекласснику.

— Что я тогда сделал? — потребовал я от него ответа. — Держу пари, у тебя полно предположений на этот счет. Ну, давай, восстанови картину преступления. Вот мы стоим на дереве. И что случилось потом, Шерлок Холмс?

Его глаза виновато бегали туда-сюда.

— Спорим, потом ты его просто столкнул.

— Слабая версия, — сказал я небрежно, плюхаясь на стул, словно утратил всякий интерес к игре. — Ты проиграл. Ты не Шерлок Холмс, ты — доктор Ватсон.

Все посмеялись над младшим товарищем, а тот смущенно заерзал, и вид у него сделался еще более виноватым. Среди завсегдатаев курилки позиции его были очень слабы, да и с тех я его с легкостью сбросил. Со дна своего поражения он зыркнул на меня, и я к своему удивлению понял, что, посмеявшись над ним, навлек на себя его откровенную ненависть. Но я был рад заплатить такую цену за свое избавление.

— Французский, французский! — воскликнул я. — Хватит этих *contretemps*. Я должен идти учить французский. — И удалился.

Когда я поднимался по лестнице, до меня донесся голос из курилки:

— Забавно, он притащился сюда из самого общежития и не выкурил ни одной сигареты.

Но и об этой странности все вскоре забыли. Я не выявил среди них ни Шерлока Холмса, ни даже доктора Ватсона. Ни у кого не оказалось желания преследовать меня,

[1] Непредвиденное осложнение (*франц.*).

никто ничего не выпытывал, не строил никаких догадок. Ежедневные списки поручений становились все длиннее по мере того, как длиннее становились лучи идущего на убыль осеннего солнца, пока к середине октября и лето, и первый день учебы, и даже каждый вчерашний день не стали уходить в прошлое и забываться, поскольку день завтрашний всегда изобиловал массой новых дел.

Кроме уроков, спортивных и клубных занятий была еще и война. Бринкер Хедли мог, конечно, если ему так хотелось, сочинить самое короткое в мире стихотворение о войне:

Война
Скучна,

но всем нам приходилось теперь более деятельно работать на нее. Прежде всего, местный урожай яблок оказался под угрозой гниения, потому что все сборщики ушли в армию или работали на военных заводах. В течение нескольких солнечных дней мы собирали яблоки, за что нам платили наличными. Это вдохновило Бринкера на «Оду яблоку»:

Наша страда —
Три кита
Ратного труда.

Новизна занятия и деньги приводили нас в возбуждение. Жизнь Девона все еще была очень близка к мирной; война в худшем случае казалась «скучна», по слову Бринкера, и от нас не требовалось никаких иных повинностей, кроме дня, проведенного во фруктовом саду.

Вскоре после этого, рано даже для Нью-Гемпшира, выпал снег. Произошло это очень эффектно: однажды поздним утром я поднял голову от стола и в прямоугольнике окна увидел, как крупные хлопья, кружась, опускаются на аккуратно подстриженный кустарник, обрамлявший дорожки, на три вяза, все еще сохранявшие большую часть листвы, на еще зеленые лужайки. С каждой минутой они увеличивали толщину снежного покрова, словно безмолвное войско спокойно, без шума и суеты, завоевывало окружающее пространство. Я наблюдал, как снежные хлопья летели мимо моего окна, их игривый полет как будто говорил: не принимай нас всерьез, этот ранний снегопад — лишь безобидный фокус.

И оказалось, что так оно и есть. В ту ночь школа затянулась тонким белым покрывалом, но следующее утро было ярким, почти ласковым, и всё до последней снежинки растаяло. В выходные, тем не менее, снег пошел снова, еще два дня спустя он усилился, и к концу недели землю уже на всю зиму укутал снежный покров.

Так же и война, начавшись для нас почти комически, с объявления о горничных и сбора яблок, продолжилась постепенным вторжением в недра школы. Ранний снег был рекрутирован ею как авангард наступления.

Снежные заносы парализовали работу сортировочных станций в одном из крупных городов к югу от нас, одну — на линии, соединяющей нас с Бостоном, другую — с Мэном. На следующий день после самого сильного снегопада, чтобы откопать их, двести человек добровольцев уговорили провести день с лопатами в руках — согласно Программе чрезвычайной помощи, которую преподавательский состав школы принял минувшей осенью. За это тоже платили. Поэтому все мы вызвались добровольцами. <...>

Мы провели странный день, вкалывая на сортировочной станции. К тому времени, когда мы туда прибыли, снег стал серым от сажи, мокрым и тяжелым. Нас разделили на бригады, каждой руководил кто-нибудь из старых железнодорожников. Мы с Бринкером и Четом оказались в одной бригаде, но веселой атмосферой яблоневого сада тут и не пахло. Единственное, что мы видели вокруг, это унылые

краснокирпичные здания депо и складов, окружающие сортировочный двор, и мы с трудом откапывали то, что руководивший нами железнодорожник называл «подвижным составом», — мрачные товарные вагоны, прибывшие с разных концов страны и застрявшие здесь в снегу. Бринкер спросил старика, не уместнее ли теперь называть их «неподвижным составом», но тот, посмотрев на него со смутной неприязнью, не ответил. Ничего забавного в тот день не случилось, работа была тяжелой и однообразной.

Около половины пятого настал момент торжества. Главный путь был расчищен, и первый состав медленно загрохотал по нему. Мы смотрели, как он надвигается на нас, выбрасывая из трубы клубы пара, еще больше сгущавшие общую пасмурность.

Выстроившись шеренгами с обеих сторон пути, мы приготовились приветствовать машиниста и пассажиров. Окна во всех купе были открыты, и пассажиры висели в них гроздьями; все они были мужчинами, насколько я разобрал, все — молодыми, и все — похожими друг на друга. Это был воинский эшелон.

Ребята были не намного старше нас, но, хотя их, видимо, только-только призвали, нам они, проплывающие мимо наших закопченных шеренг, представлялись отборными армейскими частями.

Когда поезд скрылся из виду, мы, трудяги, глядя друг на друга через только что расчищенный путь, ощутили какую-то пустоту, и даже Бринкеру не пришло в голову никакой уместной шутки. Скученные на этом сортировочном узле, в то время как весь мир устремляется совсем в иные места, мы казались себе всего лишь детьми, играющими в игры среди настоящих героев.

Наконец день закончился. Изначально серый, к концу он посерел еще больше: небо, снег, лица, душевное состояние — все стало темно-серым. Мы снова погрузились в старые, удручающие, тускло освещенные вагоны, ожидавшие нас, повалились на неудобные зеленые сиденья, и никто не произнес ни слова, пока мы не отъехали на несколько миль. <...>

Возвращаясь с вокзала в школу в сгущающихся сумерках, Бринкер сказал:

— Все, с меня хватит. Записываюсь в армию. Завтра же.

При этих его словах я страшно возбудился. Это стало логической кульминацией всего неудачного дня и всего расхлябанного девонского семестра. Наверное, я уже давно ждал, чтобы кто-нибудь произнес их и заставил меня самого подумать о решительном шаге.

Завербоваться. С грохотом закрыть за собой дверь в прошлое, сменить кожу, поломать весь былой образ жизни — тот сложный ее узор, который я плел с самого рождения, со всеми его темными нитями, необъяснимыми символами, изображенными на традиционном фоне — домашнем белом и школьном голубом, — со всеми этими жилами, сплетение которых требует ловкости виртуоза, чтобы не оборвался канат, привязывающий тебя к прошлому. Я жаждал взять гигантские военные ножницы и разрезать его: чик! — и вмиг в руках у меня не останется ничего, кроме катушки ниток цвета хаки, из которых, как бы туго ни были они скручены, можно сплести только простое гладкое одноцветное полотно.

Не то чтобы будущая жизнь казалась прекрасной. Война смертельно опасна, кто спорит. Но я привык находить смертельную опасность во всем, что меня привлекало; нечто смертельное всегда таилось во всем, чего мне хотелось, во всем, что я любил. А если ничего такого не было, как, например, с Финеасом, я сам привносил это.

Я расстался с Бринкером во дворе. То была ночь, словно бы специально предназначенная для тяжких раздумий. Отдельные яркие звезды пронзали черноту неба, не скопления их, не созвездия, не Млечный путь, как бывает на Юге, а одиночные точки холодного света, так же далекие от романтики, как лезвие ножа. Они царили над Девоном, безмолвным под мягкой оккупацией снега; холодные звезды янки властвовали над этой ночью. Они не пробуждали во мне мыслей о Боге или о

матросской службе, или о великой любви, как это делало звездное небо там, дома. Здесь, в свете этих холодных игл, я думал о решении, которое мне предстояло принять.

Я живо взбежал по лестнице общежития. Быть может потому, что перед моим мысленным взором все еще стоял образ ярких ночных звезд, этих одиночных световых стрел, пронзающих тьму, быть может, именно поэтому теплый желтый свет, струившийся из-под двери моей комнаты, произвел на меня такое ошеломляющее впечатление. Это был элементарный шок от неожиданности. Свет в комнате не должен был гореть. Но он, словно живой, тонкой желтой полоской струился из-под двери, высвечивая пыль и трещины пола в коридоре.

Схватившись за ручку, я распахнул дверь. Он сидел на моем стуле перед столом и, наклонившись, пытался пристроить под ним толстое сооружение, охватывавшее ногу, так что над столом виднелись лишь знакомые, тесно прижатые к черепу уши и коротко остриженные каштановые волосы. Он поднял голову и вызывающе ухмыльнулся.

— Привет, дружище! А где же духовой оркестр?

Все события дня растаяли, как первый ненадежный зимний снег. Финеас вернулся.

8

— Вижу, тебя ни на миг нельзя оставить без присмотра, — продолжил Финеас, прежде чем я успел оправиться от шока. — Где ты откопал *эти* вещи?! — Его презрительно-насмешливый взгляд скользнул от моей потрепанной серой шапки, затрапезного свитера и заляпанных краской штанов к обшарпанным грубым башмакам. — Тебе на фиг не нужна такая реклама, и так всем известно, что в классе ты одеваешься хуже всех.

— Просто я был на работе. Это рабочая одежда.

— В котельной, что ли?

— На железной дороге. Мы ее расчищали от снега.

Он откинулся на спинку стула.

— Расчищали пути от снега? Ну что ж, дело хорошее, мы всегда этим занимались в первом семестре, — ответил он неопределенно и потянулся к костылям, прислоненным к столу.

Они были мне знакомы, Финни ходил на них в начале года, когда сломал лодыжку, играя в футбол. В Девоне костыли были таким же распространенным свидетельством спортивных травм, как плечевая лангетка. Но я никогда не видел инвалида с такой сияющей здоровой кожей, подчеркивавшей ясность глаз, или управляющегося с костылями словно с параллельными брусьями, как будто при желании он мог бы выполнить на них сальто. Финеас через всю комнату допрыгал до своей койки, сдернул с нее покрывало и застонал:

— О господи, она же не постелена. Что за дерьмо — обходиться без горничных?

— Горничных больше нет, — сказал я. — В конце концов, идет война. И это не такая уж большая жертва, если вспомнить о людях, которые умирают с голоду, подвергаются бомбежкам и испытывают многие другие лишения. — Мой альтруизм был абсолютно созвучен настроениям 1942 года. Но несколько прошедших месяцев мы с Финеасом провели врозь, и теперь я чувствовал некоторое недовольство с его стороны моими разглагольствованиями о необходимости в военное время жертвовать излишествами. — В конце концов, — повторил я, — идет же война.

— В самом деле? — рассеянно пробормотал он. Я не обратил на это никакого внимания, он всегда продолжал разговаривать, мыслями пребывая уже в каком-то другом месте: задавал риторические вопросы или повторял последние услышанные слова.

Я нашел какие-то простыни и постелил ему постель. Его вовсе не смутила моя помощь, он ничуть не напоминал инвалида, отчаянно старающегося казаться самостоятельным. И это я тоже вспомнил, когда в ту ночь, лежа в постели, молился впервые за долгое время. Теперь, когда Финеас вернулся, пора было снова начинать молиться.

После того как был погашен свет, он по особому характеру тишины догадался, что я читаю молитву, и минуты три хранил молчание. А потом начал говорить; он никогда не засыпал, не наговорившись, и всегда считал, что молитва, длящаяся больше трех минут, — не что иное, как показуха. Во вселенной Финеаса Бог всегда был свободен и готов в любое время выслушать любого. А если кто-то не сумел за три минуты донести до него свое послание, как это случалось со мной иногда, когда я хотел произвести впечатление на Финеаса своей набожностью, так это означает лишь, что он плохо старался.

Финни все еще продолжал говорить, когда я заснул, а на следующее утро он разбудил меня негодующим криком, донесшимся до меня сквозь ледяную атмосферу, проникшую в комнату через приподнятое на дюйм окно:

— Да что ж за дерьмо такое — обходиться без горничных!

Он сидел в кровати, словно был готов вот-вот выпрыгнуть из нее, совершенно проснувшийся и бодрый. Я не удержался от смеха, глядя, как возмущенный спортсмен, силы которого хватило бы на пятерых, сидит и жалуется на обслуживание. Откинув одеяло, он сказал:

— Дай мне, пожалуйста, костыли.

До сих пор, несмотря ни на что, я приветствовал каждый новый день, словно он был новой жизнью, в которой стерты все прошлые ошибки и проблемы, а будущие возможности и радости, напротив, открываются и могут быть обретены, вероятно, еще до наступления вечера. Теперь же, этой зимой, с ее снегами, с Финеасом на костылях, я начал сознавать, что каждое утро лишь подтверждает проблемы прошлого вечера, что сон лишь подвесил их и ничего не изменил и что невозможно переделать себя между закатом и рассветом. Однако Финеас в это не верил. Наверняка каждое утро он первым делом смотрел на свою ногу: не восстановилась ли она полностью, пока он спал, не стала ли такой, как была. А обнаружив в первое утро по возвращении в Девон, что она пока все еще искалечена и в гипсе, сказал своим обычным невозмутимым тоном: «Дай мне, пожалуйста, костыли».

Бринкер Хедли в комнате напротив всегда просыпался строго по расписанию, как железнодорожный экспресс. Сквозь двери слышно было, как он садится в кровати, хрипло кашляет, быстро шлепает босыми ногами по холодному полу к шкафу, чтобы что-нибудь надеть на себя, а потом громко топает в ванную. Сегодня, однако, он отклонился от курса и вломился в нашу комнату.

— Ну, готов записаться? — крикнул он, не успев войти. — Ты готов завер... Финни!

— «Ты готов...» — к чему? — откликнулся из кровати Финни. — Кто готов записаться и куда?

— Финни! Господи, ты вернулся!

— Конечно, — подтвердил Финни с едва заметной довольной улыбкой.

— Значит, твой маленький план до конца не удался. — Эти слова Бринкер процедил в мою сторону, вполголоса, скривив губы.

— О чем это он говорит? — спросил Финни, когда я пристраивал костыли ему под мышки.

— Да просто болтает, — коротко ответил я. — Он же вечно болтает.

— *Ты* отлично знаешь, о чем я говорю, — сказал Бринкер.

— Нет, не знаю.

— Знаешь!

— Ты будешь мне говорить, что я знаю, а чего не знаю?

— Да, черт возьми!

— Так о чем же он *говорит?* — опять спросил Финни.

В комнате было жутко холодно. Я стоял перед Финеасом, дрожа и все еще не отпуская костылей, будучи не в состоянии повернуться, посмотреть Бринкеру в лицо и услышать шутку, которая наверняка уже вертелась у него на языке, какую-нибудь катастрофическую шутку.

— Он хочет знать, пойду ли я с ним записываться в армию, — сказал я и добавил: — Вербоваться.

— Вербоваться... — повторил Финни. Он перевел взгляд на меня, в его больших ясных глазах застыло странное выражение. Пристально посмотрев мне в лицо, он спросил: — Ты собираешься записаться в армию?

— Ну-у, я подумал об этом... вчера, после работы на железной дороге...

— Ты подумал о том, чтобы завербоваться? И когда же? — поинтересовался Финни.

— Ну, я не знаю, — ответил я. — Просто Бринкер случайно сказал это вчера вечером, вот и все.

Финни проковылял к туалетному столику, взял свою мыльницу и сообщил:

— Я первый в душ.

— А ты сможешь принять душ, не намочив гипс? — спросил Бринкер.

— Смогу, я выставлю его за занавеску.

— Я тебе помогу, — предложил Бринкер.

— Нет, — отказался Финни, не глядя на него, — я сам справлюсь.

— Как же ты справишься? — упорно настаивал Бринкер.

— Я *справлюсь*, — повторил Финни с застывшим лицом.

Я едва мог поверить, но это слишком явно читалось по замкнутому выражению его лица, слишком отчетливо слышалось за ровным звучанием его голоса, чтобы ошибиться: Финеас был потрясен тем, что я могу уехать. В определенном смысле я был ему нужен. Да, я был ему нужен. Я, человек, заслуживающий доверия менее чем кто бы то ни было из его знакомых. Я это знал; и он тоже знал, или должен был знать. Я ведь сам ему об этом сказал. Сказал. Сам. Но ни в лице, ни в голосе его не было даже обманной отчужденности. Он хотел, чтобы я был рядом. И война тут же отдалилась от меня; мечты о поступлении в армию, о бегстве, о том, чтобы начать все с нуля, утратили для меня всякое значение.

— Конечно, ты сам прекрасно справишься в душе, — сказал я, — но какая разница? Пойдем вместе. Бринкер вечно... Бринкер всегда хочет быть первым. Завербоваться! Что за бредовая идея! Просто Бринкер и тут хочет всех обскакать. Да я бы не пошел с ним записываться, даже если бы он был старшим сыном генерала Макартура.

Бринкер надменно выпрямился.

— А кто я по-твоему есть?

Но Финни этого уже не слышал. Его лицо при моих словах расплылось в ослепительной широкой улыбке, озарившей все лицо.

— Записываться в армию! — гнул я дальше. — Да я бы не пошел записываться с ним, даже если бы он был Эллиотом Рузвельтом[1].

— Он не пошел бы с тобой записываться, — вставил Финни, — даже если бы ты был мадам Чан Кайши.

— Ну, — уточнил я вполголоса, — вообще-то он *и есть* мадам Чан Кайши.

— Ой, держите меня! — закричал Финни, изображая потрясение, изумление и ужас. — Кто бы мог подумать! Китаец. «Желтая угроза», здесь, в Девоне!

---

[1] Сын Франклина Делано Рузвельта.

И если что-то от этого разговора осталось в истории Девонской школы образца 1943 года, так именно это. Бринкер Хедли наконец-то тоже обрел кличку, после того как в течение четырех лет только раздавал их другим. «Желтая Угроза Хедли» — эта кличка распространилась по школе со скоростью эпидемии гриппа, и надо отдать должное Бринкеру, он отнесся к ней довольно спокойно, единственное, чего он терпеть не мог, так это если при неизбежном сокращении его называли просто Желтым, а не просто Угрозой.

Все это я забыл через неделю, зато я никогда с тех пор не забывал ошеломленного выражения лица Финни, когда он подумал, что в первый же день по его возвращении в Девон я собрался его покинуть. Я не знал, почему он выбрал меня, почему только мне считал возможным открывать самые унизительные стороны своей физической неполноценности. Да мне это было и неважно. Потому что война больше не разъедала мирной летней тишины, которую я так ценил в Девоне, и хотя игровые поля были покрыты коркой слежавшегося снега толщиной в целый фут и река представляла собой твердую белесо-серую ленту льда, вьющуюся между голыми деревьями, для меня в Девон вернулся мир.

— А я *люблю* зиму, — в четвертый раз заверил меня Финни, когда мы тем утром возвращались из часовни.

— Зато она тебя не любит.

Большинство дорожек на школьной территории было покрыто деревянными настилами — для удобства и безопасности, но на них повсюду образовались наледи. Стоило Финни чуть-чуть промахнуться, ставя костыль, и он рухнул бы на обледеневшие доски или в покрытый ледяной коркой снег.

Даже внутри помещения Девон представлял собой для него скопище ловушек. Благодаря крупному наследству, завещанному школе несколькими годами ранее неким семейством нефтепромышленников, она была существенно перестроена в стиле пуританской монументальности — словно кто-то приспособил Версаль для нужд воскресной школы. Парадоксально суровая пышность выдавала двойственную суть школы. Снаружи ее здания казались молчаливо-сдержанными, строгие прямые линии краснокирпичной кладки или деревянной обшивки, со ставнями, стоявшими как часовые по обе стороны каждого окна, с несколькими непритязательными куполами, там и сям разбросанными по крышам, обязательными и некрасивыми, как шапка пилигрима.

Но стоило войти внутрь такого здания через дверь в колониальном стиле с одиноким веерным окошком или рельефными стойками, намекающими на то, что скромные украшения все же допустимы, — и вы попадали в экстравагантную роскошь в стиле мадам Помпадур. Стены из розового и полы из белого мрамора замыкались вверху арочно-сводчатыми потолками; один актовый зал был оформлен в традициях Высокого итальянского Возрождения, другой освещался люстрами, сверкавшими хрустальными подвесками в форме слезы; одна из стен сплошь состояла из французских окон, выходящих на итальянский сад с мраморными скульптурами; первый этаж библиотеки был прованским, второй — в стиле рококо. И повсюду, кроме общежитий, полы и лестницы были сделаны из гладкого полированного мрамора, еще более опасно скользкого, чем ледяные дорожки.

— Нет, зима меня любит, — огрызнулся Финни и добавил, желая сгладить прозвучавшую в голосе капризность: — Ну, настолько, насколько о времени года можно сказать «любит». Я имел в виду, что люблю зиму, а когда что-нибудь по-настоящему любишь, оно отвечает тебе тем же в самых разных формах.

Я не считал, что это правда, мой семнадцатилетний жизненный опыт показывал, что это скорее заблуждение, но так было со всеми идеями и убеждениями Финни: они должны были быть неоспоримы. Поэтому я и не стал спорить.

Широкий настил закончился, и Финни пошел чуть впереди меня по бежавшей под небольшим уклоном к нашему корпусу узкой дорожке. Он двигался с удивительной осторожностью — удивительной для человека, для которого прежде земля была лишь точкой отталкивания, чем-то вроде базового элемента в невесомой среде космических прыжков. Мне на память пришло то, на что я никогда прежде не обращал особого внимания: как раньше ходил Финеас. На территории школы можно было наблюдать походки всевозможных видов: нескладное шарканье мальчишек, которые вдруг резко вытянулись на целый фут, ковбойскую поступь враскачку тех, кто желал продемонстрировать, насколько раздались у них вширь плечи, иноходь, вразвалочку, легким шагом, гигантскими шагами Пола Баньяна[1]. Финеас же передвигался в некоем плавном непрерывном равновесии так, что казалось, будто он дрейфует мимо, не прилагая никаких усилий, полностью расслабившись. Сейчас он ковылял, хромая, между наледями. Доктор Стэнпоул гарантировал лишь то, что Финеас снова сможет ходить. Но я понимал, что он никогда не сможет ходить так, как прежде.

— У тебя сейчас есть урок? — спросил он, когда мы добрались до ступенек крыльца.

— Да.

— У меня тоже. Давай не пойдем.

— Не пойдем? Но под каким предлогом?

— Скажем, что у меня случился обморок от перенапряжения по дороге из часовни, — он посмотрел на меня с улыбкой призрака, — и ты должен за мной ухаживать.

— Финни, это твой первый день после долгого отсутствия. Не тебе пропускать занятия.

— Я знаю, знаю. И буду работать. Я действительно намерен работать. Тебе, конечно, придется тянуть меня, но я *правда* собираюсь работать изо всех сил. Только не сегодня, не сходу. *Не могу я* спрягать глаголы, когда еще толком не видел школы. Я хочу здесь все осмотреть, я же до сих пор не видел ничего, кроме нашей комнаты и часовни. Классную комнату мне лицезреть не охота. Пока не охота. Еще не сейчас.

— А что ты хочешь увидеть?

Начав поворачиваться ко мне спиной, он коротко ответил:

— Пойдем в спорткомплекс.

Спорткомплекс находился на другом конце школьной территории, на расстоянии минимум четверти мили, и от него нас отделяло ледяное поле. Мы пустились в путь, не сказав больше ни слова.

К тому времени, когда мы добрались до цели, по лицу Финни катился пот, а когда он остановился, было видно, что у него дрожат руки. Ногу в гипсе он волочил за собой, как якорь. Видимость силы, которая произвела на меня впечатление утром, наверное, была такой же иллюзией, как та, с помощью которой он дома ввел в заблуждение врача и родственников, чтобы его отправили в Девон. Мы постояли на ледяной площадке перед входом, чтобы Финни передохнул и смог войти внутрь, изображая, будто излучает энергию. Потом это вошло у него в привычку; я часто стоял вместе с ним перед каким-нибудь зданием, притворяясь, будто думаю или смотрю на небо, или снимаю перчатки, но это всегда было неубедительно. Финеас, никогда не имевший опыта в этом деле, обманывать не умел.

Мы направились вдоль мраморного коридора, и к моему удивлению, Финни прошел мимо Зала спортивной славы, где его имя уже было написано на одном кубке, одном флаге и одном «забальзамированном» футбольном мяче. Я был уверен, что именно в этот зал он и направлялся — поностальгировать о былой славе, и уже приготовился к этому, и даже придумал несколько позитивных, духоподъемных

[1] Пол Баньян — вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора.

афоризмов, чтобы взбодрить его. Но он, не задерживаясь, проследовал мимо, спустился по мраморной лестнице, крутой и скользкой, и вошел в раздевалку. Я шагал рядом, озадаченный. В углу валялась стопка грязных полотенец. Финни костылем отбросил их.

— Вот дерьмо, — пробормотал он, едва заметно улыбаясь. — Ну почему надо обходиться без уборщиц?

В этот час раздевалка — ряды уныло-зеленых шкафчиков, разделенных деревянными скамьями, — пустовала. Под потолком тянулись разнообразные трубы. По девонским меркам это помещение выглядело тоскливо — все кругом грязно-зеленое, коричневое или серое, — но в дальнем конце сверкала белизной высокая мраморная арка, которая вела в бассейн.

Финни опустился на скамью, с трудом снял с себя зимнюю куртку на овечьем меху и глубоко вдохнул воздух спорткомплекса. Ни в одной раздевалке не было более едкого воздуха, чем в девонской; преобладал запах пота, который густо смешивался с запахами парафина и горелой резины, мокрой шерсти и жидкой мази, но для понимающих это был запах изнеможения, потерянной надежды, триумфа и сталкивающихся в поединке тел. Мне он казался просто дурным запахом. Прежде всего это был запах человеческого тела, до предела выложившегося, запах, смысл и пикантность которого понятны любому спортсмену так же, как и всякому любовнику.

Финеас бросал взгляд туда-сюда: на перекладину, установленную над заполненной песком ямой у стены, на разновесные гири, сложенные на полу, на скрученный в рулон борцовский ковер, на пару шиповок, заткнутых под шкафчик.

— Все как раньше, правда? — сказал он, поворачиваясь ко мне и слегка кивая.

Помолчав несколько мгновений, я тихо ответил:

— Не совсем.

Он не стал притворяться, будто не понял меня, и, выдержав паузу, оптимистическим голосом сказал:

— Теперь ты наверняка станешь большой звездой. — И прибавил с каким-то смущением: — Ты сумеешь заполнить пробел и вообще... — Он похлопал меня по спине и, указав на перекладину, сказал: — Иди-ка подтянись раз тридцать до подбородка. Чем ты в конце концов решил заняться?

— В конце концов я решил не заниматься ничем.

— Ну да... — С его искаженного гримасой лица на меня сверкнул гневный взгляд. — Ты же у нас помощник администратора гребной команды!

— Уже нет. Я просто хожу на уроки физкультуры. На те, что проводятся для ребят, ничем специально не занимающихся.

Он резко развернулся ко мне, сидя на скамейке. С шутками было покончено, он раздраженно поджал губы.

— Какого черта, — на последнем слове его голос неожиданно понизился, — ты это сделал?

— Было уже поздно куда-либо записываться, — ответил я, но, увидев, как напряжение, способное взорвать такое слабое оправдание, накалило его лицо и шею, запнулся. — В любом случае, пока идет война, часто проводить спортивные соревнования будет невозможно. Не знаю, мне кажется, пока идет война, спорт вообще не так уж важен.

— Значит, ты тоже схавал эту муру насчет войны?

— Нет, конечно, я... — Я так старался не раздражать его, что начал опровергать его обвинение, прежде чем понял, в чем оно состоит, но потом осекся. — Какую такую муру? — спросил я, глядя ему в лицо.

— Муру насчет того, что идет какая-то война.

— Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

— Ты что, действительно думаешь, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с нацистской Германией и императорской Японией?

— Действительно ли я думаю?.. — Я замолчал, не закончив фразы.

Финни встал, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, а другую выставив вперед и лишь слегка касаясь ею пола.

— Не будь дураком. — Он смотрел на меня с холодным спокойствием. — Нет никакой войны.

— А-а, я знаю, почему ты так говоришь, — сказал я, изо всех сил стараясь не поддаваться ему. — Теперь я понимаю. Ты все еще находишься под воздействием одуряющих лекарств.

— Нет, это ты находишься под их воздействием. И все вы здесь. — Он развернулся так, что мы оказались лицом к лицу. — Эти разговоры о войне — дурь. Слушай, ты что-нибудь знаешь о «ревущих двадцатых»? — Я кивнул очень медленно и осторожно. — Тогда все накачивались самопальным джином, и вся молодежь просто делала что хотела.

— Да.

— А все почему? Потому что ей не нравилось то, что ее окружало: все эти священники, богатые старухи и другие напыщенные ничтожества. Тогда попробовали ввести сухой закон, но все стали напиваться еще больше; тогда, от отчаяния, они устроили Великую депрессию. Это остепенило тех, кто был молод в тридцатых. Но вечно использовать этот фокус было невозможно, поэтому для нас, для молодежи сороковых, они сварганили эту липовую войну.

— Да кто такие эти «они»?

— Жирное старичье, которое не желает, чтобы мы выперли его с насиженных мест. Это они все придумали. Нет, например, никакого дефицита продуктов. Этим типам в их клубах и сейчас подают лучшие стейки из вырезки. Ты разве не заметил, что в последнее время они стали еще толще?

Интонация его голоса свидетельствовала о том, что он ничуть не сомневается: я заметил. На какое-то мгновенье я и сам в это поверил. А потом мой взгляд упал на белую гипсовую массу, словно бы нацеленную в мою сторону, и это, как всегда, отрезвило меня, вывело из придуманного мира Финни, вернуло на землю, как сегодня после пробуждения, вернуло к реальности, к фактам.

— Финни, все это очень забавно, но я надеюсь, ты не слишком заигрываешься в эту игру? А то гляди — начнешь верить в это всерьез, и тогда мне придется зарезервировать тебе местечко в дурдоме.

— В некотором роде... — Он не сводил с меня глаз, о чем-то напряженно размышляя. — В некотором роде весь мир сейчас пребывает в дурдоме. А смысл шутки понимает только жирное старичье.

— И ты.

— Да, и я.

— А что же в тебе такого особенного? Почему ты понимаешь, а все мы, остальные, бродим в потемках?

Внезапно лицо у него окаменело, он перестал контролировать себя и выкрикнул:

— Потому что я пострадал!

Оба потрясенные, мы отпрянули друг от друга. В наступившем молчании легкомысленный дух, царивший между нами с утра, испарился. Финни сел и отвернул от меня покрасневшее лицо. Я опустился на скамейку рядом с ним и сидел, не шевелясь, насколько позволяли мои вибрировавшие нервы, а потом встал и медленно пошел к первому попавшемуся снаряду. Им оказалась перекладина. Я подпрыгнул, ухватился за нее руками и, видимо, в качестве неуклюжего, наверняка выглядевшего гротескно подношения Финеасу стал подтягиваться. Ничего другого — ни правильных слов, ни правильного жеста — я придумать не смог. Только это.

— И так тридцать раз, — усталым голосом велел мне Финни.

Я никогда и десяти раз не мог подтянуться. На двенадцатой подтяжке я

обнаружил, что Финни считал про себя, потому что теперь он продолжил едва слышно считать вслух. На восемнадцатой голос его окреп, на двадцать третьей в его интонации исчезли все признаки усталости; он встал, и требовательность, с которой он произнес последние цифры, сработала как невидимый лифт, поднимавший меня на длину моих рук, пока Финни не пропел: «Тридцать!» — с оттенком удовольствия.

Момент прошел. Я знал, что Финеас даже больше, чем я, был встревожен прорвавшейся у него наружу горечью. Ни один из нас об этом больше никогда не упомянул, но ни один из нас и не забыл этого.

Финни снова сел и уставился на свои сцепленные руки.

— Я когда-нибудь говорил тебе, что собирался участвовать в Олимпийских играх? — хрипло спросил он. Финни никогда не упомянул бы об этом, если бы не считал себя обязанным после того, что сказал прежде, поделиться чем-нибудь очень личным, чем-нибудь, что он прятал глубоко внутри. Поступить иначе, начать шутить было бы лицемерной попыткой отрицать то, что случилось, а Финеас так поступить не мог.

Я все еще висел на перекладине, мне казалось, что мои руки вросли в нее.

— Нет, этого ты мне никогда не говорил, — пробормотал я, уткнувшись носом в плечо.

— Ну так вот: собирался. А теперь я не уверен... не на сто процентов уверен, что полностью войду в форму к сорок четвертому году. Поэтому вместо себя буду тренировать тебя.

— Но в сорок четвертом году никакой Олимпиады не будет. Осталось ведь всего два года. Война...

— Не мешай свои фантазии со спортом. Мы будем готовить тебя, парень, к Олимпийским играм сорок четвертого года.

И даже не веря ему, не забывая о том, что в этот самый момент войска по всему миру направляются к полям сражений, я, как всегда, поддался на очередную выдумку Финни. Никакого вреда в том, чтобы поставить новую цель, не было, пусть эта цель и была лишь несбыточной мечтой.

Поскольку мы находились очень далеко от линии огня, наши представления о войне были чисто умозрительными. Настоящей войны мы не видели и все свои впечатления о ней черпали из ложных источников: фотографий в газетах и журналах, кинохроники, плакатов, газетных заголовков через всю первую полосу или радионовостей, доносимых до нас искусственными дикторскими голосами. Я понял, что только постоянно мобилизуя воображение, смогу противостоять мощному натиску Финеаса «в пользу мира».

Но теперь, когда на обед нам давали куриную печенку, я не мог мысленно не представлять себе президента Рузвельта, своего отца, отца Финни и множество других упитанных пожилых людей сидящими в каком-нибудь изысканном, но закрытом, только для тайного мужского сообщества, ресторане за сочным бифштексом из филейной части. А когда из дома мне писали, что визит к родственникам пришлось отменить из-за нормирования бензина, мне нетрудно было представить себе отца, улыбающегося молча, с понимающим видом, — по крайней мере, не трудней, чем вообразить, как американские войска ползут через джунгли на некоем острове под названием Гуадалканал, где бы ни находилась эта дыра, как говорил Финеас.

И когда во время служб в часовне нас день за днем призывали к новым самоограничениям и упорному труду, оправдывая это войной, невозможно было не понять, что преподаватели просто использовали этот предлог, чтобы подстегнуть нас, как подстегивали всегда, независимо от военного или мирного времени.

Вот забавно, если Финни в конце концов окажется прав!

Разумеется, на самом деле я ему не верил. Но однажды, после того как наш капеллан мистер Кархарт очень уж растрогался от собственной проповеди насчет Бога

в окопах, я, идя из часовни, подумал: если представление Финни о войне химера, то представление мистера Кархарта как минимум такая же химера. Но я и ему, конечно же, не верил.

В любом случае я был слишком занят, чтобы вообще размышлять об этом. В придачу к моей собственной работе я теперь делил все оставшееся время между тем, что натаскивал Финни в учебных дисциплинах, и тем, что он натаскивал меня в спорте. Поскольку, чему бы тебя ни учили, прогресс зависит от атмосферы, в которой это происходит, мы с Финни, к нашему взаимному изумлению, начали делать удивительные успехи в том, в чем раньше были ни в зуб ногой.

По утрам мы вставали в шесть часов, чтобы бегать. Я надевал тренировочный костюм и обертывал шею полотенцем, Финни напяливал свою овечью куртку поверх пижамы и лыжные ботинки.

Однажды утром, незадолго до начала рождественских каникул, мы оба были вознаграждены. Мне предстояло бегать по маршруту, который установил Финни: четыре дистанции по овальной дорожке, огибавшей директорский дом. Рядом с домом рос старинный вяз, прислонившись к стволу которого, Финни отдавал мне указания, пока я бегал вокруг него большими петлями.

Заснеженная дорожка в то утро сверкала белизной; солнце висело где-то низко над горизонтом и, невидимое, посылало свои холодные лучи, освещавшие все вокруг нас голубоватым слюдяным мерцанием. Этот северный солнечный свет словно бы взбивал невесомые частички белизны, которые хаотично плавали в воздухе, припорашивая бледно-голубое небо. Ничто не шевелилось вокруг. Изогнувшиеся голые ветви вяза казались инкрустацией на фоне неподвижного неба. Звук моих шагов на бегу резко вырывался из-под ног, заполняя собой все обширное пространство сонного рассвета, как будто среди этих искрящихся пределов видимости не оставалось места ни для каких других звуков. Финеас стоял, прислонившись к стволу дерева, и время от времени что-то кричал мне, но и его голос быстро обволакивался и рассеивался.

Впрочем, в то утро ему не было нужды давать мне советы. После двух первых кругов я, как обычно, сжег последние крохи энергии, и, когда погнал себя дальше, мои рассыпавшиеся в прах останки привычно собрались и угнездились острой болью в боку. Легкие мои, опять же как обычно, были сыты по горло этой нагрузкой и отныне лишь мучительно делали вид, что работают. Колени снова стали ватными, и голени в любую минуту были готовы сложиться телескопом и уйти внутрь бедер. В голове возникло ощущение, будто разные части черепа со скрежетом трутся друг о друга.

А потом, безо всякой причины, я вдруг почувствовал себя отлично. Словно до того момента тело мое просто ленилось, а чувство изнеможения существовало только в моем воображении и было придумано мною для того, чтобы не дать довести себя до настоящего изнеможения. Казалось, тело мое наконец смилостивилось — «Ну, если так нужно, то вот, пожалуйста!» — и прилив сил волной прокатился сквозь меня от головы до ног. Взбодренный, я забыл о привычной жалости к себе, подавленное состояние ума вместе с болью в боку испарились, все преграды были сметены, и я вырвался на открытый простор.

После четвертого круга я предстал перед Финеасом таким, будто все это время просидел в кресле.

— Ты даже не запыхался, — сказал он.

— Ага.

— Ты нашел свой ритм на третьем круге, правда? Когда вышел на длинную прямую.

— Ага, там.

— Значит, все это время ты просто ленился, скажешь нет?

— Ага, наверное.

— Ты сам себя не знал.

— Ну, в некотором роде...

— А теперь, — он запахнул свою овечью куртку на груди, — теперь знаешь. И перестань мычать, как какой-нибудь пентюх из Джорджии — «наверное... в некотором роде...»!

Несмотря на насмешку, Финни судил совершено объективно. В то утро он показался мне старше, а его укутанная в теплую куртку фигура, спокойно прислонившаяся к дереву, — мельче. А может, дело было в том, что я, пребывая в том же теле, в одночасье почувствовал себя выросшим.

<...>

9

Это было мое первое, но не последнее вероотступничество в пользу Финеасова в*и*дения мира. На многие часы, а иногда и дни, я, сам того не сознавая, впадал в доморощенные толкования мироустройства. Не то чтобы я когда-нибудь верил, что представление под названием «Вторая мировая война» являлось обманом зрения, ловко подстроенным кучкой расчетливых толстых стариков, хотя идея сама по себе была заманчива. Что вводило меня в заблуждение, так это мое личное ощущение счастья; ведь мирное состояние жизни неделимо, а смятение, царившее повсюду на Земле, на мне никак не отражалось. Поэтому я перестал воспринимать его как нечто реальное.

Субботние вечера в мужской школе ужасны, особенно зимой. Футбола нет, совершать велосипедные прогулки по окрестностям невозможно. И даже самые отчаянные зубрилы не хотят закапываться в книги, потому что впереди воскресенье, длинное, ленивое, тихое воскресенье, в течение которого можно будет сделать все домашние задания.

Один Финеас не видел в этом ничего угнетающего. Так же как в его философии не было никакой войны, так не существовало для него и отвратительной погоды. Как я уже говорил, Финеас приходил в восторг от любой погоды.

— Знаешь, что хорошо бы сделать в следующее воскресенье? — начал он одним из своих характерных голосов, низким, ровным, мелодичным, тем, который мне почему-то всегда напоминал мерный рокот «Роллс-Ройса», едущего по автостраде. — Хорошо бы нам устроить зимний карнавал.

Мы сидели в нашей комнате по обе стороны единственного большого окна, обрамлявшего квадрат невыразительного серого неба. Ногу в гипсе, который был теперь значительно менее громоздким, Финеас положил на стол и задумчиво выдавливал на нем какие-то узоры перочинным ножиком.

— Какой зимний карнавал? — спросил я.

— Тот самый. Девонский зимний карнавал.

— Нет никакого Девонского зимнего карнавала и не было никогда.

— А теперь будет. Мы устроим его в парке на берегу реки Нагуамсет. Главным развлечением, разумеется, будут спортивные игры, а гвоздем программы — прыжки на лыжах...

— Прыжки на лыжах?! Да этот парк плоский, как блин.

— ...и слалом, а также, думаю, короткая лыжная гонка. Но придется включить и соревнования по лепке снежных фигур, немного музыки и какой-нибудь закусон. Итак, какой комитет ты хочешь возглавить?

Я одарил его ледяной улыбкой.

— Комитет по снежным фигурам.

— Я так и думал. В глубине души ты всегда был эстетом, правда? Я буду отвечать

за спортивную часть, Бринкеру можно поручить музыку и еду, и еще нужен кто-то, кто будет делать украшения, — венки из остролиста и все такое прочее.

И поскольку это была идея Финни, все случилось так, как он сказал, хотя и не с такой легкостью, с какой воплощались его прошлые озарения. Потому что наше общежитие с каждой неделей испытывало все меньше энтузиазма. Бринкер, например, с того самого утра, когда я отрекся от его плана поступления на военную службу, начал последовательно и решительно отходить от школьных дел. Он не сердился на меня за перемену намерений и, по сути дела, сам тут же переменил свои. Если он не смог записаться в армию — а при всей своей самодостаточности Бринкер мало что делал без компании, — он мог, по крайней мере, перестать быть столь многообразно гражданственным. Посему он ушел с поста президента дискуссионного клуба «Золотое руно», прекратил писать свои духоподъемные колонки в школьную газету, снял с себя обязанности председателя подкомитета «Братство добрых самаритян» Комитета по делам детей из местных неимущих семей, приглушил свой баритон в церковном хоре и даже в пароксизме безответственности ушел из Ученического совещательного комитета при Директорском распорядительном благотворительном фонде. Его благопристойная одежда исчезла, он стал одеваться в брюки цвета хаки, подпоясанные военным ремнем, и ботинки, громыхавшие на ходу. Когда я пришел к нему с предложением Финни, он спросил с разочарованным видом, который полюбил напускать на себя в последнее время:

— Кому нужен зимний карнавал? Что мы собираемся праздновать?

— Зиму, полагаю.

— Зиму! — Он посмотрел в окно на пустое небо и слякотную землю. — Честно признаться, не вижу, что тут праздновать.

— Это первый раз, когда Финни что-то придумал после... своего возвращения.

— Он ведь в некотором роде недееспособен, так ведь? Надеюсь, он ничего *такого* не *замышляет?*

— Нет, он ничего не замышляет.

— Ну, ладно, если ты думаешь, что Финни хочется именно этого... Хотя здесь никогда не устраивали никакого зимнего карнавала. Может даже, существует правило, запрещающее его проведение.

— Понятно, — сказал я тоном, заставившим Бринкера поднять глаза и встретиться со мной взглядом. В этом заговорщическом обмене взглядами все его сомнения рассеялись, ибо Бринкер-Законодатель «на определенный период» превратился в Бринкера-Бунтаря.

Суббота выдалась голубовато-серой. Все утро оснащение для зимнего карнавала тайно переносили из общежития в маленький неогороженный парк на берегу реки Нагуамсет. Бринкер руководил транспортировкой, грохоча вверх-вниз по лестнице своими ботинками и отдавая распоряжения. Он напоминал мне пиратского капитана, избавляющегося от награбленного добра. Сокровищем, требующим самого бережного обращения, были несколько бутылок очень крепкого сидра, которые он угрозами выманил у какого-то мужика. Их закопали в снег в центре парка, отметили место еловыми ветками, и Бринкер поставил своего соседа по комнате Брауни Перкинса сторожить клад, сказав, что тот отвечает за него жизнью. И Брауни знал, что это не пустые слова. Поэтому он дрожал, стоя посреди парка один, размышляя, что будет, если у него вдруг случится приступ аппендицита или обморок, и нервничая от сознания, что, может быть, придется перетаскивать эти бутылки, пока наконец не пришли мы. После этого Брауни уполз обратно в общежитие, слишком изнемогший, чтобы радоваться какому бы то ни было празднеству. В день, отмеченный напряженным духом негласного соперничества, этого никто и не заметил.

Погребенный под снегом сидр был полусознательно помещен в самый центр

карнавала. Вокруг него выросли огромные неряшливые статуи, которые из мокрого снега лепить было нетрудно. Неподалеку, абсолютно неуместный в этом снежном ландшафте, словно престарелая вдова в салуне, стоял тяжелый круглый стол, перенесенный сюда нечеловеческими усилиями учеников накануне вечером по настоянию Финни, так как ему нужно было на чем-то расставлять призы. На этом столе они теперь и покоились: холодильник Финни, который все эти месяцы был спрятан в подвале; Академический словарь Уэбстера с отмеченными в нем наиболее бодрящими словами; наборные гантели; «Илиада» с надстрочным английским переводом каждого предложения; альбом фотографий Бетти Грейбл[1], принадлежащий Бринкеру; локон, срезанный под принуждением с головы Хейзел Брюстер, профессиональной городской красотки; ручного плетения веревочная лестница, снабженная уведомлением, что она может достаться только кому-нибудь, живущему в комнате на третьем этаже и выше; поддельное призывное свидетельство и четыре доллара тринадцать центов от Директорского благотворительного фонда. Этот последний приз Бринкер выложил на стол с таким молчаливым достоинством, что все мы сочли за благо не задавать ему вопросов на этот счет.

Финеас сидел за столом в черном резном кресле орехового дерева со львиными головами на концах подлокотников; ножки кресла в форме львиных лап, вцепившихся в колесики, сейчас утопали в снегу. Эту покупку Финеас совершил в то утро. Он покупал вещи исключительно по наитию и только тогда, когда у него были деньги, а поскольку два эти условия совпадали редко, и покупки его были редкими и странными.

Чет Дагласс стоял рядом с ним, держа в руке трубу. К сожалению, Финни пришлось отказаться от плана пригласить школьный оркестр для музыкального сопровождения праздника, поскольку в этом случае все сведения о карнавале раньше времени распространились бы до самых дальних уголков кампуса. В любом случае Чет был более разумным решением проблемы по сравнению с оркестровой какофонией. Он был стройным светлокожим мальчиком с шапкой кудрявых рыжевато-каштановых волос, завитками падающих на лоб, и славился беззаветной преданностью двум вещам: теннису и трубе. И в теннис, и на трубе он играл так непринужденно, с таким врожденным мастерством, что, понаблюдав за ним, я начал думать, будто и сам мог бы овладеть любым из этих искусств за одни выходные. Так же, как и у большинства из нас, у него был скрытый, но серьезный и обязывающий изъян, не позволявший ему стать по-настоящему важным членом школьного коллектива: чтобы в тебе признали «личность», в Девоне требовалось быть грубым — по крайней мере, иногда — и резким, без этого никто ничем здесь стать не мог. Никто, за исключением Финеаса, разумеется.

Слева от наградного стола, широко расставив ноги, Бринкер стерег свой запас сидра; за его спиной торчали воткнутые в снег еловые ветки, а дальше начинался пологий подъем, на верху которого члены Комитета по прыжкам на лыжах набивали и утаптывали снег в небольшую стартовую площадку, край которой нависал над склоном искусственного холма в лучшем случае на фут. А еще дальше шеренга снежных статуй — неузнаваемые художественные пародии на директора, мистера Ладсбери, мистера Пэтч-Уизерса, доктора Стэнпоула, нового диетврача и Хейзел Брюстер — изгибалась полукругом, который вогнутой частью был обращен к набегающему на берег ледяному, грязному шелестящему прибою Нагуамсет, а выпуклой — к наградному столу.

Когда лыжный трамплин был готов, началась некоторая суета; двадцать мальчишек, которых всю зиму крепко держали в узде, теперь стояли, словно кони, закусившие зубами мундштуки и готовые рвануть вперед. Финеас должен был дать

---

[1] *Элизабет Рут «Бетти» Грейбл* (1916—1973) — американская актриса, танцовщица и певица. Ее знаменитое фото в купальном костюме принесло ей в годы Второй мировой войны славу одной из самых очаровательных девушек того времени.

старт спортивным соревнованиям, но он с головой ушел в инвентаризацию призов. Все перевели взгляд на Бринкера. Тот с каменно-невозмутимым видом охранял свои спрятанные бутылки и продолжал вызывающе поглядывать вокруг, пока не осознал: куда бы он ни посмотрел, отовсюду в ответ ему взирали вопрошающие глаза.

— Ладно-ладно, — хрипло произнес он. — Давайте начинать.

Рваная живая изгородь заметно сомкнулась вокруг него.

— Пора! — закричал он. — Ну же, Финни. С чего начнем?

Особенностью склада ума Финеаса, как я уже говорил, было то, что он мог, фиксируя все, что происходит, никак на это не реагировать, потому что мысли его были заняты чем-то другим. Вот и сейчас он, казалось, еще больше углубился в свой список.

— Финеас, — сквозь зубы процедил Бринкер. — Что дальше? Так мы можем простоять тут весь день. Если мы хотим провести этот чертов карнавал, нужно начинать. Что *дальше?* Финеас!

Наконец количество внешней информации в сознании Финеаса, видимо, достигло критической массы. Он рассеянно поднял голову, посмотрел на Бринкера, стоявшего, все так же широко расставив ноги, в центре плотного круга готовых к действию мальчишек, помешкал, поморгал, а затем своим органным голосом добродушно сказал:

— Дальше? Ну, это же совершенно очевидно. Дальше — вы.

Чет выдул из своей трубы будоражащий, дикий сигнал открытия корриды, и цепочка мальчишек, сомкнувшихся вокруг Бринкера, вмиг рванула и бурно рассыпалась. От неожиданности Бринкер дернулся назад, попятился, споткнулся о еловые ветви, затоптался, и из-под снега стали появляться бутылки.

— Какого черта! — завопил он, теряя равновесие и цепляясь за ветки. — *Какого... черта!..* — К тому времени его сидр, который он явно намеревался выдавать скупыми порциями по своему руководящему соизволению, исчезал прямо на глазах. Похоже, никакого соизволения, даже руководящего, даже со стороны самого Бринкера, в тот день в Девоне никому уже не требовалось.

Из свалки жаждущих я выхватил одну бутылку, плечом отразил чью-то атаку, вынул пробку, глотнул для пробы, задохнулся, а потом продолжил, приведя этим Бринкера в состояние немого ужаса. Глаза у него выпучились, жилы на шее вздулись и начали пульсировать, пока я наконец не оторвал бутылку ото рта.

Сквозь мальчишечий водоворот Бринкер решительно прошагал к Финеасу.

— Официально объявляю, — возвестил он трубным голосом, — что Игры открыты.

— Ты не можешь этого сделать, — укоризненно сказал Финни. — Слыханное ли дело открывать Игры без священного Олимпийского огня!

— Огня, огня! — повторил я вслед за ним.

— Мы пожертвуем одним из призов, — продолжил Финни, хватая «Илиаду». Он обрызгал ее страницы сидром, чтобы повысить их воспламеняемость, поднес спичку, и над книгой взметнулся маленький фитилек пламени.

Чет Дагласс, привалившись бедром к краю стола, продолжал выдувать разные музыкальные темы для собственного удовольствия. А потом, забыв обо всех нас и о спортивной программе, запущенной наконец Финеасом, пошел разгуливать по парку: иногда он подходил к старту, например, соревнований по прыжкам с трамплина, давая им соответствующий музыкальный сигнал, но чаще обращался к безмятежной стройности Гайдна или далекому надменно-возвышенному миру Испании, или к веселой, задушевной беспечности Нового Орлеана.

На нас начинало сказываться воздействие крепкого сидра. Или, может быть, как я теперь думаю, не сидр, а избыток наших собственных эмоций пьянил нас, придавал чувство полета, заставившее Бринкера навалиться, как в футбольной атаке, на статую

директора, мне внушило ощущение парения, когда, надев лыжи и съехав по невысокому спуску, я оторвался от миниатюрного трамплина и почувствовал, будто несусь с бешеной скоростью прямо в космос; а Финеаса вдохновило влезть на наградной стол и под одну из испанских импровизаций Чета исполнить на одной ноге шуточный танец, перескакивая с одного свободного от призов места на другое, аккуратно обходя локон Хейзел Брюстер и не задевая фотографий Бетти Грейбл. Не под влиянием сколь угодно крепкого сидра, а в силу свойственного его натуре умения на миг ощутить беспричинную радость жизни внутри себя, Финеас вновь обрел магический дар существования в пространстве: уступая закону гравитации, он лишь на миг касался ногой стола, чтобы тут же снова взвиться в воздух. Финеас неистово демонстрировал себя — себя в том мире, какой он любил; это была его хореография мира как способа бытия.

И когда он, закончив свой танец, уселся на стол среди призов и сказал: «А теперь у нас десятиборье. Тишина! На старт вызывается наш кандидат на участие в Олимпийских играх Джин Форрестер», — то вовсе не сидр заставил меня почувствовать себя чемпионом во всем, что бы он ни приказал мне сделать: бежать так, словно я был воплощением само*го* понятия скорости, обойти полукруг снежных фигур на руках, постоять на голове на крышке его холодильника, водруженного на наградной стол, перепрыгнуть через Нагуамсет и триумфально приземлиться посреди гребной базы и в конце под бурные рукоплескания — ибо в этот день даже неистребимый эгоизм девонских школяров волшебным образом отступил — благодарно принять венок из остролиста, который Финеас возложил мне на голову. Вовсе не сидр заставил меня превзойти самого себя, это было освобождение, вырванное у захватившей нас серости тысяча девятьсот сорок третьего года, устроенный нами побег, день мимолетного, иллюзорного, особого, сепаратного мира.

10

<...>

11

<...>

Тем вечером после ужина Бринкер явился к нам с очередным официальным визитом. К концу учебного года наша комната имела обшарпанный вид места, где два человека слишком долго жили, не обращая никакого внимания на то, что их окружает. Наши койки под красно-коричневыми хлопковыми покрывалами, стоявшие у противоположных стен, были продавлены. Стены, далеко не такие белые, как положено, отражали наши забытые теперь интересы: над койкой Финни были скотчем приклеены газетные фотографии встречи Рузвельта и Черчилля («Это два самых важных старика, — объяснял он, — которые собрались, чтобы придумать, что врать нам о войне дальше»). Я над своей постелью давным-давно пришпилил картинки, которые были призваны явить миру наглую ложь о моем происхождении, — слезливо-романтичные виды плантаторских усадеб, поросшие мхом деревья под луной, лениво извивающиеся между негритянскими лачугами пыльные дороги. Когда меня спрашивали о них, я изображал акцент, свойственный жителям города, расположенного тремя штатами южнее моего собственного, и, не утверждая этого прямо, давал понять, что это мое старое родовое гнездо. Но к настоящему времени у меня уже не было нужды в этой живописно-фальшивой самобытности; я обрел ощущение своего реального веса и достоинства, набрался нового опыта и повзрослел.

— Как Чумной? — поинтересовался Бринкер, входя[1].

[1] Элвин Лепелье, записавшись в армию, сбежал из нее, и Джин Форрестер навещал его дома.

— Да, — подхватил Финеас, — я тоже хотел это спросить.

— Чумной? Ну, он... он в отпуске. — Однако собственное отвращение к тому, что я вводил людей в заблуждение, уже не давало мне покоя. — По правде говоря, он в самоволке, просто удрал без разрешения.

— Чумной?! — одновременно воскликнули оба.

— Да. — Я пожал плечами. — Чумной. Он больше не тот крольчонок, которого мы знали.

— Никто не может *так* измениться, — сказал Бринкер своим недавно приобретенным безапелляционным тоном.

— Бьюсь об заклад, что ему просто не понравилось в армии, — сказал Финни. — Да и чему там нравиться? Какой в ней смысл?

— Финеас, — с достоинством произнес Бринкер, — пожалуйста, избавь нас на этот раз от своих инфантильных лекций о международном положении. — И обращаясь ко мне, добавил: — Ему просто было страшно там оставаться, да?

Я прищурился, как будто глубоко задумался над ответом, и наконец сказал:

— Да, думаю, можно и так сформулировать.

— Он запаниковал.

Эту реплику я оставил без ответа.

— У него, наверное, крыша съехала, если он это сделал, — энергично заявил Бринкер. — Держу пари, он просто спятил, да? Вот что случилось. Чумной обнаружил, что армия — это для него слишком. Я слышал о таких парнях. Наступает момент, когда они утром не встают с постели вместе со всеми, а просто лежат и плачут. Спорим, что с Чумным произошло нечто подобное. — Он посмотрел на меня. — Я прав?

— Да. Прав.

Бринкер так энергично, с таким энтузиазмом добивался правды, что я выдал ее ему без особых сомнений. И как только Бринкер ее получил, он разразился причитаниями:

— Черт бы меня побрал! Будь я проклят! Старина Чумной. Тихий добрый Чумной. Безответный старина Чумной из Вермонта. Он же совершенно не приспособлен ни к какой борьбе. Должен же был кто-то понять это, когда он собрался записываться в армию. Бедняга Чумной. Как он себя ведет?

— Много плачет.

— О, господи. Что за напасть на наш класс! Еще и июнь не наступил, а у нас уже двое вне игры.

— Двое?

Бринкер на секунду замялся.

— Ну, еще же Финни.

— Да, — согласился Финни своим самым глубоким и самым музыкальным голосом, — еще и я.

— Финни не вне игры, — сказал я.

— Конечно, вне.

— Да, я вне игры, — подтвердил Финни.

— Было бы вне чего быть! — Я постарался, чтобы выражение моего лица соответствовало задушевности голоса. — Это же не война, а просто жульничество, сварганенное старичьем... — Произнося свою тираду, я не сводил глаз с Финни, но у меня кончился заряд. Я ожидал, что он подхватит мои слова, привычно развернет историю о государственных деятелях-заговорщиках и обманутой публике, повторит свою знаменитую шутку, наподдаст миру под зад. Но он сидел, упершись локтями в колени и глядя в пол. Потом он поднял свои широко расставленные глаза, улыбка вспыхнула и тут же потухла на его лице, и он тихо пробормотал:

— Конечно. Никакой войны нет.

Это было одно из немногих ироничных замечаний, какие когда-либо делал Финеас, и им он положил конец всем своим затейливым выдумкам, которые поддерживали нас всю зиму. Отныне факты были восстановлены в правах, и остались

в прошлом все фантазии вроде Олимпийских игр тысяча девятьсот сорок четвертого года от Рождества Христова, закрывшиеся, не успев открыться.

<...>

Однажды, после того как утром в часовне морской офицер привлек внимание многих учеников выступлением, посвященным службе в морских конвоях, Бринкер на выходе, в вестибюле, положил руку мне на затылок и подтолкнул меня в комнату, использовавшуюся для занятий на фортепьяно. Комната была оборудована звукоизоляцией, а арочную дверь он за собой плотно закрыл.

— Ты ведь откладываешь поступление в армию по одной-единственной причине, — с ходу заявил он. — Сам знаешь по какой, правда?

— Нет, не знаю.

— Ну, так я знаю. И скажу тебе. Из-за Финни. Ты его жалеешь.

— Жалею?!

— Да, жалеешь. И если ты не изменишь своего к нему отношения, он начнет сам себя жалеть. Заметил, что кроме меня никто никогда не упоминает о его ноге? Если так будет продолжаться, он со дня на день впадет в слезливую сентиментальность. Чего ради все так церемонятся? Он калека, это факт. И ему нужно с этим смириться, но он никогда этого не сделает, если мы не начнем вести себя с ним естественно, даже подшучивать иногда над его увечьем.

— Ты несешь такую чушь, что я не могу даже... не хочу *слушать* тебя. Бред какой-то.

— Тем не менее, я намерен впредь поступать именно так.

— Нет. Ты этого не сделаешь.

— Черта с два. И твое разрешение мне не требуется.

— Я его сосед по комнате и лучший друг...

— И ты был там, когда это случилось. Я знаю. Но мне на это плевать. И не забывай, — он сурово посмотрел на меня, — ты сам в этом заинтересован. Я имею в виду, что тебе самому было бы лучше, если бы все, что касается несчастного случая с Финни, выяснилось и было забыто.

Я почувствовал, что мое лицо исказила такая же гримаса, какая появлялась на лице Финни, когда его что-то особенно раздражало.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Не знаю. — Он пожал плечами и хмыкнул. — И никто не знает. — Потом многозначительное выражение исчезло с его лица, и он добавил: — Если только не ты сам. — Его губы сжались в прямую линию, лицо утратило всякое выражение, и больше он не сказал ничего.

Я понятия не имел, что может сказать или сделать Бринкер. Прежде он всегда говорил и делал все, что приходило ему в голову, потому что не сомневался: что бы ни пришло ему в голову, он прав. В мире дискуссионного клуба «Золотое руно» и Комитета по делам детей из малообеспеченных семей это никаких проблем не создавало. Но теперь меня пугала его непреклонная прямолинейность.

Вернувшись из часовни, я застал Финни в общежитии, он перекрыл лестницу, и все, кто хотел подняться наверх, должны были под его руководством петь гимн «Могучая крепость — наш Бог». Не было на свете другого начисто лишенного слуха человека, который любил бы музыку так, как Финеас. Похоже, увечье усугубило его любовь; он обожал все без разбору — Бетховена, последний лирический шлягер, джаз, церковные гимны... Все это было для Финеаса глубоко музыкально.

«Когда враг окружает, нахлынув, как поток... — неслось над полем в темпе футбольного марша, — его Ты побеждаешь, рассеяв, как песок».

— Все было хорошо, — сказал в конце Финни, — фразировка, ритм и все такое. Но я не уверен в тональности. Навскидку я бы сказал, что нужно на полтона ниже.

Мы пошли к себе в комнату. Я сел за перевод Цезаря, который делал для него,

поскольку ему предстояло сдать экзамен по латыни, без этого он не получил бы аттестата. Мне казалось, что я оказываю ему весьма полезную услугу.

— Происходит ли там что-нибудь волнующее? — спросил он.

— По-моему, эта глава довольно интересна, — ответил я, — если я правильно ее понимаю. Она о внезапном нападении.

— Почитай мне.

— Ну, давай посмотрим. Начинается так: «Когда Цезарь увидел, что враги уже несколько дней остаются в своем лагере, прикрытом болотом и от природы защищенном, он послал письмо Требонию с приказом...» В тексте нет «с приказом», но это подразумевается, ты ведь знаешь.

— Конечно. Давай дальше.

— «...с приказом идти с тремя легионами ускоренным маршем на соединение с ним». «С ним» значит с Цезарем, конечно.

Финни посмотрел на меня стеклянным взглядом и сказал:

— Конечно.

— Итак, «...с приказом идти с тремя легионами ускоренным маршем на соединение с ним; сам же он... — то есть, Цезарь, — послал кавалерию для отражения внезапных неприятельских набегов. Теперь, когда галлы поняли, что происходит, они послали отряд своих отборных пеших воинов, чтобы устроить засады; и те, несмотря на потерю своего начальника Вертиска, настигли наших конников, привели их в замешательство и гнали до самого лагеря».

— Сдается мне, это то самое, что мистер Хорн называет «грязным переводом». Что это значит?

— Что дела у Цезаря в тот раз пошли не лучшим образом.

— Но он же в конце концов победил.

— Разумеется. Если ты имеешь в виду кампанию в целом... — Я запнулся. — Он победил, если ты веришь, что Галльская война происходила в действительности...

С самого начала Цезарь был исторической личностью, в существование которой Финеас категорически отказывался верить. Затерянный в глубине двух тысячелетий, носитель мертвого языка и повелитель мертвой империи, проклятье и бич всех школьников, Цезарь, по его мнению, был бо́льшим тираном для Девона, чем некогда для Рима. Финеас совершенно искренне «имел личный зуб» против Цезаря и ярился главным образом из-за того, что был убежден: ни Цезаря, ни Рима, ни латинского языка в жизни никогда не существовало...

— Если ты веришь, что некий Цезарь когда-либо действительно жил, — добавил я.

Финни встал с койки, поразмыслив, взял палку и странно посмотрел на меня. Мне показалось, что он сейчас рассмеется.

— Естественно, я не верю книгам и не верю учителям. — Он сделал несколько шагов. — Но я верю — и это для меня важно — *тебе.* Я знаю, что ты — лучше всех. — Я ждал, не произнося ни слова. — И ты рассказал мне о Чумном — что он сошел с ума. Поэтому пришлось это признать. Чумной сошел с ума. И вот когда я это понял, я осознал, что война реально существует, и эта, и все остальные. Если война может кого-то свести с ума, то она реальна. Да, наверное, я всегда это *знал,* но не принимал. — Он положил ногу — маленький гипсовый слепок с металлической пластиной под ступней для ходьбы — на койку возле меня. — Признаться честно, поначалу, когда ты рассказывал мне о Чумном, у меня возникли сомнения скорее на *твой* счет. Конечно, я тебе поверил, — поспешно добавил он, — но ты, знаешь ли, человек нервный, и я подумал: может, у тебя немного воспалилось воображение там, в Вермонте? Может, Чумной не такой уж чокнутый, как тебе показалось? — Финни попытался выражением лица подготовить меня к тому, что собирался сказать дальше: — А потом я сам увидел его.

Я не поверил своим ушам.

— Ты видел Чумного?!

— Я видел его сегодня утром, после службы. Он... ты знаешь, у меня воображение

не воспаленное, но я видел Чумного, *прятавшегося* в кустах возле часовни. Я выскользнул через боковую дверь, как обычно — чтобы избежать толкучки, — и увидел Чумного, он наверняка меня тоже заметил, но не сказал ни слова. Просто смотрел на меня так, будто я — горилла или еще кто-нибудь вроде этого, а потом нырнул в офис мистера Кархарта.

— Так или иначе, — продолжил Финни, — в тот момент я понял, что война идет настоящая.

— Да, думаю, эта война настоящая. Но твоя мне нравилась больше.

— Мне тоже.

<...>

Бринкер в сопровождении трех своих соратников в большом волнении явился к нам в комнату тем вечером в десять ноль пять.

— Идемте с нами, — сказал он решительно.

— Уже был отбой, — возразил я.

— Куда? — одновременно спросил Финни с большим интересом.

— Увидите сами. Ведите их. — Его друзья не слишком деликатно приподняли нас и потащили к лестнице. Я думал, что намечается какой-нибудь грандиозный финальный розыгрыш: старший класс покидает школу под фанфары — мы украдем язык школьного колокола или привяжем корову в часовне.

Но они повели нас к Первому корпусу — несколько раз горевшему и восстанавливавшемуся, но всегда называвшемуся Первым корпусом Девонской школы. В нем находились только классные комнаты, поэтому в столь поздний час он пустовал, что заставило нас почувствовать себя еще плутоватей. Внушительная связка ключей, оставшаяся у Бринкера с тех пор как он был старостой класса, тихо звякнула, когда мы подошли к парадной двери, над которой красовалась латинская надпись: «Сюда приходят мальчики, чтобы стать мужчинами».

Ключ повернулся в замке, мы вошли и очутились в зыбкой сомнительной реальности вестибюля, знакомого нам только в дневном освещении и при большом стечении людей. Наши шаги виновато отражались от мраморного пола. Мы проследовали через вестибюль к призрачной анфиладе окон, по бледному маршу мраморных ступеней повернули налево, еще раз налево, прошли через двое дверей и очутились в актовом зале. Одна из знаменитых девонских люстр с подвесками в виде мерцающих «слез» сеяла тусклый свет из-под высокого потолка. Через весь зал, ряд за рядом, вплоть до высоких смутно просматривавшихся окон, тянулись черные скамьи в колониальном стиле. В дальнем конце был устроен помост, отгороженный от зала невысокой балюстрадой. На помосте сидело человек десять старшеклассников, все в черных выпускных мантиях. Наверное, будет что-то вроде школьного маскарада, подумал я, с масками и свечами.

— Вы все видите, как хромает Финеас, — громко произнес Бринкер, когда мы вошли. Получилось слишком громко и слишком грубо; мне захотелось двинуть ему как следует. Финеас выглядел ошеломленным. — Садитесь, — продолжил Бринкер, — в ногах правды нет. — Мы сели в переднем ряду, где уже устроились человек восемь-десять других учеников, смущенно улыбавшихся тем, которые возвышались на помосте.

Что бы ни задумал Бринкер, место он выбрал ужасное. В актовом зале не было ничего забавного. Я вспомнил, как сотни раз тупо таращился через эти окна на вязы Центрального выгона. Сейчас окна были затянуты чернотой ночи и имели мертвенный вид — были слепы и глухи. На обширном пространстве стен неясно вырисовывались очертания картин — портретов маслом покойных директоров, одного или двух основателей школы, былых заведующих кафедрами, какого-то легендарного спортивного тренера, которого никто из нас в глаза никогда не видел, некой дамы, совершенно нам неизвестной — благодаря ее наследству школа была существенно перестроена, — безымянного поэта, чье творчество, как считалось когда он учился здесь в школе, предназначалось в первую очередь грядущим поколениям; юного героя,

давно анонимного, выглядевшего театрально в мундире времен Первой мировой, в котором он и погиб.

Я подумал, что в таком антураже любой розыгрыш обречен на провал.

Актовый зал использовался для общих лекций, дебатов, спектаклей и концертов; из всех школьных помещений в нем была самая плохая акустика. Я не мог разобрать, что говорил Бринкер. Он стоял на полированном мраморном полу перед нами, но лицом к помосту, и обращался к сидевшим за балюстрадой. Я различил лишь слово «расследование» и что-то насчет «нужд родины».

— Что это за пустая болтовня? — сказал я, ни к кому не обращаясь.

— Не знаю, — коротко ответил Финеас.

Бринкер повернулся к нам, продолжая говорить:

— ...вина на партии, несущей ответственность. Начнем с короткой молитвы. — Он сделал паузу, обведя нас тем подозрительным взглядом, который использовал в такие моменты мистер Кархарт, и любезно пробормотал голосом того же мистера Кархарта: — Давайте же помолимся.

Мы все моментально и не задумываясь низко склонились вперед, упершись локтями в колени и приняв позу, в которой было принято обращаться к Богу у нас в школе. Бринкер поймал нас врасплох, а в следующий момент уже было поздно отступать, потому что он поспешно начал читать «Отче наш». Если бы в тот момент, когда Бринкер произнес: «Давайте же помолимся», — я ответил: «Иди ты к черту», — все могло быть спасено.

Потом наступила нерешительная полусерьезная тишина, а спустя несколько секунд Бринкер произнес:

— Финеас, прошу.

Финни встал, пожав плечами, прошел вперед и встал между нами и помостом. Бринкер вытащил из-за балюстрады кресло и с изысканной вежливостью усадил в него Финеаса.

— Просто своими словами, — сказал он.

— Какими своими словами? — спросил Финни, изобразив свою фирменную гримасу, означавшую «ты идиот».

— Я знаю, что их у тебя не особенно много, — со снисходительной улыбкой продолжил Бринкер. — Воспользуйся теми, которые ты узнал от Джина.

— О чем я должен говорить? О тебе? Для этого у меня есть куча собственных слов.

— *Со мной* все в порядке. — Словно желая заручиться подтверждением, Бринкер обвел всех мрачным взглядом. — Жертва — ты.

— Бринкер, — начал Финни сдавленным голосом, какого я никогда у него не слышал, — ты что, умом тронулся что ли?

— Нет, — спокойно ответил Бринкер, — умом тронулся Чумной, другая жертва. Но сегодня мы расследуем твое дело.

— Что за хрень ты несешь, о чем речь?! — вдруг вклинился я.

— О несчастном случае с Финни. — Он говорил так, будто происходящее было делом естественным, самоочевидным и неизбежным.

Я почувствовал, как кровь ударила мне в голову.

— В конце концов, — продолжил Бринкер, — *война* на дворе. И вот один солдат, которого страна уже потеряла. Мы обязаны выяснить, что случилось.

— Просто для протокола, — подал голос кто-то с помоста, — ты ведь согласен с этим, Джин?

— Я сказал Бринкеру сегодня утром, — начал я предательски дрожащим голосом, — что считаю это худшей...

— А я ответил, — перебил меня Бринкер абсолютно спокойным и самоуверенным голосом, — что это послужит на благо Финни, — он добавил голосу задушевной искренности, — и тебе, кстати, тоже, Джин, если все будет до конца выяснено. Мы же

не хотим, чтобы год заканчивался с какими-то тайнами, слухами и подозрениями, витающими в воздухе, правда?

Коллективный рокот согласия раздался в сумеречной атмосфере актового зала.

— Что ты несешь?! — Музыкальный голос Финни был исполнен презрения. — Какие слухи и подозрения?

— Это не существенно, — сказал Бринкер с важно-самоуверенным видом. Он этим упивается, с горечью подумал я, воображает себя воплощением Правосудия с весами в руке. Однако он забывает, что у Фемиды не только весы в руке, но и повязка на глазах. — Почему бы тебе просто своими словами не рассказать, что случилось? — продолжал Бринкер. — Ну, считай это просто блажью с нашей стороны, если хочешь. Мы вовсе не пытаемся кого-то в чем-то винить. Просто расскажи нам. Ты же знаешь, мы бы не стали тебя пытать, если бы у нас не было на то оснований... серьезных оснований.

— Да нечего рассказывать.

— Нечего рассказывать?! — Бринкер выразительно посмотрел на загипсованную ногу Финни и палочку, зажатую у него между колен.

— А что? Я просто упал с дерева.

— Почему? — поинтересовался кто-то с помоста. Акустика в зале была настолько плохой, а свет настолько тусклым, что я чаще всего не мог увидеть, кто говорит, и разобрать, что говорят. Видеть и слышать я мог только Бринкера и Финни, находившихся на широкой полосе мраморного пола между передними сиденьями и помостом.

— Почему? — повторил Финеас. — Потому что оступился.

— Ты потерял равновесие? — настаивал голос с помоста.

— Да, — решительно ответил Финни. — Я потерял равновесие.

— Ты всегда держал равновесие так, как никому в школе и не снилось.

— Большое спасибо за комплимент.

— Это вовсе не комплимент.

— Тогда беру свою благодарность обратно.

— Ты никогда не думал, что не просто так упал с дерева?

Это затронуло интересную тему, которую Финеас, видимо, давно прокручивал в голове. Я это понял по тому, что упрямое несговорчивое выражение впервые сошло у него с лица, сменившись неуверенным.

— Забавно, — сказал он, — но с тех самых пор у меня такое чувство, будто дерево само это сделало. Такое у меня было тогда ощущение. Почти как если бы дерево стряхнуло меня.

Слышимость в зале была настолько плохой, что сама тишина в нем казалась гулкой.

— Как будто на дереве был кто-то еще, да?

— Нет, — непроизвольно вырвалось у Финни. — Не думаю. Он посмотрел в потолок. — Или был? Может быть, кто-то карабкался по стволу. Что-то я подзабыл.

На сей раз гулкая тишина стояла так долго, что я почувствовал: если она продлится еще немного, мне придется прервать ее, но тут послышался чей-то голос с помоста:

— Кажется, кто-то говорил, что Джин Форрестер был...

— Финни сам был там и знает все лучше, чем кто бы то ни было, — властно перебил Бринкер.

— Ты ведь тоже был там, Джин, правда? — не унимался голос с помоста.

— Да, — с интересом ответил я, — я тоже там был.

— Ты находился... возле дерева?

Финни посмотрел на меня.

— Ты был внизу, у подножья, правда? — спросил он не официальным, принятым в суде тоном, каким говорил до того, а дружеским.

Я очень внимательно изучал свои стиснутые руки, не в силах поднять голову и встретить его вопросительный взгляд.

— Да, внизу.

— Ты видел, чтобы дерево покачнулось или еще что? — продолжил Финни, слегка покраснев от нелепости собственного вопроса. — Я всегда хотел тебя об этом спросить, ну просто ради интереса.

Я сделал вид, что размышляю.

— Нет, не припоминаю ничего подобного...

— Дурацкий вопрос, — пробормотал он.

— А я думаю, что ты был на дереве, — вклинился голос с помоста.

— Ну конечно, — с раздраженным смешком ответил Финни. — Конечно, *я* был на дереве... или ты имеешь в виду Джина?.. Его там не было... ты хочешь сказать, что... или... — Финни с поколебленной честностью метался между мной и моим дознавателем.

— Я имею в виду Джина, — подтвердил голос.

— Конечно, Финни был на дереве, — сказал я, но, чувствуя, что больше не могу терпеть собственное замешательство, добавил: — а я стоял у подножья или, может быть, уже начал карабкаться по колышкам...

— Как он может это помнить? — резко произнес Финни. — Там тогда такое началось...

— Когда мне было лет одиннадцать, — серьезно сказал Бринкер, — парнишку, с которым я играл, сбила машина, и я помню все до мельчайших подробностей: где я стоял, какого цвета было небо, скрежет тормозов... Я никогда не забуду ни одной мелочи.

— Ты и я — два разных человека, — сказал я.

— Никто тебя ни в чем не обвиняет, — странным тоном произнес Бринкер.

— Ну конечно, никто меня *не обвиняет*...

— Не надо так нервничать. — Он попытался достичь трудного компромисса с самим собой: в его голосе звучало предупреждение мне, и в то же время он изо всех сил старался, чтобы другие этого не заметили.

— Да нет, мы тебя не обвиняем, — спокойно сказал мальчик с помоста, но я так и остался стоять как подсудимый.

— Мне кажется, я вспомнил! — воскликнул Финни. В его горящем взгляде чувствовалось облегчение. — Да, я помню, что ты стоял на берегу. Ты смотрел вверх, волосы прилипли ко лбу, и у тебя был тот самый глупый вид, какой бывает всегда, когда ты бултыхаешься в воде... Что ты тогда сказал? «Кончай выпендриваться там» или что-то еще из своих обычных «остроумных» дружеских замечаний. — Он выглядел совершенно счастливым. — А я, наверное, начал выпендриваться еще больше, чтобы позлить тебя. Что я тогда сказал? Что-то насчет нас двоих... Ах да, я сказал: «Давай совершим двойной прыжок», потому что подумал: если мы спрыгнем вместе, это будет нечто такое, чего раньше никогда не было, возьмемся за руки и прыгнем... — А потом как будто вдруг кто-то привел его в чувство пощечиной. — Нет, это было еще на земле, я сказал тебе это еще внизу. Я сказал тебе это, когда мы еще стояли на земле, а потом мы вместе начали карабкаться... — Он замолчал, не договорив.

— Вместе, — осипшим голосом произнес тот, с помоста. — Вы начали карабкаться вместе, так? А он только что сказал, что стоял на земле!

— Или лез по колышкам, — выкрикнул я. — Я сказал, что, возможно, уже взбирался по колышкам!

— Кто еще там был? — тихо спросил Бринкер. — Там ведь был еще Чумной Лепеллье, не так ли?

— Да, — ответил кто-то, — Чумной был там.

— Чумной всегда очень точно запоминал детали, — продолжил Бринкер. — Вот кто мог бы нам точно сказать, кто где стоял, что на ком было надето, кто что в тот день говорил и какая была температура воздуха. Он мог бы все прояснить. Жаль.

На это никто ничего не ответил. Финеас сидел неподвижно, чуть склонившись вперед, почти в той же позе, в какой мы в Девоне всегда молились. Сидел довольно долго, потом поднял голову и неохотно посмотрел на меня. Я не ответил ему ни

взглядом, ни жестом, ни словом. Наконец Финеас с трудом, словно это причиняло ему боль, выпрямился из своей молельной позы.

— Чумной здесь, — сказал он так тихо, с таким неосознанным достоинством, что показался мне вдруг пугающе чужим. — Я видел, как он сегодня утром входил в офис мистера Кархарта.

— Здесь?! Идите и приведите его, — тут же велел Бринкер двум ребятам, которые притащили нас сюда. — Если он еще не вернулся домой, он должен быть у мистера Кархарта.

Я молчал. Однако в уме машинально проделал серию быстрых умозаключений: Чумной опасности не представляет, никто ему не поверит; у Чумного проблемы с головой, а когда у человека проблемы с головой, он не понимает даже, чего сам хочет, и уж конечно не может свидетельствовать в подобном деле.

Двое ребят отбыли, и атмосфера сразу перестала быть гнетущей: предпринято некое действие, так что развязка близка. Кто-то начал подкалывать «капитана Марвела», призывая всех посмотреть, как он похож на девчонку в своей мантии. Марвел, капитан нашей футбольной команды, отмахивался руками и ногами двенадцатого размера, полы мантии взлетали, являя нам его крепкие бедра. Кто-то завернулся в красную бархатную штору и выглядывал из-за нее, словно какой-то придурочный шпион. Кто-то произносил длинную речь, перечисляя все правила, которые мы нарушили в ту ночь. А еще кто-то в своей речи объяснял, как при тщательном планировании мы можем еще до рассвета нарушить все остальные.

Но какой бы плохой ни была акустика внутри актового зала, снаружи она была прекрасной. Все разговоры и шумные игры прекратились через несколько секунд после того, как первый из нас, а это был я, услышал шаги возвращающихся посланников, которые приближались к нам по мраморной лестнице и коридору. Еще до того, как кто-то вошел, я абсолютно точно знал, что идут трое.

Чумной шел первым. Он выглядел неожиданно хорошо; лицо его светилось, глаза сияли, движения были энергичными.

— Да? — произнес он отчетливым голосом, звонко прозвучавшим даже в этом глухом помещении. — Чем могу быть полезен? — Свой уверенный вопрос он адресовал почти, но не совсем, одному Финеасу, по-прежнему сидевшему перед балюстрадой в одиночестве. Финни пробормотал что-то слишком невразумительное для Чумного, и тот с темпераментным жестом повернулся к Бринкеру. Бринкер заговорил с ним в тщательно небрежной манере, понимая, что за ним наблюдают. Постепенно шум, поднявшийся в зале при виде троих пришедших, снова стал стихать.

Это Бринкер умел: он никогда не повышал голоса, но заставлял окружающих затихнуть так, что его голос без малейших усилий с его стороны становился отчетливо слышен.

— ...значит, ты стоял близко к берегу и видел, как Финеас лезет на дерево? — говорил он, сделав, как я догадался, перед тем короткую паузу, чтобы шум окончательно стих.

— Конечно. Прямо там, под деревом, и стоял. И смотрел вверх. Солнце было уже очень низко, и я помню, что оно светило мне прямо в глаза.

— Значит, ты не мог... — вырвалось у меня, но я сумел остановиться.

Наступила короткая пауза, во время которой все уши, но не глаза, были обращены ко мне, потом Бринкер продолжил:

— И что ты видел? Ты вообще мог хоть что-нибудь видеть, несмотря на слепившее тебя солнце?

— Ну конечно, — ответил Чумной своим новым, уверенным и фальшивым голосом. — Я просто приложил к глазам ладонь козырьком, вот так, — он продемонстрировал, — и мог все видеть. Я видел их обоих достаточно ясно, потому что вокруг них был сверкающий солнечный ореол. — В его голосе все отчетливей звучала какая-то задушевная искренность, словно он пытался удерживать внимание маленьких детей. — Солнечные лучи пронизывали пространство за ними, миллионы солнечных

лучиков как стрелы проносились позади них, это было как... как стрельба из золотого ружья. — Он помолчал, чтобы дать нам время оценить глубину и точность этого сравнения. — Вот на что это было похоже, если хотите знать. А они двое казались там черными, как... как смерть, вокруг которой полыхал огонь.

Всем в его речи должно было быть слышно — неужели нет? — психическое расстройство. Все должны были почувствовать фальшь в его показной уверенности. Она же была видна любому дураку. Но что бы я ни сказал, это было бы воспринято как саморазоблачение; бороться за меня должны были другие.

— Там — это где? — бесцеремонно перебил Чумного Бринкер. — Где стояли эти двое?

— На суку. — Раздраженный, подразумевавший «это же очевидно» тон Чумного должен был в их глазах свести на нет то, что он сказал; они же знают, что он никогда прежде так не говорил, и должны понять, что он изменился и не отвечает за свои слова.

— Кто где находился там, на суку? Стоял ли один впереди, а другой сзади?

— Ну конечно.

— Кто был впереди?

Чумной шутливо улыбнулся.

— *Этого* я видеть не мог. Там было просто две фигуры, которые из-за этих стреляющих за ними лучей казались черными, как...

— Это ты уже говорил. Значит, ты не видел, кто стоял первым?

— Нет, естественно, не видел.

— Но ты видел, *как именно* они стояли. Где точно находился каждый из них?

— Один стоял прямо возле ствола и держался за него. Я этого никогда не забуду, потому что ствол тоже был огромной черной фигурой, а его руки держались за него, как за якорь — ну, понимаете? — как будто он прицепился к единственному, что было надежным в водовороте огня, среди которого они стояли. А другой находился чуть ближе к концу сука.

— И что случилось?

— Потом они оба задвигались.

— Как они задвигались?

— Они задвигались... — Теперь Чумной улыбался очаровательной, чуть лукавой улыбкой, как ребенок, предвкушающий, что вот сейчас он скажет нечто умное и всех поразит. — Они задвигались как мотор.

В повисшей за этими словами недоуменной тишине я начал медленно распрямляться.

— Как мотор?! — На лице Бринкера отразилась борьба между изумлением и раздражением.

— Я не знаю, как называется такой мотор, но в нем два поршня. Как он называется? Ну, в общем, в таком моторе сначала один поршень опускается, а потом другой. Тот, что стоял возле ствола дерева, на секунду опустился, как поршень, и тут же вернулся в исходное положение, а потом второй опустился — и упал.

Кто-то на помосте воскликнул:

— Из-за того, кто двинулся первым, второй потерял равновесие!

— Наверное. — Чумной стремительно терял интерес к разговору.

— Тот, который упал, — медленно произнес Бринкер, — то есть Финеас, двинулся первым или вторым?

Выражение лица у Чумного стало хитрым, голос зазвучал решительно.

— Я не собираюсь впутываться в это дело. Я не дурак, вы знаете. И не стану вам все рассказывать, чтобы потом это обернулось против меня. Вы всегда меня за дурака держали, скажете нет? Но я больше не дурак и знаю: располагать информацией опасно. — Он все больше распалялся. — С какой стати мне вам все рассказывать?! Только потому, что вам это на руку?

— Чумной, — умоляюще произнес Бринкер, — Чумной, это очень важно...

— Я тоже очень важен, — тонким голосом взвизгнул тот. — Вы никогда этого не

сознавали, но я тоже важен. Это ты дурак, — он посмотрел на Бринкера проницательным взглядом, — ты делаешь все, что кто захочет и когда захочет. Вот теперь и побудь дураком ты. Ублюдок.

Незаметно для всех Финеас встал.

— Мне все равно, — прервал он происходящее ровным голосом, таким глубоким и насыщенным, что он заглушил все остальные. — Мне все равно.

Я рванулся к нему со своей скамейки.

— Финеас!..

Он резко качнул головой, закрыл глаза, а потом повернулся и посмотрел на меня; его лицо представляло собой красивую маску. — Мне все равно. Не бери в голову. — И пошел по мраморному полу к выходу.

— Подожди минутку! — крикнул Бринкер. — Мы еще не все услышали. У нас еще не все факты собраны!

Эти слова привели Финеаса в ярость. Он развернулся, словно на него напали сзади.

— Ты получил все недоставшие факты, Бринкер! — крикнул он. — Все твои факты теперь у тебя на руках! — Я никогда не видел Финни кричащим. — Ты собрал все долбаные факты в этом мире! — И он опрометью бросился за дверь.

Прекрасная акустика снаружи донесла до нас звук его торопливых прерывистых шагов и стук палочки, сначала из коридора, потом с первых ступеней мраморной лестницы. А в следующий момент эти звуки потонули в чудовищном общем грохоте тела, покатившегося вниз по белым мраморным ступеням.

12

Все сохраняли полное присутствие духа. Бринкер крикнул, что Финеаса нельзя двигать с места; кто-то другой, сообразив, что в лазарете сейчас есть только ночная дежурная медсестра, не теряя времени, бросился за доктором Стэнпоулом к нему домой. Еще кто-то вспомнил, что Фил Лейтем, тренер по борьбе, живет по ту сторону Центрального выгона и отлично знает приемы оказания первой помощи пострадавшему. Именно Фил положил Финни плашмя на широкую площадку между лестничными маршами и не давал ему шевелиться, пока не прибыл доктор Стэнпоул.

Вестибюль и лестница Первого корпуса очень скоро оказались забиты людьми, как в дневное время. Фил Лейтем нашел главный рубильник, и белый мрамор засверкал под полным электрическим освещением. Однако вокруг дома царила тишина полуночного провинциального города, в которой торопливые шаги и приглушенные голоса отдавались гулким эхом. Окна, черные и слепые, хранили вид унылой пустоты.

В какой-то момент Бринкер, повернувшись ко мне, сказал:

— Сбегай в актовый зал, посмотри, нет ли там на помосте какого-нибудь одеяла.

Я рванул вверх по лестнице, нашел одеяло и отдал его Филу Лейтему. Тот бережно укутал им Финеаса.

Я бы хотел сделать это сам, для меня это много значило бы. Но Финеас мог начать нести меня всеми известными ему ругательствами, мог совсем потерять голову, и от этого ему стало бы еще хуже. Поэтому я держался в стороне.

Финни находился в полном сознании и, судя по выражению лица, которое мне время от времени удавалось мельком увидеть, был совершенно спокоен. Присутствие духа сохраняли все, включая Финеаса.

Когда появился доктор Стэнпоул, на лестнице воцарилась тишина. Укутанный в одеяло, освещенный лившимся на него из люстры светом, Финни лежал один, в центре плотного круга обступивших его лиц. Остальные, сгрудившись на лестнице, смотрели на него кто сверху, кто снизу. Позади меня вестибюль был пуст.

После беглого молчаливого осмотра доктор Стэнпоул велел принести кресло из актового зала, и Финни был очень осторожно усажен в него. В Нью-Гемпшире людей

обычно в креслах не носят, и когда кресло подняли, вид Финни показался мне странным: он напоминал какого-то величественного трагического персонажа вроде раненого понтифика. И снова у меня возникло грустное осознание: все это время я не замечал того, что было в нем самым уязвимым. Наверное, этому осознанию способствовала чрезвычайная нелепость того, что его, беспомощного, несли сейчас другие, между тем как по природе своей он как раз был из тех, кто сам носит других. Думаю, он не знал, что делать и даже как чувствовать себя в качестве объекта помощи. Он проплыл мимо меня с закрытыми глазами и сомкнутым ртом. Я понимал, что в нормальных обстоятельствах должен был быть одним из тех, кто нес кресло, должен был идти рядом и шептать ему что-нибудь на ухо. Только от меня он принимал помощь, не воспринимая ее как помощь. Ответ на вопрос «почему?» пришел мне в голову в тот момент, когда процессия медленно двигалась через сверкающий вестибюль к выходу: Финеас считал меня продолжением себя самого.

Доктор Стэнпоул остановился перед дверью, озираясь в поисках выключателя. В течение нескольких секунд рядом с ним никого не было. Я подошел и попытался задать ему вопрос, но не мог найти слов, чтобы начать. Я разрывался между «Он будет?..» и «Что это?..», когда доктор Стэнпоул, казалось, даже не заметивший моего смущения, произнес:

— Опять нога. Опять сломана. Но этот перелом, думаю, чище, гораздо чище. Простой перелом.

Он нашел наконец выключатель, и вестибюль погрузился в темноту.

<...>

Машина доктора Стэнпоула стояла в конце аллеи с включенными фарами и работающим мотором, но пустая. Я праздно подумал, не угнать ли ее, как некоторые люди праздно размышляют о преступлениях, которые они могли бы совершить. Идея украсть машину представляла для меня сугубо академический интерес, поскольку было очевидно, что это не столько преступно, сколько бессмысленно, — выпадение в ничто, побег в никуда. Проходя мимо, я обратил внимание на то, с какой одышкой урчал мотор, — у школьных преподавателей, помню, подумал я, не бывает автомобилей, годных для бегства с места преступления, — потом я завернул за угол здания и стал красться вдоль задней стены. Освещенным было единственное окно в дальнем конце, напротив него обнаружились кусты, где можно было спрятаться, чтобы попробовать заглянуть внутрь. Оно располагалось слишком высоко, но, убедившись в том, что земля уже достаточно мягкая и можно прыгать, не производя большого шума, я подпрыгнул изо всех сил. Мне удалось мельком увидеть в дальнем конце комнаты дверь, которая вела в коридор. Я подпрыгнул снова — чья-то спина. Еще раз — ничего нового. Подпрыгнув в очередной раз, я увидел голову и плечи, развернутые вполоборота ко мне, — Фил Лейтем. Значит, это та самая палата.

Земля была слишком сырой, чтобы сидеть, поэтому я лишь присел на корточки, скорчившись, и стал ждать. Сквозь стекло доносился неразборчивый гул голосов. Если они только болтают и ничего другого не делают, Финни помрет у них со скуки, сказал я себе. Похоже, той ночью моя голова была полна остроумных замечаний. Сидеть на корточках над землей было холодно. Несколько раз я вставал и подпрыгивал, не столько чтобы что-нибудь увидеть, сколько чтобы согреться. Единственными звуками были случайные всхрапывания мотора машины мистера Стэнпоула, когда он проворачивался с особой неохотой, да иногда тонкие одинокие завывания ветра во все еще голых деревьях. Они составляли фон для тоскливого гула сливавшихся воедино голосов Фила Лейтема, доктора Стэнпоула и ночной медсестры, трудившихся над Финеасом.

О чем они могли говорить? Эта ночная медсестра была главной болтушкой в школе. Мисс Болтушка Д.М.[1] Фил Лейхем, напротив, почти никогда вообще не разговаривал. Из немногих его реплик любимыми были: «Выложись по полной» и

[1] Дипломированная медсестра.

«Сделай еще одну попытку». Он обо всем думал в спортивных терминах и советовал своим ученикам «атаковать» учебу, спорт, религиозные колебания, сексуальную несовместимость, физические недостатки и все прочие проблемы все тем же испытанным способом — выкладываться по полной и неустанно повторять попытки. Я внимательно вслушивался в его голос, вслушивался так напряженно, что мне показалось, будто я отличаю его от других и даже разбираю слова: «Финни, выложись по полной, наподдай этой кости!»

Я и сам той ночью был в ударе.

Фил Лейтем учился в Гарварде, хотя, как я слышал, продержался там всего год. Может быть, посоветовал кому-нибудь выложиться по полной, и на том его учеба закончилась; вероятно, в Гарварде это является основанием для исключения. Не может быть, чтобы существовало понятие «выложиться по-гарвардски». А «по-девонски» может? Или: «Еще одна девонская попытка»? «Хилая девонская попытка»? А вот это хорошо — хилая девонская попытка. Надо будет как-нибудь запустить фразу в курилке. Она довольно забавная. Бьюсь об заклад, Финни она бы...

Доктор Стэнпоул тоже был весьма разговорчив. А какая у него любимая присказка? Никакой. Никакой? Нет, должна быть какая-нибудь. У всех есть какое-нибудь любимое словечко, фраза, которую они постоянно повторяют. Сложность с мистером Стэнпоулом состояла в том, что у него был слишком обширный словарь. Он разговаривал, так сказать, большими кругами, в его словаре имелось, вероятно, около миллиона слов, и ему приходилось использовать их все, прежде чем начать сначала.

Возможно, именно так они и общаются сейчас там, в палате. Доктор Стэнпоул пробирается насколько может быстро по большому разговорному кругу, мисс Болтушка, захлебываясь, что-то тараторит без умолку, а Фил Лейтем твердит: «Финни, выложись по полной!» Финеас, разумеется, отвечает им только по-латыни.

При этой мысли я едва не расхохотался вслух.

«*Gallia est omnis divisa in partes tres*»[1], — вероятно, говорит он каждый раз Филу Лейтему. А Фил Лейтем каждый раз при этом озадаченно хлопает глазами.

Интересно, Финеасу нравится Фил Лейтем? Ну конечно, нравится. Вот было бы забавно, если бы он вдруг повернулся к нему и сказал: «Фил Лейтем, ты болван». По-своему смешно. А если бы он сказал: «Доктор Стэнпоул, старина, вы — самый многоречивый дипломированный медицинский работник из всех ныне живущих». А еще смешнее было бы, если бы он перебил эту ночную медсестру и сказал: «Мисс Болтушка, вы тухлая, тухлая, тухлая до самой сердцевинки. Просто я подумал, что обязан вам это сообщить». Финни никогда и в голову бы не пришло сказать нечто подобное, но меня эта фантазия так поразила, что я не удержался от смеха. Я прикрыл рот ладонью, потом заткнул его кулаком; если не смогу остановиться, меня услышат в палате. Я так надрывался от смеха, что у меня заболел живот и лицо становилось все более и более красным, я впился в кулак зубами, чтобы взять себя в руки, и тут заметил, что он весь в слезах.

Мотор автомобиля мистера Стэнпоула измученно взревел. Фары, описав блуждающую дугу, отвернулись от меня, и рокот трудолюбивого мотора стал удаляться; я прислушивался к нему не только до тех пор, пока он действительно смолк вдали, но и пока не исчезла память о том, как он звучал. Свет в палате погасили, теперь из нее не доносилось ни звука. Единственным оставшимся шумом было какое-то особенно унылое завывание ветра в верхушках деревьев.

Где-то за ними, у меня за спиной, светил уличный фонарь, тускло отражаясь в окнах лазарета. Я подошел вплотную к окну палаты Финни, нащупал ячейку в решетке под ним, втиснул в нее мыс туфли и подтянулся так, что плечи оказались на уровне

[1] Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. Цитата из: Цезарь. Записки о галльской войне.

подоконника, потом протянул обе руки и, хотя был уверен, что окно заперто, все равно изо всей силы рванул раму вверх. Она, к моему удивлению, стремительно взлетела, и в темноте от кровати донеслось какое-то шевеление.

— Финни, — прошептал я в черноту комнаты.

— Кто это?! — спросил он, приподнявшись в постели так, что на его лицо упал неверный свет из окна. Потом он узнал меня, и сначала мне показалось, что он собирается выбраться из кровати, чтобы помочь мне влезть. Но его неуклюжее копошение продолжалось так долго, что даже мой мозг, потрясенный и заторможенный после случившегося, смог осознать две вещи: его нога привязана так, что он не может сколько-нибудь свободно двигаться, и он отчаянно пытается выплеснуть наружу свою ненависть ко мне.

— Я пришел, чтобы...

— Ты хочешь мне еще что-нибудь сломать?! За этим ты пришел? — В темноте он сделал отчаянный рывок, под ним застонала кровать и зашуршали простыни, в которых он запутался. Впрочем, он все равно не смог бы до меня добраться, потому что его непревзойденная координация покинула его. Он не мог даже встать с постели.

— Давай я поправлю тебе ногу, — видимо, совсем уж ничего не соображая, предложил я абсолютно естественным голосом, отчего мои слова прозвучали еще более дико, даже для меня самого.

— Ты поправишь мне... — Изогнувшись дугой, он отчаянно рванулся в пространство, разделявшее нас, и упал; ноги остались на кровати, руки с громким стуком ударились об пол. Несколько мгновений спустя его тело расслабилось, и голова медленно опустилась между рук. Он ничего себе не повредил. Просто медленно опустил голову и остался лежать на полу, не двигаясь, не издавая ни звука.

— Прости, — машинально произнес я, — прости, прости.

Мне хватило ума не влезать в палату, а предоставить ему самому добираться обратно до постели. Соскользнув с окна, помню, я долго лежал на земле, уставившись в ночное небо, и не ясное, и не сплошь затянутое облаками. Еще помню, как потом бесцельно брел по дороге, которая вела мимо спорткомплекса к старому пруду. <...> На следующее утро я проснулся в сухом и хорошо защищенном углу под пандусом стадиона. Шею свело, потому что я спал в неудобной позе. Солнце уже стояло довольно высоко, воздух был свеж.

Я вернулся в школу, позавтракал и пошел к себе в комнату за тетрадью, потому что в 9.10 в ту среду у меня был урок. Но под дверью я обнаружил записку от доктора Стэнпоула: «Пожалуйста, принеси Финни в лазарет какую-нибудь одежду и умывальные принадлежности».

Я взял его чемоданчик, собиравший пыль в углу, и сложил в него то, что могло понадобиться Финеасу. Я понятия не имел, что скажу в лазарете. Меня не покидало смутное чувство, будто все это я уже проживал раньше: Финеас в лазарете, и ответствен за это я. Кажется, сейчас я был потрясен меньше, чем в первый раз, минувшим августом, когда беда разразилась над нашими головами как гром среди ясного неба. Сейчас вокруг витали, словно едва уловимый запах, намеки на что-то гораздо худшее, их вызывали в сознании такие слова, как «плазма», «психоз», «сульфазин» — странные слова, напоминающие латинские существительные. Кинохроника и журналы были забиты видами вздымающих землю артиллерийских взрывов и тел, наполовину утопающих в песке где-то на морском побережье. Мы, выпускники 1943 года, теперь приближались к войне стремительно, настолько стремительно, что жертвы среди нас появились прежде, чем мы до нее добрались: помутнение рассудка и сломанная нога. Возможно, в этой ускоряющейся гонке их следовало считать всего лишь малозначительными и неизбежными неприятностями. Воздух вокруг нас был заряжен вещами куда худшими.

Так я успокаивал себя, направляясь в лазарет с чемоданчиком Финни. В конце концов, размышлял я, люди стреляют из огнеметов в жилые дома и зажаривают других людей живьем, торпеды пробивают корабли, и ледяной океан поглощает тысячи

мужчин, целые городские кварталы взрываются и рушатся в один момент. Мои короткие вспышки злобы, длящиеся всего секунду, даже долю секунды, накатывающие прежде, чем я успеваю осознать их приближение, и отступающие прежде, чем я успеваю понять, что они были, все это такая ерунда в гуще нынешней бойни.

Так, с чемоданчиком Финни, я дошагал до лазарета и вошел внутрь. Атмосфера здесь была тяжелой от больничных запахов, она немного напоминала ту, что царила в спорткомплексе, но тут недоставало ощущения отданной живой человеческой энергии. Теперь это стало фоном жизни Финеаса — чисто медицинская стихия, в которой отсутствует физическое здоровье.

Коридор оказался пустым, и я проследовал по нему в состоянии своего рода фатальной эйфории. Все сомнения наконец разрешились. Тогда как раз в моду вошла простая, но многозначная военная присказка «вот и все», и хоть впоследствии она стала восприниматься иронично, в ней заключалась необратимая точность: бывают моменты, когда только это и остается сказать. Сейчас был именно такой момент — вот и все.

Я постучал и вошел. Он сидел в кровати, обнаженный до пояса, и листал журнал. Я интуитивно опустил голову, смелости у меня хватило лишь на то, чтобы бросить на него очень короткий взгляд, прежде чем сказать: «Я принес твои шмотки».

— Положи чемодан на кровать, вон там, пожалуйста.

Интонация его голоса была безжизненно ровной: ни дружелюбия — ни враждебности; ни интереса — ни скуки; ни энергии — ни апатии.

Я поставил чемоданчик на кровать рядом с ним, он открыл его и стал перебирать смены белья, рубашки и носки, которые я собрал для него. Я стоял посередине комнаты, стараясь найти что-нибудь, во что можно было бы уткнуться взглядом, и слова, чтобы что-нибудь сказать, стоял, отчаянно желая уйти и не имея сил это сделать. Финеас внимательно и совершенно спокойно на вид продолжал перебирать вещи. Но это было так не похоже на него — что-то тщательно проверять — совсем не похоже. Он занимался этим очень долго, а потом, когда он попытался вынуть щетку для волос из-под резиновой петельки, которая прикрепляла ее к крышке, я заметил, что он не может этого сделать, потому что у него сильно дрожат руки. И тут меня прорвало.

— Финни, я пытался сказать тебе это раньше, в тот раз, когда приезжал в Бостон...

— Я знаю, я это помню. — Оказалось, что даже он не всегда мог держать голос под контролем. — Зачем ты приходил сюда вчера ночью?

— Не знаю. — Я подошел к окну, положил руки на подоконник и уставился на них отстраненно, словно это были слепки, кем-то сделанные и выставленные напоказ. — Я не мог не прийти, — с огромным трудом выдавил я наконец. — Просто мне казалось, что мое место здесь.

Я почувствовал, что он поворачивается в мою сторону, и поднял голову. На его лице появилось то особое выражение, какое бывало всегда, когда что-то до него вдруг доходило, но он не желал показать, что не понимал этого раньше, — выражение невозмутимой осведомленности, и это стало для меня первым за долгое время приятным событием.

Финни вдруг с силой шарахнул по чемодану кулаком.

— Господи, как бы я хотел, чтобы не было никакой войны!

Я строго посмотрел на него.

— Почему ты так говоришь?

— Не знаю, смогу ли я смириться с этим, когда идет война. Не знаю.

— Сможешь ли ты?..

— Какой толк на войне от человека со сломанной ногой?!

— Ну, ты... есть много... ты можешь...

Он снова склонился над чемоданом.

— Я всю зиму слал запросы в армию, в Военно-морской флот, в морскую пехоту, канадцам — куда только я их не слал. Ты знал это? Нет, ты этого не знал. Я указывал

обратный адрес: «Городской почтамт, до востребования». И всё мимо, все, изучив мое медицинское заключение, отвечали одно и то же: мы не можем вас зачислить. Писал я и в Береговую охрану, и в Военно-торговый флот, лично генералу де Голлю, Чан Кайши, я уже был готов написать кому-нибудь в Россию.

Я сделал попытку улыбнуться.

— В России тебе бы не понравилось.

— Мне *нигде не понравится,* если я не буду участвовать в войне! Как ты думаешь, почему я всю зиму твердил, что никакой войны нет? Я решил талдычить это до тех пор, пока не получу письмо из Оттавы или Чунцина, где будет сказано: «Да, мы зачисляем вас в свои ряды», — в следующую же секунду я прекратил бы этот треп. — На миг его лицо осветилось удовлетворением, словно он действительно получил такое письмо. — И тогда бы война действительно началась.

— Финни, — голос у меня дрогнул, но я продолжил: — Финеас, от тебя на войне не было бы никакого проку, даже если бы ты не сломал ногу.

На его лице отобразилось изумление. Я испугался, но знал: то, что я говорю, важно и правильно, и мой голос обрел ту полноту уверенности, с какой нечто давно прочувствованное и понятое наконец высказывают вслух.

— Тебя бы отправили на какой-нибудь фронт, и при первом же затишье в боевых действиях ты побежал бы к немцам или японцам, чтобы спросить, не хотят ли они выставить бейсбольную команду против наших. Ты бы сидел у них на каком-нибудь командном пункте и учил их английскому. Да, ты бы все перепутал и надел чью-то чужую форму, а свою отдал бы кому-нибудь из них. Вот что случилось бы, это точно. Ты бы устроил там такую неразбериху, что никто бы уже не понимал, с кем ему нужно воевать. Ты бы превратил войну в полный кавардак, Финни, в жуткий кавардак.

Он слушал меня, отчаянно стараясь оставаться спокойным, но при этом плакал, хотя пытался держать себя в руках.

— Там, на дереве, это был просто какой-то неосознанный толчок, ты не понимал, что делаешь, правда ведь?

— Да, да, так и было! Именно так! Но неужели ты можешь в это поверить? Как ты можешь поверить в это? Я не смогу заставить себя даже притвориться, будто верю, что ты веришь.

— Думаю, я могу в это поверить. Иногда я сам вдруг становлюсь бешеным и почти не понимаю, что творю. Так что я верю тебе, думаю, я могу в это поверить. С тобой тогда случилось то же самое. Просто на тебя что-то накатило. На самом деле ты ничего против меня не имел, это не было долго копившейся ненавистью. В этом вообще не было ничего личного.

— Не было! Как мне доказать тебе это, как я могу тебе это доказать, Финни? Скажи, как мне доказать? Это было что-то внутри меня, что-то дикое, слепое...

Он кивал, стиснув зубы и закрыв глаза, из-под его век лились слезы.

— Я тебе верю. Все в порядке, потому что я понимаю тебя и верю тебе. Ты уже мне доказал, и я тебе поверил.

Остаток дня пролетел быстро. Доктор Стэнпоул сообщил мне в коридоре, что собирается сегодня вправить кость. Возвращайся часов в пять, сказал он, когда Финни уже отойдет от наркоза.

Я покинул лазарет и отправится на урок американской истории, начинавшийся в 10.10. Мистер Пэтч-Уизерс дал нам пятиминутную контрольную на тему «Положение о "необходимых и уместных" законах в Конституции США». В одиннадцать часов я вышел из учебного корпуса и пересек Центральный выгон, на котором несколько учеников уже сидели на траве, хотя для этого было еще холодно. Дойдя до Первого корпуса, я поднялся по лестнице, с которой упал Финни, и вошел в класс, где в 11.10 начинался урок математики. Здесь нам дали десятиминутную контрольную по тригонометрии, и мне показалось, что задача решилась у меня сама собой.

В двенадцать я покинул Первый корпус, пересек Центральный выгон в обратном

направлении и съел ленч в Корпусе Джареда Поттера — лангет из телятины со шпинатом и картофельным пюре и чернослив со взбитыми сливками. Во время еды мы обсуждали вопрос о том, есть ли селитра в картофельном пюре. Я утверждал, что нет.

В общежитие я возвращался с Бринкером. Предыдущей ночи он коснулся лишь раз, спросив, как чувствует себя Финеас; я ответил, что настроение у него хорошее. У себя в комнате я прочел по-французски заданный отрывок из «Мещанина во дворянстве». В два тридцать, выйдя из общежития, прошел по ближней дуге овала, который Финни зимой назначил моим маршрутом для тренировок по бегу, пересек Дальний выгон и вошел в спорткомплекс. Миновав Зал спортивной славы, спустился по лестнице в спертый воздух раздевалки, переоделся в спортивную форму и час занимался борьбой. Один раз я положил партнера на лопатки, два раза — он меня. Фил Лейтем показал мне сложный прием ухода от захвата с кувырком через спину противника. Он заговорил было о вчерашнем инциденте, но я сосредоточился на новом приеме, и разговор сник. Потом я принял душ, оделся, вернулся в общежитие, еще раз прочел отрывок из «Мещанина во дворянстве» и в четыре сорок пять вместо того чтобы идти на заседание Комитета по организации выпускного вечера, председателем которого меня уговорили стать вместо Бринкера, отправился в лазарет.

Доктор Стэнпоул не слонялся по коридору, как делал обычно, когда не был занят, поэтому я сел на скамейку посреди медицинских запахов и стал ждать. Минут через десять он поспешно вышел из своего кабинета, голова его была опущена, руки засунуты в карманы белого халата. Он почти прошел мимо меня, не заметив, потом резко остановился и, обернувшись, опасливо посмотрел мне в глаза.

— Ну, как он, сэр? — спросил я спокойным голосом, но в следующий же миг испытал какую-то необъяснимую тревогу.

Доктор Стэнпоул сел рядом и положил свою крупную ладонь мне на колено.

— Случилось то, с чем мальчикам твоего поколения предстоит сталкиваться очень часто, — сказал он тихо, — и о чем мне придется тебе сейчас сообщить. Твой друг умер.

Дальше я уже не разбирал, что он говорит. Лишь по спине у меня растекался ледяной холод, вот и все, что я чувствовал. Доктор Стэнпоул продолжал говорить, но я ничего не понимал.

— Это был такой простой, такой чистый перелом. Вправить кость сумел бы любой фельдшер. Ну, я, конечно, и не стал отправлять его в Бостон. Зачем?

Казалось, он ждет от меня ответа, поэтому я тряхнул головой и тупо повторил:

— Зачем?

— Во время операции у него просто остановилось сердце, безо всякого предупреждения. Не могу этого объяснить. Да нет, могу. Тут есть только одно объяснение: когда я сдвинул кость, какая-то частичка костного мозга, должно быть, оторвалась, попала в кровоток, добралась прямо до сердца и остановила его. Это единственное возможное объяснение. Единственное. Риск существует всегда. Операционная — место, где риск в порядке вещей более чем где бы то ни было. Операционная — это фронт. — Я заметил, что он начинает терять самообладание. — Ну почему это должно было случиться с вами, мальчики, так рано, когда вы еще даже не покинули Девон?

— Частица костного мозга... — бессмысленно повторил я. До меня наконец стало доходить. Финеас умер от кусочка костного мозга из собственной ноги, который доплыл до сердца с током крови.

Я не заплакал, и потом никогда не плакал по Финни. Даже тогда, когда стоял и смотрел, как его опускают в могилу на строгом пуританском кладбище в пригороде Бостона. Я не мог отделаться от ощущения, что это мои собственные похороны, а на своих похоронах не плачут.

13

<...>

Я никогда не говорил о Финни, и никто о нем не говорил, однако он присутствовал в моей жизни каждый миг каждого дня с тех пор, как доктор Стэнпоул сообщил мне страшную весть. Финни обладал живучестью, которую нельзя было убить вот так, вдруг, даже костным мозгом из его собственной ноги. Вот почему я не мог ни говорить, ни слышать разговоров о нем: он жил во мне так ощутимо что, что бы я ни сказал о нем, другим это показалось бы сумасшествием — например, я не мог говорить о нем в прошедшем времени, — а то, что сказали бы они, звучало бы для меня бессмысленным. За то время, что я провел рядом с ним, Финеас создал атмосферу, в которой я продолжал жить и теперь: он воспринимал мир с беспорядочными и сугубо личными оговорками, просеивая словно сквозь сито его незыблемые как скала факты и принимая их выборочно и понемногу, только в том количестве, какое мог ассимилировать, не испытывая чувства хаоса и утраты.

Никто другой из моих знакомых этого не умел. Все остальные в определенный момент своей жизни находили в себе нечто, ожесточенно противостоящее чему-то в окружающем их мире. У моих ровесников это нередко случалось тогда, когда они осознавали факт войны. Когда начинали ощущать, что в мире происходит ошеломляюще враждебное действо. И тогда простота и цельность их характеров разбивались вдрызг, и они уже никогда не были такими, как прежде.

Только Финеасу удалось избежать этого. Он обладал какой-то дополнительной энергией, повышенной верой в себя, безмятежной способностью к искренней привязанности, и это спасало его. Ни пока он жил дома, ни когда учился в Девоне, ни даже когда началась война, ничто не смогло нарушить его гармоничную и естественную цельность. И только я сделал это наконец.

Я был готов к войне, потому что отделался от всякой ненависти, которую мог в нее привнести. Ярость ушла из меня, я чувствовал, что она не просто ушла, — иссяк ее источник, высох, омертвел. Финеас впитал ее в себя и унес с собой, избавив меня от нее навсегда. <...>

Я никогда никого не убивал и никогда не разжигал в себе ненависть к врагу. Потому что моя война закончилась еще до того, как я надел военную форму; на действующей службе я находился все время, проведенное в школе; и там я убил своего врага.

Только Финеас никогда ничего не боялся, только Финеас никогда никого не ненавидел. Другие люди где-нибудь когда-нибудь да испытывали этот ужасный шок, этот момент обнаружения врага, и тут же принимались с одержимостью защищаться. Все они, все кроме Финеаса, непомерной ценой выстроили для себя свои «линии Мажино» против врага, которого, как им казалось, они видели по ту сторону границы, врага, который оттуда никогда не нападал, если нападал вообще; и если это на самом деле был враг.

Екатерина Полянская

И запоёт иной тростник

* * *

Буркнула сыну: «Под Котовского бы тебя
Надо подстричь!» — «А кто это? Кто таковский?» —
Мальчик спросил, удивлённо вихры теребя...
Надо же! Он не знает, кем был Котовский!

Парень читает книжки, смотрит кино,
Учится, вроде бы, и — без особой лени,
Знает про Фрунзе и про батьку Махно,
Знает, что были Сталин, Троцкий и Ленин.

Всяческих знаний — полная голова,
По математике почти в отличники вышел,
В умные фразы увязывает слова,
А о Котовском, оказывается, и не слышал.

Вот и «sic transit»... Кабы погиб на войне
Славный комбриг, или — пал жертвой репрессий,
Мог бы в школьный учебник войти вполне,
Упоминаться хотя бы порою в прессе.

Всё могло быть иначе, и даже — не чуть,
Если б жизнь озарилась иным финалом...
В мирное время, увы, завершил его путь
Выстрел — привет от одесского криминала.

Были, конечно, митинги и венки,
Толпы людей, тучи словесной пыли
(сам бы покойный ещё раз помер с тоски),
Были стихи — их тоже потом забыли.

Полянская Екатерина Владимировна — поэт, переводчик. Родилась в Ленинграде. В 1992 г. окончила Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П.Павлова. Автор 7 книг стихов, в том числе «На горбатом мосту» (СПб., 2014). Живет в Санкт-Петербурге.

Всё-таки, жаль: романтик, полубандит,
— Господи, как любила его удача! —
Посвист пуль да перестук копыт,
Храбрость, напор, кураж. И — никак иначе!

Долг отдавая именно куражу, —
В нас для него почти не осталось места,
Я о Котовском мальчику расскажу,
Просто чтобы закваски добавить в тесто.

Скрипач

Памяти Муси Пинкензона

Вздрогнула скрипка у мальчишеского плеча.
Офицер, прищурившись, смотрит на скрипача.
Офицер доволен: расстрел обещает быть
Даже забавным... Он успеет убить.
...О, в этих скрипках всегда такая печаль...
Он позволит музыке прозвучать.

Мальчик, не медли, сыграй что-нибудь! Поспеши!
Ну же, сыграй для сентиментальной души —
Что-нибудь нежное для немецкой души...
Он же сказал:
Понравится — будешь жить.

Что ты можешь, мальчишка, — маленький, как сверчок!..
К подбородку взлетает скрипка, к небу — смычок.
Самое главное — не опускать лица:
Мёртвых не видеть — матери и отца.

Ну же, сыграй ноктюрн, не сходи с ума.
Но горячей молитвы, мощней псалма
Словно взрывает пространство перед тобой:
...это есть наш последний
и решительный
бой!..

Это есть наш последний бой, наш последний — на землю — взгляд.
Дёргается в конвульсиях автомат,
Хриплым лаем захлёбывается другой.
...это есть наш последний и решительный бой!..

Это есть наш последний — разорванной грудью — вдох.
Он так глубок, что в него умещается Бог —
Бог, так похожий на твоего отца.
Смерти нет.
Есть музыка —
без конца.

* * *

Вот уже третий год
в переходе метро
стоит это чудо:
пальтишко потёртое,
согнутая спина,
на одутловатом лице
выражение
туповатой покорности,
а в давно немытых руках
тетрадный листок:
«Помогите.
Умерла мама».
Пробегая мимо неё,
бросаю монетку,
морщусь:
— ну что ж она так,
хоть бы табличку сменила.
Потом
в вагоне грохочущем,
проталкивающемся в тоннеле
как бы небытия,
стою,
стиснутая телами
такими живыми и смертными,
смотрю в черноту окна.
И оттуда,
из космической проруби,
всплывает забытое слово —
Мама.

* * *

Утешь меня, пожалуйста, утешь
В моей почти пророческой печали,
В конце времён, а может быть — в начале.
Горчит моё вино, и хлеб несвеж.

Утешь меня. Разбросанных камней
Всё больше, и тропа моя — всё уже,
И голоса из прошлого всё глуше,
А выстрелы — всё чаще и точней.

Услышь меня, пожалуйста, услышь.
Стада веков, пыля, проходят мимо
И размыкают несоединимо
Небытия седую глушь и тишь.

Услышь меня. Я принимаю бой —
Привычный мир растрескан и расколот,
И рвущийся снаружи смертный холод
Остановить возможно лишь собой.

* * *

Когда сквозь дым и суету,
Сквозь запах шашлыка и пива
Размытым берегом залива
Я безнадёжно побреду

По серому песку,
Тогда
В случайном и нестройном хоре
Я вдруг услышу голос моря —
Непостижимый, как всегда.

Прорежет воздух птичий крик,
И ветер, чешущий осоку,
Очнётся и взлетит высоко.
И запоёт иной тростник.

Иной —
о яростных мечтах,
О чёрных кораблях смолёных,
Мечах, от жажды раскалённых
И медноблещущих щитах.

О том, как, разбиваясь вдрызг
И возрождаясь без потери,
Иные волны хлещут берег
Осколками счастливых брызг.

* * *

От трескучей фразы на злобу дня,
Виршей холопских, бешеных тиражей,
Ангел Благое Молчанье, храни меня —
Губы мои суровой нитью зашей.

Лучше мне, измаявшись в немоте,
Без вести сгинуть, в землю уйти ручьём,
Чем, локтями работая в тесноте,
Вырвать себе признанье — не важно чьё.

Лучше исчезнуть, попросту — помереть,
Быть стихами взорванной изнутри.
Только бы — перед ликом твоим гореть,
Только бы слушать, только б *Ты* говорил!

Только бы слушать, вслушиваться в шаги,
Свет Твой угадывать из-под прикрытых век...
Вечность во мне, прошу Тебя, сбереги,
Ибо я всего-то лишь — человек.

В час, когда сердце захлёстывает суета,
Требуя покориться и ей служить,
Ангел Благое Молчанье, замкни мне уста,
Чтобы мне перед Словом не согрешить.

Керен Климовски

Дорога. Скорость. Высоцкий

Повесть

Если на трассе Сургут — Салехард слушать Высоцкого — можно получить передозировку мужественности.

Комментарий в современном блоге

Конечно, я всегда знала, кто такой Высоцкий. У папы была пластинка, а у мамы пара кассет и фотография с ним, где она, двадцатисемилетняя, с пышными длинными косами, берет у Высоцкого интервью, и воспоминания о том, что во время этого самого интервью он почти все время «стоял на голове» — буквально: такая у него была разминка перед спектаклем. У меня этот эпизод, про который я слышала столько раз, что уже почти стала свидетелем, всегда ассоциировался с веселыми, прыгающими словами: «говорят, что раньше йог — мог, ничего не бравши в рот — год...» А оттуда развертывалось, как лента Мёбиуса, попурри из застрявших в голове строчек: «Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф», «Мне представляется совсем простая штука: хотели кушать и съели Кука...», «Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе». А особенно мне, выросшей в Израиле, нравилось про Мишку Шифмана, хотя о чем там речь и что такое «пятая графа», за которую Мишку якобы не пустили в Израиль, я узнала намного позже. Но «едем, Коля, море там — израилеванное...», «я чуть было не попал в лапы Тель-Авива» и «Моше Даян — сука одноглазая» было очень смешно, и нравилось дразнить взрослых, потому что слово «сука» — запрещено, а вот если подпеваешь Высоцкому — пожалуйста (пойди пойми этих взрослых)! Папа часто говорил: «ты, Зин, на грубость нарываешься», мама шутя предлагала «поесть, помыться, уколоться и забыться», а когда я упорно повторяла свои бесхитростные детские преступления и нагло, но неуклюже привирала по мелочам, называла меня «рецидивистом», и я гордо напевала: «В семилетний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внёс свой очень скромный вклад!» Так что Высоцкий присутствовал в моей жизни всегда, но исключительно шуточный — легкий, веселый и задорный. Остальные песни казались скучными, и когда мама ставила свою любимую «Кони привередливые», я уходила в свою комнату...

Керен Климовски — прозаик, драматург. Родилась в Москве в 1985 году, выросла в Израиле, училась в Америке, живет в Швеции. Публикуется в «Дружбе народов», «Октябре», «Иерусалимском журнале» и др. Лауреат и финалист Волошинского конкурса (2011, 2013). Последняя публикация в «ДН» — № 1 за 2017 год.

В неполные тринадцать я очутилась в Минске, напоминавшем советскую Москву раннего детства не только осенними листьями, снегом и утками в пруду, но тем, как люди одевались, вели себя, гематогеном, продававшимся в аптеках, речью продавщиц в универмагах и даже самим словом «универмаг». Мама и отчим работали в американской благотворительной организации «Джойнт», и за безопасность израильских работников отвечал поджарый, загорелый, седой Мошик — бывший офицер то ли Мосада, то ли Шабака. Если верить Мошику, опасность (в лице арабских террористов и антисемитов) подстерегала нас буквально повсюду. У него всегда имелась наготове пара-тройка кровавых историй, где жертвами были неосторожные и легкомысленные израильтяне, работающие за рубежом, а особенно (тут он понижал голос) «на постсоветских пространствах». Эти истории Мошик совершенно спокойно рассказывал за чашкой чая или столкнувшись с тобой в дверях офиса — поводом могло послужить все, что угодно, и каждый раз производил впечатление: у слушателей на несколько дней пропадала охота выходить из дома, зато появлялось желание забиться под диван... «После рассказов Мошика у меня не то что мурашки по коже, а самые настоящие муравьеды!» — жаловалась я отчиму, но он довольно кивал. У нас с мамой возникали сомнения насчет грозившей нам ежеминутной опасности, а вот отчим верил каждому слову и даже считал, что Мошик недоговаривает. Приехавший в Израиль из Вильнюса в 72-м (после долгой борьбы за выезд, организации разных «акций» — в том числе трехдневной голодовки еврейской молодежи на московском центральном телеграфе), отслуживший в израильской армии, воевавший в войне Судного дня, построивший на камнях и песке, на горе, которую арабы называли мертвой, город Ариэль, отчим тосковал по чему-то героическому. Весь день он сидел в офисе: встречался с представителями еврейской общины и властей, сверял бюджеты и сметы, подписывал бумаги. Иногда разъезжал по Беларуси: проводил конференции, выступал, «толкал» речи и даже научился лихо пить водку («Иначе здесь ни одно дело не делается», — оправдывался он перед мамой). Но самым приятным, волнующим моментом дня (это я точно знаю) был регулярный ежедневный осмотр машины на предмет бомбы (согласно инструкциям Мошика). Я не раз наблюдала за ним в эти минуты: лицо его выражало такую же смесь сосредоточенности и еле ощутимого волнения, как в те часы, когда, уставившись в экран телевизора, мы следили за невероятными трюками Джеймса Бонда, брошенного в аквариум с акулами или ускользающего от погони по крутым горным дорогам. И если кто-то из семей израильских дипломатов следовал указаниям Мошика «спустя рукава», то у нас они соблюдались с почти религиозным рвением. Самым главным и огорчительным правилом был абсолютный запрет на пользование общественным транспортом. Меня это ограничение бесило, ведь в Израиле я давно ездила сама. Тем более что в Минске были трамваи, троллейбусы, метро — из далекого московского детства. Эти слова казались почти сказочными, и я мечтала поскорее освоить и присвоить их. Но мама, зная законопослушность и щепетильность отчима, дала мне понять, что сопротивление бессмысленно. Ну что можно хотеть от человека, который не разрешил взять из своего офиса голубой фломастер, назвав его «казенным имуществом»?

Самому водить машину отчиму тоже не разрешалось: по мнению Мошика, это было еще безрассудней, чем разъезжать на троллейбусе, глазея по сторонам, улыбаясь и расточая подозрительные иностранные флюиды. К нашей семье были приставлены два водителя: Олег возил и везде сопровождал отчима, а Саша — маму и меня. А еще Олег был назначен Мошиком главным после него по безопасности: несколько раз в день он осматривал офис и мониторил стоящие у входной двери видеокамеры, в которые было видно все, что происходит снаружи. Машину на предмет взрывного устройства он тоже осматривал — сосредоточенно, но без волнения. И Олег, и Саша проводили с нами очень много времени. Поскольку оба были совершенно

замечательными, хотя и очень разными, они быстро стали почти членами семьи, что помогло мне примириться с отсутствием свободы передвижения. Мама ездила на работу вместе с отчимом и Олегом, а Саша сопровождал ее в основном на рынок и в продуктовые магазины, и большую часть времени был приставлен ко мне. Отвозил в школу и обратно, на ненавистные занятия гитарой, во время которых мы с учителем обоюдно мучили друг друга, а иногда и в Макдональдс — в те дни, когда мама накануне проводила вечернее мероприятие и не успевала приготовить обед. Эти обеды в Макдональдсе я особенно любила. Выбранное мной меню было неизменным: фишмак, картошка-фри (которую я на израильский лад упорно называла «чипсами», приводя в замешательство служащих), шоколадный молочный коктейль и карамельное мороженое. Саша никогда не говорил, что я ем «слишком много сладкого», и вообще не читал нотаций. Ему было двадцать шесть: высокий, худенький, с правильными чертами, русыми прядями, спадающими на лоб, всегда улыбающийся и в хорошем настроении, он был мальчишкой (хотя у него самого подрастала двухлетняя дочка). Я его так и воспринимала — как старшего брата. Попивая шоколадный коктейль и растягивая удовольствие от карамельного мороженого, я рассказывала ему о своем мучителе — учителе гитары, о кознях тупых одноклассников в моей крошечной американской школе, о напыщенной чопорности миссис Нельсон и о том, что мистер Нельсон носит подтяжки, а у мистера Польсона семеро детей — один сопливей другого, и о выходках противного израильтянина Хэми, который мне немного нравился, хоть и был хамом — под стать имени. Саша в свою очередь рассказывал о детстве в маленьком украинском городке, смешные случаи из армии — как копал картошку и рыл траншеи, о том, как познакомился с женой — красивой, пышногрудой белоруской, и о маленькой дочке. Музыку Саша предпочитал легкую: именно в его машине я узнала русскую эстраду конца 90-х и даже, вдохновленная Анжеликой Варум и Татьяной Овсиенко, начала сочинять песни и вечерами подвывала, бренча на расстроенной гитаре. Главным шедевром была строчка из песни, посвященной Хэми: «Расцветают весенние почки моей девичьей первой любви». (Это, кстати, было сильное поэтическое преувеличение: в череде детских влюбленностей та «девичья первая любовь» была, на самом деле, далеко не первой.) Мои песни на иврите мало чем отличались, но в них, помимо влияния русской попсы, можно было обнаружить еще и попытку подражания израильским поэтам-песенникам — Наоми Шемер и Натану Альтерману. Мой главный слушатель — мама — безжалостно высмеивала тексты песен, но это не охлаждало мой пыл и не прерывало творческих поисков...

Олегу было чуть за тридцать, и выглядел он солидно, даже одетый в тренировочные штаны или спортивный костюм: коренастый, плотный, упругий, как кошка, и такой же бесшумный. Татарский разрез карих глаз, широкие скулы, родинка на левой щеке, аккуратные усы над губами, всегда готовыми к усмешке, ровные, очень белые зубы. Олег говорил немного и всегда по делу, точно и метко. Если Саша относился ко мне, как к младшей сестре, то Олег — по-отечески и даже принимал участие в моем воспитании. Как ни странно, его замечания я не принимала в штыки, настолько естественно и беззлобно он их делал. Во-первых, я чувствовала, что Олег искренне привязался к нам и его преданность простирается далеко за пределы заботы о нашей безопасности. Во-вторых, понимала, что моя израильская непосредственность, граничащая с развязностью, не может не шокировать человека, выросшего в совсем другой стране с иными обычаями и нормами поведения. (Впрочем, я шокировала не только Олега. Например, когда ворвалась в офис с победоносным видом и громко сообщила всем работникам, что они могут меня поздравить: я «стала женщиной», а заметив, что отчим одновременно краснеет и бледнеет, радостно пояснила, что наконец-то у меня началось — оно, то самое, что раз в месяц, а то у девочек из

израильского класса почти у всех уже с прошлого года, а у меня только сейчас, ну, наконец-то!..)

Олег был для меня безусловным авторитетом — зрелый, ответственный, деловой и немного загадочный. Мне даже нравилась его суровость, и нравилось, что он говорит «не сутулься» или пресекает мои бредовые фантазии вопросом по сути, или изрекает короткие сентенции, например, что «счастье — это когда утром хочешь на работу, а вечером — домой». В общем, при слове «мужчина» первой картиной, появлявшейся перед глазами, был профиль Олега и особенный прищур его глаз. У Олега было то счастье, о котором он говорил. Работу свою он любил, и жену любил. Говорил, что частые поездки на длинные расстояния и то, что она за него волнуется, добавляет остроты их чувствам. Помимо сына Вани, которого Олег обожал и баловал, он завел еще и больших оранжево-зеленых и красно-голубых говорящих попугаев ара, а любимую самку в знак приязни к еврейскому народу назвал Сарой. Эти попугаи не совсем вписывались в созданный мною образ Олега, но ведь у всех свои слабости, даже у тех, кто соответствует этому влекущему и пугающему слову — «мужчина».

После таинственных антисемитов, с которыми мне уже даже хотелось познакомиться — из любопытства и при встрече презрительно фыркнуть: мол, я — гордая израильтянка, а их мнение — до лампочки (к слову, за два года жизни в Минске я ни разу ни с одним не столкнулась, хотя потихоньку отвоевывала свободу и расширяла круг знакомств через дворовую компанию), а самой большой опасностью (действительно реальной) была радиация. За этим следила мама, и о долгожданном, желанном сборе грибов и ягод, о котором я мечтала с тех пор, как попала из подмосковного дачного детства в неягодный и негрибной Израиль, не могло быть и речи. Существовал целый список продуктов, которые нельзя покупать в Минске, особенно, если они, не дай Бог, привезены из Гомельской области. Как и другие израильтяне, мы заказывали еду из Израиля, но это удовольствие влетало в копеечку, точнее, в шекель. Поэтому раз в несколько недель мы ездили в Вильнюс, добираясь до литовской границы всего за пару-тройку часов, основательно затаривались, а потом гуляли по городу. Конечно же, в путешествия мы пускались только с Олегом — на его темно-синем микроавтобусе.

Репертуар музыки в Олеговой машине был ограничен: ABBA и Высоцкий. ABBA я слушала с удовольствием и некоторым недоумением: этот ансамбль, как и попугаи ара, не вписывался в мое представление об Олеге. А вот Высоцкий... Ну конечно же, Олег любил Высоцкого. Ведь Олег — мужчина, а Высоцкий пел про мужчин и даже, как я смутно догадывалась, для мужчин. Но эти неосознанные ощущения тогда еще не складывались в мысли. А в памяти осталось: Высоцкий поет про дорогу. Может, потому что в те времена я слушала его только в машине, по дороге в Вильнюс, а может, подборка песен была такая: «Чужая колея», и «Кругом пятьсот», и «Погоня». И другие песни, где герой мчится на лошади, где всегда погоня — даже если не буквально, потому что он убегает — непонятно от чего, может, и от себя. Не ленивая трусца вдоль поля, а бешеная скачка по лесу — в самые дебри, в глушь, и даже «душа переходит в галоп», и кони тревожно «прядут ушами», и ничего не остается, как еще сильней, еще быстрей — закусить удила, стегнуть нагайкой и погнать — до «горячих подков», до пены у рта, и, наконец: «умоляю вас вскачь не лететь!», и — крик о помощи: «коренной ты мой, выручай же, брат», а потом — благодарно «поклониться в копыта до самой земли», а потом — опять то же самое, просто потому, что по-другому он не может...

И это движение, стремление вперед вовсе не ограничивалось землей: из динамиков доносились волнующие слова «флибустьер», «мачта», «рея», «плаха», «капитан», и пьянящая опасность — не та, что пугает всерьез, а та, в которой жизнь: «А мы с фрегатом становились к борту борт. Еще не вечер. Еще не вечер...», и я почти ощущала и качку, и брызги соленых волн, и морской бриз, и даже то тайное упоение в игре со

смертью, когда темнеет небо и чувствуешь приближение шторма. Мне не надо было объяснять, отчего «морякам тяжело привыкать засыпать после качки в уютной тиши», и был совершенно понятен смысл слов «становись, становись, становись человеком скорее, это значит на море — скорей становись моряком!», потому что человек — это пока живешь, а не существуешь, а жизнь — она только в движении, вечном движении, и нет надобности спрашивать: «Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне?» Ведь понятно: дома сидеть нельзя! У воздуха тоже нет права застывать, остывать, лучший воздух — это ветер, и на трассе, открыв окно и высунув голову, я орала: «А ветер дул и развивал нам кудри и распрямлял извилины на лбу!», ощущая, как ветер треплет и мои длинные волосы, даже не развевает, а хлещет ими по лицу, запутывая в колтуны, и более восхитительного чувства не было и не могло быть! Только отчим каждый раз начинал нервничать, одергивал: «Нельзя так высовываться из машины! И вообще закрой окно — в ушах гудит».

Даже средства передвижения становились героями песен. Корабли любили, ненавидели, страдали, и я завороженно подпевала: «Тот, что побольше, той, что поменьше, сказал: мы оба неправы, я никогда не видел женщин и кораблей прекраснее, чем вы...» и «Жили-были на море, это значит плавали: курс держали правильный, слушались руля, выходили в гавани — слева ли, справа ли, два красивых лайнера, судна, корабля...» А в «Балладе о брошенном корабле» пел, говорил от первого лица сам корабль — грустил, но никого не винил, держался стойко, мужественно: «И в конце-то концов я ведь сам сел на мель...» И так же от первого лица выступал взбунтовавшийся самолет в военной песне о яке-истребителе, и верилось, не возникало сомнений, что это именно сам самолет так неистово хрипит: «миррр вашему дому». Да и песня об иноходце — тоже от первого лица, и такая же яростная, начиналась словами «я скачу, я не могу иначе»...

И о любви — было в движении. О двух красивых автомобилях, у которых не получилось соединиться, потому что поторопились, проморгали, промигали, промазали (зато рискнули и погибли красиво) пела Влади, но в каждом слове чудился мне голос Высоцкого — неповторимый, и поскольку мама рассказала его биографию, я не сомневалась, что это о них с Влади. Но главное — каким-то загадочным образом все это было и про меня: это мы, в синем микроавтобусе Олега, мчались «без запретов и следов, об асфальт сжигая шины», хотя другие об этом не догадывались (разве что Олег, но я не была в этом до конца уверена)... Если не автомобили, а просто люди любили друг друга (конечно, люди уступали кораблям и машинам, поэтому были «просто» люди) — то не в ресторане, не на кухне, без пошлости и удушливости кирпичных стен и стен городских, а в горах — скалолазы, преодолевавшие вершины, стремящиеся вперед, ввысь. Особенно нравилась мне эта женщина — сильная, требовательная, снисходительная, и я фальшиво подпевала: «Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бранила меня — альпинистка моя», а Олег смотрел на меня — худого, плоского, неуклюжего подростка — в заднее зеркало, усмехаясь из-под усов.

В пятнадцать лет, после провалившейся попытки отстоять свою самостоятельность и трех месяцев жизни в иерусалимском интернате, откуда меня выперли за нарушение правил и «плохое поведение», я, смирившись, последовала за мамой и отчимом в Питер (куда их перевел тот же «Джойнт»). Я была уже старше и решительней настроена, и после долгих переговоров мне разрешили свободно передвигаться по городу — правда, только в сопровождении друзей-студентов и с условием, что по вечерам меня будут провожать до двери. Но в школу и из школы меня по-прежнему возили. Питерского водителя звали Гарик. Сын финки и русского еврея, спокойный и одновременно разговорчивый, смешливый. Среднего роста, крупный, полноватый, но

сильный и крепкий, он выглядел старше своих сорока семи. Его мощная круглая голова уже начала лысеть, темные волосы вились, усы были чем-то похожи на усы Олега, но на крупном лице смотрелись совсем по-другому. А глаза были голубые — лукавые и проницательные.

Гарик тоже вписывался в определение *мужчина*, даже чересчур, как мне казалось. Носил потертые черные джинсы, говорил на «фене», намекал на свой блат в «определенных кругах», хвастался личным знакомством с питерскими ментами и тем, что всегда знает, кому и когда «дать на лапу», долго и увлеченно рассказывал про всяких «воров в законе» и о значении на зоне той или иной татуировки. При этом Гарик, конечно, никогда не сидел (только в армии отслужил — как все в его поколении). Помнил кучу стихов наизусть. Прекрасно знал Питер — мог водить экскурсии: то и дело рассказывал, что вот этот дворец был подарен Кшесинской богатым поклонником, а вот здесь, в Юсуповском дворце, убили Распутина... Наверное, и про воровские истории где-то вычитал, а может, и жаргон выучил, полистывая словари, но он так увлеченно разыгрывал эту роль, что маска приросла к лицу, тем более что внешность соответствовала: и низкий баритон, и громкий, раскатистый смех, и широкие жесты — в прямом и переносном смысле. Эта гиперболизированная «мужчинность», казавшаяся мне пародией, эта «игра в урку» добрейшего и безобидного человека страшно меня раздражала. Хотя больше всего раздражало, что Гарик был непохож ни на Олега, ни на Сашу, что он не был ни Олегом, ни Сашей, и бесило, что он ездит на белом, хотя далеко не новом мерседесе с затемненными стеклами.

Моих иностранных одноклассников, детей дипломатов и крупных бизнесменов, еще и не на таких тачках возили, поэтому у школы было не так стыдно, но я панически боялась, что меня увидят местные друзья-студенты, и часто, проезжая по центру города, выходила раньше и шла до дома пешком. Однажды заметила, что Гарик продолжает ехать за мной на некотором расстоянии, и на следующий день выдала: «Почему вы за мной следите?!» Он и не думал отнекиваться, расхохотался: конечно, мол, слежу — ты же и заблудиться можешь, до дома не дойдешь, мало ли что с тобой случится. Я вспылила, но Гарика это не проняло. Мой топографический кретинизм он высмеивал нещадно, как и мою рассеянность и невнимательность. Особенно туго давались марки машин. Эту информацию я считала лишней и даже не пробовала напрягаться, поэтому мерседес не могла отличить не только от BMW или ситроена, но даже от пежо. Машины я узнавала исключительно по цвету, размеру и собственным «телесным» определениям, вроде «круглая попка» (про фольксваген). Нередко я выходила за ворота школы и, погруженная в собственные мысли, брела к первой попавшейся белой машине, иногда даже дергала за дверные ручки, и только в последний момент, увидев, что за рулем не Гарик, отскакивала и что-то смущенно бормотала. А Гарик, исподтишка наблюдавший за мной, добродушно посмеивался в соседней машине или на другой стороне улицы, а потом увлеченно рассказывал о моих «поисках» маме и отчиму, довольно удачно передразнивая мой отсутствующий, блуждающий взгляд... Мое раздражение росло. В машине я либо угрюмо молчала, либо препиралась с Гариком — спорила по любому поводу, даже если была согласна — назло, а на его советы и наставления отвечала «не учите меня жизни» и «вам этого не понять», намекая на его грубость и мужланство — в противовес моей тонкой, возвышенной натуре, которая ни за что не снизойдет до такой пошлости, как изучение марок машин.

Как и Олег, Гарик любил Высоцкого. Но меня, враждебно-предвзятую, это с ним не примиряло, даже наоборот. Тем более что в отличие от Олега Гарик не просто слушал, но еще и комментировал, философствовал. Я замыкалась в себе, делала вид, что мне все равно, не подпевала даже своим любимым песням... Спалилась я на «Баньке». С каждым разом все больше волновали раскатистые, тройные «р» и «л» во

фразе «угорррю я, и мне, угорррелллому, пар горррячий развяжет язык...», и неожиданно для себя вдруг спросила: «А почему у него на груди профиль Сталина?» Гарик так обрадовался дружественному порыву с моей стороны, что не ограничился лекцией на тему «тату с изображением "вождя"», а на следующий день — в знак перемирия — подарил собрание сочинений Высоцкого — целых десять кассет. К счастью, в моей комнате стоял все тот же купленный в Минске проигрыватель, где помимо DVD был и кассетник.

Десять кассет — это очень много, и с чего начать я не знала. Легкой и необременительной показалась кассета под названием «Сказки». Так и было: она начиналась с песни про «Лукоморье», с запоминающихся крылатых и летучих фраз — «если это присказка, значит сказка дрянь», с полушутливых, безобидных сказочных сюжетов, приукрашенных бытом (именно так я определила для себя, поскольку таких терминов, как «нисходящая метафора», еще не знала). А дальше — тоже про сказки и про приключения. Эти песни очень напоминали песни о движении, только здесь движение было не просто рискованным, а определенно опасным. Кто бы ни был герой — рыцарь, охотник, леший, разбойник, — он не просто вписывался в законы о движении (то есть по жизни не спокойно шел, а несся вприпрыжку), но и находился в экстремальной ситуации. Герой не всегда был авантюристом, бродягой, искателем приключений — иногда даже не до конца понятно, кто он — этот герой с хриплым и немного хитрым голосом (не герой и не автор — это именно голос был хитрым!). Но где он и чем занят — сомнений не вызывало. Да, сказки, не совсем всерьез, шутка такая, усмешка, ирония («страшно, аж жуть!»), и кажется, что герой ухмыляется из-под усов, как Олег, и присвистывает. Представляешь, как он шагает по лесу в неведомой стране и поет, и от этого еще больше любишь его, и волнуешься... В этих сказках — только кульминации, моменты крайней интенсивности, напряжения, когда все решается, когда пульсирует и бьется до разрыва аорты сама жизнь. Все столкновения — это «лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза» с судьбой, с самой жизнью, может, и с собой, и вдруг понимаешь, что это все очень серьезно, крайне серьезно, и что так шутят, и так поют только когда по-настоящему страшно, например, перед казнью, но не все, нет, не все, только те, которые подходят под это слово, заветное и страшное слово — «мужчина».

Кассета заканчивается. Ставлю сначала. И так — раз пять. Пока, наконец, не удается понять, найти то, что ищу весь вечер. А помогает наблюдение: среди врагов — леший, соловей-разбойник, вепрь, Змей Горыныч — почти по всем сказочным существам прошелся. Только вот с Бабой Ягой никто не сражается, обошли ее. Почему? Да потому что она — какая-никакая, но женщина, а с женщинами не воюют и не сражаются! И это — очень важная догадка, это ключ, первая линия в рисунке, главный закон в сложном кодексе их мира, мира Мужчин. Не обыденных мужчин из повседневной жизни, стоящих в очереди в мужской туалет с нелепым человечком на двери — голым, но почему-то при галстуке, и уже не «мужчин» в кавычках, потому что кавычки просто скрывают смущение, выдают страх называть вещи своими именами, а тех Мужчин, которые для меня, пятнадцатилетней, в категории мифических существ, почти как лешие и соловьи-разбойники...

Кругом твердят, что женщины загадочны или, по крайней мере, должны быть таковыми (а мама утверждает, что я слишком прямая, прямолинейная и во мне — никакой загадки, и правда — когда я попыталась «загадочно» посмотреть на одноклассника, он подумал, что у меня нервный тик, так что пришлось срочно сказать ему гадость, чтобы не воображал). В общем, я не понимаю, почему женщины загадочны (хотя какая я женщина? даже ни с кем не целовалась!). Мне кажется, что загадочны мужчины! И так хочется понять, узнать, проникнуть в этот мир Мужчин — интересный, таинственный мир, мне незнакомый и недоступный — запертый сад,

замкнутая дверь, непонятная, обгоревшая земля, изрытая кратерами, как на Марсе. И вот мой шанс туда попасть, вот он: Высоцкий, его песни... Ведь у него все, буквально все об этом мире, о мужчинах, то есть, о Мужчинах от «а» до «я» — на все темы, все рассказано и показано. Высоцкий — учебное пособие мужского мира, энциклопедия мужской жизни, гид и путеводитель по мужчинам. В самом высоком, самом лучшем смысле. Не так, как в этих дурацких пошлых книжонках типа «Как завоевать мужчину» или «Как понравиться мужчине», тем более что у меня и цели нет кого-то завоевать или даже нравиться, у меня интерес не корыстный, а почти научный, только не рационально-научный, а чувственный, да и все эти своды правил из глянцевых журналов раздражают тем, что точка отсчета — мужчина, а меня это не устраивает, я хочу через себя, от себя, не как объект, а как самый настоящий субъект, и главное: я просто хочу понять, как они устроены, как они думают, решить для себя этот ребус, отгадать загадку.

С того вечера я слушала Высоцкого нон-стоп — и в машине, и дома, по многу раз, в любом настроении. Хотя слово «слушать» не подходит: я изучала его так, как изучают алгебру, историю или французский, только гораздо фанатичней, пламенно, рьяно и очень усердно. Я всегда хорошо училась (только за это во всех школах мне прощали ужасное поведение), а здесь — превзошла саму себя, настолько усердно вслушивалась в Высоцкого, вдумывалась. Конечно, учеба была своеобразной: я не делала конспекты, не писала комментарии. Это напоминало транс — полное погружение, тотальное познание, безумные глаза. И мама, в который раз, обеспокоенно отмечала, что я постоянно «в страстях», что ничего у меня просто так не бывает, и если увлечение, то обязательно обсессивное, а я огрызалась: «Не нравится — не слушай, закрой дверь с той стороны». Но даже если бы захотела, не смогла бы объяснить, что Высоцкий — мой единственный шанс, единственная надежда: я так не формулировала, а просто чувствовала. Высоцкого я так же не «формулировала», не пыталась вогнать в какие-то рамки, припечатать недальновидностью и недалекостью слов. Я просто ощущала его: старалась вобрать в себя его слова и музыку почти на физическом уровне. И не всегда в самих словах скрывались ответы, иногда — в интонации, в тембре, в длине строки, в звуках...

Как ни странно, больше всего и прежде всего меня интриговала не любовная тема, а мужская дружба — наиболее загадочная, та территория, куда женщинам нет допуска. Хотелось почувствовать, понять эти странные для меня отношения, и вдруг осенило: надо самой как бы немножко стать мужчиной. В какие-то секунды, даже доли секунд это происходило... Высоцкий много пел о друзьях, это слово встречалось часто: «грустно мне, когда уходит друг — внезапно, внезапно», «а я верю, верю в друзей» и еще много, в самых разных контекстах, а когда оно вдруг заменялось на слово «ребята», особенно в обращении, то по тембру голоса сразу было понятно, идет ли речь просто о «ребятах» или о друзьях... Но среди ожидаемых бравады и куража, размашистых жестов и окриков во всю глотку, шутливой борьбы на кулаках, молодецкой удали и крепких рукопожатий всегда ясно звенели, как нота си бемоль, нотки легкой грусти — даже в песнях вроде «Дома для друзей» за «пьянками, гулянками, банками, пол-банками» пряталась эта легкая грусть. Потому что слово «друг» — высшая похвала и награда, и вообще — самое лучшее, что может быть, и отсюда ностальгический оттенок, ведь самое лучшее — это всегда шатко, недолговечно, и «возвращаются все, кроме лучших друзей», и никогда не знаешь, когда взвоешь оттого, что «убили его, не тебя», и что-то трогательное есть в этой мужской дружбе, что-то невероятно сокровенное, именно потому такое сокровенное, что они, в отличие от нас, женщин, не показывают, не демонстрируют эмоций, стесняются сентиментальности, но то, что скрывается, недоговаривается — всегда мощнее, острее. Может, еще и отсюда легкая грусть: эта наглядная суровость или, наоборот, разудалость прячет нежность,

обреченную на тайную жизнь. Бывает, что и предают, и такое предательство ранит больнее, сильнее, чем любая пуля (и об этом тоже пел хриплый, хитрый голос Высоцкого, спускаясь до горьких басов). А иногда и хуже — внезапное разочарование, когда «и не друг, и не враг — а так» и «не разберешь, плох он или хорош»... И я, подпевая, «пусть он в связке одной с тобой — там поймешь, кто такой», на самом деле представляла себя — я бы смогла, я бы выдержала, я — настоящий друг, то есть опять пыталась вклиниться на чужую территорию, а может, и хотела стать на этот момент мужчиной, оставаясь при этом женщиной, то есть собой. Пела «пусть он в связке одной с тобой», а на самом деле шаманствовала, гипнотизировала, заклинала кого-то неизвестного, неведомого и невстреченного: возьми в эту связку *меня*, *меня*! Как внутренняя мольба: «Сэр, возьмите Алису с собой!» Эту песню, вроде бы детскую, я тоже помещала в мир Высоцкого, тем более что написал ее Высоцкий, хотя и пела тоненьким голосом Клара Румянцева, и я, штудируя Высоцкого, казалась сама себе Алисой, подсматривающей сквозь крохотную дверцу в мир мужчин, куда ее обязательно когда-нибудь возьмут.

Даже все эти «банки, полбанки», бутылки и пол-литры — постоянные сопровождающие мужской дружбы и мужских посиделок — не смущали, а наоборот, интриговали. Правда, у меня, выросшей в Израиле, где на празднике для двадцати-тридцати человек пять бутылок вина могли легко остаться недопитыми, об алкоголе и его употреблении было весьма смутное представление. Когда в Минске мы праздновали еврейский Новый год, я, тринадцатилетняя, заметив, что мама и отчим пьют по второй рюмке водки, возмущенно обозвала их алкоголиками. Настоящих алкоголиков я видела только по телевизору или издали, спящими на скамейках в парке, и они представлялись мне еще более мифическими существами, чем те Мужчины, для которых и о которых пел Высоцкий. В свои пятнадцать (и даже значительно позже) я никогда не видела, как блюют перепившие люди, не знала запаха перегара, хотя сами слова, естественно, слышала, но очень удивилась бы, скажи мне кто-то, что они имеют прямое отношение к «банкам, полбанкам» в песнях Высоцкого или к слову «опохмелиться», которое тоже принадлежало к волнующе-мужскому миру, несмотря на свою простоватость. Состояние легкого алкогольного опьянения — в том абстрактном и неугрожающем варианте, предлагаемом Высоцким (вот это «во хмелю слегка лесом правил я») — казалось мне неразрывно связанным с той мужской сущностью, которую я пыталась уловить. Красочные детали вроде «А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,/ Говорил, будто все меня продали./ И гостям, говорят, не давал продохнуть, / Всё донимал их своими аккордами» я воспринимала как безопасные шутливые выходки и приписывала даже не самому алкоголю, а тому, что герой — больше, шире, чем рамки, в которые втиснут, больше, чем сама жизнь, и горячей, быстрей, ненасытней, невозможней, и от этих несоответствий так его колотит и трясет, и не столько алкоголь, сколько внутренняя неистовость у него в крови, а сама водка — только повод. А может, так оно и было: в его песнях настоящий хмель — легкое и приятно опасное, заманчивое слово — и охмеление жизнью переплетались и были неразрывны.

Подвыпивший герой выходил «прямо сквозь стекло в объятья милиционера»: алкоголь перетекал в хулиганство, в пьяные драки, поножовщину, но хотя в детстве я всегда давала сдачи обидчикам и отчаянно отбивалась, я никак не связывала свои детские драки, даже серьезные, с *этими* — мужскими. Драки в песнях Высоцкого были такими же незнакомыми и загадочными, такой же безусловной деталью мужского мира, как алкоголь. Вырисовывался некий кодекс, некоторые неведомые мне правила, и я пыталась представить себе: идешь с другом, и вдруг — «они стояли молча в ряд, их было восемь». Представляла себе их лица, и лицо героя, и то, что должно было пронестись у него в мыслях перед тем, как он принял решение: «ударил первым

я тогда — так было надо». Сжималось сердце — именно потому, что передавались скрытый страх и безнадежность исхода: вдвоем против восьмерых... Это касалось и тюрьмы, ссылок, мира криминала, о котором у меня тоже были исключительно книжные сведения — настолько книжные, что бандиты, воры и грабители представлялись мне кем-то вроде пиратов — впрочем, абсолютно книжных, а не реальных. В этих хулиганах и бандитах я искала все то же — мужское умение сказать вскользь и очень просто, как бы мимоходом, о страшном, о невозможном. Например: «Казалось мне — кругом сплошная ночь. Тем более что так оно и было». Сказать сурово, стиснув зубы — принять приговор, закусить удила, превозмочь боль: «Эх бы взвыть сейчас! — жалко нету слёз — Слёзы кончились на семь лет». Вот это меня и добивало: спокойное, философское приятие своей судьбы, особенно тем самым героем, который вечно «во хмелю», в движении, в судорогах жизни, этот приглушенный крик из тонущей подводной лодки: «Это наш мир!» Или ерническое, почти эпатажное: «Ты не вой, не плачь, а смейся — слез-то нынче не простят. Сколь веревочка не вейся, все равно укоротят»... Это и было то самое желанное и главное *мужское* качество, и в словаре моего сознания оно обозначалось именно этими цитатами. И странно трогали незнакомые, чужие слова: мусора, нары, барак, конвоир, срок, идти на дело, стоять на стреме, на Дальний Восток. Я с удовольствием перекатывала их на языке и верила, что таким образом — подменяя понятие словом — приручаю и присваиваю. Легче всего получалось с «шуточными песнями»: по утрам, собираясь в школу — пудрясь перед зеркалом в прихожей и подкрашивая ресницы, машинально напевала: «За это дело нам добавили срока: ЗК Васильев и Петров ЗК»...

Но самая высокая концентрация волнующих меня моментов была в песнях о войне: и мужская дружба, и мужская вражда, и стиснутые зубы, и веселое насвистывание идущего на верную смерть. Здесь, на территории войны, я уже не была таким новичком: я выросла в Израиле — стране, которая не вылезает из войн, стране, где очень чтят павших и где песен о войне и о погибших товарищах столько же, сколько песен о любви, если не больше. А у Высоцкого было не просто продолжение, не просто раскрытие и усиление темы, но своего рода апогей — он пел о самой главной войне, о самой страшной, о «войне войн», как я называла ее про себя, думая про «сказку сказок». Хотя, и не о самой войне он пел, не об исторической, реальной войне. Войну войн Высоцкий использовал как предлог (и таким же предлогом были тюремные бараки и поезда, идущие на Дальний Восток), чтобы опять спеть про то главное в мужском мире, что невозможно обозначить одним словом — про отношения между мужчиной и мужчиной, про отношения между мужчиной и смертью. И я, уже опытная, пропускала мимо ушей все второстепенное — названия мест, армейские чины, подробности фронтового быта, моментально улавливая важное: «нас двое, их восемь», «сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны!» и пронзительное описание гибели: «Мы летали под богом, у самого рая, он поднялся повыше и сел там, ну а я до земли дотянул». А еще: интонации, ударения, поющие, неистовые согласные, ритм марша, энергию движения, потому что война у Высоцкого — тоже вид движения, своеобразное путешествие с препятствиями: «Землю тянем зубами за стебли — на себя, под себя, от себя...» Всю весну того года я вела двойную жизнь. На первый взгляд жила обычной жизнью подростка: училась, грубила одноклассникам и учителям, цитируя Сэлинджера и Керуака, гуляла по Питеру с друзьями-студентами, играла в бильярд, рвала джинсы на коленках и красила ногти темно-синим лаком. А в тайной жизни, в сумеречной комнате, под звуки проигрывателя, я ползла по траншеям, ела тушенку с перочинного ножа, наматывала на окоченевшие ступни портянки, прикуривала, заряжала ружье, целилась, палила в воздух, потому что темно, на небе тучи, и была страшно благодарна тому, кто не

стрелял, рассекала небо в Яке-истребителе, задыхалась от удушья в подлодке, горела в танке и сидела «в окопе за Курской дугой, где служил капитан старшиною...»

Я вряд ли отдавала себе в этом отчет, но военные песни так всполошили меня еще и потому, что война была не только предлогом, но и метафорой. Война как состояние — эта метафора наиболее точно и ярко выражала сгущенную, сконцентрированную суть жизни. Для героев Высоцкого само существование было вечной схваткой, вечным боем — по крайней мере, те моменты, о которых стоит писать и петь. Поэтому тот, кто настоящий друг, то есть настоящий мужчина (а иначе не бывает), не просто «стонал, но держал», а «шел как в бой» и «на вершине стоял хмельной», то есть мужчина — тот, кто получает удовольствие от преодоления, для кого неоспоримо «упоение в бою» и очевидна необходимость «есть мясо с ножа», открывать зубами консервную банку, пис*а*ть кровью на снегу... Это пушкинское «упоение в бою» у Высоцкого везде, только у него еще и «с гибельным восторгом», и это сильней и страшней, ведь восторг уже не только от схватки, а от возможности гибели, от ее близости. Это не предпочтение, а почти заповедь: по жизни шагать над помостом — как герой-канатоходец, потому что гибельный восторг только вдоль обрыва да над пропастью, а остальные моменты не стоят и упоминания. И когда Высоцкий-Волк надрывно пел про охоту на волков, отстреливая каждое слово, как последний патрон, я, словно в трансе, повторяла: «Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся — и поднял ружье...» Повторяла и понимала: коварный охотник — это жизнь, и борьба — это борьба против ее беспощадности, против неумолимого течения времени, глобальная и ежедневная борьба, которую ведешь каждой клеткой своего тела.

Одна из песен напрямую говорила об этом. Так и называлась — «Баллада о борьбе». Мне она казалась слишком банальной и прямолинейной, хотя я осознавала, что именно в ней звучат ключевые фразы, изложен кодекс, свод правил — как в рыцарском Средневековье! Да и здесь проскальзывало нечто средневековое: и в «оскале забрал», и в том, что злодея следам не давали остыть и прекраснейших дам обещали любить — просто здесь были не рыцари, а дети, играющие в рыцарей, но эта игра — *правильная* игра — как и чтение *нужных* книг — была необходимым условием, чтобы мальчики выросли не кем-нибудь, а Мужчинами. Они не просто борются с палачом, они делают это не из чувства долга, а с радостью, испытывая от борьбы наслаждение, которое и характеризует настоящего Мужчину, поэтому о борьбе и говорится так заманчиво: попробуй *на вкус* настоящей борьбы...

Борьба у героев Высоцкого с жизнью, а вот смерть в их представлении не так уж и страшна. Потому что неизбежна. «Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу — мешает проходу рогатая смерть!» — кричит, задыхаясь, герой из подлодки, и всем понятно: это наш мир. Не только подлодка — мир героя, но и весь наш мир — такая вот подлодка. К смерти нежность: ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Смерть — это самое большое приключение, окончательное. «Я набрал, я натряс этих самых бессемечных яблок, и за это меня застрелили без промаха в лоб!» Если кто-то и может вернуться, набрав яблок и отдав их той, которая «и из рая ждала», так это герой Высоцкого. Он так любит жизнь во всех ее проявлениях, что может просто не заметить смерти и продолжить жить дальше. Поэтому он уверен: «Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход». Это жизнь — охотник, а смерть — если зверь, то прирученный. Жизнь надо воспринимать всерьез, а к смерти можно относиться снисходительно, подтрунивать над ней. И с кощунственной, отнюдь не напускной веселостью петь: «А ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу».

Покоренная этой беспечной обреченностью, я в свою первую питерскую весну

все время кручу эту песню и, к ужасу суеверной мамы, то и дело машинально напеваю: «Ну, а у нас — все мы ходим под богом, только которым в гробу — ничего...»

Да, жизнь безжалостней смерти, ведь это именно про жизнь поется в любимой песне: «жизнь кидала меня — не докинула...» И от этой фразы, от маленькой нежной прирученной смерти, свернувшейся клубочком в ногах и ждущей своего часа, от гибельного восторга на краю пропасти и оттого, что все-таки хочется не умереть, а именно уснуть, возникает во мне жалость, пронзительная жалость к этому Мужчине, то есть ко всем Мужчинам вместе взятым: к тем, кто из мира Мужчин, кто соткан из песен Высоцкого, слеплен из его слов. Да, жалость, а я с детства знаю, насколько это чувство недалеко от любви, как мало ему нужно, чтобы перерасти в любовь. Только должно быть еще и восхищение. Жалость и восхищение — этот синтез и есть любовь. Для меня. А у меня жгучая жалость, восхитительная жалость, головокружительная жалость к герою, к этому мужчине, который улыбается смерти в лицо, на которого охотится жизнь (ведь ей не всякий интересен), к этому мужчине, такому свободному, но самому себе не принадлежащему, потому что живет по очень жестким законам мужского мира. По этому суровому кодексу его в любой момент могут позвать, и он не сможет не пойти: «Но вечно надо отлучаться по делам — спешить на помощь, собираться на войну». Да, они уходят, всегда уходят, легко и не оборачиваясь, по «весенней высокой воде» или по песку, по снегу, но всегда «обещанием помнить и ждать заручась». (А женщина должна ждать, ждать, ждать, — чертит в моем сознании невидимая граммофонная игла.) У этих мужчин всегда неотложные дела, и очень важные — намного важнее, чем мы. Они принадлежат миру, а не нам — необходимо помнить: не претендовать, не посягать. Стать Ждущей Женщиной — думаю я — такой печальной и усталой, но по-своему счастливой Ждущей Женщиной, той, которая поет голосом Влади: «Возвращайтесь скорей — в добрый час, в добрый час, в добрый час!» И представляю почему-то жену Олега, ждущую его из рейсовых поездок. Конечно, счастливой, ведь ждешь не кого-нибудь, а Мужчину. Если не надо ждать, то это не оно, не то — фальшивка. Мужчину, того Мужчину с большой буквы, всегда надо ждать: его разрывают — он всем нужен, он в своей нужности обречен на нескончаемый подвиг, даже быть усталым не имеет права. Разве что в минуту слабости может подумать: «Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать», но это — другое, тут военная лодка, война и уставать он должен по-военному. Плакать ему нельзя, бедному, только сжимать зубы, закусывать удила и что там еще... А самое главное — легкость. Легкость и кураж: шуточки, кивок головы, ослепительная улыбка, широкие, уверенные жесты. И это ощущение: вот сейчас он здесь (так уж и быть), но в любую минуту может уйти, пропасть, исчезнуть без объяснений, потому что дела, дела, дела, да и вообще — в этом его суть. Может уйти, сделав тебя вмиг Ждущей Женщиной. Поэтому он всегда немного грустит, даже в минуты радости — не принадлежит себе (а тебе и подавно!) — что поделаешь, прости, так получилось... Ах, как же его безумно жалко — до слез! И как хочется пожалеть: налить ему чай, погладить по волосам, поцеловать в то укромное место между плечом и шеей и смотреть на него так, чтобы все было понятно — как в сцене свидания Штирлица с женой (классической Ждущей Женщиной!)... Только надо сперва найти такого.

Это было самым трудным. Одноклассники в расчет не принимались, да и среди знакомых не было никого, про кого повернулся бы язык сказать «мужчина». Мой герой — тот восхитительный герой, которого заочно жалела, то есть любила, был очень абстрактный и исключительно в будущем. А в настоящем жизнь как назло подсовывала пародийные, издевательские сюжеты. Например, тем летом, когда мы поехали с мамой и отчимом на курорт в Финляндию, где вместо ожидаемых молодежных дискотек были сплошные леса и озера, а вместо волнующих новых знакомых

встречались одни пенсионеры. Через неделю я возмущенно заявила: «Зачем вы меня сюда притащили? Мне здесь ничего не светит! Мне уже, между прочим, пятнадцать с половиной, а я еще ни с кем не целовалась!» Поскольку мама с отчимом не отнеслись с должной серьезностью к моему воплю отчаяния, намерение только укрепилось, а скоро представилась и возможность. В наш отель въехала семья из Киева, и в тот же день в бассейне я познакомилась с обоими сыновьями. Шестнадцатилетний Серёжа — темноволосый, смуглый — после получасового разговора стал незаметно и как будто случайно гладить под водой мои бедра, а его десятилетний, по-детски пухлый брат исподтишка наблюдал за нами. Мне было приятно. И очень любопытно. Я ответила молчаливым согласием, и прикосновения участились. Затем, одевшись, мы вышли на улицу, нашли укромную скамейку на территории отеля. Под каким-то предлогом отослали назойливого брата и целых два часа, сидя на скамейке, целовались и обжимались. Больше всего в этот момент мне хотелось, чтобы мама и отчим, прогуливаясь, случайно застукали нас и поняли, какая я уже взрослая, и вообще... Я мечтала только о поцелуе — в основном, чтобы «поставить галочку», но мы, конечно же, зашли дальше. Серёжа не был героем terra incognita, не был жителем волнующей страны Мужчин — это я поняла сразу. Но справляться с новыми чувственными ощущениями и желаниями не умела, и непонятно, чем бы закончился мой «эксперимент», если бы вдруг откуда-то не выкатился брат Серёжи и не сказал, что его срочно ждут дома, то есть в номере. Мы договорились встретиться следующим утром на том же месте. Довольная собой, я с простодушным, чистосердечным цинизмом рассказала все в подробностях маме и отчиму. Вопреки ожиданиям, они меня не поздравили и вообще не выразили ни радости, ни гордости. А если точнее, мама с трудом уговорила отчима не устраивать мне сцену. А потом, наедине, сказала: «Не понимаю, как такой эмоциональный человек, как ты, может быть одновременно таким рассудочным. У тебя же все идет от головы!» Завтра точно пойду до конца — назло! — пронеслось в моем оскорбленном сознании, и я легла спать, накрыв голову подушкой. Но назавтра, в столовой, ко мне подбежал запыхавшийся брат Серёжи и прямо при маме и отчиме сообщил, что Серёжа на свидание не придет: отравился и не отходит от туалета. Сейчас я думаю, что, может, ничего такого и не было, а просто шпионивший за нами мальчишка доложил родителям о том, чем мы занимались на скамейке, и они решили пресечь это на корню — «от греха подальше». Но тогда я поверила, и было очень неприятно. Я не знала, что в моей жизни смена жанров повторится еще не раз, как в плохом сценарии — когда романтическая комедия внезапно оборачивается фарсом... На следующий день мы уехали. А мама с отчимом потом долго дразнили меня этой историей, называя ее «ядовитым поцелуем» и ехидничая, что Серёжа отравился мной...

Для того чтобы влюбиться, должно было совпасть хоть что-то одно. Я подсознательно выбрала самое простое: голос. Низкий баритон. Правда, без хрипотцы, но такого низкого тембра и такого красивого голоса не было ни у кого. И когда в молодежном еврейском лагере он пригласил меня на медленный танец под звуки «What a wonderful world», под струящийся из динамиков незабываемый голос Луи Армстронга... Его голос и голос Луи — достаточно было этого сочетания, чтобы один из питерских приятелей-студентов переселился в плоскость десяти кассет, подаренных Гариком. (Мне было шестнадцать: погружение в песенный мир Высоцкого длилось уже почти год.) И когда несколько недель спустя он провожал меня до дома, мельком бросившая на него взгляд мама после его ухода заметила: «Я бы не сказала, что он — красавец. И ниже тебя на голову...» Я со злостью швырнула об стенку тяжеленный учебник физики. А что оставалось делать? Объяснять, что он — обаятельный, остроумный, эрудированный, беспокойный, ртутный, искатель приключений, то есть абсолютно мой тип, не было смысла (тем более что мама сама вскоре в этом

убедилась). Это было на поверхности. И, как ни странно, не было главным. Главным был голос. И легкость, с которой он все делал. И шутливый тон. И то, как он меня дразнил. И то, что, казалось, он не воспринимает ничего всерьез. Но при этом страшно любит жизнь — во всех проявлениях, просто относится к ней легко или делает вид, что, в общем, то же самое. А главнее всего: он появлялся и исчезал, а потом опять появлялся — как ни в чем ни бывало, и я, не ожидая услышать в трубке его голос, не могла скрыть радость, выдавала себя. Он то звонил и говорил своим глубоким баритоном: «Надевай трусики и выходи на улицу!» — как будто я расхаживала дома без трусов, да еще в феврале! — и вел на джазовый концерт в капеллу, то пропадал надолго, то на вечеринке танцевал с другими девочками (я делала вид, что мне все равно, а дома рыдала), то — когда мы компанией гуляли по городу — вдруг поднимал меня на руки и нес, а я смеялась и вырывалась, и снова пропадал... Главное было, что еще даже не прикоснувшись ко мне, он ухитрился сразу сделать меня Женщиной Ждущей. Спустя много лет мама как-то в сердцах сказала: «Тебе не нужны нормальные, простые отношения, тебе нравится, когда тебя мучают!», имея в виду все мои «истории», включая эту. Но она ошибалась. Мне не нравилось мучиться. Мне нравилось быть Ждущей Женщиной. То есть мучиться, но быть ждущей женщиной. Той, которая даже вопросов не задает, потому что знает — так устроено мироздание: герой может исчезнуть в любой момент, он нужен миру, нужен всем, не только тебе, и именно поэтому — он герой.

Герой и сам прекрасно осознает неизбежность своего ухода, внезапность исчезновения. Не может никому и ничему принадлежать полностью, поэтому и обещаний таких не дает. Отсюда одиночество, неприкаянность. Даже окруженный друзьями, любовью, пьянками-гулянками, герой Высоцкого всегда в чем-то одинок, волк-одиночка. Точнее, капитан-одиночка. Потому что он все равно главный. Если волк-одиночка, то как в «Маугли»: Акела — волк-одиночка, предводитель волков. Парадокс? Да, но убедительный. И хоть он довольно горько признается: «Что же на одного? На одного — колыбель и могила...», не надо слишком жалеть его — он прекрасно понимает: зато — он особенный, уникальный. Да, пусть на одного «колыбель и могила», но и «среди нехоженых дорог одна — моя...» И я, тогда еще не ни разу не водившая машину и считывающая все смыслы, кроме буквального, с особым пафосом подпевала: «Эй вы, задние, делай, как я! Это значит — не надо за мной, колея эта — только моя, выбирайтесь своей колеей...» А вот песне иноходца подпевать не удавалось, настолько строчки стучали по голове, как будто копытом по мостовой, как будто это по мне, через меня, проносился галопом иноходец, не под седлом и без узды. Я повторяла шепотом, одними губами: «Я скачу, но я скачу иначе — по камням, по лужам, по росе, бег мой назван иноходью, значит — по-другому, то есть — не как все», и понимала, что это — то же самое, как «колея эта только моя», просто другими словами. Но точней всего мое боевое настроение выражала полушуточная песня про прыгуна в длину: «Но я лучше выпью зелье с отравою, я над собой что-нибудь сделаю — но свою неправую правую я не сменю на правую левую!»

Да, именно *мое* настроение, потому что в этих песнях я уже видела себя не только Ждущей Женщиной героя, но и самим героем. В моей американской школе рядом с Нахимовским училищем, среди тех, кто и не слышал про Высоцкого, я была не только волком-одиночкой, но и белой вороной. Моя израильская старшая подруга уехала, и, кроме девочки-индуски и мальчика-корейца, с которыми дружила, я постоянно ссорилась и задиралась со всеми одноклассниками и учителями. Причем речь, как правило, шла не обо мне, не о каких-то конкретных выяснениях отношений, а исключительно о глобальной, мировой справедливости. Я защищала Эмили Дикинсон от нападок блондинистой хрюшки, которая заявила, что стихи Эмили «депрессивные». («Какое право ты имеешь рассуждать о литературе, если единственное твое чтение —

это телегид?» — парировала я.) Спорила до хрипоты с учителем истории насчет Хиросимы и Нагасаки, несмотря на то что он приводил убедительные доказательства неизбежности этих бомбардировок и подсовывал статьи британских историков, доказывавших, что, если бы не атомная бомба, среди японцев оказалось бы еще больше гражданских жертв. (Исчерпав все аргументы, я в отчаянии бросила: «Не понимаю, как ваша жена вышла за вас замуж!») Учителю литературы после рассказа о том, как он добился увольнения официанта, оскорбившего его жену, я заявила: «Вы действовали исподтишка вместо того, чтобы дать ему в морду! Что вы за мужчина?!» Этого учителя литературы я так забавляла, что он все прощал мне и развлекался, провоцируя, подбрасывая особо чувствительные темы. Мог, например, во время обсуждения рассказа Джека Лондона мимоходом заметить: «Все продаются, вопрос только в цене!» — и лукаво улыбнуться, зная, что я заглочу наживку: буду яростно, свирепо отстаивать свои взгляды, и одноклассники, прекрасно понимающие правила игры, заявят (все до одного!): за миллион долларов продались бы кому угодно и предали бы друга, подругу, и в итоге я назову их «циничными ублюдками» и в рыданиях выбегу из класса, а бедную маму в очередной раз вызовут в школу...

В моменты предельной честности я признавала, что герой Высоцкого не поддался бы так легко на провокацию, хотя гадостей мог наговорить, но не так топорно и глупо, и уж точно бы не разрыдался, но тем не менее, тем не менее... Я походила на него, на этого героя, в своем упорном, дурацком и бессмысленном бунте и чувствовала, что все это — и про меня, хоть я и не мужчина, но у меня — своя колея, и я скачу иначе, и правую на левую не сменю, хоть тресни! Именно тогда произошел переломный момент: герой Высоцкого раздвоился, разделился на мужчину-героя и меня-героя, и теперь, слушая песни, я разрывалась. Точно так же, как в раннем детстве, читая про Питера Пэна, я хотела быть одновременно Венди и самим Питером Пэном, так и сейчас: одновременно и любить этого мужчину, и быть им. «И найдут они счастье птичье как награду за дерзкий полёт», — это было и про меня, и про него. И это — тоже: «И наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день». И про меня, и про него. Кого? У меня в голове мелькали переиначенные слова из старой сказки: найди того, не знаю кого. И в этом повелительном тоне, в загадочном задании, в ситуации квеста тоже было нечто волнующее, из *того* мира, из Финиста—Ясного сокола, потому что если мужчина может в любой момент исчезнуть, приходится его искать, а если он еще не появился, то тем более...

Очевидным было одно: удача улыбается смелым и отчаянным, тем, кто бросает вызов судьбе. «Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лёг ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь...», — мычала я сквозь сжатые губы, хмуро глядя перед собой в туманное будущее, пытаясь продраться взглядом сквозь сотни тысяч назойливых, суетливых минут, рассмотреть тот момент, когда... Потому что под этим «должен встретиться кто-нибудь» я понимала любовь, и песню про полярников слушала как «про любовь». Ведь если про одиночество, значит про любовь. И не просто про любовь, а про награду — про двойника, про альтер эго, того самого, который «пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул петь со мной...» (Я знала, что слова написал Вознесенский, но важно было то, что пел Высоцкий...) И плевать, что здесь о дружбе, о двух мужчинах — ведь я тоже казалась себе почти мужчиной. Казалась себе так близко подошедшей к пониманию таинственного кода и потому достойной этого звания, или хотя бы достойной полумифического Мужчины, затерянного в дебрях мировой памяти и моего подсознания, но еще не полностью утерянного, существующего, пока доносится из динамиков хриплый, до дрожи пронизывающий голос, раскатывающий согласные.

И вообще для меня, шестнадцатилетней, все было про *это*, все песни — так или иначе. Даже песни про войну, про мужскую дружбу, про пьянки-гулянки — во всех

была любовь. Пусть в одной строчке — бегло — или даже в одном слове, или просто тенью, призраком, за строчками, за голосом, но она была — иначе зачем это все, к чему? И фразу из своей любимой и непонятной песни — «ведь погибель пришла, а бежать — не суметь, из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть» — я понимала однозначно: конечно же, речь о женщине, которую герой потерял, не сберег. Правда, даже под дулом пистолета я бы не призналась в таком толковании, но про себя думала именно так. Ведь он сам, он сам сказал, что «если не любил, значит и не жил, и не дышал!» Ведь кто не спел, тот «и ту, которая одна, не долюбил, не долюбил, не долюбил...» И чем же еще тогда может быть «туз, без которого смерть?» — только ею, той, которая одна... Которая одна. Это и означало быть двойником, тем вторым — пошли мне господь второго. Единственность, исключительность — это все о той, кто из того же теста, то есть из того же мира, о той, которая способна не только любить героя, но и быть им. Именно поэтому: «Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай...» И самое заветное, дорогое — неосторожно брошенное приглашение-обещание: «В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?.. Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно?..» Подпевая всем этим песням, я на самом деле заклинала пространство: найди меня, забери, я тоже так могу, я уже созрела, доросла, то есть созрею, дорасту очень скоро, завтра-послезавтра, а главное — я все понимаю! Но вырывалось все то же беспомощное, детское: «Сэр, возьмите Алису с собой!»

«Про любовь» мне нравилась не только откровенная лирика, но и полушуточное признание заводского работника: «Наверно, я погиб: глаза закрою — вижу...» и приблатненное: «У тебя глаза, как нож: если прямо ты взглянёшь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косо ты взглянёшь — как по сердцу полоснёшь ты холодным острым серым тесаком». И даже песня о любви вора к проститутке: «Я ударил её — птицу белую, закипела горячая кровь... понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь». Декорации — второстепенны, главное — сила чувства, и по этой шкале «я погиб», «как по сердцу полоснёшь» и даже строчка из «Городского романса», где главное, конечно, не «я ударил», а сравнение женщины с белой птицей, были ничуть не слабее, чем «дом хрустальный на горе для неё»... А больше всего подкупала готовность вора перестать воровать: «я ж три дня никого не обкрадывал, моя с первого взгляда любовь», и это было более ценным, чем любые другие возможные обещания — настоящее перерождение, которое доказывает любовь больше, чем любые слова, потому что по кодексу мира мужчин — любовь не только просветление и откровение, но трансформация, попытка взять планку повыше. (Я представляла почему-то Алису в Зазеркалье — как она прыгает через ручеек и становится из пешки королевой.)

И только одна песня коробила, не давала покоя: «Тот, кто раньше с нею был». Начинается все так хорошо: «Я на неё вовсю глядел, как смотрят дети...» А потом уходит в какую-то драку, и кончается словами: «Того, кто раньше с нею был, я повстречаю...» И хотя сама драка, типично мужская ситуация, меня по-прежнему волновала, что-то тут не сходилось. Женщина — это, конечно, важно, но важнее другое: восемь на двоих — нечестно, и то, что надо отомстить, — таков кодекс. То есть вроде все песни — о любви, даже те, которые не о любви, но при этом песни о любви могут вдруг вылиться в нечто совершенно другое, предательски уйти в сторону, напомнив, что мужчина принадлежит не женщине, не любви, а какому-то неведомому кодексу... Это отрезвляющее напоминание волновало, но и ранило: почему же у нас не так, а может, только у меня? Откуда эта поглощенность, напоминающая средневековые отношения католиков с Богом, когда любая вещь — символ, напоминающий о Нем?

Так я и жила с клубком бешеных, противоречивых чувств: зависти к мужчинам,

стремлением быть мужчиной, горечью, что не родилась мужчиной, желанием встретить Мужчину — того, кто шагнет из мира песен Высоцкого ко мне навстречу. Для такого мужчины, даже уходящего, исчезающего, любовь все равно была Абсолютом — тотальным погружением (пусть временным и второстепенным) — хотя бы просто потому, что для такого человека Абсолют — это жизненное правило, закон. Но реальные, живые люди, окружавшие меня, такими не были. Это касалось и обладателя красивого баритона, который уехал учиться в Париж, окончательно утвердив меня в звании Женщины Ждущей и превратив в Женщину Пишущую. Я писала ему длинные письма на десяти-двенадцати страницах — о школьной жизни, об общих друзьях, о своих мыслях о судьбе Гогена и о «Камере Обскура» Набокова, писала уйму е-мейлов, где завуалированные признания перемежались гадостями. Бомбардировала его тяжелой артиллерией слов, поскольку больше ничего предложить не могла, радовалась редким ответам и звонкам, но не ожидала их, даже не потому, что ему «трудно писать» и он «постоянно замотан», борется за выживание, а изначально осознавая свою бесправность и ничтожность по сравнению с миром. Я писала длинные письма, разукрашивая их разноцветными ручками, рисуя Снупи в поварской шапке или смешные рожицы, и с особым значением слушала: «В душе моей — все цели без дороги, поройтесь в ней и вы найдёте лишь две полу-фразы, полу-диалоги, а остальное — Франция, Париж...» Слушала с иронией, с горечью, понимая, что все наоборот, что таких мужчин, кто мог бы так сказать или даже подумать — нет, что думаю так и чувствую только я, а значит, значит — закрадывалась страшная догадка — значит, я и есть тот самый мужчина, единственный оставшийся Мужчина, как последний из могикан или единорог, и вдобавок, для усиления нелепости, еще неправильного женского пола...

А потом произошел инцидент, который потряс меня и запомнился на всю жизнь. Гарик вез нас с мамой — уже не помню, куда. Остановились на светофоре. А рядом остановилась машина вишневого цвета. За рулем — молодая женщина. Разглядеть ее не успела и не обратила бы никакого внимания, погруженная в свои мысли, если бы Гарик так откровенно не уставился на нее. А она его не замечала или делала вид, что не замечала: смотрела на светофор, как прилежная ученица. Загорелся зеленый: вишневая машина рванула вперед, а побледневший Гарик так и не тронулся с места. Сзади загудели. Тогда Гарик завернул из левого ряда вправо, чуть не врезавшись в проезжавший автобус, резко затормозил на обочине. Изменившимся голосом сказал маме: «Извините. Я не могу сейчас вести». Открыл окно и достал сигарету, но долго не мог зажечь: дрожали руки. Наконец, закурил. Мама молчала. И я тоже догадалась, что лучше сейчас ничего не спрашивать. А Гарик вдруг заговорил. С мамой, не со мной. Как будто меня не было. Я вжалась в заднее сиденье и подыгрывала, делая вид, что меня нет, но слушала жадно. «У нас был роман. Семь лет назад. А потом я ее бросил. Я так решил. Дело не в семье — дочери уже были взрослые, а с женой мы давно чужие... Просто подумал: ей — двадцать пять, мне — сорок, что я могу ей дать? Не буду портить ей жизнь». «И она так легко согласилась?» — удивилась мама. «А я соврал. Сказал, что не люблю ее. И никогда не любил. Что просто развлекался...» Мы еще немного помолчали, а потом Гарик поехал. А я смотрела сквозь мутное от разводов дождя стекло на бурое питерское небо и думала: кого он обманул? Кого наказал? Стоило ли так поступать, если семь лет спустя от одного взгляда на эту женщину он, опытный водитель, теряет способность вести машину? И почему-то сделалось так больно, как будто эта история касалась меня лично. И вдруг догадалась: это ведь «по Высоцкому». Гарик поступил «по Высоцкому». Стиснул зубы, закусил удила и переступил через себя, да и через нее — ударил наотмашь, выстрелил в упор своим «не люблю» и, наверно, убедительно сказал, раз она поверила, — только потому, что считал: так надо. Этого требовал тот непонятный кодекс, тот «мир», который всегда главнее личного счастья и вправе требовать любую жертву. Странно было осознавать, что из всех знакомых

мужчин, всех потенциальных претендентов на звание Мужчины, именно Гарик — лысеющий, полнеющий, с толстыми пальцами на огромных ручищах, громким раскатистым голосом, вечными шутками-прибаутками, фантазер-пахан, вальяжный, самонадеянный и неуемный Гарик — что именно он поступил «по Высоцкому», и не в мелочи, а всерьез. Сначала запротестовала: нет, это не то, это — какая-то пародия, тот герой — из мира Высоцкого — совсем другой, тот герой и Гарик — несовместимы, этого просто не может быть! А потом поняла: именно так и бывает. Потому что герой Высоцкого — смешлив, язвителен, но не ироничен. Ироничен был сам Высоцкий, и он знал жизнь. А ведь ирония только подчеркивает боль... Я вышла из машины в ноябрьскую темноту — очень быстро, чтобы никто не заметил мокрое от слез лицо — ни мама, ни Гарик. Особенно Гарик. И медленно, очень медленно поднималась по каменной лестнице, впервые за долгое время не прокручивая в голове слова Высоцкого. И никакие другие слова тоже не мельтешили, не скреблись в голове, как обычно. Я была не опустошена, а наполнена тишиной. И впервые в жизни это состояние мне понравилось.

После этого эпизода я несколько охладела к Высоцкому. Слушала его не так часто, не так интенсивно. Переключилась на другую музыку. А еще на Цветаеву и Мандельштама, которых читала с такой же страстью, пристрастностью, как будто пропитывалась их словами (мама называла мое чтение «спиритическими сеансами»). Но герой Высоцкого никуда не делся. Продолжал жить во мне — вместе со своим миром и кодексом чести. Его образ и его слова отпечатались во мне, как татуировка из первой, знаменитой песни, и душа была так же «исколота внутри». Поэтому, когда несколько лет спустя, в Америке, где я училась в университете, дружелюбный, общительный, но очень закрытый двадцатисемилетний программист-аспирант, работающий по ночам и спящий до обеда, в котором я настойчиво видела «загадку» и «тайну», прислал мне аудио-файл с «Жили-были на море», — мой герой Высоцкого всколыхнулся и проснулся. То, что он — сдержанный и отстраненный (и, как казалось мне, загадочный), осторожный и консервативный во взглядах и поведении человек — любит Высоцкого, меня потрясло. Я не ошиблась! — торжествующе пульсировало в сознании, пока поедала в столовой блинчики с кленовым сиропом, привычно вылавливая из тарелки липкий кончик длинного, пушистого шарфа. Не ошиблась: я чувствовала, что есть второй слой — и вот он, вот он! Вот оно — то, что скрывается за нашей ночной инфантильной перепиской о детских книжках, фэнтези, драконах и прочем. Вот она — его внутренняя интенсивная, напряженная жизнь. Он живет по кодексу. Он из того мира — просто скрывается, прячется, в том числе и за шутками. Такая форма самозащиты. Броня. Боится, что его ранят, может, когда-то уже ранили, и теперь... Надо помочь ему открыться, жить в полную силу, почувствовать «гибельный восторг», как призывает Герой, в которого он верит. Ему просто трудно, но теперь встретилась я — обученная, прошедшая школу Высоцкого, владеющая всеми тайными знаниями, та, которая почти сама стала героем Высоцкого и готова опять — добровольно — стать Ждущей Женщиной, готовая сколько угодно ждать того момента, когда он сольется со своей истинной сущностью, обретет настоящее «Я». Да и песню я восприняла как призыв к действию, мольбу о спасении. Тем более что он носил куртку из черной кожи, то есть «плавал в чёрном смокинге», а я — белый пуховик с капюшоном — «стремительная белая мадонна». Намек казался мне очевидным. Меня и прежде трогало в этом человеке его на первый взгляд невозмутимое спокойствие, мягкий юмор — нечто уютное, домашнее, напоминающее раннее детство и потому дающее ощущение безопасности. А теперь добавились восхищение — его скрытым внутренним потенциалом и жалость (ведь что-то мешает ему этот потенциал раскрыть) — два магических компонента. Я не просто позволила себе влюбиться, я ухватилась за эту

влюбленность как за долгожданную благородную миссию, схватила ее за хвост, как комету, и понеслась...

Не смущало и сопротивление «героя»: оно казалось очевидным — тем препятствием, без которого миссия не имела бы смысла. Во время чаепитий в нашей компании плюхалась к нему на колени, зная, что он не любит подобные «проявления» на людях, спонтанно навещала его в офисе: подкрадывалась сзади и закрывала его погруженные в компьютер глаза горячими ладонями, игнорируя беспомощные «я на тебя отвлекаюсь». Во время таких визитов — после театральных занятий и репетиций — я часто была одета то в платье танцовщицы 20-х и черный парик, то — что еще хуже — в костюм клоуна — и откровенно наслаждалась, видя, как его коллеги пялятся на меня, пока иду по коридору к его двери. Садилась на стол, скидывая туфли с красными помпонами, и принималась передразнивать учительницу по актерскому мастерству... Он терпел. Терпел и то, что я могла, услышав знакомую песню по радио, начать танцевать в супермаркете, подбрасывая вверх мандарины и яблоки, и то, что я постоянно что-то придумывала и фонтанировала идеями: то предлагала взять напрокат лодку и поехать кататься, то звала принять участие в местном варианте Тринидадского карнавала и показывала раздобытую синюю краску, чтобы «покраситься в синего демона», то говорила, что я — маленький зверек и мне нужно убежище, то заявляла, что хотела бы стать Мужчиной Хемингуэевского типа — свалить, отправиться автостопом на юг Америки, потягивать виски с содовой в баре («Ты даже не любишь виски!» — «Какая разница? Ты опять ничего не понял!»). Он терпел, но боялся и даже любовался — так, как любуются своим собственным, прирученным стихийным бедствием — с опаской, со страхом во взгляде. И переживал, что не может соответствовать — ни «гибельному восторгу», ни Абсолюту, который из «мира Высоцкого» полноправно переселился в меня и сквозил в каждом слове, каждом жесте, невольно требуя того же от партнера. И я с грустью понимала, что опять приписала другому собственные страсти, что именно во мне, и только во мне жив герой, внутренний герой — никому, кроме меня, не нужный, более того — вызывающий чувство неловкости у окружающих...

Тем сильнее было мое удивление (очередное!), когда однажды, под конец нашего странного, мучительного романа, он вдруг признался, что «Баллада о борьбе» — его любимая песня у Высоцкого. Я сидела и смотрела на него, высокого, еле заметно начинающего полнеть красивого брюнета с насмешливыми и слегка сумасшедшими глазами, владеющего собой, прекрасно скрывающего свои странности, ничего общего не имеющего ни с Высоцким, ни с его героями. Смотрела, и медленно прояснялись две вещи. Во-первых, этот человек — смущающийся меня, испуганный моим импульсивным натиском, спонтанностью, страстной одержимостью, так и не понявший, как я, подобно торнадо, ворвалась в его жизнь, человек, который все время внутренне напряжен, особенно в отношении меня, которую он мысленно отослал в лагерь странных и непредсказуемых «людей искусства», — этот человек тайно примеряет на себя кодекс «мира мужчин», ощущает себя всеми героями Высоцкого вместе взятыми и даже смутно чувствует, что жизнь — это борьба, только на этот раз он борется с тем, что так некстати в меня влюбился, и даже наверняка думает: «Я ждал тебя, как ждут стихийных бедствий», что, конечно, немного обидно, но ведь это Высоцкий написал, так что — пусть. А во-вторых, каким бы я ни была безумным, экзальтированным подростком в тот питерский период, слушая подаренные Гариком кассеты, я все верно поняла и правильно догадалась: «Баллада о борьбе» — ключевая песня, и мужчины (по крайней мере, многие) именно по ней сверяют и проверяют свою «высоцкость».

А он, бедный, настолько боялся, что даже расстаться со мной по-человечески не смог, а просто пропал — вдруг перестал отвечать на е-мейлы и звонки, спрятался от

меня, окончательно ушел в свой, так и не раскрытый мною, внутренний мир, лишив возможности что-либо выяснить и прояснить. Но перед этим — в последний раз проводив меня до общежития и наотрез отказавшись зайти, поцеловал в лоб. «Как покойника», — мелькнуло у меня в голове, и сразу вспомнилась любимая мной «Веселая покойницкая», которой, как получилось, и завершился мой злополучный роман... А потом была долгая осень: вереницы лекций, бесчисленные чашки кофе во время вечерних и ночных репетиций, ноябрьская темнота и беспросветность, бесконечные студенческие дискуссии и дебаты, заезженное, потерявшее всякий смысл слово «театральность», занятия йогой, где инструкторша визгливым голосом внушала, что необходимо себя полюбить, неожиданно прорезавшийся зуб мудрости и внезапное потепление в декабре — такое длительное, что на кампусе расцвели деревья. Я собиралась купить варежки — в перчатках руки мерзли, но не успела, а тут потеплело, расцвели деревья: я опять надела осеннюю куртку, и даже в перчатках было жарко. Не купленные и оказавшиеся ненужными варежки казались мне символом всей моей жизни — такой же нелепой, происходящей в основном в моих фантазиях, а не в реальности. Это неважно, уговаривала я себя, это все неважно: главное — не проспать, услышать будильник, по вечерам — теплый душ, а по утрам — йога. Главное — полюбить себя, думала я, полюбить себя и дожить до конца семестра, нужно только дожить до конца семестра, а дальше — все будет просто великолепно. На всякий случай добавляла голосом Марины Влади: «Спокойно — мне нужно уйти улыбаясь» и тут же прерывала себя, одергивала: хватит! Уже почти двадцать один, и зуб мудрости вылез — последний — зря, что ли?! Пора поумнеть, перестать примерять цитаты и чужие слова, вообще уйти от слов. И обещала себе — лихорадочно обещала: больше — никаких слов, никаких слов! — и знала, что не выполню.

Правда, одно выполнила: «героя Высоцкого» вычеркнула — из тайного словарного запаса, из арсенала понятий — из сознания. (И Высоцкого отрезала — перестала слушать: на всякий случай.) Впрочем, это не помешало мне продолжать заниматься «сочинительством» — просто уже в отсутствии «соавтора»...

...Своего будущего мужа я впервые увидела на сцене, и до того, как услышала его голос — низкий, красивый, — услышала голос его тромбона. А у тромбона голос был и низкий (когда спускался до басов), и высокий, пронзительный, как у трубы: он и смеялся, и плакал, и ворчал, и пел — как человек (точнее, как мужчина: с самого начала было понятно, что этот тромбон — мужчина). А потом — с помощью луп-машины — одни отголоски наслаивались на другие и перекликались, перешептывались, перекрикивались, заполняли все пространство, и впервые в жизни я почувствовала, что меня поглощают, завоевывают не слова, а звуки... Осень была такой же теплой, как и четыре года назад, и в ноябре мы шли по Центральному парку в Нью-Йорке налегке. Я — без шапки и в расстегнутой дубленке (шарф сняла и положила в сумку). А он и вовсе был в легкой джинсовой куртке с тонкой фиолетовой подкладкой, которую он, дальтоник, при покупке принял за коричневую. Мы шли, болтали и пинали ногами осенние листья. Мы были знакомы три дня, и мне ни с кем еще не было так легко. Точнее, так легко мне было только с закадычными друзьями, с теми, с кем общение приносило безоговорочную радость, именно потому, что не было волнующего напряжения, сравнений с «героем Высоцкого» и ожиданий «гибельного восторга». Но здесь случилось другое: я понимала, что влюбляюсь в этого мало знакомого мне мужчину, который еще ко мне не прикасался (и, наверное, даже попробовала бы приостановить себя, если бы это не было так неожиданно), и одновременно осознавала, что мне очень легко с ним, что я могу сказать любую безумную вещь, поделиться самыми странными мыслями, и этот человек с чертиками в меняющих цвет глазах меня поймет. Потом он уехал в Швецию, где жил, а я осталась в Америке. Целый месяц мы почти ежедневно созванивались. А в его день рождения я написала — почему-то по-

английски, наверное, чтобы отстраниться от произносимых опасных слов: «Я все еще не уверена: существуешь ли ты в самом деле или являешься плодом моей буйной фантазии. Но если бы я могла придумать любого персонажа и материализовать его, это был бы ты!» Нажала на «послать», тут же передернулась и отругала себя: «придумать», «персонажем» — опять?! Сколько можно?! Но «персонаж» совсем не собирался растворяться в воздухе, возвращаться в мою фантазию или исчезать, пропадать. Он был реальным и пугающе настоящим — настолько, что это я не успевала за ним и за его темпом, а успевала только удивляться тому, как все «серьезные препятствия» рушатся с легкостью, почти без усилий — одно за другим, словно карточный домик. Я была занята регулярными перелетами через океан, подготовкой к письменным и устным экзаменам, улаживанием дел в аспирантуре — то есть вполне конкретными вещами, и у меня не оставалось времени и пространства для того чтобы — по своей привычке — путаться в словах, как в водорослях, и, как утопленник, медленно, но уверенно идти ко дну. Но даже если и попыталась бы, подумала бы о ком другом, только не о «герое Высоцкого»... Этот слегка начинающий седеть человек без возраста, вечный мальчишка с гладким лицом и мимическими морщинками только у глаз — от смеха, выглядящий лет на десять моложе своего возраста, если и напоминал кого-нибудь, то Питера Пэна, то есть того, кто Мужчиной быть не мог просто оттого, что так и не стал мужчиной, да и не хотел им становиться. Тогда я еще не понимала, что «герой Высоцкого» и «Питер Пэн» — это тот же персонаж, только в разных плоскостях. Потому что кодекс Питера Пэна очень похож на кодекс героя Высоцкого. И у Питера Пэна все всерьез. Иначе не было бы за него больно. А у героя Высоцкого — очень много игры, эпатажа. Иначе не было бы легкости. Герой Высоцкого — это и есть Питер Пэн. Питер Пэн, которому пришлось вырасти...

В тот первый год мы встречались в разных странах, постоянно летали друг к другу. Но два летних месяца провели вместе в Швеции. Тогда и поехали в первое совместное путешествие на машине. В Берлин. Семь часов езды. Оказалось, он так же любит длинные поездки в машине, как и я. Так же любит дорогу. (Только в отличие от меня не устает за рулем.) И в дороге любит слушать музыку. «А что у тебя есть в машине?» — спросила я. Мой будущий муж нажал на *play*, и я услышала знакомый с хрипотцой голос, перекатывающий и яростно выплевывающий согласные... «Вот вышли наверх мы. Но выхода нет! Вот — полный на верфи! Натянуты нервы. Конец всем причалам, концам и началам — мы рвемся к причалам заместо торпед!» — раздавалось из динамиков, а мы проносились мимо неподходящих, чуждых этим крикам кукурузных полей, ветряков, похожих на Дон-Кихотовские мельницы, низко висящих, золотящихся на брюшке облаков. Но несоответствие меня не смущало — все было привычно и правильно. Я вспоминала: дорога, скорость, Высоцкий... И все же удивленно спросила: «Ты любишь Высоцкого?» (В те месяцы он читал мне наизусть Бродского, шекспировские сонеты, неизвестных мне шведских поэтов девятнадцатого века — о Высоцком не было и речи.) Мой будущий муж открыл бардачок и достал толстый дисковый «пенал». «Вот, смотри, — сказал он, — здесь где-то двенадцать дисков. Песен семьсот. Я знаю все наизусть».

Светлана Михеева

Необыкновенная страна

Стихи на снос старой школы

Средняя школа пала,
камень на камне и ров на рву,
ускользает Пушкин, держится на плаву
Дарвин-обманщик. Подходят к её решётке
бывшие дети, дети, дети детей.
С новой школой будет еще пустей
снимок былого, местами совсем нечёткий.

Дикие груши падают, груши внизу гниют,
каждая груша ищет себе приют.
Ради неспортивного интереса
бьются мальчики. Время — не сочтено,
но тоскуют, глядя в его окно,
пленницы образовательного процесса.

Падает время с башен её крутых,
не соберёшь костей его золотых,
но воскресает. Поправит растрёпанные височки:
крепость пала, разобрана, сожжена,
Всё уже сказано, если
теперешняя тишина
разрывает тебя
на маленькие кусочки.

Михеева Светлана Анатольевна — поэт, прозаик, журналист. Родилась в 1975 г. в Иркутске, где живет и работает. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Автор трех книг стихов, в том числе «Яблоко-тишина» (М.,2015). Лауреат премии им. Сергея Иоффе (г.Иркутск).

В школу

Разливался кислый голосишко.
Что, дрожишь, сходящее во ад?
Был одет, позавтракан малышка,
Крепко обнят и поцеловат.

Мама, мама, мне ботинки давят,
Провисают лямки рюкзака.
Вдруг меня на полочке оставят
Красного живого уголка?

Все давило, будто бы давилка
Сок пускала солнечный, живой.
О перила маленький курилка
Ударялся тонкой головой.

Тятя, тятя, наши сети слепо
С тиной зачерпнули мертвеца.
На меня из пыточной свирепо
Улыбалась точечка лица.

Из доски зелёной, словно тина,
Зверь выходит тёмный и морской.
А в столовой — мрак и паутина
С длинной беззастенчивой рукой.

Можно в школу не ходить сегодня?
Можно дома буквы изучать?
Но сочится дым из преисподней,
Но молчит застенчивая мать.

Будто ангел маленький повеял
Из открытой форточки окна.
Просыпалась, телом розовея,
Необыкновенная страна.

Просыпалась с чувством изумленья,
Шлепала на кухню босиком
И давала детям наставленья
Заводским прокуренным баском:

Всякие надежды утолимы,
Не скули, не бойся, не проси.
Знание и сила — неделимы.
Всё, иди, Господь тебя спаси.

Вторая смена

Список камней до середины прочтённый
Детям дарует волшебный язык —
С тоненьким ливнем переплетённый,
Он на пороге волненья возник.
Он на пороге сражён удивленьем:
Узкий проход стерегут корабли,
В гуще стеснительной бродят олени.
Девочки бьют золотые колени
Краешком долгой и плоской земли.
Здесь птолемеевы верны расчёты.
Девочки спрятали прялки и счёты,
Ножниц блестящий расклад.
В школе считали они без запинки,
Ловко кроили из ситца, сарпинки
Крошечный ад.
Космос накрыт красотой, точно крышкой,
Преодолев любопытство, мальчишки
Ждут, обретаясь в тени,
Бремя жары им пока неподъёмно.
На тишину распростёршихся комнат
Сверху ложатся огни,
Падают в лампы, венчают макушки.
Красная мажет сурьма
Башни, соборы, мужчин на опушке,
Камни, могилы, дома.
Вот и сверчок, полководец печали,
Тоненько спел, как дрожало вначале
Бедное тело в пыли.
Девочки тело любили, качали,
Мальчики долго и тонко кричали —
Долго понять не могли....

Александр Снегирёв

Вторая жизнь

Рассказ

В детстве видишь все как есть, а потом закупориваешься во внутреннем мире и видишь только стенки. Эти стенки непременно залеплены картинками. Большей частью из того самого детства. То и дело я пытаюсь поломать стенки и ободрать картинки. В образовавшиеся дыры сифонит жутью и свежестью. Но как бы я ни крушил память, одна картинка проявляет удивительную живучесть. На ней дерево сирени.

Или куст.

Куст, добившийся статуса дерева.

Толстый кривой ствол, крепко торчащий из земли, и разлапившаяся цветная крона.

С этим кустодеревом меня познакомила бабушка. Мы с ним приносили друг другу пользу. Весной мы с ба обкапывали его, чтобы корням легче дышалось, а потом, в мае, обламывали цветущие ветки, чтобы древесный организм не затрачивался на содержание стольких букетов.

Каждой весной мы вдвоем с деревом становились больше, а ба, наоборот, мельчала. Однажды в дверь позвонили соседи и сообщили, что она стоит во дворе возле сирени и спрашивает прохожих, как пройти домой. Когда мы спустились за ней, я заметил, что одна из пуговиц на ее синем плаще пришита ярко-зеленой ниткой. В тон распускающимся листьям.

* * *

Совсем недавно мы с Кисонькой вернулись домой из театра. Был вечер чтения прозы. Известный артист, талантливый и самодовольный, сначала опоздал, а потом вальяжно шутил, путал имена писателей и слова в рассказах. Все полтора часа, пока длился литературный концерт, я ждал, когда будут прочитаны мои заветные страницы.

Не дождался. По ходу чтения артист устал и плод моих трудов попал под сокращение.

Гневу моему и отчаянию не было предела. Ладно бы я пережил позор наедине с собой и полным залом чужих мне людей, но рядом сидела Кисонька.

И отец.

И Кисонькина подруга.

Их деликатное молчание лишь ширило бездну, в которую я проваливался.

Александр Снегирёв родился в Москве. По образованию магистр политологии. Автор нескольких книг прозы, лауреат премии «Русский Букер».

На праздничной вечеринке, куда меня любезно пригласили, я в каждом взгляде видел издевку. Точнее, чувствовал ее через затылки — все от меня отворачивались. Все вокруг только и думали о том, что «звезда» счел меня балластом, шушукались и прятали лица.

Я пнул оказавшийся рядом диван так, будто это был ненавистный чтец. Они были похожи: оба белые, плотные, кожаные. Предмет моей ненависти тем временем позировал фотографам.

Увидев избиение дивана, Кисонька поволокла меня домой. Отец, к счастью, уже ушел, да и подруга ретировалась.

И вот перед домом мы увидели ту самую сирень. Корни вывороченны, ствол опилен.

* * *

Накануне моего театрального фиаско у погоды случился припадок. Ветер рвануло туда-сюда, замешкавшегося голубя швырнуло о стену, небо вывернуло дождем, и все это принялось буйно колотиться.

По тротуарам носило людей на зонтах и прочие незакрепленные предметы. Закрепленные тоже носило. Деревья валило. Тополя, липы, все без разбора. В том числе и сирень, ту самую.

Припадок миновал, из-за домов засветился лучезарный закат, въезд во двор перекрыла завалившаяся ива, в новостях сообщили об одиннадцати погибших.

Во двор прибыла бригада пильщиков. Первым делом взялись за стволы, мешающие проезду, обрубки сваливали в контейнер. Обкорнали и сирень, один пенек с вывороченным корнем оставили. Впрочем, корнать пришлось не так уж и много — перед появлением пильщиков я обломал все цветущие ветки.

* * *

Мой дед, бабушкин муж, в молодости воевал. Как-то раз я провожал его в деревню. Он предложил выпить по пятьдесят в привокзальном буфете — признал во мне взрослого. Я с радостью согласился.

Дед сразу захмелел, я же, напротив, держался молодцом. Юность. Это теперь я косею после первого глотка. Но не буду отвлекаться, тем более, дед заговорил о ранении. За все предыдущие годы ни слова, как я ни упрашивал, а вокзал и первая совместная рюмка с внуком разбудили в нем красноречие.

Рассказ этот не был обстоятельным, никакой торжественности, дед просто начал бубнить без вступительного слова. Тихо и невнятно. Как на допросе, когда после долгих истязаний мучители уже потеряли надежду что-либо из него выбить, он вдруг сам решил все рассказать.

Он не помнил, что произошло. Видимо, взрыв. Бой был ночью, а очнулся он ближе к полудню. Много часов сознание деда блуждало в потемках, небесный монтажер вырезал эти часы из его жизни. Мог бы и вовсе оборвать, но, видать, зрители потребовали продолжения.

Дед очнулся от того, что кто-то теребил его руку. Деревенская девочка снимала с него часы.

Судя по звякающей торбочке, мой предок был не первым, кого в то утро обобрала рачительная крестьянка. Не первый обкраденный мертвец, но первый оживший. Крепко схватив испугавшуюся собирательницу, дед предложил ей выбор: либо он сворачивает ее немытую шейку, либо она помогает ему доползти до дороги. И часики придется вернуть.

Склоняясь к поваленной сиреневой кроне, обламывая цветущие ветки, я вспомнил этот случай. Вспомнил рукопожатие деда. Каждое его рукопожатие было хваткой не желающего умирать. И вот родной внук воскресшего обирал мертвеца.

Разница была лишь в том, что сирень, отдав мне свои сокровища, не потребовала ничего взамен.

Кстати, сирень эту дед сам когда-то и посадил.

* * *

Рассмотрев в свете фонаря свежий пенек с клубнем ободранных корней, мы с Кисонькой поняли друг друга без слов: она придерживала дверь, а затем лифт, а я волок изуродованную представительницу семейства маслиновых. Хорошо, ночь, соседи не видели. Всегда неловко, когда воруешь или делаешь добро. Особенно, когда одновременно. Древний богатырь приспособил бы сирень-инвалида под палицу, мы же с Кисонькой взялись за упаковывание.

Она расстелила на паркете пленку, припасенную для домашних косметических процедур. Обертывание, слыхали, наверное? Тело обмазывается чудодейственной вонючей жижей из водорослей, затем обматывается пленкой и нагревается на электрической простыне. Жижа питает кожу, организм здоровеет. В целях экономии и семейного единения процедуры обертывания мы с Кисонькой осуществляем в домашних условиях своими силами. Она готовит жижу, расстилает полиэтилен и ложится сверху. Я обмазываю ее сначала с одной стороны, потом с другой, плотно оборачиваю, накрываю одеялом и включаю подогрев.

Кисонька засыпает, а я лезу в интернет ставить лайки.

Положенные полчаса обычно растягиваются на подольше. Идиллия прерывается либо по причине пробуждения перегретой Кисоньки, либо потому что в тот день бабские селфи мне надоедают раньше, чем обычно.

Я отлепляю пленку с подсохших разводов, покрывающих любимое тело, и веду Кисоньку в ванную. Это сближает.

Расправив пленку, Кисонька взяла таз, положила в него брикет размером с пачку масла и залила водой. Брикет молниеносно превратился в целую шевелюру рыхлой волосатой земли. Кисонька выращивает цветы, у нее таких брикетов завались. Облепив обрывки корней мохнатыми комьями, мы замотали все пленкой и прислонили к комоду.

До поездки в деревню оставалось несколько дней, наутро я обнаружил муравьев. Разведчики ползали по крышке комода, изучая местность, в которую их занесло.

* * *

Когда дед вернулся с войны, его жена и сын были мертвы.

И он завел себе новых таких же.

Жену и сына.

Имя второй, моей ба, совпадало с именем первой, нового сына, моего отца, назвал в честь предыдущего.

Мой отец в каком-то смысле живет не свою жизнь. А значит, и я тоже. Мы — счастливые дубликаты, которых судьба выхватила со скамейки запасных.

* * *

В деревенском саду я выкопал яму, опустил туда корни и присыпал перегноем. Кисонька полила удобрением, а отец залепил свежие спилы специальной замазкой.

Через неделю обрубок сирени пустил побеги. Началась вторая жизнь.

* * *

Вот закончил на светлой ноте — и уймись, пожинай плоды, но что-то зудит. Среди читателей наверняка есть педанты, интересующиеся судьбой муравьев. Скажу честно, мне их судьба не известна. С целью пресечения распространения их по квартире я опрыскал комод ядовитым газом, и больше никто по нему не ползал.

Сергей Дигол

Последняя четверть мелового периода

Рассказ

Это была нелюбовь с первого взгляда. С самого первого класса, когда первого сентября рыжая девочка в раздевалке — я еще не знал, что мы с ней одноклассники, — ущипнула меня за руку. Я отдернулся, скорее инстинктивно, но сейчас, по прошествии тридцати с лишим лет, все это мне кажется заранее заготовленным планом. Толкнуть девочку что есть силы так, чтобы она распорола ухо об острый металлический крючок вешалки.

О том, что я стал рекордсменом в истории школы — первым учеником, получившим неуд по поведению еще до первого звонка, вспоминали долго. Поначалу меня укоряла Вера Николаевна, наша первая классная руководительница, затем историю об ухе одноклассницы рассказывал я сам, делая вид, что даже в десятом классе воспоминание не разрывает мне сердце, напротив — забавляет даже больше, чем слушателей. Как бы то ни было, а с Верой Николаевной с того самого первого сентября и до окончания начальной школы у нас сложилась стойкая взаимная нелюбовь. О чем я не смел и пикнуть и чего она, само собой, и не думала скрывать, мило при этом улыбаясь моим родителям.

В отличие от Марианны — да-да, той самой одноклассницы, у которой шрам на ухе остался до конца жизни. Уж точно — до конца седьмого класса.

* * *

Наша нелюбовь была взаимной, если допустить, что мел умеет чувствовать. Слышать, страдать, а главное — ненавидеть. У него были бы все основания по крайней мере опасаться меня, я же его просто на дух не переносил. Вернее, на слух — с того самого момента, когда кусок мела в руке Веры Николаевны лезвием прошелся по моим ушам, отчаянно скрипнув о доску. Вскрикнув на весь класс, я зажал уши и выбежал в коридор в полной уверенности, что из ушей у меня хлещет кровь. Некоторое время меня водили по врачам: немного — насчет внутричерепного давления и побольше — к невропатологу. Потом родители успокоились, а затем, похоже, и вовсе забыли о том, что единственного ребенка время от времени нужно показывать специалистам. Тому же стоматологу, отсутствие своевременных встреч с которым создало предвзятое впечатление обо мне у многих людей, так и не ставших для меня важными. Улыбаясь, я до сих пор инстинктивно кривлю рот, скрывая сформировашийся в подростковом возрасте дефект — уродливо выпирающий клык на верхней челюсти.

Сергей Дигол родился в 1976 году в Молдавии. По образованию историк, работает в сфере рекламы. В 1998 году окончил исторический факультет Молдавского государственного университета. Автор романов и повестей. Печатался в журналах «Волга», «Нева», «Москва». Живет в Кишинёве. В «ДН» публикуется впервые.

Помню, как я впервые улыбнулся Марианне, тогда еще наполовину беззубым ввиду выпадения молочных зубов ртом. Она лишь фыркнула и отвернулась, оставив меня одного в недоумении — я-то считал, что тот случай в раздевалке лишь породнил нас. В конце концов, она первой меня ущипнула. В этот раз меня даже не ущипнули, а дернули как следует за руку. Подняв глаза, я увидел перед собой Веру Николаевну.

— Что, опять? Ты оставишь ее наконец в покое? — прокричала она мне в лицо и отправила за дневником.

Иногда мне казалось, что классная не успокоится, пока я не умру от слухового шока. Она как нарочно подбирала самый скрипучий мел, твердые тонкие цилиндрики, которые, в отличие от мягких параллелепипидов, не раскрашивались при первом прикосновении к доске. Я ненавидел мел, боялся Веру Николаевну и понял, что безнадежно влюблен в Марианну. С тем и закончил начальную школу — впереди нас ждала ломка четвертым классом.

* * *

— Я тебя пополам переломаю! — крикнул высокий мужик спортивного телосложения на худенького мальчика одиннадцати лет.

Дело происходило в коридоре нашей школы, мужчиной был наш новый классный руководитель, физрук Виктор Михайлович, а испуганным мальчиком в школьной форме — я, ученик четвертого «Б» класса Сергей Ганган.

— Пойдемте посмотрим, что он натворил! — сказал Виктор Михайлович, и мои одноклассники, невольные свидетели экзекуции, нехотя потянулись во двор школы.

Там уже собралось все руководство. Директриса Галина Серафимовна, завуч, несколько учителей и даже завхоз. Последний, пыхтя, принес лестницу и приставил ее к стене школы.

— Вы только полюбуйтесь! — громко объявил Виктор Михайлович, обращаясь скорее к директрисе, чем к нам.

Подняв глаза, я обомлел. На стене школы, выходящей на центральную улицу города, виднелись огромная, выполненная, увы, мелом, надпись:

СЕРЕГА ГАНГАН ЛУТШИЙ!

— Еще и с ошибкой! — возмутилась директриса.

Ее можно было понять. Через дорогу от школы находилось здание гороно, что превращало надпись на школе из анонимного комплимента одному из учеников в персональный упрек директору школы.

— Коллеги, я думаю, это не он, — вступилась за меня Анжела Андреевна, учительница языка и литературы. — Вряд ли Серёжа вырастет писателем, но такие ошибки, простите, явно не в его репертуаре.

— Да он специально! — не отступал мой классный руководитель.

— Да и почерк не похож, — заметила Анжела Андреевна.

— Полуметровыми печатными буквами? — усмехнулся Виктор Михайлович. — Какой еще почерк, Анжела?

Разгоравшийся спор, уместный в лучшем случае в учительской, был прерван директрисой.

— Хватит! — прикрикнула она, и мои одноклассники испуганно уставились на вытянувшего руки по швам физрука. — Чтобы завтра от этого безобразия и следа не осталось! Виктор Михайлович, — подчеркнуто вежливо добавила она, — ответственным назначаю ваш четвертый «Б» класс.

Оказанное руководителем доверие не вдохновила нашего классного.

— Галина Серафимовна, — неожиданно жалостливо начал он, — так ведь Ганган даже с верхней ступеньки не дотянется.

— Да вы с ума сошли, Виктор Михайлович, — не выдержала директриса. — За создание риска для жизни несовершеннолетнего нас с вами в лучшем случае уволят без права работы в системе образования. В худшем, если Ганган сорвется с

лестницы, — посадят лет на восемь, и правильно сделают. Пусть дети помогут вам, так сказать, с организацией процесса.

И, не дождавшись ответа, она удалилась со всей свитой.

Битый час по окончании уроков мы бегали за водой, разводили в ведрах стиральный порошок, подавали физруку швабру и тряпки, пока на стене вместо письменного свидетельства моей уникальности не осталось бесформенное мокрое пятно. В один из моментов, выжимая тряпку, я бросил взгляд на Марианну. Она стояла в стороне, с другими девчонками, которых Виктор Михайлович волевым решением освободил от трудовой повинности. Марианна была вместе с ними, и все же — в совершенном одиночестве. Присев на бревно — все, что осталось от спиленного во дворе школы старого тополя, — она шевелила пальцами, словно касалась невидимых клавиш. Все знали, что Марианна — будущая великая пианистка, которой разрешено при первой возможности сбегать в музыкальную школу, даже ценой пропуска контрольных работ.

Подсохнув, надпись оставила после себя меловые разводы, а еще — контуры уничтоженных лично Виктором Михайловичем букв, и окончательно рассчитаться с ними было под силу лишь времени. Как-то приехав на вечер встречи выпускников — каюсь, не устоял перед соблазном показаться на десятилетии со дня выпуска, — я убедился, что поручение Галины Серафимовны все-таки было исполнено. Пусть и шестнадцать лет спустя.

* * *

Я приручил его к седьмому классу. Упаковка мела теперь маячила прямо перед моим носом, занимала персональное место на домашнем письменном столе. Мел я носил в портфеле и даже в карманах, заворачивая отдельные мелки в выдранные из тетрадок листки. Из изгоя мел превратился в соучастника банды, где я был вожаком.

Нас было четверо: я, Дима, Максим и Гриша — трое пацанов из пятого класса, которые называли меня боссом и гордились безумными планами по завоеванию мира, три из которых нам удалось, хотя и с сомнительным успехом, воплотить в жизнь. Первым нашим серьезным делом стала кража керамических изоляторов — их мы сняли с привезенных на огромном «Камазе» столбов, предназначенных для замены старых опор наружного освещения. Изоляторы пришлось от греха подальше закопать на пустыре, но в целом задачу я посчитал выполненной. Еще с неделю на месте преступления крутились милиционеры, писались протоколы, приезжали на «Волгах» люди в костюмах и шляпах, обругивая столпившихся у столбов ни в чем не повинных работяг. Я считал, что первый шаг к успеху сделан: чтобы добиться признания, нужно посеять неразбериху. Я мечтал, чтобы о нас узнала Марианна — теперь мое сердце выскакивало из груди при одной мысли о ее рыжих волосах.

После истории с изоляторами мы атаковали трактор из местного коммунхоза — старый и списанный, но так и не разобранный. Дождавшись дежурства деда Семёна, вечно пьяного, отсыпавшегося в сторожке старика, мы проникли на территорию гаража и вытащили из трактора руль, дальнейшая попытка продажи которого едва не стоила мне разоблачения. Воспользовавшись трафаретом, я составил несколько одинаковых объявлений о продаже, расклеив их по городу на деревьях и столбах. Предложение запасного руля для трактора «Беларусь» не привлекло внимания колхозов и механизированных бригад, зато вызвало живой интерес милиции, о чем я узнал от собственного отца.

— Представляешь, какие негодяи! — возмущался он, потрясая перед маминым носом знакомым листком с трафаретными надписями. — Подонки, еще и вписали мой рабочий телефон!

— Вася, не ругайся, — ответила мама. Я же поспешил укрыться в своей комнате — под предлогом незаконченного домашнего задания.

В тот же вечер мы решили утопить руль в пруду. Плюхнувшись в воду, руль, к

нашему удивлению и ужасу, вновь показался на поверхности, и мы, не дожидаясь, пока он все же утонет, бросились врассыпную, оставляя на берегу мечты о завоевании мира.

Снова банду я собрал только через два месяца. За день до того, как Марианна навсегда покинула школу.

* * *

Выдав пацанам по пачке мела, я предупредил, чтобы не надеялись — новых заданий не будет.

— Мы больше не банда, — сказал я. — И если что — никогда не были бандой. Запомните это как следует.

В их взглядах я прочел благодарность — похоже, собственных деяний они теперь боялись больше, чем моих угроз.

Заканчивался очередной учебный год, и в восьмой класс мы переходили, заранее зная, что Марианны нас покидает. Она переезжала — в другой город, да, пожалуй, и в другую жизнь. Ее, гордость музыкальной школы, ждало музыкальное училище — с распростертыми объятиями и без вступительных экзаменов. Оставалось последнее испытание — экзамены экстерном за восьмой класс, к которым Марианна, как оказалось, готовилась весь последний год. Отстрелявшись, она, бледная и исхудавшая, с тонкими длинными пальчиками, так уверенно колотившими по клавишам, вышла к доске на нашем последнем в учебном году классном часе.

— Вот что, — сказал, явно волнуясь, Виктор Михайлович, — Ваша коллега, наша дорогая Марианна, как вам известно... Кхм... В общем, Марианночка уезжает.

Его голос заметно дрожал, и это удивляло куда больше, чем давным-давно известная новость о будущем Марианны.

— Мы хотим, — с трудом продолжал физрук, — пожелать тебе, Марианночка..., — он глотал слезы, — в общем, будь счастлива!

Вытерев глаза платком, он громко в него высморкался и передал слово Марианне, которая оказалась гораздо конкретнее классного руководителя.

— Приходите завтра в актовый зал, — сказала она. — В шесть вечера я дам прощальный концерт для всех учеников школы.

В назначенный час в зале не было свободных мест, а в дверях толпились ученики со стульями из собственных классов. Каждому из нас, счастливых одноклассников Марианны, была предоставлена возможность лично попрощаться с будущей звездой. Пряча лицо за букетом хризантем, я дождался, пока мы не остались одни и протянул ей цветы.

— Спасибо, — сказал она и посмотрела мне прямо в глаза. — Помнишь ту надпись на школе? Я знаю, кто ее написал, — и она вдруг поцеловала меня в губы.

Я был оглушен, словно угодил в эпицентр взрыва. Кто-то другой ходил вместо меня, с кем-то общался, проталкивался через толпу в актовый зал, кого-то другого, не меня, тянули за рукав, усаживая на бог знает откуда взявшееся свободное место в третьем ряду. Я онемел, ослеп, и лишь одна картина застыла у меня перед глазами. Шрам на правом ухе Марианны, крохотный розовый шрам, на который ни один человек не обратил бы внимания. Я же заметил Марианну, только когда она приветственно поклонилась со сцены под громовые аплодисменты зрителей.

Устроившись на стуле, Марианна потянулась к крышке фортепиано. Закрыв глаза, я услышал, как она ойкнула в полной тишине. Кто-то рассмеялся, кто-то шикнул, зал зашуршал и забубнил, я же усилием воли заставил себя взглянуть правде в глаза — на клавиатуру инструмента, над которой застыла беззащитная фигура Марианны.

— Позовите уборщицу! — крикнула в зал директриса, вскочив с почетного места в середине первого ряда.

И тут зазвучала музыка. Властными аккордами Марианна успокоила зал, усадив по местам особо разволновавшихся, поднимая с клавиш облака меловой пыли. Она била по клавишам и гладила их, словно верила, что сможет подушками пальцев стереть

все три затраченных на клавиатуру пачки мела. Я видел ее словно в тумане, да Марианна и была в тумане из мелового облака, раскачивалась в нем, вдохновенно отрывалась от клавиш и снова впивалась в них своими тонкими пальцами. Я до сих пор не знаю, что она исполняла, но автор произведения явно был с ней в сговоре. Думаю, он все видел откуда-то сверху, и ни за что не оставил бы это дело без последствий.

Иначе, почему я до сих пор не могу назвать себя счастливым человеком?

* * *

Ссылку на этот ролик мне прислал кто-то из одноклассников. Странная полная женщина, если верить ее фотографии на странице одноименного сайта. Я проверял — мы действительно закончили одну школу и учились в одни и те же годы в одном и том же классе. Порывшись в ее изображениях, я обнаружил фотографию нашего пятого «Б» с Виктором Михайловичем и, как ни странно, с моим отцом. Одетый в костюм с галстуком в горошек, отец выглядел самым счастливым человеком на свете — мне, пожалуй, никогда в жизни не приходилось улыбаться так беззаботно, даже на камеру. На фотографии я сразу узнал себя, Марианну и еще с десяток одноклассников, остальные же детские лица если о чем-то и говорили, то только не о том, как их всех звали.

Ролик оказался фрагментом французского телешоу, местной версии программы «Мы ищем таланты». Фамилия у Марианны теперь была Тюрам, совсем как у знаменитого в прошлом футболиста. Я узнал бы ее без подсказок, по рыжим волосам, по острым скулам, по худым плечам и тонким длинным пальцам, которыми она уверенно, несмотря на миллионы застывших перед экраном пар глаз, погружалась в такую знакомую ей стихию. Или все же не совсем знакомую?

Я не знал, что и думать, и похоже, в этом мы были едины с членами жюри. Марианна играла Шопена, что-то очень быстрое, требовавшее виртуозной техники. Настолько виртуозной, чтобы играть, не видя клавиатуры, для чего перед началом номера она нацепила на глаза темную повязку, похожую на те, что выдают в самолетах. Зрители были в восторге, они повскакивали с мест и неистово аплодировали, но посмотрев еще несколько похожих роликов, я понял, что людей не сложно свети с ума. С таким же восторгом они принимали эквилибристов, глотателей ножей, детей с феноменальной памятью и даже исполнявших стриптиз старух.

Победила ли Марианна в том шоу? Прошла ли она в следующий тур? У меня не хватило сил выяснять.

Вот уже несколько недель подряд я ежедневно делаю одно и то же — пересматриваю тот самый ролик. Вот Марианна садится за инструмент и улыбается членам жюри, лица которых изображают недоумение и любопытство — между прочим, вполне достоверно. Она откидывает крышку рояля и улыбается клавишам, я же вдавливаюсь в диван, напрасно прячась от воспоминаний о пачках мела, которые я много лет назад вручил трем сейчас уже немолодым мужчинам. Мы закрываем глаза одновременно: Марианна — не пропускающей свет повязкой, я — просто сомкнув веки. Звучит музыка, и я вижу Марианну, не открывая глаз. Взявшись за руки, мы идем по берегу моря, и она смеется оттого, что ее растрепанные ветром волосы попадают мне в глаза. Я прижимаю ее к себе, целую в шею, про себя отметив, что шрам на ее ухе никуда не делся и что на всем свете о нем знаю я один.

Нас ждет долгий путь — до самого конца пляжа, до багровеющего заката. Мы идем, и солнце не спешит садиться, зависает на небосклоне, ставя на карту по меньшей мере судьбу девяти планет. Нас это не пугает — мы верим светилу и следуем за ним. Идем одни по пустынному пляжу, пока не кончится песок, пока не сядет солнце.

Пока играет музыка.

Галина Климова

«Как живётся тебе...»

Кто же не помнит своих первых рифмованных строк?

Даже еще не стихов, но их зародышей.

Мы жили на даче в подмосковном селе Петрово-Дальнее.

Там шло строительство городской онкологической больницы, и папе как инженеру выделили дачу, чтобы не мотался в Москву. Дача высокая, с мезонином, со всеми городскими удобствами и с верандой, подсвеченной окошками из разноцветных стеклянных треугольничков. Эти дачи до сих пор там сохранились как образец послевоенной роскоши для народа. Отец, очень гордый, тут же выписал своих родителей с Украины, из жаркого и пыльного Николаева. Они приехали с младшей внучкой Зиной, моей ровесницей. Для объединения семьи вскоре и меня — в слезах — привезли.

Началась подневольная дачная жизнь. Я всего однажды гостила в Николаеве у бабушки и дедушки, очень стеснялась, дичилась и вдобавок ревновала к ним кузину-Зину. Чуяла печенкой, что она — родная внучка, а я — как бы двоюродная. Нехотя подчинилась другому распорядку. От прежней жизни при мне осталась только скрипка, но играла я помалу и вполсилы. Было сиротливо, и по ночам — от жалости к себе — я под одеялом размазывала по щекам слезы. Днем все как-то сглаживалось походами в лес за грибами и за малиной, купаньем в еще не заросшем голицынском пруду, но больше — игрой в пинг-понг с соседской ребятней. Ни с кем не играл только мальчик с редким именем Юлик. Бледный и молчаливый, обычно с книгой, он сидел в самой густой тени, и однажды, оторвавшись от книги, объявил нараспев:

— Завтр-ра мой день р-рожденья, но я не смогу пригласить вас всех, пар-р-рдон...

Играть в теннис сразу стало неинтересно. Мы с Зиной пошли к себе, и она объяснила:

— Слышала, как картавит? Думаешь, не выговаривает «р»? Он специально так говорит, называется «грассирует». Его за это даже во французскую спецшколу приняли.

Эти слова прозвучали как приговор: Юлик, который учится в Москве во французской спецшколе и красиво распевает букву «р», никогда не пригласит меня, такую толстощекую, с веснушками, такую деревенщину... никогда не пригласит. А Зина готовилась к празднику.

— Напишу стихотворение и подарю с автографом. А ты сыграй что-нибудь на скрипке, например «Веселый крестьянин». У тебя здорово получается!

После обеда нас, как маленьких, укладывали в постель, хотя спать было не обязательно. Зина пыхтела и что-то бубнила, накрывшись простыней, а потом сбрасывала ее и быстро писала, но еще быстрее стирала написанное, и тут же опять писала столбиком. Лицо ее раскраснелось и стало красивым. Она точно знала, что делает.

— Готово! Вот! Про партизан, про пионеров, как они погибли, но фашистский поезд взорвали.

Скрипка не шла в руки. Я не стала ужинать, не стала гладить платье-матроску, только помогла Зине накрутить на бумажки ее короткие волосы. Все улеглись спать, как обычно, будто ничего не происходило и заранее было известно, что завтра Зина со своим героическим стихотворением пойдет к Юлику, а я с «Веселым крестьянином» останусь дома. Не спалось и даже плакать не хотелось. Хотелось умереть. И я видела, как в день рождения Юлика меня будут хоронить в гробу, похожем на мой деревянный скрипичный футляр, в неглаженом платье, с косичками-бараночками, как будут плакать бабушка и дедушка, зарыдают мои родители, особенно мама... Но где же Зина?

Сюжет увлекал. Образы уносили в какое-то другое пространство, где невидимый метроном диктовал ритм, а на него, как бабочки на свет, летели настоящие, самые нужные слова, близким или дальним эхом тянувшие за собой рифмы. Это были стихи. Только бы не забыть до утра!

Летнее утро — скорое, и я босиком вбежала в кухню, где уже завтракал отец. Вот кому я могла доверить ночную тайну, вот кому...

— Что ты такая встрепанная? Всю ночь что-то бормотала, вскрикивала, наверно, тоже стихи сочиняла? — ласково спросил отец.

Я впала в ступор. Я не помнила ни полсловечка. Ни-че-го.

И вдруг шепотом:

Как живется тебе,
моя бедная дочь,
на том свете?

— Что? Какая дочь? Какой «тот свет»? — Отец почти задохнулся. — Это твои стихи? Откуда эта мистика в двенадцать лет? Ты же не чахоточная поэтесса, ты здоровая девочка, пионерка, а тут декаданс в чистом виде. Одна строка, разве это стихотворение? — он перестал жевать. — Правда, у Брюсова есть «О, прикрой свои бледные ноги», — продекламировал он и сглотнул, — но все уже было, тысячу раз было, дорогая моя девочка! Ты далеко не первая. Все уже хожено-перехожено, все уже написано в русской литературе. Я и сам когда-то... Но тебе еще рано! С чего это ты вообразила себя матерью, а? И почему умерла дочь? Нет, тебе *так* нельзя, запомни! И бери пример с Зины, ее стихи в «Пионерской правде» напечатаны.

И вдруг строго в самое ухо:

— Никому не читай! Не смей, слышишь, забудь!

Я была потрясена собственным провалом, но более того — чувством отчаянного одиночества в своей семье.

Юлика с его днем рождения больше не существовало.

Папа перестал быть моим доверенным лицом.

Зина после замужества работала воспитательницей в детском саду.

Я долго не писала стихов, пытаясь вернуться к самой себе, найти вход в потаенное пространство, которое открылось той ночью на даче в селе Петрово-Дальнее, где мне леталось и пелось, а губы шевелили чистый воздух рифмующихся слов непонятно как случившегося стихотворения.

Анастасия Орлова

Сердце — рыбка

* * *

У меня внутри живут облака,
Оттого я на подъём так легка,
Оттого немного ветрена я,
И несёт меня в чужие края.
А устав от неземной красоты,
Я дождём иду домой с высоты.

* * *

Хорошо у крыши на спинке —
Спинка к спинке, как две половинки,
Руки вольно раскинув, лежать
И дышать.

И дышать про растущее лето,
Про качели, поющие где-то,
Про летящий пух тополей,
Про шмелей.
Про того, кто на вдохе дня
Тоже дышит сейчас про меня.

Река

Здравствуй, река!
Ты издалека?
Пришла ко мне
Рыбкой на дне.
К реке приду,
В реку войду.
Стану рекой —
Внутри покой,
Снаружи зыбко,
Сердце — рыбка.

Орлова Анастасия Александровна — поэт, прозаик. Родилась в 1981 году в г.Волжский Волгоградской области. Жила в Туве и в Хакасии. Автор нескольких книг для детей. Лауреат премии Президента Российской Федерации (2017) и многих литературных премий. Живет в Ярославле. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Если бы

Если бы стал я кудрявым и стройным
Фонтаном текучим и беспокойным,
Чтобы живая
Весёлая сила
Меня из земли до небес возносила,
Я стал бы сам*о*ю живою водой,
Навеки счастливый и молодой.

Если бы стал я широкой и строгой
Неутомимой дальней дорогой,
Чтобы из ночи,
Из белого дня
За горизонт уносило меня,
Я стал бы плясать и кружиться, беспечный,
Я знал бы, что я навсегда бесконечный.

Если бы стал я родным и знакомым
Многоквартирным стареньким домом,
И чтобы радости,
Чтобы печали
Жизнью меня изнутри наполняли,
У города в сердце бы я приютился
И весь бы светился,
Весь бы светился!

Про несчастное зло и добро с дубинкой

Добрый микроб по имени Доб
И злой микроб по имени Злоб
Встретились на подушечке пальца.
Добрый злому как даст в лоб,
Добрый злого дубинкой — хлоп! —
И давай над ним насмехаться.
Горько плачет ужасный Злоб —
Одолел его добрый Доб.
Злому Злобу не повезло,
Ведь добро всегда
Побеждает
Зло!

* * *

Не спится,
не спится,
не спится,
не спится —
не молкнет во мне
продолжение дня.
Песню обронит
поздняя птица
и песня её —
продолженье меня.

Пальчиковая колыбельная

Пальцы-пальцы-рисовальцы,
Ночь идёт опять.
Спите, первооткрывальцы —
Время засыпать.

Все тревоги занавесят
Тени на стене,
Отдыхайте, мои пальцы,
Трогательные.

Отдыхайте, отдыхайте
В тёплых кулачках.
Засыпайте, засыпайте
На подушечках.

Пальцы-братья,
Пальцы-птицы,
Пальцы-лепестки —
Сберегайте, охраняйте
Линии руки.

Завтра утро.
Завтра солнце
Будет тут как тут,
Встрепенутся братья-птицы,
Руки расцветут.

А пока пусть сладко спится,
Пусть летит земля,
Пусть как можно дольше длится
Колыбельная.

* * *

Экскурсия в небо!
Экскурсия в небо!
Я на такой никогда ещё не был!
И вот мы зашли в небоскрёб,
до неба добраться чтоб.
Идём по ступеням
выше и выше —
нужно добраться до самой крыши.
Идём по ступеням,
шаг за шагом,
я чувствую его приближение,
я чувствую: небо рядом!
Но...
Пора просыпаться?
Как?
Уже?
Но мама, мы только
на двадцать втором этаже!

Александр Блинов

Синий Слон, или Девочка Которая Разговаривала с Облаками

Из будущей книги

Невысокая, лет семь-восемь.

С серыми глазами.

Девочка как девочка, единственно что — дружила с облаками.

Конечно, и с детьми она тоже дружила, но лучше у нее получалось с облаками.

— Вот слон! — говорила девочка. — Синий!

По небу плыл Синий Слон. Без ног.

— А ноги? — кричала девочка.

— Я подогнул, — отвечал Слон, — вот...

Теперь три ноги скреблись по крыше соседнего желтого дома с булочной, куда девочка каждый день ходила за хлебом.

— Ты помнишь? — вздыхал Слон. — Завтра у меня день рождения.

— Да помню, помню! — размахивала авоськой девочка и ждала, когда красного человечка на светофоре сменит зеленый.

— А у меня ни друзей, ни подарков, — вздыхал Слон, и первые капли дождя падали на асфальт.

— Вот, вот и вот! — кричала девочка, и в небе рядом со Слоном уже плыли Жираф с Пятью Горбами, Розовый Бегемот и Синяя Мартышка.

— А подарки?

— Я сейчас куплю хлеба и себе сдобу с изюмом, мне на нее мама деньги дала... — кричала девочка и распахивала дверь булочной. — И поделюсь! Жди!

— Подожду, — кивал Слон. — Но ты побыстрее...

«Ведь не всем же так везет, что у них много друзей, да еще своя собака или кот», — думала девочка, стараясь попадать след в след за мальчиком, который на поводке вел настоящую живую собаку. Семья девочки жила в маленькой квартире, а еще у нее был брат... «Так что никаких собак, кошек и крокодилов... — вспомнила девочка слова матери. — Мы тут сами как кильки в банке».

— Про крокодила и кильки мне понравилось! — пролаяли сверху.

— Ой! — девочка задрала голову и увидела веселую мохнатую Собаку с шестью лапами и слоновьей головой. За ней неслась стайка серебристых Облачков Килек, а следом, с разинутой пастью — Огроменный Двухголовый Крокодил.

— Ав! — разинула слоновий рот Собака. — Ав, ав, ав... — и заглотила все разом.

— Ничего себе... — сказала девочка. — Какая...

— Нравлюсь? — наклонилась к ней Собака и лизнула прохладным мокрым языком, как у всех собак.

Книга сказок Александра Блинова «Синий Слон, или Девочка Которая Разговаривала с Облаками» выйдет в издательстве «Самокат» в начале 2018 года.

— Ага! — сказала девочка.

— Теперь я твоя! — пролаяла Собака. — Правда, здорово?!

— Ага... — сказала девочка. — А мама?

— Ага... — вздохнули Слон, Жираф, Бегемот и Мартышка, а в собачьем животе — Кильки и Крокодил. — А мама?

— Как-нибудь обойдется, — пролаяла Собака. — Я неприхотливая.

И Собака Слоновья Голова поплыла следом.

Когда девочка вошла в квартиру, Облако Собака уже лежало на подоконнике. Свернулось калачом и спало. Девочка открыла окно, погладила Собаку. Та снова лизнула ее прохладным влажным языком, как у всех благодарных собак, зевнула и заснула.

* * *

Так у девочки появилась своя Собака.

Перед школой девочка вместе с цветами полила заодно и Собаку из лейки. Чтобы не пересохла.

Собаке понравилось. Белая шерсть лоснилась, Собака била хвостом по подоконнику и зевала, как делают все собаки, когда хотят сказать больше, чем могут.

— Надь, а может хватит дурачиться и подоконник из лейки поливать? — крикнула из кухни мама. — И каша остыла, и в школу опоздаешь!

— Ем, ем! — крикнула девочка и незаметно выставила тарелку с кашей Собаке. — На, вкусно!

— В школу? — чавкала Собака. — Опаздываешь?

— Ну да, — вздохнула девочка и поставила вылизанную тарелку на стол.

— Всегда бы так! — удивилась мама. — Беги!

Девочка схватила портфель и выскочила на улицу.

— В школу? — загудел с неба Облако Слон. — Опаздываешь?

— Ага, — кивнула девочка.

— Это вот та твоя школа?! — прогудел Слон и тыкнул облачным хоботом в парикмахерскую.

— Нет! — завопила девочка.

— Эта! — обвивал Слон каланчу пожарной части.

— Нет! — покатывалась девочка. — Да вон, через дорогу, красный кирпичный дом. Второй «Б», видишь! За окном с геранью — моя парта!

— Да знаю! — Слон опустил с неба хобот и подсадил девочку на спину. — Просто забыл! Залезай! Мы мигом. — Сделал шаг, открыл шпингалет и просунул в окно хобот. — Давай!

Девочка как по горке скатилась по хоботу в школьное окно, вжик!

— Шмакина, — стучала по столу учительница. — Опять за свои фокусы, да? А ну слезь с подоконника. Что ты там делаешь? Уже урок начался.

* * *

Когда девочка вышла из школы, Слон висел слева, над гаражами.

— Домой? — спросил Слон.

— Домой. Уроков задали море! До конца жизни не переделать!

— А может, в Африку? — предложил Слон. — Там мой друг, ученый павиан. Ужас какой грамотный. Он твои уроки в два счета переделает. И потом, я по Африке соскучился!

— Я согласна, — сказала девочка. — Только про Африку мы еще не проходили.

Слон подсадил девочку, и Облако поплыло.

Сначала Слон стал Самолетом. И Самолет покружил над большим городом, где жила девочка, а потом низко-низко, над деревней ее бабушки, где девочка родилась и куда приезжала погостить на лето.

Бабка возилась в огороде.

— Бабушка, — кричала девочка и махала. — Я тут! На Слоне!

— Господи... Надя... — всплеснула руками бабка и задрала голову. Стоит, щурится от солнца, пытается разглядеть что-то в небе. — Почудилось старой... — вздохнула бабка. — Довяжу-ка я сегодня Надюхе кофту... — И склонилась над грядками.

Над морем Облако стало Лодкой. И девочка замирала от ужаса и счастья, когда Лодка взлетала и проваливалась на волнах. Потом — Большой Золотой Рыбой, и тогда девочка набирала побольше воздуха, хваталась за жабры, и они ныряли с Рыбой на самое морское дно, где ползали гигантские лангусты и плавали рыбины с жуткими выпученными глазами.

Вот и Африка: розовые бегемоты в болоте, мартышки на пальмах и ученый павиан в очках, как у директора школы, Петра Евграфовича.

— Уроки? — кивнул павиан на портфель. — Во как набит! Кидай!

— Уроки, — вздохнула девочка и кинула портфель. — Море...

— Готово! — сказал павиан. — Можешь не открывать! Но на суахили. Сойдет? Я русского не знаю. Лови банан.

— Сойдет, — согласилась девочка и стала чистить банан. — У меня тоже по русскому тройка. С натяжкой.

Потом они сходили в гости к приятелю Слона — Доброму Крокодилу Джимми. И Джимми разгрыз для девочки огромный кокосовый орех, съел на бис трех охотников за крокодиловой кожей для сумок — и после рыдал крокодиловыми слезами минут пять. А то и шесть. Потом выплюнул ружья.

— А охотники?! — таращилась девочка.

— Какие мы жалостливые... Хуже крокодилов! — Добрый Джимми нехотя, одного за другим, выплюнул охотников, и те опрометью бросились врассыпную.

Стемнело.

— Поздно, — спохватилась девочка. — Мама ругаться будет. — И вскарабкалась на Слона.

— Ты тетрадки забыла! — засуетилась обезьяна.

— Без ошибок? — подхватила девочка портфель.

— Да уж не беспокойся, — обиделся павиан. — Я еще по-французски и на немецком языке написал. На всякий случай.

И Облако с девочкой поплыло обратно.

— А в Антарктиду можешь? — спросила девочка, когда Облако Слон опустилось на пустыре за домом. — Нам про Антарктиду вчера на уроке рассказывали.

— В Антарктиду? Это без меня... — Слон покрутил головой. — Это вон, Белый Медведь.

Над зданием детского сада висел Огромный Белый Медведь с ушами, как у зайца, до облаков.

Медведь ел эскимо и крутил ушами, как пропеллерами.

— Завтра, после школы! — строго сказала девочка.

— Заметано! — кивнул Медведь. — Я как часы!

— А ведь нам и про пустыню рассказывали, — вспомнила девочка.

Из-за деревьев выплыл Трехгорбый Шестиногий Верблюд.

— В пустыню?

— Угу! — кивнул верблюд. — На послезавтра?

— Да, только у нас учительница по пению заболела. Раньше закончим. В половине первого, не опаздывай!

— Я как часы. — Верблюд наклонился и начал обедать кустами сирени у забора.

— Ты что?! — покрутила девочка пальцем у виска. — С ума сошел?! Тебе за такие дела, вон, бабки у подъезда голову оторвут.

— А они что, тоже сирень любят? — удивился верблюд. — Она же горькая!

— Нет, не едят, они только нюхают.

— Ничего себе! — вздохнул верблюд. — Я бы с голоду умер... одним запахом питаться.

В Антарктиде хорошо: айсберги, белые медведи, пингвины по-английски говорят, полярники молчат и лед для чая топят.

Девочке понравилось.

В пустыне девочке не очень понравилось... пустовато. И песчаные бури!

— Господи, ну как это?! — удивлялась вечером мама девочки. — Ну вот где ты пыли этой понахваталась? И песок из всех карманов сыплется! Вот хоть вешай тебя на бельевую веревку на защипки и мухобойкой вытрясай!..

А вчера пришла... Вот откуда? Вся трясешься от холода, как суслик, только что сосульки на ушах не висят!

А позавчера? Вся мокрая, как зюзя, и одежда в кокосовой шелухе... Все, иди в ванну! И только не надо мне ничего рассказывать, и так голова раскалывается! Если охота, вечером папе голову морочь! Он это любит — весь в тебя!

* * *

Вот такая это была девочка.

Девочка как девочка.

И как все девочки, она росла и все меньше смотрела на облака, а все больше — под ноги.

А как-то задрала голову — а там, на небе, одна белая вата и пусто.

И вообще выяснилось, что из девочек неожиданно получаются девушки, потом женщины, а потом — даже бабушки. У которых дети повырастали и поразъехались, а внуки навещают, но редко.

И еще эти бабушки болеют...

И тогда у нее над кроватью появился список, чтобы сослепу долго не искать телефоны родных, друзей и знакомых. И если приходило печальное известие, она вычеркивала очередное имя.

И все.

Жизнь есть жизнь.

Но, как ни странно, старуха все равно ощущала себя девочкой, и в разговорах со сверстницами они друг друга так и называли: «девочки».

Как-то раз старуха пришла в гости к своей школьной подруге Вере на день рождения. Сидели долго на кухне, вспоминали.

— Вер, — помешивала она сахар в чашке. — А ведь день за днем — и высыпалась наша жизнь, подруга, как песок из ладоней...

— Подсласти чаек, — та подвинула ей сахарницу. — Как у всех, подруга. Чем мы другие? А помнишь, как ты девочкой с облаками разговаривала? Другие смеялись, а я так завидовала... особенно Синему Слону! На вот, подарочек тебе... — и сняла с холодильника маленький стикер на магнитике: Дональд Дак на розовом облаке. — Нравится?

— Нравится, — сказала старуха. Взяла магнитик и отчего-то заплакала.

— Вот, теперь собираю, — вздохнула подруга. — Внуки, когда изредка навещают, приносят.

Утенок ей понравился. Когда шла домой, достала из кармана. Потешный. Сидел на розовом облаке и болтал ногами.

А в пятницу шла старуха в магазин, смотрит — а над аптекой розовое облако, и на нем утенок Дональд Дак. Утенок улыбается и машет ей огромной четырехпалой поролоновой лапой.

Она махнула в ответ.

— Чего это я, дура старая... — одернула себя старуха. Неловко оглянулась, сунула руку в карман, как чужую.

А третьего дня села на скамейку передохнуть, видит — девочка рядом ногами болтает и в небо смотрит.

— Слон, — говорит девочка. — Синий. Без ног...

В небе плыл Синий Слон, а за ним еще два маленьких.

— Он их подогнул, — сказала старуха. — И за ним два слоненка. Видишь?

— Точно! — кричит девочка. — И на последнем — мартышка!

— Держи, от мартышки! — улыбнулась она и протянула девочке банан.

Время шло.

На улицу старуха уже не выходила.

Теперь она уже не вычеркивала людей в списке над кроватью, а просто сбоку рисовала облачко и на нем — человека, о смерти которого ей сообщили. Только веселого, как Дональд Дак.

— Так лучше. — улыбалась им старуха и плакала.

И еще «эти», на облаках, разговаривали между собой, а иногда — и с ней. Забавно так, когда все разом, перебивая друг друга, как дети.

А некоторые и пели.

И старуха подпевала.

Поначалу она думала что «эти» внутри нее говорят, в голове. А тут открыла форточку, а оттуда — как щебет птиц в роще весной!

Распахнула фрамуги, смотрит — все небо в розовых облачках, а на них все ее мертвые сидят. И, даже у тех, у которых здесь не сложилось (ну, там: семья, дети, внуки, розовощекие битюки на коленях сидят, агукают), там, на облаке, у них дом — полная чаша: смех, толкотня, и словно где-то пианино играет... Она аж зажмурилась, как на солнце в полные глаза глянула.

— Надь, ты чего? Застудишься! А вот и я к тебе...

Открывает глаза, смотрит — у самого ее окна Синий Слон покачивается и вздыхает, а на Слоне — подруга ее стародавняя, Верка. Что стикер ей подарила.

Сидит, улыбается.

Раз — и на пол рядом спрыгнула.

Смеется, ветром пахнет.

— Ты ж померла! — охнула старуха.

— Зато вот на Слоне, — улыбается Верка.

На кухню прошли и так до утра и проболтали.

Утром она просыпается, на кухне пусто — только окно в комнате нараспашку.

— Чего это я, дура старая, — вздохнула старуха и закрыла окна на задвижку.

А в среду словно позвал кто.

Встала с кровати, к окну подошла, а там — облако у самого подоконника покачивается. Все в цветах, как луговина в июне. А за луговиной — река и дом бревенчатый у реки, где она родилась. Смотрит — бабка ее, Антонина, дверь открывает. Теперь вон стоит на приступке, на нее смотрит. Как против солнца смотрит — щурится, глаза ладонью прикрыла.

Она по лугу к двери подошла, но прежде чем войти, наклонилась — девочку ту хотела увидеть, что на скамейке тогда сидела. Да темно, ночь еще.

— Надь, да долго мне тут на сквозняках-то стоять? — улыбнулась бабка. — А и не узнать тебя! Давай, девка, заходи уже, зябко!

И она зашла.

Наталья Игрунова

Мир, в котором сбываются мечты

О книге Александра Блинова «Синий Слон, или Девочка Которая Разговаривала с Облаками»

Александр Блинов — имя в нашей литературе новое, но за те два года, что прошли после выхода его первых книг «Рассказы толстого мальчика» и «Чистые враки», у него появились верные поклонники, одобрительные отклики критиков, четыре новые книги, две большие публикации в «Дружбе народов» и несколько издательств, претендующих на сотрудничество.

Толстый мальчик, полюбившийся читателям герой Александра Блинова, признавался: «Я родился мальчиком Сашей. Хотя запросто мог родиться и девочкой Верой, и соседской дворнягой Фомкой, и даже верблюдом. Тогда: меня бы в школе не мучила эта Верка; я бы запросто выполнял все команды: «лечь», «встать», «ко мне»; я бы знал верблюжий язык и дальше всех плевался». Родился в Москве, хотя мог родиться в Нью-Йорке, на острове Пасхи или даже в Венеции, и тогда всю жизнь поднимался бы в лифтах на небоскребы, или стоял каменным истуканом на берегу океана, или ходил все время с мокрыми ногами. В детстве он хотел быть усатым дворником Фаридом в фартуке, космонавтом в шлеме, водителем синего троллейбуса и певцом Муслимом Магомаевым с календарика. Но не успел — отвлекался и опаздывал. И желанные «вакансии» заняли. «Пошустрей надо быть, Сашенька! — качала головой с неба его бабка Полина. — А теперь-то вот что?»

А теперь сильно повзрослевший мальчик Саша изо всех сил наверстывает упущенное. Примеряя роль успешного писателя, книги которого рекомендуются для семейного чтения, потому что над ними до слез хохочут дети и ностальгически грустно вздыхают взрослые, он не только придумывает новые приключения на свою голову, но и исполняет мечты других — замученных школьными уроками мальчиков и девочек, затурканных бытом пап и мам, тоскующих в одиночестве стариков, отважных цирковых лилипутов, красавицы-елки, подслеповатого любознательного крота, немолодой домашней курицы-клуши, весенней лужи и летучих облаков...

Главное — чтобы это была настоящая Мечта, а не какое-то там легко исполнимое желание вроде куклы Барби или навороченного смартфона, как у соседки по парте или коллеги по офису.

Современные писатели приучили нас к чудесам — их герои проваливаются в эру динозавров, путешествуют по зазеркалью, дружат с эльфами, влюбляются в вампиров, сражаются с роботами, побеждают злобных инопланетян... Чтобы встретиться со своими героями, Александр Блинов отправляется по колдобистому проселку на обыкновенном рейсовом автобусе в ту самую маленькую степную станицу на берегу моря, куда приезжал на каникулы толстый мальчик Саша. Придорожные пыльные пирамидальные тополя, лесозащитные полосы и линии высоковольтных передач, ажурная вышка МТС, аэродром с сигарами самолетов и зонтами локаторов, веселое, «как все южные погосты», старое кладбище, белые мазанки, покрашенный серебрянкой Ленин в кепке, сельский клуб цвета увядшей розы...

«Еще шагов двадцать, и моя Садовая. Короткая, вся в акациях, уходящая в небо — в конце обрыв над морем, и все...» Дальше — продуваемая знойными ветрами земля и расчерченное ласточками небо давно прошедшего детства. Вечное время — и пространство любви, печали и радости.

— Портал, — со знанием дела кивнет продвинутый читатель.

Наверное, можно объяснить и так. Тем более что встречает прибывшего кто-то очень смахивающий на Харона, разве что не на лодке.

«— Санька, ты?.. — оглядываюсь. Со стороны кладбища, за грейдером, опираясь на посох, стоит Алик. Рядом его бараны. — Та иди же до хаты... — смеется и машет мне Алик. — Сморился с дороги. Увидимся. А то твои заждались. С вечера понаехали. Бачишь, у Рябухи сгуртовались... Вон сидят...

И точно, у синего, облезлого штакетника Мишки Рябухи под старым абрикосом на облупленной скамейке сидят все. Ждут».

И растроганный взрослый Санька шмыгает носом («как узнали?.. телеграмм не давал...»), садится на краешек скамейки, достает из рюкзака подарки: «Облаку — сладкой ваты; Шерстяной Собаке — новые спицы и зефир для щенков; Мухе — последнюю партитуру оперы «Травиата»; Пони — сладкой соломки; Вороне — банку клубничного варенья; Алке — новый алый платок на чалму; Григорию Даниловичу — «The New Times» и «Правду»... — интересуется; Дереву — новые фенечки, а Мишке с Варварой, схожу на погост, положу пару жерделей со старого абрикоса над их скамейкой, может, там, где они, такие и не растут...»

Все рассказанное — чистые враки, — убеждал читателей своих первых книг Александр Блинов. А они тотчас узнавали в героях себя. Теперь же автор настаивает на исключительной правдивости историй и обыкновенности героев: елка как елка, курица как курица, детство как детство... И дети как дети, взрослые как взрослые, старики как старики. Старики сидят на лавочке и вспоминают молодость, дети смотрят на облака, взрослые — все больше себе под ноги (бывают исключения — им дарована способность витать в облаках, но при этом замечать и ценить все «мелочи» жизни, и похоже, Александр Блинов из этих редких счастливчиков). А так — что ж, люди как люди: ведут разговоры на кухне, читают книги, возятся в огороде, посещают консерваторию, смеются и плачут, работают дальнобойщиками, полицейскими и учителями, находят и теряют друзей, болеют ангиной, собирают магнитики, пьют чай с сахаром, смотрят телевизор...

Но люди здесь все-таки если не массовка, то уж точно на вторых ролях. Облако, Шерстяная Собака, Муха, Пони, Дерево, Ворона — это не прозвища станичников, это самые настоящие влюбленное (страшно влюбчивое) Облако, Шерстяная Собака, которая умеет вязать на спицах, Муха, которая жужжит на лучших сценах мира си-бемольный Концерт Шопена с вариациями, Пони Агриппина, которая мечтает стать длинноногой лошадью и выступать в цирке, увешанное мандаринами местное Дерево, которое только что прилетело из китайской провинции Ляу Джи, и старая Ворона, которая тянется к людям.

Сюжеты и впрямь вырастают из «сора» обыденных ситуаций и прописных истин, зацепившихся в подсознании:

курица не птица — услыхав однажды нежный, пронзительный и скрипучий крик чайки, курица рвется в небо;

собак водят на вязку — Александр Блинов посвящает книгу своей собаке, «ушастой суке дратхаар, которая больше всего на свете любит фрикадельки и слушать сказки», и дарит одной из собак, живущих в этой книге, способность вязать из шерсти все на свете: даже живых людей и настоящий мобильник — уютней разговаривать;

брань (лай) на вороту не виснет — еще одна собака как собака, брехливая дворняга, вдруг онемела: ее лай повис на ветке, высоко, не дотянуться;

эту песню не задушишь, не убьешь— мадагаскарская жаба, проглотив певчую муху, исполняет ее репертуар;

почему деревья не летают? — так если очень хочется, а корни поднатужатся и ветки будут дружно махать, то почему бы и не полететь...

Взрослый мальчик Саша раскладывает перед своими героями веер возможностей побыть кем-то другим и каким-то другим — может быть, даже самим собой, только обязательно красивее и лучше. И отыскивает эти возможности в нашей повседневной жизни. Удается тем, кто способен влезть в чужую шкуру и не боится, что его сочтут чудаковатым и даже чокнутым, кем движут любопытство (узнать, побывать, попробовать, увидеть), самоотверженное стремление помочь и любовь. (Между прочим, понятие «другой» — опорная точка современной философии.) В мире людей странствующее Дерево было бы Федором Конюховым; Шерстяная Собака, которая вяжет всеми забытой старухе ее детей и внуков, наполняя дом теплом и будничной суетой, — Матерью Терезой; ну а курица Чайка, та вообще несет всем, кому нужно по жизненным показаниям, яйца покруче, чем в знаменитой аукционной коллекции ювелиров Фаберже.

Герои этой книги Александра Блинова не сироты, при желании у них отыщется и литературная родня.

У собаки, мечтающей выступать в цирке, — Каштанка.

У оперной дивы Мухи — Муха-Цокотуха.

У сорвавшегося в Африку дерева — обитатели толкиеновского Леса Фангорна (большинство из них — просто деревья, некоторые — почти совсем одеревенели и едва шепчут, а кое-кто стал энтами, рискнувшими отправиться в путь, чтобы сразиться с посланцами мрачного Мордора).

У Вороны... Если исключить в*о*ронов — начиная от доброго болтливого помощника Герды из «Снежной королевы» и кончая загадочной, со старинными, каменными глазами птицей, одиноко парящей в ранних зимних сумерках сказки Сергея Козлова, — то припомнится прежде всего ворона из рассказа Валентина Распутина. А может, это вообще та же самая ворона — они ведь живут долго, и гнездо за жизнь свито не одно. Птенцы оперились и упорхнули, вот она и решила на старости лет перебраться с байкальского берега в столицу и в рассказ Александра Блинова. И принесла с собой тоску по родной душе, осознание хрупкости счастья и острое чувство непоправимости нашего невнимания к тем, кого мы любим...

Но это родство только подчеркивает их очевидную «штучность».

...Подарки розданы.

«Передохну чуток, отопру калитку, мы вытащим из саманной кухни под навес старой беседки столы, стулья, рассядемся и будем ждать, когда засвистит чайник, и наперебой рассказывать, кричать и размахивать руками...

— Сань, ты что ли?!. — кричит <соседка> Лида из-за штакетника. — Вот и молодец, заждались... На-ка, угостись, — и протягивает мне миску с горячей картошкой.

— Спасибо! — я осторожно переношу миску через забор. Рассыпчатые картофелины пересыпаны укропом и политы густым ароматным подсолнечным маслом.

— Вкуснющая... — улыбаюсь я.

— Вот и ешьте! — смеется Лида. — С приездом! Обустроишься, заходи!»

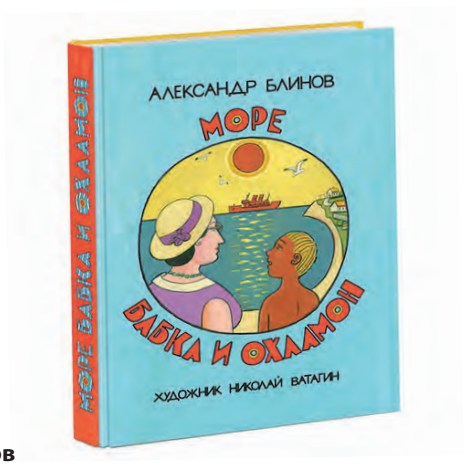
И тебя захлестывает неудержимое желание сидеть вместе с ними за этим столом, размахивать руками, слушать и рассказывать о своем — они поймут.

Какие там эльфы, вампиры, зазеркалье и космические баттлы...

Мир, где сбываются мечты, где все наши самые любимые и родные, ушедшие на Небо, сидят на радуге, присматривают за нами, но, хоть и соскучились, к себе не торопят, где люди, звери, деревья и звезды говорят на одном языке и где огромные желтые подсолнухи, которыми засажены поля до горизонта, разом задирают тяжелые налитые головы навстречу солнцу.

Обыкновенное чудо жизни.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НИГМА»

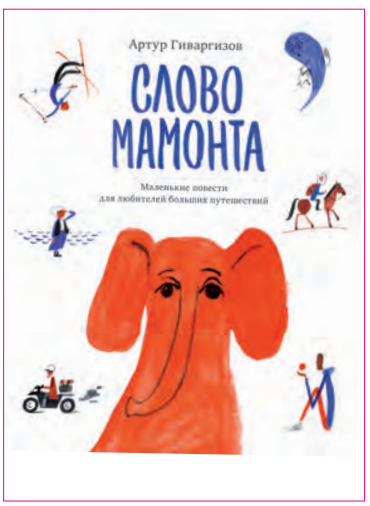


Александр Блинов
МОРЕ БАБКА И ОХЛАМОН (2017)

Это очень искренняя история, написанная Александром Блиновым о самом себе. О том, как обычным мальчишкой он приобретал свой бесценный жизненный опыт где-то между Азовским морем и Таганрогским заливом, среди станичных пацанов на лиманах с креветками, и на «том» дальнем море, куда нельзя, а то «утопнешь», и где кино под открытым небом и фильмы для взрослых можно смотреть с обратной стороны экрана, и где соленое мороженое и бледные девочки-курортницы, которых можно легко усадить на багажник велосипеда и мчать куда угодно: хоть на море, хоть на лиманы, а хоть и в рай...

Зарубина Татьяна.
ОТ ДИНОЗАВРА ДО КОМПОТА (2017)

Детские вопросы обо всем на свете — один из главных двигателей научно-популярной литературы. «Розовый жираф» и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 детских вопросов: Что такое Бермудский треугольник? Почему стрекозы не могут быть большими? Сколько на свете денег? Почему ездит машина? Книга «От динозавра до компота» — хор из множества голосов. Голосов взрослых, формирующих настоящее отечественной науки, и детских, которые, мы надеемся, станут ее будущим.



Артур Гиваргизов. СЛОВО МАМОНТА (2017)

Морж, учитель и поэт Миша в новой книге Артура Гиваргизова опять отправляется в путешествие, на Алтай. Если вы не знаете, где это, то скорее посмотрите на карту. А еще лучше купите билет до Барнаула, а оттуда на маршрутку в Тюнгур и возьмите с собой рюкзак, спальник, шерстяные носки… Ой, нет, сперва просто прочитайте, что написано об этом в повести «Как пройти на Белуху». А как приятно после путешествия вернуться домой, туда где все по-старому, уютно и понятно, и рассказывать соседям обо всем, что увидел. Правда, когда Миша вернулся с Алтая, оказалось, что в его родном Песочном назревают удивительные изменения. Такие, что даже мамонт заговорил.

Лоис Лоури. ВЕСТНИК (2017)

Мальчик Мэтти живет со своим слепым наставником в Деревне, куда в поисках помощи и поддержки бегут из многих поселений, где люди злы и равнодушны, а нравы жестоки. Мальчик счастлив, но мир, казалось обретший некоторую устойчивость, снова меняется. Что-то зловещее постепенно проникает в Деревню, и окружающий ее Лес становится все гуще. Даже Мэтти, всегда бесстрашно ходивший по тропинкам с посланиями, больше не чувствует себя в безопасности. Но все же ему необходимо совершить одно последнее путешествие через Лес, и полагаться он может только на себя и свой недавно обнаруженный дар. «Вестник» — третья часть тетралогии Лоис Лоури, в которой наконец встречаются герои «Дающего» и «В поисках синего».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В 400 ПИКТОГРАММАХ: С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ

Французская писательница **Анн Жонас** и художник **Микаэль Леблон** создали путеводитель по истории всего человечества. В этой книге уместилась вся история человечества: от появления первобытных людей и расцвета первых цивилизаций до третьего тысячелетия. Вы сможете отправиться в настоящее путешествие во времени и проследить всю последовательность исторических событий и понять, что происходило в одно и то же время в разных частях света. В историю попали не только короли, халифы и полководцы, но даже Джордж Лукас и Гарри Поттер!

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. Мир вокруг нас в инфографике

Мир вокруг нас прекрасен и полон загадок. Кто самый сильный среди морских обитателей? Что такое атмосфера и какую функцию она выполняет? Сколько времени уйдёт на полёт до Луны? Почему горы называют памятью Земли? Читателя ждёт увлекательный рассказ, герой которого — планета Земля.
Книга представит окружающий мир через призму разных наук: биологии, географии, геологии и астрономии — и расскажет обо всём на свете.
Автор: **Кьяра Пиродди**. Иллюстрации: **Федерика Фрагапане**.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ! История школ в России

В этой книге — история российской школы в картинках и интересных фактах. Ребята узнают, какой трудный путь прошла наша школа и как головокружительно она изменится в ближайшем будущем. Начнем с цифирных школ Петра I, где учили самой полезной тогда науке — математике. Вместе с императрицей Анной Иоанновной откроем Сухопутный шляхетский кадетский корпус, с Екатериной Великой — Смольный институт для дворянских девочек и Императорский воспитательный дом для сирот. Шаг за шагом российская школа преображается и развивается, и можно узнать какойстанет интеллектуальная школа будущего в век высоких технологий.

ИЗДАТЕЛЬСТВО КПД (ЭСТОНИЯ)

Анти Саар. КАК У НАС ИДУТ ДЕЛА
Пер. с эст. Ю.Ребане. Рис. А.Лукьянов. — Таллин, 2017

В этой книге — обыкновенная семья — мама с папой, Вассел и его младшего братик Йонас. Но необыкновенно занятно и необыкновенно смешно Вассел о ней рассказывает. Как в семье читают, пишут и рисуют, что готовят и едят, как пугают страшилками, ссорятся, попадают в опасные ситуации, как ходят в гости и путешествуют.

Маркус Саксатамм.
МЫШКА, ЗНАВШАЯ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Пер. с эст. В.Прохорова. Рис. К.Эрлих. — Таллин, 2017

«Как Заяц троллейбусом стал», «Как Бабочка и Филин местами поменялись», «О том, как поссорились Ёжик и Кактус» и множество других сюжетов увидят в этой книге читатели от 2 до 10 лет. И оценят, несомненно, и занятность, и остроумие, и веселость, и нравоучительность. А потому и поймут, как важно знать иностранные языки…
Это третья книга Маркуса Саксатамма на русском языке. Творчество его завоевало большую аудиторию читателей, и одна из его последних книг для детей «Божья Коровка и Пингвин» получила Гран-при в конкурсе АСКИ «Лучшая книга 2015 года» на московском книжном фестивале «Красная площадь».

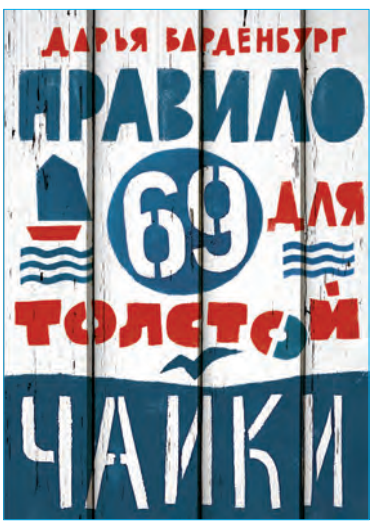
Оскар Лутс. МАЛЬЧИК С РОЖКАМИ И ДРУГИЕ ЭСТОНСКИЕ СКАЗКИ
Перевод с эст. С.Семененко, Т.Теппе.
Рис. Р.Кашин. — Таллинн: Изд-во КПД, 2017

Оскар Лутс (1887-1953) – классик эстонской литературы, прозаик и драматург. Дебютировал в 1907 г. в детском журнале «Ластелехт». В настоящее юбилейное издание к 130-летию О.Лутса включены сказка «Мальчик с рожками» — одно из самых известных и любимых произведений юных читателей (пер.с эстонскогоСв.Семененко) и впервые переведенные на русский язык семь сказок о собачке Парбу и его друзьях (пер.с эстонского Т.Теппе). Книга-билингва содержит параллельные тексты на эстонском и русском языках.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САМОКАТ»

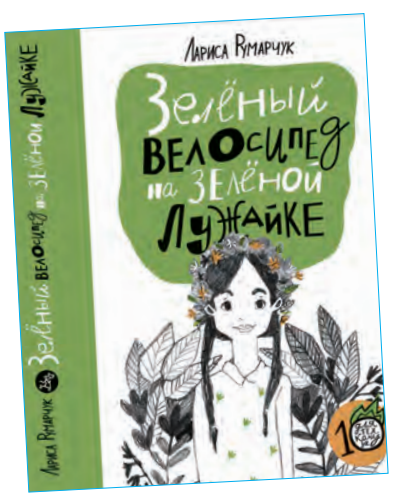
Ларс Соби Кристенсен.
ГЕРМАН (2017)
Перевод с норвежского Ольги Дробот

Одиннадцатилетнему Герману Фюлькту жизнь внезапно преподносит неприятный сюрприз. Оказывается, бывают проблемы, с которыми не сталкивались ни родители, ни одноклассники, поэтому даже любящие люди все время делают глупости, а искать выход и приноравливаться к обстоятельствам приходится самому. На этом непростом пути случается много смешного и грустного, но Герман все-таки выходит победителем. Эта книга говорит о важных вещах тихим голосом, спокойно, с иронией, но при этом тепло и сострадательно.



Дарья Варденбург.
ПРАВИЛО 69 ДЛЯ ТОЛСТОЙ ЧАЙКИ (2017)

Одиночная кругосветка — давняя мечта Якоба Беккера. Ну и что, что ему тринадцать! Он сможет, надо только научиться ходить под парусом. Записаться в секцию легко. А вот заниматься... Оказывается яхтсмены не сразу выходят в открытое море, сначала надо запомнить кучу правил. Да ещё постоянно меняются тренеры, попробуй тут научись. А если у тебя к тому же проблемы с общением, или проблемы с устной речью, или то и другое вместе — дело еще усложняется...



Лариса Румарчук.
Зелёный велосипед на зелёной лужайке
(2017)

«Нетерпеливый радостный ветер», поющий о первой влюбленности, о первом танце, о первом походе в кино… В переживаниях девочки, попавшей в эвакуацию, эти события описаны ярко, поэтично и образно, в противоположность суровому военному времени. Далекое от нас детство в эвакуации, в Башкирии, потом в Подмосковье автор описывает с доверительной интонацией и вниманием к деталям, а трагизм происходящего смешивается с ощущением радости жизни – получается прекрасная проза и одновременно яркое свидетельство времени.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
СИАМЦЫ (2018)

Когда два 16-летних человека созданы друг для друга, но упорно не понимают этого, вмешиваются высшие силы. Родной город пытается окружить их любовью, сводит вместе, подключает помощников. Грои упорно не хотят видеть очевидного. Дочитайте эту историю — и поймете, что все мистические совпадения в вашей жизни были не случайны. Вас любят, нужно уметь не отталкивать эту любовь.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ (2017)

Что будет, если девчонка из 2012 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое «лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное — правда ли, что «время тогда было другое»? А может, все зависит только от тебя?..

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ (2017)

В этой книге авторы берут читателя за руку и уводят с занятий... Куда? Сюжет каждой из глав закручивается вокруг одного из воспитанников студии бального танца. Каждому из них есть о чём переживать — от безответной любви и проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные проблемы отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера. Открытый финал не решит всех проблем, но герои этой истории выйдут из нее другими людьми.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ALEKSANDRA» (ЭСТОНИЯ)

Даниил Второй — ученик начальной школы. Он не любит играть в народный мяч, мечтает о своей собаке и тайно влюблен в самую высокую девочку в классе. Родители мальчика работают в Швеции, а он живет в Эстонии со своим дедушкой Даниилом Первым. Жить с дедушкой весело и интересно: с ним можно пойти в поход и научиться варить мыло. Однако Даниил Второй ждёт не дождётся, когда вернутся родители. Как вдруг перед самым их приездом он знакомится с... Даниилом Третьим.
Иллюстрации: Ану Кальм.

Кадри Хинрикус.
ДАНИИЛ ВТОРОЙ
Перевод с эст. Майя Мельц. — Таллин, 2017

Ильмар Томуск.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ПИРОЖКИ С СОСИСКАМИ
Пер. с эст. Майя Мельц. — Таллин, 2017

Продолжение истории «Криминалисты из 3 «А». Брат и сестра по прозвищу Крабу и Крибу теперь уже ученики четвёртого класса. В школе старшие ребята организовали ученическую фирму, Крибу с Крабу берутся печь для них пирожки с сосисками, и к весне зарабатывают солидную сумму, достаточную, чтобы поехать вместе с папой и мамой в отпуск. Но в последний момент родителей вызывают на работу, и детям приходится лететь одним. На месте их встречает старый друг — студент Пауль. Радость от встречи омрачает потеря нового телефона, однако смекалка и сообразительность помогают друзьям обернуть неприятности в свою пользу.

Андрус Кивиряхк.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЛОТТЫ В ТЁПЛЫЕ КРАЯ
Пер. с эст.: Ирина Мелякова, Нэлли Мельц. — Таллин, 2017

Лотте вместе с папой и дядей Клаусом садятся в самодельный самолёт, чтобы доставить птенчика Пипо к его бабушке. Но как говорит Клаус: «Путешествовать — это не значит мчаться сломя голову». Поэтому в пути герои делают частые остановки по поводу и без, знакомятся с жителями и обычаями разных стран и творят множество добрых дел. Первая книга «Лотте из Деревни Изобретателей», написанная на основе этого мультфильма, вышла в 2009 году.
Иллюстрации Хейки Эрница.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОХОТНИК», МАГАДАН

Наталья Алексеева, Оля Парасоль; Художник Саша Садовская
СЕВЕРНАЯ АЗБУКА (2016)

«…в этой книжке есть все: и лирическое настроение, и юмор, и игра, и полезные сведения, и замечательные иллюстрации и даже наклейки. И что немаловажно, в ней есть настоящая любовь к родному краю, к северной природе. Прочитав ее, сразу хочется бросить все дела и ехать в Магадан, чтобы увидеть эту красоту своими глазами: и зверей, и птиц, и рыб, и грибы, и ягоды, и травы... "Северная Азбука" поможет ребятам быстрее выучить все буквы и освоить грамоту, а взрослым, которые ещё не разучились читать, доставит радость и удовольствие». Андрей Усачев

Кадри Хинрикус

Даниил Второй

Главы из книги

С эстонского. Перевод Майи Мельц

Листопад

Мой любимый предмет в школе — природоведение. Родной язык мне тоже нравится, но природоведение интереснее. В начале учебного год наша новая молодая классная руководительница по фамилии Милая велела всем сделать гербарий. Ха! Пара пустяков! Надо насобирать с разных деревьев листьев, наклеить их в тетрадку и под каждым листиком написать, как дерево называется. Я собрал много: листья клена, березы и рябины, каштана и лесного ореха, липы, дуба, ольхи, а также яблони, вишни и груши. В конце приклеил еще листики калины и кизила — просто потому, что они красивые. Хотя я знаю, что это не деревья, а кустарники, дедушка мне однажды показывал.

— Больше всего меня порадовал гербарий Даниила. Он собрал очень много разных видов. Посмотрите, как богатая у нас природа, — похвалила учительница.

Она прошлась по классу с моей работой и показала ее всем. Мне даже стало неловко.

— А вот к Юргену у меня будет несколько вопросов, — учительница наконец-то отложила мой гербарий и повернулась к Юргену: — Ты наклеил в тетрадку много разноцветных листьев, а вот с названиями у тебя проблема.

Юрген поднялся из-за парты.

— Смотри, тут приклеен красный листик, тут желтый, дальше зеленоватый, потом коричневый и еще большой пестрый лист, — учительница перелистывала тетрадку Юргена. — А почему ты не написал названия деревьев?

Юрген уставился на свои сандалии.

— Как ты думаешь, как называется вот этот красный?

— Это от клена, — пробормотал Юрген.

— Правильно, Юрген. А этот желтый?

Кадри Хинрикус (род. 1970) — тележурналист и писатель. Окончила Таллиннский педагогический университет по специальности режиссура. Ведет на Эстонском ТВ передачу о природе «Озон». Первую книгу для детей «Мия и Фрида» она выпустила в 2008 г. Затем опубликовала воспоминания «Когда мамы были маленькими» (2009). Книга «Пусть добрые феи тебя берегут» выдержала уже три издания (2012, 2013 и 2017).

«Даниил Второй» — первая книга Кадри Хинрикус, переведенная на русский язык. «ДН» благодарит таллинское издательство «Александра» за предоставленную возможность опубликовать главы из этой книги.

— М-м-м, это березовый.

— Нет. Кто знает, с какого дерева этот листик? — обратилась учительница к классу.

— С клена! — закричали все наперебой.

Юрген удивленно поднял голову:

— С клена же был красный.

Учительница перевернула страницу в тетрадке и спросила у Юргена, как называется следующий лист.

— Это дуб, — после долгого молчания отозвался Юрген.

— Это тоже клен, — опять дружно закричали все и засмеялись.

— Вот именно! Красный — это кленовый лист, и желтый — кленовый, и коричневый, и зеленый, и пестрый — все это листья клена. Юрген, золотце, разный цвет еще не означает, что листья от разных деревьев. Будешь на природе — открой глаза и смотри внимательно.

Учительница Милая вернула гербарий Юргену.

— Постарайся его дополнить, — добавила она и по-доброму улыбнулась.

Юрген плюхнулся на свое место. Урок продолжался.

— Посмотрим, что мы запомнили с прошлого раза, когда говорили о плодах разных деревьев. Тийна, как называется плод яблони?

— Яблоко.

— Правильно. Плод терносливa, Каспар?

— Терносливa.

— А грушевого дерева?

— Груша.

— Тоже правильно. Юрген, а что растет на ёлке?

— Ёлки.

Какой поднялся хохот! Мне показалось, что учительница тоже едва сдерживает улыбку. Все в классе расшумелись, пока учительница не повысила голос. Роланд рядом со мной прямо икал от смеха.

— Роланд сейчас угомонится и скажет нам, что же растет на елке.

— Шишки, — пробулькал Роланд, хватая ртом воздух.

И тут прозвенел звонок.

— Не убирайте свои гербарии, на следующем уроке мы будем рисовать листья по образцу и раскрашивать, — объявила учительница и ушла.

В классе по-прежнему царило веселье, даже девочки хихикали больше обычного.

— Ого, смотрите, какой ливень! — крикнул Каспар, показывая за окно.

— Льет как из ведра!

Все столпились у подоконника.

— Ничего себе!

— Настоящий потоп!

— А когда снегопад — все равно лучше, чем дождик! — сказал кто-то.

— Нет, круче всего — это когда листья падают! — послышалось в ответ.

Это был Юрген. Он уже пришел в себя после учительской критики и опять был готов действовать. Никто и опомниться не успел, как Юрген подбросил свой гербарий к самому потолку. Некоторые листики отклеились и закружились над нашими головами.

— Листопад! — засмеялся Роланд.

Юрген вытащил из вазы на учительском столе целую охапку листьев и опять швырнул вверх. Тут уж и Оскар запустил в воздух свою тетрадку. Роланд и Тармо подкинули свои листья одновременно, а за ними и Маркус. Я тоже метнул свой гербарий, и даже повыше, чем они. Я не успел заметить, помогали нам девочки или нет устраивать листопад, но по всему классу летали разноцветные листья. Они были

повсюду: на полу, на партах, на шкафах, на одежде и в волосах. В общей возне листья забивались нам даже в нос и в рот. Отличный получился листопад! Правда, учительница была другого мнения. Когда она зашла в класс, вид у нее был такой, что ее стало прямо-таки жалко.

— Но тогда уже поздно как-то было... — признался я дедушке вечером.

Война из-за женщин

На уроке математики мы измеряли стороны треугольника. Не слишком увлекательное занятие. Но ничего, терпимо. Дедушка тоже говорит, что не все в жизни бывает прекрасно и удивительно.

Но что меня очень радует — так это мое место, самое лучшее в классе. Рядом за партой сидит мой лучший друг Роланд, а передо мной — Тийна. У Тийны две косички до середины спины и смешные ямочки на щеках, когда она улыбается, а еще она — светлая голова. Про светлую голову сказала на уроке английского наша классная. Мне нравится Тийна больше других девчонок, хотя она в классе самая длинная. А по-моему, какая разница, кто какого роста, но разговор об этом то и дело заходит.

Так вот, мы измерили линейкой стороны треугольника, и тут нашу классную руководительницу вызвали к директору. Она велела нам спокойно заниматься дальше без нее. Сначала все сидели тихо. И тут Юрген так звонко шлепнул линейкой по парте, что все подпрыгнули.

— Спорим, что на свете нет такой линейки, чтобы измерить долговязую Тийну!

Понятное дело, что такое заявление Юргена вызвало в классе оживление.

— Даже если сложить все линейки в ряд, то все равно не хватит! — поддержал Оскар.

— Тийна-три-шкафа — выше жирафа!

Про треугольники вдруг все забыли. Юрген подскочил к Тийниной парте.

— А вы знаете, что у Тийны есть второе имя — Телебашня? Познакомьтесь — Тийна-телебашня.

Кому-то стало очень смешно.

— А вы знаете, что у Юргена тоже есть второе имя — Юрик-дурик? — в тон ему ответила Тийна. Познакомьтесь — Юрик-дурик.

Тут расхохотался я.

— А-а-а, тут у нас сидит Данишка-коротышка, — широким жестом указал на меня Юрген. — Давно уже известно, что Данишка-коротышка по уши втюрился в Тийну-телебашню.

— Ну ты, дурик! — Роланд встал на мою защиту.

— Тили-тили-тесто, жених и невеста! Даник в мяч играть не умеет, вот и водится с девчонками!

— Сам ты водишься с девчонками!

— Если ты мужик, выходи! — Юрген схватил линейку, как шпагу, и принял стойку. — Я вызываю тебя на трунир!

— На турнир, ты хотел сказать!

— Не придирайся!

— Давай, врежь ему пару раз, — подзадорил меня Роланд.

Я и вышел, тоже схватил свою линейку, как будто шпагу, и мы стали сражаться. Я представлял себя Робин Гудом, который борется в Шервудском лесу за справедливость. Понятия не имею, кем представлял себя Юрген, но дрался он лихо. Но и я не подкачал. Мы наскакивали и отбегали, в ушах звенели подбадривающие выкрики одноклассников. Мне удалось несколько раз ткнуть Юргена в живот, а мне пару раз больно досталось по пальцам. И все же я оказался проворнее — успех стал склоняться

на мою сторону. Юрген отступил к стене. В голове у меня уже зазвучали победные фанфары, как вдруг кто-то сильно огрел меня по спине. Это Оскар пришел на помощь своему другу. Конечно, так было нечестно. Роланд мгновенно отреагировал на это и, размахивая линейкой над головой, как мечом, с диким воинственным кличем вступил в бой.

— Вперед, за родину и за народ! — кричал он.

Тут уж стало совсем не понятно, кто с кем борется. Маркус и Каспар тоже сражались бок о бок. Девчонки визжали, Юрген нападал, Оскар упал, я отскочил, Роланд крушил мечом все подряд, как сумасшедший.

Когда наконец учительница растащила наш воинствующий клубок, выяснилось, что у меня и у Юргена разбита бровь, у Оскара порван рукав, а рубашка Роланда лишилась трех пуговиц. Больше повреждений не было.

— Ах вот оно что... — выслушав подробности, протянул дедушка и поставил в дневнике под замечанием свою подпись. — Значит, до самого худшего дело не дошло.

— Ты так думаешь?

— Ну да. Я тоже однажды после жарких споров ударил твою бабушку.

Я замолчал. Свою бабушку я не помню, хотя один раз и встречался с ней. Бабушка умерла вскоре после моего рождения.

— А тебе было очень грустно, когда бабушки не стало?

— Это был самый печальный день в моей жизни.

— Но ты же не ревел?

— С чего ты это взял? — дедушка от удивления широко открыл глаза. — Как это я не ревел? Я плакал навзрыд, так что рубашка от слез на груди промокла, будто только что из стирки достали.

Тут настала моя очередь удивляться.

— Учительница на физкультуре сказала, что мужчины никогда не плачут.

— Ба! Подобную глупость стоит еще поискать! Что, разве мужчины роботы? Им и плакать нельзя?

— Учитель сказала, что настоящие мужчины не распускают нюни.

— Нюни распускать — это другое дело. Хныкать и ныть по пустякам даже девочкам не пристало. Но поплакать неделю из-за женщины — это самая малость, которую мужчина вообще может сделать.

— Самая малость? А что еще может сделать?

— Ох, много чего. Кто-то будет так и рыдать дальше. Другой начнет пить. А может даже войну объявить.

Дедушка всегда умеет меня удивить. Я был потрясен.

— А что, какой-то мужчина объявлял из-за женщины войну?

— Да. Это была Троянская война, она продолжалась десять лет. А началось все именно из-за женщины.

— И кто она была, эта женщина?

— Самая прекрасная женщина на свете — царица Елена. Она неожиданно влюбилась в одного молодого человека по имени Парис и сбежала вместе с ним в город Трою. Но беда в том, что эта женщина была уже замужем...

— Парис — странное имя.

— Имя в данной истории неважно, Даниил! Слушай внимательно!

— Так я и слушаю.

— М-м-м... на чем мы остановились?

— Мы остановились, что та Елена взяла и забыла, что она уже замужем.

— Ах да. И сбежала в Трою. Ее муж, известный король Спарты, объявил Трое войну, чтобы вернуть свою жену. Вот там-то уж рубились так рубились!

— Ну? И вернул он свою жену?

— Не волнуйся, вернул. К тому же случилось все это еще до того, как ты родился.

Дедушка успел расстелить мне постель.

— А теперь пора на боковую. Смотреть сны про Троянскую войну.

Я лег в кровать, а дедушка подоткнул мне одеяло.

— Все-таки хорошо, что ты не начал из-за бабушки войну.

— Да, наверное. И знаешь, почему?

— Не знаю.

— Потому что твоей бабушке не понравилось бы это. Она была добрая и миролюбивая. А теперь спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Дедушка добрел до своей кровати и щелкнул выключателем. Стало темно. Какое-то время мы тихонько сопели. Вдруг дедушка прошептал:

— Даниил!

— Да? — шепотом ответил я.

— Ты-то не собираешься из-за кого-нибудь начинать войну?

— Сейчас пока нет.

— Вот и хорошо. Война — дело такое, если можно ее отложить, то надо отложить.

— Угу.

Ночью мне снилось, как я в яростной схватке спасаю Тийну от Юргена.

Компьютерные игры

После уроков я позвал Роланда к себе домой, потому что мне показалось, что нервы у него на пределе. Друзья для того и есть, чтобы помогать друг другу в трудный момент. Я тоже решил поддержать друга. У Роланда дома семь сестер и братьев, четверо из них младше него.

— Знаешь, иногда очень весело жить всем вместе, но зато, спорим, ты никогда не найдешь свои вещи там, куда ты их положил, — жаловался Роланд утром. Он был сердит и мрачен. — Например, вчера вечером я остался без своего мобильника.

— Тебе ж его только что купили.

— Вот именно. А одна моя младшая сестра, за которой меня попросили присмотреть, сунула его в кастрюлю с супом.

— А ты за сестрой не смотрел, что ли?

— Смотрел, конечно! Только, понимаешь, мне хотелось доиграть в компьютере в одну игру.

Я-то прекрасно понимал.

— А когда мама стала разогревать суп с клецками и вытащила из кастрюли телефон, то разборок хватило на целый вечер.

Дедушка непременно сказал бы на этом месте, что жизнь не всегда бывает прекрасна и удивительна.

Я пообещал Роланду, что у меня можно играть в компьютер в полном спокойствии, и никто в это время не станет кидать наши вещи в кастрюлю с супом.

— Ладно, — согласился Роланд.

Я закрыл дверь на ключ, подтолкнул Роланда в прихожую и крикнул дедушке:

— Привет!

— У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, — раздалось в ответ.

Мы с Роландом резко бросились на пол и прижались друг к другу.

— У-у!

Дикий вой, от которого кровь стыла в жилах, доносился из кухни. Казалось, в дом к нам пробрался огромный свирепый волк.

— Вы что, волка себе завели? — испуганно прошептал Роланд.

Мы оба были готовы драпануть куда подальше. Я представил, как дедушка закончил свою жизнь в волчьих зубах, и у меня комок подкатил к горлу.

— Надо бежать быстрее и вызвать полицию!

Роланд пошарил в поисках мобильного, без которого он остался еще вчера.

— Мне надо найти дедушку!

И тут снова раздался вой. Роланд стал звать на помощь и кинулся к выходу. Мы дергали и толкали дверь, но она не открывалась.

— Здравствуйте, мальчики! — послышалось у нас за спиной.

Роланд тихонько всхлипнул и, съежившись, сполз по стене на пол. Я обернулся и встретился лицом к лицу с дедушкой:

— Так ты живой?

— Живой. А почему нет? И зачем вы дверь пинаете? Даниил, ты же знаешь, что дверь открывается вовнутрь.

Роланд поднялся на ноги.

— Вы завели себе волка?

— Мы? Завели волка? — не понял дедушка. — А-а-а, вы вой услышали... — рассмеялся он. — Идите, послушайте, как волк ночью воет на луну. Это в компьютере.

Не знаю, как чувствовал себя Роланд, но мне было немного не по себе. Ладно бы младшая сестра Роланда вообразила, что волк пробрался в городскую квартиру, но мы-то уж должны быть посообразительнее.

— Прекрасная запись. Голос волка записан у нас, в эстонских лесах.

Мы опять послушали. И правда, здорово было представлять себе огромную волчью стаю темной ночью. Страха больше не чувствовалось, хотя странная дрожь мелкой рябью пробегала по спине.

— Ученые выяснили, что волк воет от тоски. Если вожак или один из волков оказался далеко от стаи, то волки начинают выть.

Дедушка закрыл компьютер.

— Мы собирались поиграть в компьютер, — наконец я вспомнил, что обещал Роланду.

Дедушка и ухом не повел и убрал ноутбук.

— Вы видели, как изюм танцует? Я сегодня купил пакетик. Но прежде чем мы съедим изюмины, пусть они нам потанцуют.

Разошелся наш дед, должен я вам сказать. Он налил в стеклянную мисочку газировки и насыпал туда горсть изюма. Сначала все изюмины осели на дно, а потом опять всплыли. И так несколько раз — туда-сюда, туда-сюда. И вправду как будто танцуют.

— Смотрите, каждый пузырек газировки берет за шкирку изюминку и тащит ее со дна наверх.

— У них там своя музыка, — пошутил Роланд. — Пузырный изюмный рок!

Мы склонились над мисочкой.

— Роланд, какой у тебя в школе любимый предмет?

— Ну точно не музыка. Я такой же музыкальный, как корова.

— Корова?! — воскликнул дедушка. — Корова очень даже музыкальная.

Он уже возился с посудой.

— Когда я служил в армии, у нас был свой учебный плац, а неподалеку — хутор, где хозяин держал корову. Корову звали Нетти. Так вот эта Нетти была очень музыкальной.

— Что ты выдумываешь?!

— Ничего я не выдумываю! Мы там занимались шагистикой и без конца маршировали на плацу туда-сюда, туда-сюда под гремящую музыку, то Нетти всегда приходила к нам на плац, пристраивалась к нам и топала вместе со всеми. Классная корова! Махала хвостом в такт музыке. Но все равно хозяину велели привязать Нетти.

— Почему?

— Потому что Нетти часто оставляла за собой на плацу большие теплые лепешки, а солдаты маршировали, куда деваться, прямо по ним, так что срач был такой что... Ой, что это я, мальчики, некрасиво так сказал. Извините меня! Пусть это останется между нами.

Мы с Роландом давно так не смеялись.

— А начальство решило, что у солдат уходит очень много времени на то, чтобы очистить сапоги, — закончил дедушка свой рассказ и подбоченился: — Ну так что? Начнем уже, наконец?

Пока дедушка нам все это рассказывал, он успел заставить весь стол разными формочками и баночками, принес пакет с соком, овсяные хлопья, лимон, сушеные цветы лаванды и еще много чего.

— Что «начнем»?

— Делать мыло, конечно же. Разве я вам не сказал, что сегодня будем варить мыло? Кажется, я говорил.

Мы с Роландом были уверены, что дедушка об этом нам даже словом не обмолвился.

— Ну да ладно. У вас в школе скоро рождественский праздник. Даниил говорил, что надо приготовить подарок.

— Ну да, надо.

— Вот я и подумал, что в подарок сварим мыло. Моя мама всегда говорила, что каждый ребенок должен соблюдать чистоту. Когда я был такой, как вы сейчас, ох, сколько мама мыла извела, чтобы меня отмыть, особенно много мыла уходило на уши и на волосы.

Ни я, ни Роланд раньше не варили мыло. Звучало заманчиво. Дедушка дал Роланду терку и велел натереть старые обмылки, а мне поручил накрошить лаванду и порезать лимон. Дедушка в это время поставил на огонь кастрюлю с водой и соком, потом мы добавили туда овсяные хлопья и натертое мыло. Мешали мы по очереди, добавляя немного сахара и в конце — лаванду.

— Вот, смотрите, уже начинает густеть, — пришлепывал я половником кипящее варево.

— Как кисель, — подтвердил Роланд.

В кухне повеяло горьковато-сладким ароматом лаванды.

Потом мы разлили мыльную смесь по разным формочкам. В некоторые кинули по ломтику лимона.

Нам с Роландом было весело.

— Здорово, если вам нравится. Пусть теперь все это тут спокойно остынет и загустеет. А потом Роланд выберет себе, что понравится, и заберет домой.

Незаметно настал вечер. За окном уже стемнело. Мы с дедушкой проводили Роланда, чтобы ему не пришлось одному идти в темноте.

— Поди знай, вдруг волк еще встретится на пути, — подмигнул нам дедушка.

Уже около дома Роланда я вспомнил, что мы так и не поиграли в компьютер.

— Ничего, с дедушкой было даже интереснее, — ответил Роланд.

Наши с дедушкой дела

— Поешь хорошенько. Нам сегодня надо в город, у нас там много дел.

Дедушка положил на тарелку три жареных яйца с кусочками ветчины. Уж очень вкусно они пахли, но глаза у меня все равно слипались. И зачем в такую рань так бодро начинать субботнее утро? Я посмотрел на дедушку. Он уже надел вязаную кофту и беспокойно топтался возле стола.

— Сначала мы пойдем в универмаг, купим тебе новые брюки — изо всех старых ты уже вырос. Мама ни за что не простит мне, если я отправлю тебя в школу получать табель в коротких штанах.

Я откусил большой кусок ветчины. Ходить по магазинам скучно.

— Потом надо отнести в библиотеку целую стопку книг, которые мы брали читать. Я их уже приготовил. Потом непременно нужно зайти на почту и отправить маме в Швецию ее вечернее платье. Она мне об этом уже сто раз напоминала. Самый крайний срок, через три дня она в этом платье пойдет на праздничный ужин. И потом зайдем в магазин купить еду. У нас все полки в шкафах пустые, как во времена большого голода.

Дедушка выхватил у меня из-под носа тарелку, как только я положил в рот последний кусок.

— Давай, собирайся!

На улице весна наконец-то дала о себе знать: солнце светило, в траве пробивалась мать-и-мачеха, на деревьях распустились листья и воздух звенел от птичьих трелей. Мы зашагали к центру. Дедушка нес под мышкой пакет с маминым платьем, а я тащил сумку с книгами.

— Глянь-ка, сколько черных стрижей! — дедушка показал на небо. — Их часто путают с ласточками, но у стрижа брюшко черное, а не белое, как у ласточек.

Мы потопали дальше.

— Давай сделаем небольшой крюк и заглянем в парк. Посмотрим — на том же каштане у нашей зеленушки гнездо, что и в прошлом году?

И мы направились в парк.

— Точно! Ты видишь? — ликовал дедушка, как будто встретил доброго старого знакомого. — У них начался брачный ритуал. Ты видишь, как самец сидит на краю гнезда и кормит свою самочку? Здорово, правда?

Конечно, это было здорово. Еще мы увидели зеленую пересмешку, зарянку, маленькую мухоловку, щегла и множество синичек, воробьев, ворон и голубей.

— А ты знаешь, что зябликов у нас живет больше, чем людей? — нацепив на нос очки, спросил дедушка, разгуливая меж кустами. — Если нас, эстонцев, примерно миллион, то зябликов пара миллионов пар. Только представь себе!

Я попытался представить, но тяжелые книги оттягивали мне руки, что невольно умеряло мой восторг.

— Может, пойдем дальше? Сдадим уже эти книги, — предложил я.

Дедушка встрепенулся:

— Конечно, нам пора! У нас сегодня так много дел! Прибавим шагу! — и рванул с места.

Мне пришлось постараться, чтобы поспевать за ним. Мы остановились еще только один раз, когда дедушкино внимание привлекло воробьиное гнездо, устроенное под окном прямо в штукатурке дома.

— Вот все-таки птицы — умные создания, не находишь?

— Нахожу, — запыхавшись, ответил я.

В библиотеке я смог перевести дух и освободиться от тяжелой ноши.

И мы продолжили путь. Следующим пунктом на повестке дня значилась покупка брюк. В универмаге толпился народ, а в отделе детской одежды висело море штанов. Первые брюки, которые я примерил, оказались слишком широкими, вторые — слишком узкими. Когда я надел третью пару, то дедушка заявил, что в них я выгляжу как балерун на сцене театра «Эстония». Четвертую пару, с которой явилась продавщица, я отказался мерить, потому что штаны были розовые.

— А что конкретно вы ищете? — раздраженно спросила она.

— Нам нужны темные приличные брюки, в которых Даниил Второй через пару

недель пойдет на вручение табеля, — терпеливо ответил ей дедушка, утирая большим носовым платком пот.

— Так сразу и сказали бы, — и продавщица принесла нам брюки, которые прекрасно подошли.

Выйдя из универмага, мы направились на почту. Воздух по-летнему прогрелся, навстречу нам попадались женщины, у которых юбка заканчивалась примерно там же, где и начиналась.

Дедушка расстегнул на кофте пуговицы.

— Как думаешь, если мы прибавим шагу и по пути заскочим в садоводческий магазин? Мне позарез нужно купить пару больших цветочных горшков и пакетик удобрений.

После канители в универмаге я без энтузиазма, но согласился. В садоводческий магазин только что завезли новый товар. Это значит, что дедушка с головой окунулся в разные саженцы, семена, луковицы, пакеты с землей и удобрениями, лейки, брызгалки для цветов и яд для крыс. Я катил тележку, а дедушка закидывал туда всякие разности.

«Яд для мышей можно и не покупать, тогда у нас появилась бы надежда завести хоть одно домашнее животное. А маме знать об этом необязательно», — пробурчал я про себя.

— Мать честная! — вдруг всполошился дедушка. — Сколько времени? Нам же надо еще на почту, пока она не закрылась! Мы должны успеть отправить вечернее платье, иначе нам хана.

Дедушка круто развернул тележку к кассе. Мы разделили весь купленный товар на двоих и припустили к почтовой конторе. Теперь у меня в руках вдобавок к пакету с брюками болталась еще сумка с двумя ящиками для балконных цветов и брызгалкой, а дедушка нес мамино вечернее платье, три горшка с гиацинтами и большую лейку. На почту мы примчались за две минуты до закрытия. Молодой работник уже собирался уходить.

— Погодите! — крикнул дедушка издалека. — Если вы хотите спасти наши жизни, то отправьте прямо сейчас в Швецию вечернее платье, в противном случае мне придется добираться туда вплавь.

Дедушка навалился грудью на прилавок. Мы оба, вспотевшие, шумно дышали. Почтовый служащий отступил вглубь.

— Что происходит? За вами гонятся? Может, вызвать полицию?

— Пока что не стоит. Полицию, скорую помощь и пожарных вызовете в том случае, если это несчастное платье вовремя не прибудет в Швецию.

Понятное дело, это было преувеличение, но, во всяком случае, подействовало незамедлительно. Молодой человек взял у меня пакет, закинул его в большую коробку, дедушка написал адрес, куда нужно доставить посылку, и оплатил счет. Мы облегченно вздохнули.

— Еще бы чуть-чуть и все, — радовался дедушка, когда мы снова оказались на улице. — У нас с тобой все идет как по маслу.

— Я такой голодный, что сейчас съем лейку, — простонал я, изнывая под тяжестью цветочных ящиков.

— Сейчас мы это быстро поправим. Нам осталось только зайти за продуктами.

Казалось, дедушка неутомим. Мы договорились, что в магазин он зайдет один, а я пока со всеми котомками передохну на скамейке в парке. Я вытянул ноги. Так приятно. Пахло черемухой. Пара чаек кружила вдалеке, две синички скакали около меня. Дедушка говорил, что если сидеть, не шевелясь, на одном месте, то синичка сядет на ботинок и начнет клювом развязывать шнурки. Я терпеливо ждал. Но прежде чем ко мне успела подлететь синичка, ко мне подлетел дедушка с большой сеткой продуктов. Среди упаковок и пачек он выудил два куска пиццы.

— Тебе с ветчиной или с курицей?

Я взял с курицей. Какая же она была вкусная! Запах пиццы понравился и чайкам. Они стали кружить над нами, а одна чайка настолько осмелела, что села прямо к нам на скамейку. Дедушка как раз доставал из коробки свою пиццу:

— Смотри, Даник, там вон семь скворцов. Да-да, весна пришла!

Не успел он договорить, как огромная жирная чайка стрелою сорвалась с места, выхватила у дедушки пиццу и мгновенно взмыла вверх. За нею устремились орущие во все горло такие же разбойники. Дедушка вскочил, пытаясь схватить воровку, но взлететь, как она, все же не смог. Пицца, навсегда поменявшая владельца, плыла по воздуху в древесной кроне. В руках у дедушки осталась лишь пустая коробка.

«Вот все-таки птицы — умные создания» — вспомнилось мне дедушкино утреннее изречение, но я на всякий случай не решился произнести это вслух. Видно, что дедушка был расстроен, и я поделился с ним своею пиццей. До дому мы брели молча. Пернатые больше не привлекали дедушкино внимание.

Смертельно уставшие, мы притащились домой с сумками и пакетами. И только когда гиацинты в синих горшках были поставлены на подоконник и мы подкрепились пончиками с вареньем, к дедушке вернулись силы.

— И все-таки удачный был сегодня день, — дедушка, с чашкой кофе в руке, довольно откинулся на спинку кресла. — Одним махом управились с несколькими срочными делами и накормили пиццей чайку. Чего душе еще желать!

Я был того же мнения.

— Теперь примерь-ка свои новые брюки. А я на тебя посмотрю, как отлично ты в них выглядишь. Надень к ним белую рубашку и пиджак.

Конечно, мне было неохота, но я не стал перечить и поплелся в другую комнату, чтобы переодеться. Потом долго не выходил.

— Где ты там застрял? Иди уже сюда! — позвал дедушка. — Я хочу увидеть, в каком виде Даниил Второй пойдет получать табель! Я весь внимание. Жду показа мод!

И я показал ему моду. Распахнув дверь, я вышел в мамином длинном кружевном вечернем платье. Сегодня днем в почтовой конторе в Швецию отправились мои новые наутюженные брюки. Дедушка зажмурил глаза.

Знакомство с тетей Лууле

Дома я перерыл все ящики и шкафы в поисках клея, но чего нет, того нет. А мне, к сожалению, нужен был именно клей, чтобы смастерить из картона на урок труда вазу. И магазины были уже закрыты.

— Что нам еще остается? Придется пойти в потемках к соседке и одолжить у нее клей, — удрученно развел дедушка руками. — Будем надеяться, что она еще не легла спать.

— А ты знаешь соседку?

— Нет. Знаю только, что она довольно пожилая и держится особняком, — пояснил дедушка, входя в заросший травою соседский сад. — Посмотрим, повезет нам или нет.

Дедушка позвонил в дверь. Прошло немало времени, прежде чем за дверью послышались шаркающие шаги и мы увидели на пороге седую женщину в халате и в очках с толстыми стеклами. Дедушка не успел со своими извинениями и рта открыть, как хозяйка настойчиво пригласила нас войти. Она подтолкнула нас в комнату и протянула дедушке свою руку:

— Лууле. Меня зовут Лууле.

— Очень приятно, я Даниил.

Хозяйка взяла в ладонь мою руку.

— Я тоже Даниил. Даниил Второй, — представился я.

Тетя Лууле расплылась в улыбке:

— Представьте себе, за всю свою жизнь я не знала ни одного Даниила! И вот когда мне скоро исполнится 83 года, в моем доме оказываются сразу два Даниила. Никогда не знаешь, какие сюрпризы подкинет жизнь.

Она усадила нас на диван и спросила:

— Чем могу быть вам полезна? Что вам предложить — чай или кофе? У меня где-то в ящике должны быть соленые палочки.

Ее поток слов было трудно остановить. Тетя Лууле принялась накрывать на стол.

— Фрида, иди посмотри, у нас гости! — крикнула она в соседнюю комнату. — Фрида и все остальные уже улеглись, но они наверняка выйдут поздороваться с вами.

Дедушка вскочил с дивана и снова принялся извиняться:

— Дорогая Лууле, мы совершенно не хотели беспокоить ваших домочадцев. Пусть они спокойно спят. Мы пришли, только чтобы одолжить клей. Даниилу нужно смастерить для школы вазу, а он оставил все на последнюю минуту. И потому...

— Смотрите, вот она! — в голосе хозяйки послышались особо ласковые нотки: — Иди сюда, Фрида, поздоровайся с гостями!

Мы с дедушкой обернулись поздороваться. В комнату вошла серая полосатая кошка с белыми лапками.

— Ага! — сказал дедушка.

— Ого-о-о-о-о-о! — сказал я.

Кошка ничего не сказала.

Я присел на корточки и протянул к ней руки. Кошка посмотрела на нас, подергала хвостом и, мягко ступая, подошла ко мне. Я был покорен.

— Это и есть Фрида?

— Да, это есть и Фрида. Кажется, вы друг другу понравились.

Я не мог отвести от нее глаз.

— Ну, пойдемте пить чай, — позвала нас тетя Лууле.

Дедушка потянул меня за руку, и я встал.

— На самом деле Даниил пришел только за клеем, чтобы сделать домашнее задание. Мы действительно не хотели вас беспокоить.

— Даниил получит свой клей и сделает такую вазу, что все удивятся. А чай можем все равно попить.

Дедушка покорно согласился, к тому же он страшно любит соленые палочки. Пока мы пили чай, я рассказал, что, кроме клея, мне нужен картон, цветная бумага, пуговицы, может быть, перья, тесьма, неплохо бы заполучить еще пластилин и акварельные краски. Дедушка закатил глаза.

— Ты мне говорил только про клей, — запинаясь, ворчал он.

— Ну мне же надо, чтобы было что клеить, — защищался я.

— Ты всегда оставляешь на последнюю минуту.

— Все в полном порядке, — вмешалась соседка. — Не стоит волноваться! Вот в этом большом ящике найдется все необходимое. У меня с годами кое-что накопилось в хозяйстве. Ты, Даниил, можешь спокойно мастерить, а мы пока с твоим дедушкой посидим, поговорим. У меня так редко бывают гости.

Дедушка успокоился. Казалось, ему начинало нравиться происходящее. Тетя Лууле пододвинула к дедушке соленые палочки.

— Кстати, перья поищем чуть попозже в соседней комнате. Для начала материала должно хватить.

В ящике действительно оказалось куча всего мне нужного. Я пересел со своей работой за низкий кофейный столик и стал вырезать, рвать и клеить. Кошка терлась возле меня. Фриде, видно, было интересно, чем я занимаюсь. Особенно ее привлек моток тесьмы. Она легонько потрогала его лапкой, и клубок размотался. Потом она

заглянула в коробку с пуговицами и столкнула ее на пол. Разноцветные пуговички рассыпались по полу. Затем она занялась кусочками бумаги, ловко подкидывая их в воздух лапой.

— Ну-ка, я посмотрю, может, и Фред захочет составить гостям компанию, — вдруг вспомнила тетя Лууле и поспешила в соседнюю комнату.

Мы с дедушкой переглянулись.

— Конечно, и Фред тоже хочет поздороваться с гостями, — донеслось из-за двери. — Фред очень любит гостей, просто немного стесняется. Ну ничего, он сейчас освоится.

На пороге комнаты появилась тетя Лууле, на руках она держала маленького белого кролика.

— Познакомьтесь, это Фред.

Соседка передала кролика мне в руки. Я обрадовался до умопомрачения, что не нашел дома клея: я сижу и клею вазу, с правой стороны Фрида играет с тесьмой, а слева с любопытством смотрит на меня кролик. Я не столько клеил, сколько похлопывал, тискал и гладил животных.

— Даниил, наверно, очень любит животных? — услышал я голос тети Лууле.

— Да он ими просто бредит.

— Как и я. Больше всего я люблю животных и книги.

— Вот как?

— У меня вся соседняя комната заставлена книгами. Читаю, насколько старые глаза позволяют, но все равно непростительно много полезной литературы остается непрочитанной. Я скорее совсем состарюсь.

— Потому вас на улице почти никогда и не видно. Вы все время читаете?

— Да на моих старых ногах далеко не уйдешь. Уж лучше пространствую по миру с помощью книг. Вот в этом кресле я уношусь в далекие путешествия. Вчера только вернулась из Китая. А когда устаю читать, то занимаюсь Фридой, Фредом, Фандой и Филле.

Я навострил уши.

— А кто такие Фанда и Филле?

— У них мы одолжим перышки, когда они тебе понадобятся для вазы, — ответила тетя Лууле.

— А перышки мне как раз уже нужны, — я вскочил на ноги. Мне не терпелось узнать, какие еще удивительные вещи скрываются в соседней комнате.

— Ну пойдем тогда.

Дедушка пошел с нами.

И точно, как тетя Лууле и говорила, соседняя комната была с пола до потолка уставлена книгами, будто мы попали в библиотеку.

— Вы все это перечитали? — с удивлением спросил дедушка.

— Все, наверное, нет, но некоторые книги я читала по несколько раз. Раньше я переводила с венгерского языка. Мой муж был венгр, его звали Ференц. Он уже давно умер.

Дедушка понимающе кивнул. Тетя Лууле подошла к низенькому комоду, на котором стояло что-то, накрытое темной тканью. Она сдернула покрывало, и мы увидели птичью клетку с двумя канарейками.

— Фанда и Филле, — представила соседка своих очередных домочадцев. — Они сейчас сонные, а с утра начнут петь бархатными голосами и чирикать. Сколько от них радости!

— Кто из них Фанда и кто Филле? — поинтересовался я.

— Фанда — вот эта, с желтым пятнышком, — тетя Лууле указала через прутья клетки на зеленовато-желтую птичку и пальцами выудила со дна клетки пару цветных перышек.

— Фанда и Филле, несомненно, будут рады, что ты украсишь вазу их перьями. Они очень добрые.

Я сказал спасибо птичкам и тете Лууле, а потом приклеил перышки на вазу. Очень красивая ваза получилась.

Мне страшно не хотелось уходить от соседки, но дедушка подгонял меня, потому что часы показывали уже полночь.

— Мой дом всегда для вас открыт. Можем вместе читать книги и пить чай.

Дедушка поклонился, пожал руку и еще много раз извинился за ночное вторжение. И мы ушли. А тетя Лууле осталась собирать пуговицы, обрезки цветной бумаги и очищать от клея кролика.

Наступают каникулы

И вот наступил последний учебный день. В бодром настроении я отправился в школу за табелем. На мне были новенькие брюки со стрелками. Мама прислала их мне обратно из Швеции с наставлением быть внимательнее и присматривать за рассеянным дедушкой. Она совсем не сердилась, что мои брюки и ее вечернее платье перепутались. В конце письма, как обычно, была приписка: «Обнимаю крепко, твоя мама». Уже скоро они с папой приедут на лето домой. Я ждал их с нетерпением.

Первой, кого я заметил, на школьном дворе, была Тийна. В голубом платье и с развевающимися каштановыми волосами, она въезжала во двор на велосипеде. По-моему, она была очень красивая.

Учительница Милая раздала нам табели и пожелала веселых летних каникул. Мы вышли на улицу и гурьбой, во главе с Юргеном, понеслись с мальчишками играть в футбол.

С Роландом мы еще раньше договорились, что пойдем кататься на велосипедах. Только занесем домой табели и потом сразу встретимся у кинотеатра.

— Я позову Тийну с нами, чтоб ты знал, — небрежно бросил я Роланду.

Роланд изучающе посмотрел на меня.

— Ну приходите! Скоро увидимся!

Все-таки Роланд очень разумный парень.

Дома дедушка внимательно разглядывал мой табель — сначала в очках, потом без очков. Я уже стал дергаться. Наконец он обнял меня.

— Жизнь сегодня особенно прекрасна, Даниил Второй. Ты меня очень порадовал. Табель исключительно однообразен — одни пятерки!

— Я постараюсь в следующем году его разнообразить, — пообещал я дедушке. — Мы поедем на велосипедах покатаемся.

— Только к реке не ездите. После сильного ливня там все склоны развезло и течение сильное.

Мы с Тийной и Роландом поехали на берег реки. Дедушка оказался прав — косогор развезло от грязи.

— Я бы все равно хотел спуститься к воде, — сказал Роланд.

— Начерпаешь грязи в сапоги, — предупредил я.

А Тийна предложила залезть на большой камень, оттуда сверху все хорошо просматривается.

Забраться на громадный гладкий валун оказалось не так-то просто, приходилось умело использовать каждую трещину и выступ. Мы топтались около каменной глыбы, подпрыгивали, пробовали зацепиться. Первой удалось заползти наверх Тийне. Когда мы с Роландом тоже влезли на камень, она уже успела распаковать сумку с едой.

— На прогулке всегда здорово устроить пикник. Тут вот бутерброды с сыром, ветчиной и помидорами. Берите, кому что нравится.

Нам нравилось все. Валун был настолько большой, что мы втроем запросто уместились на нем. Мы сидели, по-портновски скрестив ноги, вокруг разложенного угощения, радовались наступившей свободе и болтали. Наши головы почти касались листвы, вдалеке виднелись дома, а перед ними расстилалось широкое поле с редкими кустиками и зарослями ольхи. Ну и река, конечно.

— Интересно добраться до самого берега! Там валяются большие ветки, их можно скинуть в воду, — заерзал Роланд. — Давай хотя бы попробуем.

— Ну давай попробуем, — согласился я.

Но для этого прежде всего надо было спуститься с камня. Это оказалось еще труднее, чем залезать. Роланд соскользнул на полпути и рухнул наземь, как мешок с мукой. Сначала он не шевелился. Мы с Тийной не знали, что и делать.

— Ты можешь двигаться? Вставай! Открой глаза!

Роланд с трудом перебрался в сидячее положение.

— Как странно, когда я падал, то вообще не понимал — я лечу на землю или поднимаюсь в небо.

— На этот раз ты вернулся на землю. Неизвестно еще, как будет в следующий раз.

Я помог Роланду встать. Штаны у него порвались на коленке, а так он остался такой же живчик, как и раньше. Мы стали думать, как нам лучше всего добраться до воды. Глина под ногами размякла, кругом разливалось грязное месиво. Решили, что первым пойду я, потому на мне самые высокие резиновые сапоги. Я выломал себе длинную палку, чтобы мерить грязь. Сапог тут же провалился наполовину.

— Здесь довольно-таки глубоко, — сообщил я.

— Возьми правее, может, там земля потверже, — посоветовал Роланд.

— А ты можешь вернуться? — спросила Тийна.

Может, я и хотел бы вернуться, но азарт звал меня вперед. Добраться до воды казалось вопросом жизни. Шаг за шагом я продвигался вперед. Шагать по чавкающей грязи — дело непростое, настоящее упражнение на сохранение равновесия. Я успел пройти примерно половину пути, когда первый раз зачерпнул сапогом жижу.

— Что вы сидите? Вы разве не пойдете? — крикнул я Роланду и Тийне. Не очень-то приятно одному барахтаться в огромной непролазной луже.

— Я иду! — крикнул в ответ Роланд. — У меня есть план получше. Надо идти быстрее, а если ступать медленно, то труднее передвигаться.

Роланд разбежался и, прежде чем мы успели опомниться, он рванул и сразу очутился на самом топком месте. Едва шагнул три-четыре раза, как его ноги увязли в трясине. Роланд изо всех сил замахал руками и шлепнулся лицом прямо в грязь, так что брызги вокруг разлетелись. К несчастью, он уже почти добежал до меня, и я тоже потерял равновесие и плюхнулся на спину. Уши противно заложило.

Сначала мы с Роландом даже говорить не могли, столько грязи в рот набилось грязи. Мы оба поперхнулись. Краешком глаза я заметил, что Тийна пытается сдержать смех.

— Ты что, с ума сошел, на полном ходу в грязь лезешь? — напустился я на Роланда.

Весь перемазанный, он был похож на черта. Я понимал, что и сам выгляжу не лучше.

— Я хочу выбраться отсюда, — прохрипел Роланд. Он оперся на мое плечо, пытаясь встать. Я повалился набок, и Роланд снова брякнулся. Выковыривать себя из липкой грязи гораздо труднее, чем можно себе представить, особенно если ноги увязли уже выше колена. Мы отчаянно барахтались, пытаясь подняться, и опять попеременке падали — то Роланд, то я.

— Вам помощь нужна? — крикнула Тийна.

Несомненно, трудное для нас решение. Мы с Роландом переглянулись. Ни за

какие коврижки мы бы не согласились, чтобы нам помогала девочка. Но тут был исключительный случай.

— Ты можешь нас как-нибудь отсюда вытащить? — скороговоркой забормотали мы оба.

— Не надо барахтаться! Я протяну вам вон ту длинную палку. Беритесь за другой конец, я держу!

Я знал, что Тийна классная девчонка. Теперь в этом убедился и Роланд. Операция по спасению потребовала времени, но увенчалась успехом. Нам удалось, ухватившись за палку, каким-то образом выкарабкаться на твердую землю. У Роланда сапог так глубоко увяз в трясине, что ему проще было вытащить из сапога ногу. Роланд попытался спасти сапог и потянул его за голенище. С чавканьем сапог выскочил из топкой грязи и, выскользнув из рук, с бульканьем бухнулся в речку. И тут мы убедились, что течение действительно сильное — резиновый сапог понесло вниз по реке со скоростью скутера.

Тийне тоже не удалось остаться чистой, но по ее платью все-таки угадывалось, что когда-то оно было красным. Мы же были залеплены грязью так, что одежда вообще не просматривалась.

— Давайте побыстрее, поедем к моему дедушке, — торопил я, как только снова почувствовал под ногами опору. Нам было плохо, нас знобило, волосы слиплись от грязи. И мы что есть мочи помчались домой.

Ключей у меня с собой не было, поэтому я позвонил. Дедушка открыл дверь, но тут же с шумом захлопнул ее прямо перед самым нашим носом. Потом осторожно приоткрыл и выглянул в щелку.

— Боже мой, кто эти три черных чудища?

— Это мы, — ответили мы хором, а Роланд громко чихнул, так что грязные брызги полетели дедушке в лицо.

Дальше все развивалось очень быстро. Дедушка действовал, как командир военного отряда, четко отдавая приказы: «Снять грязную одежду! Встать под душ! Получай чистую одежду!»

Мы сели перед растопленным камином. На столе нас ждал горячий суп с фрикадельками.

— Берег у реки, видно, сильно размыло? — завел разговор дедушка.

— Да, и течение очень сильное, — ответил я.

И мы принялись за суп. Дедушка подбросил в камин поленьев и едва заметно улыбнулся.

Ольга Лебёдушкина

Учебная история

Юлия КУЗНЕЦОВА. Первая работа: Повесть. — М.: КомпасГид, 2016;
Юлия КУЗНЕЦОВА. Первая работа. Испания: Повесть. — М.: КомпасГид, 2017.

Школа — одна из главных тем детской литературы. Это настолько банально, что, казалось бы, и говорить не о чем. Здесь детскому писателю легче всего найти взаимопонимание с юным читателем разных возрастов — от 7 до 18, потому что, понятное дело, это территория общего опыта. А уж на этой территории может происходить всякое разное. Например, сложится настоящий любовный треугольник («Всего одиннадцать, или Шуры-муры в 5 «Д» Виктории Ледерман). Или разыграется прямо-таки голливудский «ужастик» (недавнее переиздание иронического романа ужасов Андрея Жвалевского и Игоря Мытько «Здесь вам не причинят никакого вреда» вполне свидетельствует о востребованности жанра). Или откроется целый цирк, он же — театр веселого абсурда, кому как нравится, — это, конечно же, весь Артур Гиваргизов, поэтический и прозаический.

Но в любом случае школа и учеба чаще всего становятся узнаваемым фоном для ярких событий и увлекательных приключений.

Иногда переход из класса в класс превращается в двигатель сюжета книжной серии: предполагается, что читатель растет и учится как бы вместе с героями. Так построены знаменитые «Рассказы про Франца» Кристине Нестлингер или истории про Эллу Тимо Парвела («Элла в первом классе», «Пат и второй класс»).

Все упомянутые авторы и книги — умные, интересные, талантливые. Не упомянутых, естественно, в разы больше, и они ничуть не хуже — за каждым примером стоит внушительный ряд.

А вот что действительно редко встречается, так это собственно школьная история. Точнее даже — не школьная, а учебная, в которой сам процесс учения становится сюжетом.

Почему так происходит, тоже понятно. Учеба может быть делом захватывающим, но описанию поддается плохо. То есть, поддается, но в результате, скорее всего, получится вовсе не захватывающе, а скучно.

Две части трилогии Юлии Кузнецовой — «Первая работа» и «Первая работа. Испания» — тот редкий случай, когда получилось не скучно. Обе повести о том, что учение — всегда обоюдный и взаимный процесс, что учитель и ученик учат друг друга и еще не известно, кто — кого больше. Такая вот педагогика сотрудничества, о которой как-то сейчас резко замолчали, но она все равно никуда не делась.

История, в общем, незамысловатая. Живет на свете пятнадцатилетняя Маша Молочникова, абсолютный гуманитарий, у нее плохо с математикой и неплохо с литературой, но звезда она не в школе, а на курсах испанского. И вот там однажды появляется возможность продолжить обучение в Барселоне. Стоит летний курс 250 евро. Машин папа работает ночным диспетчером в службе такси, мама — продавцом в магазине одежды, еще есть младшая сестра мамы Катя, которая воспитывает ребенка одна, — в общем, обычная семья, одна из многих, для которых 250 евро — почти неподъемная сумма. А еще Молочниковым надо срочно менять окна, и на это уйдут все сбережения. Тогда мама Маши и вспоминает об одной своей клиентке, бизнесвумен, которая хотела бы, чтобы ее шестилетняя дочка научилась говорить по-испански, потому что маленькая Дана бывает с няней в Барселоне каждый год, — надо, чтобы девочка могла хотя бы мороженое себе заказать. Так пересекаются две, казалось бы, параллельные социальные реальности, а у Маши появляется ее первая в жизни работа.

В какой-то момент даже кажется, что сюжет Юлии Кузнецовой родом из позапрошлого века, из всех этих бесчисленных историй о благовоспитанных и образованных девушках из бедной семьи — гувернантках богатых отпрысков, о гимназистах и студентах, подрабатывающих уроками. Но на дворе — третье тысячелетие, и сюжет — не о социальном неравенстве. Эта тема, конечно же, никуда не ушла, и о бедных и богатых молодой автор пишет с тем бесстрашием и той честностью, которые вообще свойственны современной детской литературе. И все же самое важное происходит «этажом выше», на уровне взаимопонимания и эмпатии.

Став репетитором Даны, Маша погружается в странный мир, где нет проблем с деньгами, в детской — сплошные короны, но мама все время на работе, а воспитывает маленькую принцессу няня Роза Васильевна — кормит, водит гулять и смотрит вместе с ней сериал «Кольцо любви». Дана — сложный, неуправляемый и очень одинокий ребенок. И только когда Маша поймет ее одиночество, узнает, что ее единственные друзья — семейство игрушечных мышек, случится педагогическое чудо: занятия превратятся в игру, испанский язык — в «мышиный», на котором разговаривают любимые игрушки, а Дана и вправду заговорит по-испански и окажется очень способной ученицей.

Но дело даже не в этой последовательности педагогических провалов и успехов. Вместе со своей ученицей меняется и сама Маша. Потому что учить кого-то чему-то — значит меняться самому. Превращаясь в «учительницу», Маша вдруг начинает смотреть по-другому на своих учителей, совсем недавно вызывавших только раздражение и подростковый скепсис: математичка, которая пишет Машину фамилию с ошибкой, нарциссическая литераторша, которая каждый день меняет водолазки и подбирает к ним дешевенькие украшения — то нитку искусственного жемчуга, то пластмассовые заколки. Постепенно жестокость не прощающего полудетского взгляда сменяется пониманием и прощением: учителя обретают человеческие лица, Маша ловит себя на том, что наблюдает за ними — учится на их удачах и ошибках. А попросту она растет. И финальное ее решение — отдать накопленные на Испанию деньги непутевой Кате, которая прогорела на сетевом маркетинге и может попасть под суд, — это решение взрослого человека.

Собственно, в повести изменились все: Ирэна, вечно занятая мама Даны, стала ближе к дочери, Дана выбралась из своего одиночества и страха, няня Роза Васильевна оказалась не такой уж фрекен Бок, родители стали относиться к Маше как к взрослой.

И все благодаря урокам испанского, которые оказались уроками человеческого. Поэтому, наверное, все еще сохраняет свой смысл эта старомодная форма отношений

«учитель — ученик». С точки зрения эффективности образовательных услуг можно найти и что-нибудь покруче, и специалиста рангом повыше.

Но в том-то и дело, что главное тут — не информация и не скорость ее усвоения. Чтобы учить, вовсе не обязательно обладать всей полнотой знаний. Можно самому еще только учиться и многого не знать.

«Как, и ты делаешь ошибки?» — поражается Дана, рассматривая листочек с Машиной самостоятельной по истории, весь в красных пометках.

«Значит, тебе нужна глупая я?» — удивляется Маша, когда сосед по парте Ромка выбирает ее, а не отличницу Улю, которая, в отличие от Маши, не делает ошибок в тестах. И это не только потому, что между Ромкой и Машей возникло до конца не осознаваемое обоими чувство. У Маши есть маленький, но целиком собственный опыт учительства как понимания Другого.

А в Барселону Маша все же поехала. Об этом — продолжение, повесть «Первая работа. Испания».

Здесь тоже в центре опыт понимания Другого, но уже не через учительство, а через ученичество, правда, совсем иное. Уроки дает сама среда — воздух и запахи, жесты и звуки, новые знакомства и впечатления. «Выходит, я еще не добралась до своего колледжа, а город уже потихоньку учит меня языку», — отмечает Маша в первое испанское утро. Теперь перед ней встает задача не как научить, а как научиться, не заползти в привычную раковину, а набраться смелости для того, чтобы открыться новому и незнакомому.

Остается дождаться последней части трилогии. Что там будет, какие новые уроки героине придется давать и получать от жизни самой?

Дмитрий Рубашкин

«С головой, повернутой назад»

Он высоко ноги поднимает
И вперёд стремительно летит,
Но как будто что-то вспоминает
И назад, как в прошлое, глядит.

А. Кушнер. «Ваза»

У Александра Кушнера есть давнее стихотворение, героем которого является человечек, изображенный на античной вазе «с головой, повернутой назад». Этот образ вспомнился мне, когда я стал размышлять о том, каким должно быть сегодня содержание образования. Вдумаемся, ведь тот, кто составляет учебные программы, решает парадоксальную задачу: оглядываясь в прошлое, он ретроспективно оценивает накопленный веками багаж и выбирает из него то, что может потребоваться следующему поколению. Голова его повернута назад — туда, где сформировалась историческая память человечества: сумма сведений, знаний, умений, компетенций — неважно, как это сейчас называется. Но жизнь не стоит на месте, движение наращивает темп. Волей-неволей человечек должен лететь вперед, иначе он просто выпадет из своего времени. Вот и получается: голова всматривается в прошлое, а ноги в это время сами бегут в непредсказуемое будущее. Перечитайте эпиграф. Правда — похоже? Выглядит жутковато, но в действительности система образования так и устроена.

Попробуем определиться с координатами, в которых можно описать развитие общества. Каждое поколение естественно сравнить с горизонтальной площадкой, которой отведен определенный уровень на оси времени — исторической вертикали. Когда говорят, что важнейшей задачей школы является социализация вступающих в жизнь представителей нового поколения, как правило, имеют в виду, что образование должно обеспечивать, так сказать, горизонтальную идентичность. Каждый должен научиться жить в своем времени, сообразуясь с его правилами, и к этому школа должна всесторонне подготовить своих воспитанников. В этом, как мне кажется, и заключается идея обретения компетентности. Но исторический этап, в котором живет

Рубашкин Дмитрий Давидович — директор инновационного центра «Технологии современного образования», кандидат технических наук. По образованию инженер, специалист в области проектирования информационно-управляющих систем. С 1992 года занимается инновационными проектами в сфере образования и культуры. Живет в Санкт-Петербурге. Предыдущая публикация в «ДН» — № 11, 2016 год.

Настоящая статья представляет собой главу из готовящейся к печати книги «Вторая задача образования».

данное поколение, характеризуется не только материальными условиями и технологическими достижениями. Горизонтальная идентичность — это и состояние умов: общественные ожидания, нормы поведения, распространенные заблуждения и т.д.

По-видимому, мыслительные стереотипы, формируемые школой в процессе обучения, также призваны выстроить новое поколение «по горизонтали». Интересно, насколько это соответствует традиционному пониманию задач педагогики? Ведь процесс обучения пока еще носит личностный характер, а наставник не принадлежит к тому же поколению, что обучаемый. Конечно же, школьный учитель — тоже продукт своего времени. Он также прошел через формирование горизонтальной идентичности — но на поколение раньше. А учили его преподавать люди и книги, относящиеся к еще более далекому прошлому. Раньше это не так ощущалось, но сегодня за срок, отведенный одному поколению, в мире происходят настолько серьезные изменения... Получается, что школьный учитель, призванный оказывать значительное влияние на своих учеников, формировать их образ мыслей, не вполне адекватен сегодняшнему дню и способствует, скорее, приобретению идентичности межпоколенческой. Тот же эффект дает традиционное семейное воспитание, поддерживающее преемственность жизненного уклада даже при радикальной смене исторического фона. Стоит, однако, уменьшить в образовательной среде значимость личности наставника, как вертикальная идентичность начинает слабеть и уступает первенство горизонтальной.

Устроит ли нас такое положение? Для устойчивого развития общества требуются и актуальность, и преемственность. Значит, и школа должна учитывать обе координаты. Это, как мы теперь понимаем, зависит не только от содержания учебных программ, которые общество предлагает новому поколению, но и от присутствия в образовательной среде авторитетного педагога. На этом авторитете всегда была основана школа как социальный институт, и хотелось бы, чтобы исторически выстроенный образовательный фундамент не разрушался импульсивным реформированием.

Что важнее на сегодняшний день: горизонтальная или вертикальная идентичность? От какой составляющей в большей степени зависит успешность нового поколения? Может быть, в этом контексте стоит вспомнить историческую фразу о том, что международная конкуренция была выиграна благодаря тому, что некогда «прусский учитель победил австрийского учителя»? Сегодня поиск конкурентных преимуществ не менее актуален. Чему же наша школа должна отдать приоритет? Современным информационным технологиям или традиционным алгебре и геометрии? Что важнее для обретения идентичности: универсальный язык международного общения (английский) или знакомый многим поколениям национально ориентированный курс литературы? Или, обобщая: стараться быть как все или сохранять свою «особость»? Немного похоже на вечный спор западников и славянофилов.

Эти вопросы касаются каждого, кто хочет стать успешным в современном глобальном обществе. И ответ, который выглядит естественным, таков: в интересах личности система образования должна подчиняться тем стандартам, которые приняты «во всем мире». На первый план выходит стремление молодого человека к социальной мобильности, не сдерживаемой государственными границами. Это означает унификацию содержания образования, то есть приоритет горизонтальной идентичности. Понятно, что в гонку мы включаемся с большим опозданием, и в наших условиях такой путь (в лучшем случае!) является догоняющим развитием.

Но подобный ответ на вызовы времени, понятный в контексте интересов отдельной личности, не кажется подходящим для государственной образовательной системы в целом, потому что она все-таки призвана обеспечивать общественные потребности. Ее устремления должны быть иными: добиться высокого уровня

национального образования и тем самым создать своим выпускникам конкурентные преимущества. И если отдельный человек не может идти против глобальной унификации образовательных стандартов, то система образования должна опираться на свои сильные стороны, стремясь дать молодому поколению своих сограждан максимально много — по сравнению с потенциальными конкурентами. За счет чего? Надо искать... Может быть, за счет еще не утраченной педагогической традиции, высокого уровня национальной культуры. Во всяком случае, за счет преемственности поколений.

В поиске правильного соотношения между вертикальной и горизонтальной идентичностью заключается, на мой взгляд, один из важных современных вызовов. Отсутствие баланса, может быть, угрожает самой идее школы как социального института, учрежденного для обеспечения влияния общества на формирование нового поколения. И раньше, в предыдущие исторические периоды, подростки были склонны искать для себя авторитеты в своем поколении, но сегодня возможности информационного обмена между сверстниками настолько расширились, что взрослые, родители и учителя, поставлены в неравное, а иногда и в подчиненное положение.

Сегодня образовательные возможности не сводятся к учебе в учебном заведении. В глобальной сети доступны образовательные ресурсы, предоставляемые учебными заведениями различных стран. Неформальное обучение становится массовой практикой. Но широкое распространение открытого образования может в ближайшей перспективе принести и глобальную унификацию. Масс-старт. Вырваться вперед в общей толпе очень трудно. Хорошо, если удалось каким-то образом обеспечить себе pole-position[1]. Тогда есть шансы опередить конкурентов и занять в итоге высокое место. Но стартовый pole-position — удел немногих. А вот если хочешь выиграть, стартуя из глубины, то для победы надо отличаться от конкурентов чем-то существенным. Тут уже не обойтись чужим умом и принципом «живи (учись), как все». Напротив, нужно выделяться из общей массы, иметь козыри. Чтобы занять достойное место в конкуренции, приходится искать собственный путь. Что в этой ситуации может порекомендовать нам современная дидактика — наука о том, чему учить и как учить? Может быть, секрет не в доступности информации и не в компетентности по стандарту? А на самом деле нужно заставить педагогику работать так, чтобы развивать свои достоинства, заботиться об интеллектуальном потенциале? Нам ведь ума не занимать...

Своим умом

— Да ты в своем уме?
— Не знаю, — отвечала Алиса. — Должно быть, в чужом.

Л.Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»

Сегодня практически никто не сомневается, что наша система образования находится в кризисном состоянии. А когда наступает кризис, общество поневоле задумывается о том, стоит ли мыслить традиционно или нужны кардинальные реформы. В этой ситуации вопрос о пересмотре неизменного прежде содержательного ядра образовательных программ встает в ряд дискуссионных. Какие акценты должны быть расставлены в образовательной системе, какие приоритеты выбраны?

[1] Pole-position (*англ.*) — выгодное, выигрышное положение (букв. внутренняя, более короткая дорожка бегового круга).

Поиски ответов на вопросы о соотношении координат идентичности проявляются, например, в ходе попыток регламентировать курс литературы, воспринимаемый как важнейший инструмент воспитания нового поколения в духе национально-культурной традиции. Из поколения в поколение литературу в школе изучали в историческом контексте — на отечественном материале. Мировая литература в советское время оказывалась практически вне образовательного процесса, национальная изящная словесность рассматривалась как составляющая национальной культуры и важнейший фактор самоидентификации. Все-таки именно русский язык — великий и могучий!

Так происходило вплоть до конца советской эпохи. Школа — в соответствии с принятой идеологией — уверенно трактовала литературу XX века как продолжение и развитие классической русской традиции. Даже в относительно либеральные времена культурная идентичность нового поколения строилась практически исключительно на основе отечественных источников. Широкое распространение зарубежной литературы и, в частности детской, практически никак не влияло на содержание школьной программы. Знакомство с популярными переводными произведениями ограничивалось внеклассным чтением, то есть было делом преимущественно семейным, частным.

Все же состояние информационной среды, существенно изменившейся во второй половине XX века, сделало возможным постепенное формирование горизонтальной идентичности очередных поколений с зарубежными сверстниками в самых разных проявлениях общественной жизни (кинематограф, музыка, мода, спорт и т.д.). Потребность в обсуждении злободневных общественных проблем, которые находили отражение в современных произведениях литературы и искусства, вступила в противоречие с навязанным «историческим» подходом к изучению предписанной программы. Понятно, что для большинства советских школьников эта коллизия разрешалась не в пользу школьного курса литературы.

Когда общество стало еще более открытым, быстро выяснилось, что демонтаж политических и идеологических барьеров стимулирует установление широких контактов молодого поколения со сверстниками из разных стран. Это общественное явление, разумеется, не осталось незамеченным системой образования, но практически не отразилось на содержании учебных программ. В результате стало все заметнее проявляться расхождение между публичным информационным пространством, в котором преобладали тенденции глобальной открытости, и консервативной образовательной средой, которая осталась ориентированной преимущественно на традиционные учебные курсы со всеми их сильными и слабыми сторонами.

Фактор принадлежности к поколению в повседневной жизни постепенно берет верх над преемственностью развития. Но система образования сопротивляется этой тенденции. В контексте дискуссий по поводу преподавания литературы это означает, что государство продолжает настаивать на необходимости сохранения в учебной программе неизменного списка базовых произведений национальной литературы. Культурная идентичность строится на исторической основе, а не на сегодняшнем круге чтения. Такая позиция «или — или» не выглядит конструктивной, но сама по себе необходимость баланса между вертикальной и горизонтальной идентичностью пока, как кажется, не вполне осознана теми, кто имеет отношение к составлению учебных программ для массовой школы. Соответствующих инструкций сверху не спущено, и слишком многое зависит от конкретного учителя. Его готовность смягчить расхождение сегодняшнего поколения с ценностями и вкусами предыдущих важна для достижения разумного компромисса. Ведь хочется, чтобы, условно говоря, русские народные сказки не противопоставлялись историям о Гарри Поттере, а соседствовали с ними.

Я решил проиллюстрировать идею двух координат идентичности примером из области преподавания литературы, потому что в этой сфере различие двух подходов (исторического и актуализированного) проявляется особенно ярко. Но если вдуматься, подобные коллизии проявляются и в других учебных дисциплинах, где все не столь политизировано. Открытость информационного пространства, лавинообразный рост сферы применения всевозможных компьютерных технологий очень существенно повлияли на психологические стереотипы нового поколения. Можно с уверенностью сказать, что поколенческая общность детей и подростков преобладает (в значительной степени благодаря общности информационной среды) над вертикальной идентичностью. С этим явлением приходится считаться и родителям, и педагогам. Сегодняшние школьники психологически очень заметно отличаются от своих предшественников. Как обеспечить преемственность поколений, не допустить, чтобы «распалась связь времен»?

В самом деле, социализация не может исчерпываться пресловутой компетентностью школьных выпускников, их готовностью ориентироваться в «правилах игры» и пользоваться разнообразными технологическими решениями, предлагаемыми современным обществом. Без взаимопонимания поколений, без психологической совместимости учеников и наставников (в самом широком смысле этих понятий) невозможно ни частное, ни общественное благополучие. Об этом тоже не должна забывать система образования, когда на уровне государственных стандартов задаются приоритеты формирования учебных программ.

В советское время декларировалось, что общество объединено общими целями и каждый должен занять свое место в строю. Не было и речи о том, что интересы людей могут быть различны. Молодежь готовилась «играть в одной команде». Теперь все изменилось самым драматическим образом. Молодой человек, вступающий в жизнь, готовится не столько к сотрудничеству, сколько к состязанию. В глобальном мире это противоборство в основном разворачивается среди своего поколения. И ощущение причастности ко времени, понимания его законов и тенденций необходимо для успешной конкуренции. Ее многие так и понимают — как возможность участия в игре, проходящей по определенным правилам, готовность к соревнованию со сверстниками. Причастность к поколению обеспечивает более или менее равные стартовые условия. Но за счет чего можно преуспеть в этой конкуренции, если сегодняшнее образование будет столь же стремительно унифицироваться?

Ответ может быть таким: конкурентное преимущество может дать то традиционное обучение, которое все еще держится на авторитете старших поколений, то есть предполагающее формирование молодежи в русле определенной культурной традиции. Чем больше унаследовано от предыдущих поколений, тем сильнее отличия от средней массы подростков, выученных по лекалам сегодняшнего дня. Эти отличия могут проявляться и позитивно, и негативно. Но хорошее традиционное образование — это, безусловно, залог дополнительного качества, козырь в состязании со сверстниками, подобного наследства не получивших.

В чем же это может проявиться? Равные информационные условия в глобальном мире сулят достижение примерно одного и того же уровня компетентности, тех же знаний и умений. Если в чем-то и можно добиться преимуществ в вертикально выстроенной системе обучения, то это в развитии интеллектуального потенциала, приобретении правильных психологических установок — благодаря тому, что главным звеном в процессе обучения является педагог, который создает своим ученикам условия для многогранного развития интеллекта, способного к решению разнообразных задач. На этом пути можно не только сохранить высокие традиции отечественного образования, но и распространить плодотворные педагогические концепции с традиционно успешной математики на другие образовательные области,

и прежде всего на основы естественных наук, сферу современных технологий. Ведь никто же не сомневается, что нашей стране удавалось создавать системы успешной подготовки математиков, шахматистов, программистов... Может быть, и другие наши учителя смогут выиграть у своих зарубежных коллег то самое соревнование, которое сулит государству успехи на международной арене?

Только не надо думать, что секрет успеха в прошлом. Хорошо бы, поглядывая в зеркало заднего вида, научиться двигаться все же не назад, а вперед. Другими словами, нужно искать такие средства передачи культурного кода по вертикали, которые могли бы действовать в существующем горизонтальном информационном поле. Или — возвращаясь к образу человечка с античной вазы — постараться сделать так, чтобы обращенная назад голова не отстала от несущихся вперед ног настолько, что это уже будет несовместимо с общественной жизнью.

Немного социологии

Мышление — это общественная функция или функция мозга?

С.-Е. Лец. «Непричесанные мысли»

Мир, в котором мы живем, усложняется с каждый годом. Нет сомнений, что в наши дни управление образованием ни в коем случае не должно пониматься как механическое тиражирование выпускников, соответствующих одной-единственной модели. Такое еще в какой-то степени было допустимо в индустриальную эпоху. Современное общество слишком динамично устроено, чтобы можно было рассчитывать, что скроенные по единым лекалам вчерашние школьники сумеют справиться с множеством разнообразных вызовов. Значит, и квалификационные требования к выпускникам должны учитывать это разнообразие. Общественный прогресс при всех своих достижениях пока еще не научился обходиться без большого спектра различных профессий. Нельзя ограничиваться подготовкой «квалифицированных потребителей» — рынок труда требует кадров для самых разных специальностей: интеллектуальных и рутинных, творческих и требующих дисциплины, ответственных и не очень. И среди этих рутинных, например, много массовых, которые должны быть обеспечены не за счет «одиночек», закрывающих ту или иную вакансию, а за счет целенаправленной подготовки и профориентации.

Получается, что школа, о которой мы все так беспокоимся, должна готовить не одинаковых, а разных выпускников, иначе социальный заказ не будет выполнен. Как у линеек современной техники, у системы образования должен быть своего рода hi-end и low-end. Если не сбалансировать их соотношение на основе анализа общественных потребностей, возможны кризисные ситуации на рынке труда. Это уже сейчас начинает ощущаться даже таким мировым лидером школьного образования, как Финляндия, где инициируются поиски более гибких решений. И тем более для такой огромной и сложной страны, как наша, недопустимо иметь одну-единственную модель.

Объектом управления для государственной системы образования является школа, которая должна обеспечить общество не универсальной моделью выпускника, а целым модельным рядом. И этот сложный объект нельзя рассматривать как механическое объединение отдельных объектиков — учащихся. Они вовсе не движутся к единой цели параллельными курсами. Напротив, они взаимодействуют, сотрудничают,

влияют друг на друга, конкурируют в борьбе за более привлекательные позиции. Поэтому для описания школы как объекта управления не годятся примитивные модели, сводящие все к двум предельным вариантам выбора образовательной траектории. Ответы «готовить каждого в соответствии с его индивидуальными склонностями» и готовить «всех одинаково» оказываются неудовлетворительными с точки зрения общественных интересов. Должен, конечно, существовать не персональный путь для каждого (это просто неосуществимо), а выбор из нескольких образовательных маршрутов.

Если вдуматься, то именно невозможность выбрать для своего ребенка подходящий путь во взрослую жизнь и составляет суть претензий, которые общество предъявляет государству. Регулярные публикации в различных СМИ на темы образования, содержащие критику существующего положения дел, постоянно подогревают общественное беспокойство. Эмоций много, а вот разумного, взвешенного анализа недостаточно. Разобраться в сути критических выступлений неподготовленному человеку непросто. Да, честно говоря, большинство граждан, вздрагивающих при упоминании ЕГЭ, обеспокоено не столько проблемами школы как социального института, а тем, как несовершенство нынешней системы образования отразится на их детях и внуках. Наиболее активные и заинтересованные родители (включая, разумеется, бабушек и дедушек) начинают задавать себе вопрос: как бы исправить нынешнюю ситуацию, чтобы дети получили нормальное образование? И эту самую норму, конечно, каждый представляет по-своему. Соответственно, и методы для исправления ситуации предлагаются различные.

Политизированная часть родительского сообщества полагает, что изменить положение дел можно только сверху. Они видят выход в том, чтобы в очередной раз поменять министра образования или какое-то другое ведомственное начальство. Даже если поверить в такую перспективу, то — с учетом масштабов нашей образовательной системы — благодатные перемены дойдут до учащихся, когда сегодняшние дети уже вырастут.

Более практически настроенные люди начинают искать помощи вне школы, «на стороне». Появляются частные школы, домашние учителя, репетиторы. Может быть, и не нужно озадачивать общество глубинными проблемами государственной системы образования? Пусть каждый сам для себя решает, где и как ему учить и воспитывать детей. Распространение этой вполне либеральной мысли ставит под сомнение само существование школы как социального института. Образованные люди и так решат свои семейные проблемы, а остальные будут довольствоваться тем, что предлагают государственные образовательные стандарты. Может, в этом и заключается «сермяжная правда»? Пусть государство занимается теми, кто сам себе помочь не может. «Что нам за дело до малых сих...»

Такое отношение к судьбе массовой школы, все чаще проявляющееся в обществе, мне представляется не менее опасным, чем попытка государства унифицировать содержание обучения и постричь все учебные заведения под одну гребенку.

Во времена господства классового подхода наше поколение учили, что нельзя «быть свободным от общества». Но ведь общество неоднородно, оно состоит из отдельных людей. А от чего зависит социальное поведение того или иного человека? Человек ведет себя так, как ему свойственно. Просто он таков, каким сформировался. Это если объяснять на бытовом уровне. А в социологии для этого есть особый термин — габитус. Это понятие, предложенное французским философом второй половины XX века Шарлем Бурдье, характеризует, говоря научным языком, «систему прочных приобретенных предрасположенностей». Не только в рутинных

обстоятельствах, но и в неожиданных ситуациях человек ведет себя в соответствии с габитусом.

Является ли габитус свойством врожденным или приобретенным? Согласно Бурдье, габитус формируется в ходе социализации и, в том числе, в системе образования. В этом процессе, конечно, нет предопределенности: социальное поведение, диктуемое габитусом, не является жестко заданным, фиксированным. Но в то же время человек и не вполне свободен в своих реакциях на внешние обстоятельства. Он отчасти ограничен теми условиями, при которых его габитус был сформирован. То есть и в социальном поведении, как и в биологической эволюции, имеет место сочетание, условно говоря, наследственности и изменчивости.

Я не собираюсь углубляться в столь высокие материи и тем более представлять себя человеком, способным рассуждать на темы социологии, особенно в их философском аспекте. Не настолько я образован, чтобы самостоятельно разбираться в концепции Бурдье и возражениях его оппонентов и критиков. Мне просто показалось, что тема габитуса может быть уместной в разговоре о личностных характеристиках, формируемых в процессе обучения.

Не имея возможности тщательно изучить первоисточники, я довольствовался пояснением из доступного источника — Википедии: «Габитус включает в себя совокупность диспозиций — моделей восприятия и действия, которые индивид приобретает в процессе социализации, инкорпорируя совокупность способов мышления, чувств и действий». Сказано это, конечно, сильно. Возможно, я что-то понял неправильно, но здесь мне видится прямое указание на то, что я называю мыслительными стереотипами. Попробую эту связь сформулировать своими словами.

Формальное образование, которое дает школа, — это часть процесса социализации. Модели восприятия и действия — поведение человека, включая его профессиональную деятельность. И наконец, совокупность способов мышления. Что касается чувств и социальных действий, то они уже выходят за рамки моей темы, хотя школа, безусловно, оказывает влияние и на эти составляющие габитуса. Но, повторяю, меня интересует только то обстоятельство, что способы мышления, по мнению социологов, являются одной из основ общественного поведения. А значит, когда мы говорим о важности усилий системы образования, направленных на развитие интеллектуальных способностей всех без исключения школьников, речь идет на самом деле о социальной структуре общества — на перспективу. Это обстоятельство ни в коем случае нельзя игнорировать. Пренебрегая задачей развития интеллекта или, тем более, создавая у своих воспитанников ошибочные представления и дефектные мыслительные стереотипы, школа деформирует поведение граждан, делает его более примитивным и в каких-то отношениях деструктивным.

Об этом необходимо помнить, когда государство устанавливает показатели успешности образования, которые считает нормой. Если постоянно сдвигать вниз планку требований к выпускникам школ, будет увеличиваться риск формирования общественных групп, габитус которых находится на границе девиантного поведения. А если движение в этом направлении продолжится, то поведение, которое сейчас признается девиантным, может стать и нормой. Здесь, очевидно, кроется серьезная угроза социальной деградации.

Образование для полных чайников

Деньги у нас есть... У нас ума не хватает.
Э.Успенский. «Зима в Простоквашино»

Хочу далее воспользоваться еще одним ключевым понятием концепции Бурдье, тем более что он в своих работах уделил значительное внимание социологии образования. Предполагается, что современное цивилизованное государство должно обеспечить своим гражданам равные условия для получения полноценного образования. Но на практике, естественно, социальная справедливость оказывается недостижимой и в этой сфере. Рассматривая образовательные системы в социологическом аспекте, Бурдье обращает внимание на неравенство стартовых условий, с которых начинается процесс формального образования. Наряду с экономическим неравенством мощное влияние на успешность обучения оказывают другие факторы, среди которых Бурдье выделял так называемый культурный капитал, то есть унаследованный ребенком стартовый уровень, с которого начинается формальное обучение. Переключая внимание с экономического анализа на проблему культурного неравенства, он рассматривал габитус как своеобразный гандикап, которым обладают подростки, выросшие в семьях, которые мы могли бы, следуя российской традиции, назвать интеллигентными.

Еще раз уклонюсь от непосильной обязанности штудировать первоисточники и просто сошлюсь на «Социологический словарь», который приводит такую трактовку механизма возникновения неравенства: «...дети родителей, относящихся к среднему классу, овладевают их культурным капиталом, культурными и лингвистическими способностями, и именно эти способности обеспечивают их школьные успехи». Очевидно, что фактор «культурного неравенства» не следует игнорировать при управлении системой образования, при разработке учебных программ, планируемых результатов, образовательных технологий и аттестационных процедур. Хотя об этом у нас не очень-то принято говорить вслух, сегодняшняя образовательная политика скорее направлена на нивелирование и растранжиривание имеющегося у детей и подростков культурного капитала, чем на его приумножение.

Одним из направлений реформирования системы образования в России был переход на так называемое подушевое финансирование. Это означает, что на каждого школьника государство обязуется выделить определенный финансовый ресурс. Выглядит как мера, призванная в какой-то степени смягчить существующее экономическое неравенство и обеспечить равные возможности для обучения – независимо от благосостояния семьи. Но, пытаясь сделать образование экономически равно доступным для всех, реформаторы, кажется, не приняли во внимание фактор различия исходного культурного капитала.

Казалось бы, если школьники стартуют с неодинаковых позиций, а финансовые средства на их обучение выделяются одни и те же, то было бы справедливо ожидать разных образовательных результатов — в зависимости от изначальной готовности ребенка или подростка к учебе. Чем выше культурный капитал на старте, тем значительнее должны быть реально достигнутые результаты. А подлинно справедливое государство должно было бы следить не за выполнением единых для всех требований аттестации, а за тем, как за годы учебы был приращен культурный капитал, какие проценты он принес. «Кому больше дано, с того больше и спросится».

Возможно ли такое в плоской одноуровневой системе образования, где все учатся по общим программам и должны при окончании продемонстрировать одинаковые результаты? Очевидно, нет. Нужный эффект могут дать лишь разноуровневые модели, в которых есть возможность вести учащихся по целесообразным образовательным траекториям, не теряя времени и ресурсов на построение всех по единому ранжиру, ориентированному на самых слабых. А значит, нашей стране нужна не только стандартная массовая школа, но еще и специализированные учебные заведения «для сильных», которые помогут государству и обществу получить максимальную отдачу от инвестиций в образование.

Можно сказать, что школа должна способствовать формированию целого спектра различных габитусов, которые обеспечат обществу необходимый баланс в социальном поведении людей с различным уровнем образования.

Другое дело, сколько такое управление стоит и готовы ли государство и общество нести соответствующие расходы. Хорошее образование — дело дорогостоящее. Чем выше образовательный уровень, которого хочется достичь, тем больше затраты на процесс обучения. Это утверждение выглядит тривиальным, но на самом деле все не так просто. Кое-что можно было бы уточнить. Вспомним о понятии «культурный капитал» и попытаемся его, так сказать, «монетизировать».

Есть такой старый анекдот про математика, который хорошо знал, как нужно кипятить чайник: сначала налить воду, потом поставить его на огонь и дождаться, пока вода закипит. Когда ему вместо пустого чайника предложили уже наполненный водой, он вылил из него воду, чтобы «свести задачу к предыдущей».

Примерно в таком стиле действует система образования, когда сталкивается с разноуровневым учебным коллективом. Вынужденная ориентироваться на самых слабых, школа упрощает себе жизнь, сдерживая развитие тех, кто мог бы двигаться к образовательным целям быстрее, чем их товарищи. Это не только вредно с точки зрения решения всех задач личностного развития, но и экономически нецелесообразно. Мы «выливаем уже налитую воду» и тратим ресурсы на то, чтобы «свести задачу к предыдущей».

А что если предусмотреть ускоренное прохождение программы для тех, кто пришел учиться уже подготовленным? Обычно на этот вопрос отвечают, что есть законы возрастной психологии, которые нельзя игнорировать. В условиях массовой школы рискованно двигаться, опережая своих сверстников. Это может привести к личностным деформациям, да и просто к конфликтным ситуациям в учебных коллективах. Наверно, это действительно так, особенно применительно к младшему школьному возрасту. Но, может быть, стоит подумать и о следующей ступени? Ведь разный стартовый уровень наблюдается не только в «началке». Влияние семьи и социальной среды никуда не девается и в среднем школьном возрасте.

Много сказано о том кризисном моменте, который наступает при переходе из начальной школы в основную. Об эффекте разрыва образовательного процесса на границе двух ступеней образования. Одним из самых вредных факторов является общая невнятность целей обучения в подростковом возрасте, приводящая к снижению интенсивности образовательного процесса. Теряется инерция движения вперед, тормозится когнитивное развитие. От этого замедления больше других страдают сильные ученики. В этой кризисной ситуации среди осложняющих обстоятельств далеко не последнюю роль играет неравенство в стартовых условиях, которое в подростковом возрасте воспринимается с большей остротой, чем в детские годы.

Разумные педагоги стремятся к тому, чтобы в школе не слишком заметно проявлялось экономическое неравенство. Удается этого добиться или нет — другой вопрос. А вот неравенство культурного капитала — это понятие, кажется, находится

за пределами профессиональной компетентности сегодняшних администраторов образования. Система просто не рассматривает этот фактор как значимый и не знает, как реагировать на него. Мне кажется, это очень серьезное упущение, и оно, в том числе, свидетельствует об экономической неэффективности существующей модели.

Принцип «подушевого финансирования» предполагает, упрощенно говоря, равные затраты на каждого обучаемого. Еще раз вспоминая анекдот про задачу с чайником, можно сказать, что государство выделяет каждому ученику право налить некую меру воды из крана. Но ведь среди наших «чайников» есть уже «полные»! Давайте же экономить воду! Лучше тратить ресурсы на что-то осмысленное, а не просто «сводить задачу к предыдущей».

Если серьезно, то мы опять возвращаемся к тому же тезису: система образования должна быть разноуровневой. Это важно для решения социальных задач и не так уж, оказывается, чревато дополнительными затратами, если расходовать средства с учетом реального уровня подготовки учащихся и их культурного капитала.

От каждого по способностям, каждому — по габитусу!

Образовательная область «романтика труда»

В какую же сторону следует направить школу как социальный институт? Можно ли учесть одновременно и государственные приоритеты, и интересы личности? Как устранить имеющиеся перекосы в отношении целей образования и стимулировать интерес к учебе на всех возрастных ступенях? Мне кажется, одной из причин кризиса образования является отказ школы от подлинной, а не имитированной профессиональной ориентации.

Школа в лучшем случае ограничивается отстраненным информированием о возможных, говоря казенным языком, сферах занятости. А ведь всегда считалось, что подросткам свойственно мечтать о взрослой жизни. И в этих мечтах они видели себя моряками, врачами, геологами — людьми героических или просто очень нужных специальностей. Теперь не так. Сегодняшнему поколению совершенно чужда романтика будущей профессии. Будущее связывается не столько с определенной трудовой деятельностью, сколько с укладом жизни, благосостоянием, комфортом и т.д. Раньше выбирали профессию, а теперь — образ жизни.

Карьера и благосостояние — это замечательно, но в подростковом возрасте нужна мечта, а не только трезвый расчет выгод и рисков. Отказавшись от воспитательной миссии, школьная педагогика исключила из своего арсенала призывы, как это называлось раньше, «к творческому созидательному труду». Школьник не видит себя в образе человека, увлеченного профессией и гордящегося ею. Свойственное юношескому возрасту актерство, желание представить себя то в одном облике, то в другом, могло бы стать основой реального интереса к профессиям, а через них — к знаниям и умениям, необходимым в той или иной сфере взрослой жизни. А отсутствие романтического взгляда в будущее лишает школьную жизнь очень важной эмоциональной составляющей, превращает ученика в прагматика, высчитывающего с помощью калькулятора, понадобится ему в жизни таблица умножения или нет.

Сейчас, к великому сожалению, понятие «творчество» в массовом сознании связывается практически исключительно с определением «художественное». И творческие увлечения школьников остаются примерно теми же, что в знаменитом стихотворении: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота, за кружок по рисованью тоже все голосовали». Со времен Агнии Барто прошли

десятилетия, а массовые кружки в общем все те же. Наука, техника в глазах большинства не только не являются «креативными» областями, но и воспринимаются как нечто противоположное, почти враждебное свободному проявлению личности. И соответствующие профессии рассматриваются лишь в аспекте достижения желаемого благосостояния, а не как возможная сфера раскрытия творческого потенциала. Пока в головах будет такая «разруха», положение с образованием к лучшему не изменится.

Что я, собственно говоря, предлагаю? Сделать образ будущей профессии педагогическим инструментом, положить его в основу мотивации к учебе. И приступить к этому воспитательному процессу в достаточно раннем возрасте, сразу после завершения начальной школы. И чем сложнее, чем интереснее будет этот образ, тем выше будет мотивация к учебе. Не появится стремления быстро признать себя неспособным к математике или информатике, «забить» на ботанику и географию.

Очень важно, чтобы школа демонстрировала всем без исключения, какие перспективы откроются в будущем перед теми, кто справляется со сложными задачами, развивает свой интеллект, демонстрирует упорство в достижении цели. Если не опоздать с подобными педагогическими приемами, то мы, вполне вероятно, не потеряем для полноценного образования тех, кто перестает справляться со школьной программой на уровне шестого или седьмого класса.

Чем это отличается от «личностных результатов», записанных во ФГОСах, по которым должна работать школа? Тем, что компетентность, предписанная в стандартах, понимается главным образом как практическое умение, необходимое сегодня. А нужны еще и вектор развития, прогноз, привлекательная картина завтрашнего дня. Это имеет первостепенное значение и для всего общества, и для каждого подростка как личности.

Можно ли на этом пути добиться баланса между традицией и требованиями современности, между вертикальной и горизонтальной идентичностью? Вспомним: лучшие образцы советской школы строились на научном фундаменте. Эта модель была рассчитана на производство ученых, исследователей, создателей новых образцов техники. Без них не могло быть достижений в тогдашних наукоемких отраслях. Прежде всего, в производстве оружия и освоении космоса. Эти направления и сейчас еще считаются нашими козырями в международной конкуренции. И система образования строилась так, чтобы наиболее подготовленные выпускники: исследователи и инженеры — оказывались именно в «оборонке».

А вот массовое производство чего бы то ни было никогда не считалось нашей сильной стороной. В советское время потребительский рынок не был приоритетным ни с политической, ни с экономической точки зрения. И дело, как мне кажется, не только в социально-экономических условиях. Для системы образования подготовка будущих участников массового производства: конструкторов, технологов, экономистов, менеджеров не являлась приоритетом. Сказывалось такое положение дел и на общем образовании.

Я здесь, конечно, не имею в виду, что школа должна была непосредственно готовить специалистов этих профессий. Речь о том, что для них требуются иные проявления интеллекта, нежели для научной работы. Создание технологий массового применения гораздо более конкретно и привязано к практическому опыту. Теоретическим изучением здесь проблемы не решаются.

Когда потребность в массовом производстве была осознана на политическом уровне, в СССР стали создавать систему среднего профессионального образования. Но это было полумерой. Профессионально-технические училища должны были растить будущих рабочих и техников, а подготовка к высшему профессиональному образованию осталась в ведении школ. Поэтому именно в системе общего образования уже тогда

следовало бы изменить стиль подготовки — дополнить «научный» стиль «технологическим». Это дало бы необходимую опору на практику, без которой изучение основ наук действительно становилось для многих школьников нагрузкой, не оправданной никаким социальным целеполаганием. К сожалению, такого поворота не произошло. А потом на смену научному стилю в систему образования пришла компетентность, понимаемая администраторами от педагогики как подготовка квалифицированного потребителя. Тут уже не осталось места ни для науки, ни для технологий.

Сегодня, когда мы выбираем из двух зол: сегодняшний развал образовательной системы или возвращение к советской модели, я хочу обратить внимание на возможность, которая была когда-то упущена. Я имею в виду переход от научной модели обучения к научно-технологической. Не отбрасывание основ наук ради повседневной практики, а реальное соединение научного знания с технологическим умением. Ведь технология — это ответ на вопрос «как». А это вопрос очень важный. И если в советское время образцовой тиражируемой моделью для подготовки специалистов высокой квалификации была выбрана физматшкола, то сегодня, как мне кажется, это должно быть учебное заведение «с технологическим уклоном», где точные и естественные науки неразрывно связаны с инженерными дисциплинами.

Движение в этом направлении сулит различные выгоды. Общественные плюсы, как мне представляется, очевидны. Любая модернизация требует наличия большого отряда квалифицированных специалистов, умеющих довести дело до практической реализации. Это задача не кабинетных исследователей, а специалистов, вовлеченных в реальные технологические процессы. И в этом нет ничего обидного для ученых-теоретиков. Думаю, что любой биолог или физик поддержит идею о необходимости обеспечить связь научного знания с конкретными технологиями — сегодняшнего или завтрашнего дня.

Но не меньший выигрыш технологизированное образование сулит с точки зрения интересов развития личности. Во-первых, чем более разносторонним является обучение, тем полезнее для развития когнитивных способностей, интеллекта в целом. Картина мира становится более полной и гармоничной, основанной на трех необходимых компонентах: знании фундаментальных истин, логическом рассуждении и практическом опыте.

Хочу остановиться еще на одном эффекте, который может возникнуть с повышением значимости технологического компонента. Как ни парадоксально, он относится к сфере эмоционального развития. Подросток, изучающий школьную программу, просто в силу возрастных особенностей не может не думать о своем будущем. К сожалению, сегодняшняя школа практически полностью устранилась от формирования у мальчиков и девочек образов будущих профессий. Пропало романтическое представление, без которого нельзя выбрать себе дело по душе. Это представление может быть наивным, идеализированным, но без него подросток никогда не сможет по-настоящему увлечься каким-то делом, выбрать себе профессию ради ее сути, а не из-за карьерной перспективы.

Допустим так, но при чем тут технологии? Мне кажется, что именно в сфере технологий лежит ответ на многие вопросы, касающиеся того, как будут жить сегодняшние школьники. Чем они будут заняты? В каких производственных условиях они окажутся? Какое место их работа будет занимать в общественном разделении труда? Надежен ли будет экономический фундамент отрасли? Каковы будут перспективы профессионального роста? Сейчас эти вопросы даже не звучат. Но не поставив их перед собой, не найдя ответов, нельзя рассчитывать на успешность в той жизни, которая будет после окончания школы.

Картина будущего может быть приблизительной, прогнозы — неточными, даже иногда неверными, но они должны быть предложены школой молодому поколению. А школа, в свою очередь, должна получить от специалистов футурологическую картину общественного производства, в которой должны быть с известной мерой условности представлены технологии будущего, привлекательные сферы занятости для подростков, обладающих значительным интеллектуальным потенциалом и стремлением проявить себя.

Наиболее благодарную аудиторию такая идеализированная картина найдет, конечно, не среди старшеклассников, которые уже слишком сильно заняты решением задач прагматического характера. Нет, самый выгодный возраст для знакомства с мифами о будущих профессиях — это основная школа, когда взрослеющий подросток еще только ищет сферу приложения своим способностям. Он еще не понимает, зачем ему эти мудреные науки, — так давайте объясним ему, кем он сможет стать, если заинтересуется биологией, географией или химией. Не изучит, а всего лишь заинтересуется. И этого «всего лишь» не так уж мало для среднего школьного возраста. Если основная школа не растеряет этот интерес, то и в старших классах мы получим не формальную зубрежку и «подготовку к ЕГЭ», а внутреннюю мотивацию к учению.

От нынешней образовательной политики, которая имеет целью унификацию требований к выпускнику и формирование на выходе из школы квалифицированного потребителя, нужно двигаться не назад — к копированию советской модели, а вперед — по пути максимального развития и использования интеллектуального потенциала для достижения актуальных общественных целей.

Главным вызовом для системы образования должно стать не формальное усвоение одинакового для всех «багажа знаний», а подготовка нового поколения к профессиям, востребованным в динамично развивающемся мире. Другими словами, должна быть решительно пересмотрена не только организация процесса обучения, но и содержание образования, то есть вся школьная дидактика. А создание новой дидактики — это не ведомственная задача. С ней не справятся сегодняшние педагогические институты: они просто не обладают нужными представлениями о современной науке и технике. Нужно привлечь экспертов из самых разных областей знания. И целью их совместного творчества не должна стать единственно правильная образовательная программа. Напротив, должно быть создано образовательное пространство, наполненное самым разнообразным содержанием, основанным, в том числе, на культурном капитале предшествовавших поколений. Это не путь догоняющего развития, ориентированный на заимствование готовых моделей, а самостоятельное движение, поиск баланса идентичности между требованиями времени и собственной культурной традицией.

Все это похоже на утопию и, собственно говоря, ею и является. Но и в создании утопии можно найти практический смысл. Для того чтобы эффективно управлять системой образования, необходимо сформулировать желаемое состояние, к которому мы стремимся. Это желаемое состояние — тоже своего рода утопия, то есть идеальная модель. Как ни странно это звучит, но именно с утопического взгляда может начаться разработка образовательной стратегии. Не то чтобы я считал, что для этой цели подходит именно моя модель, а не какая-нибудь другая. Просто я ощущаю в сегодняшних метаниях образовательного ведомства некую идейную пустоту. А когда нет содержательной идеи, любая трансформация системы обречена, по меткому выражению одного из идеологов российских образовательных реформ Э. Д. Днепрова, быть воспроизведением застоя. Прошу прощения за еще одну длинную цитату, но мысль представляется очень важной и четко сформулированной: «При застывшем и во многом изжившем себя содержании образования любые технологические,

организационные, экономические и прочие усовершенствования если не вредны, то во многом бесполезны, поскольку они будут лишь более интенсивно воспроизводить застой»[1].

Вот я и хотел бы предложить в качестве темы для разработки концепцию научно-технологического образования — альтернативу одновременно и существующей сегодня, и старой, советского образца. Учитывающую интересы интеллектуального развития каждого подростка. Отвечающую требованиям общества, заинтересованного, чтобы школа выпускала в мир молодых людей, хорошо подготовленных для профессиональной деятельности. И что выглядит не менее важным в современном беспокойном мире: получившие хорошее образование обладают разумным и предсказуемым социальным поведением, габитусом. Если школа хотя бы подступится к решению этой задачи, жить всем нам станет спокойнее. Уже только ради этого педагогам следует постараться: звонок на перемену — для учителя.

«Профессия»

В то время, когда я начинал писать эти свои рассуждения о системе образования, мне не была известна новелла Айзека Азимова «Профессия». Когда же я ее прочел, то изумился, насколько придуманная знаменитым фантастом модель системы образования актуальна по проблематике. Новелла Азимова для меня — удивительное сочетание утопии и антиутопии, замечательная художественная иллюстрация на тему компетентности. К тому же она была впервые опубликована ровно жизнь назад — в том году, когда я родился. И этот фактор времени придал дополнительный эмоциональный оттенок сильнейшему впечатлению, которое на меня произвела повесть. Все так совпало...

Что обращает на себя внимание в представленной писателем картине будущего? Азимов рисует общество, в котором главной характеристикой человека является его профессия. Выбор ее определяется общественной потребностью, но с учетом личностных характеристик вступающего в жизнь молодого человека. Власть следит за тем, чтобы сфера занятости регулировалась целесообразно, и не допускает в системе образования неэффективного расходования ресурсов и затрат времени на приобретение бесполезных сведений. Система отлажена, работает как часы. Вот только выбор профессии не зависит от воли молодого человека, все предопределено его ментальными характеристиками. Образование носит абсолютно формализованный характер: с помощью специальных лент (тейпов) обучаемому в ходе кратковременной операции сообщается все, что необходимо для его профессиональной деятельности. Эти тейпы для различных профессий, собственно говоря, и представляют собой технологический инструментарий для массового образовательного процесса.

В том будущем, которое рисует Азимов, тейпирование информирует и решает задачу социализации, а вот развитие интеллекта в этой модели считается нецелесообразным или, по крайней мере, неэффективным. Отрицается и процесс самостоятельного учения — накопления знаний и опыта «по крупицам». Все это представляется ненужным для подготовки специалистов массовых профессий. Люди, получившие такое технологичное образование, в русском переводе названы дипломированными: дипломированный металлург, дипломированный повар, дипломированный чернорабочий.

---

[1] *Днепров Э.Д.* Образовательный стандарт — инструмент обновления содержания общего образования // Вопросы образования. 2004. № 3. С. 77–117.

Я задумался, что за диплом имеется в виду, в тексте об этом ничего не сказано. Возникло предположение, что более точным в сегодняшних реалиях был бы термин «сертифицированный», то есть получивший соответствующий документ — сертификат соответствия профессиональному стандарту. Но в оригинале все оказалось жестче, чем я думал: «registered». Это можно понимать не как присвоение звания, а как своего рода артикул, клеймо — как у заключенного Гулага. Такой штрих тоталитарного общества, где каждый зарегистрирован по своей принадлежности к профессии. Напоминает одновременно и средневековый цех, и «шарашку». Все люди, достигшие определенного возраста, принудительно делятся на профессиональные касты. К привлекательной профессии можно стремиться, словно к спасению души, но все заранее предопределено судьбой подобно тому, как это постулируется в кальвинистском вероучении.

Свободный выбор будущей специальности подросткам не предоставлен, но мечта о профессии, сулящей карьерные перспективы, составляет важную часть психологического портрета молодых героев новеллы. Жизненный успех — это победа в профессиональной конкуренции за привлекательные рабочие места. Вот характерная черта: большинство подростков не заинтересовано остаться работать на Земле. Их привлекает возможность эмигрировать, завербоваться на другие планеты, где уровень жизни гораздо выше. Знакомая картина, правда? Для нашего сегодняшнего общества этот мотив поиска карьерных перспектив вне среды, где получено образование, чрезвычайно характерен.

Возможность выгодного и престижного трудоустройства зависит от выступления на специальном профессиональном состязании — Олимпиаде. Эпизод с Олимпиадой является одним из центральных в новелле. Участник соревнований (однокашник главного героя) терпит неудачу из-за того, что ему в ходе конкурса достался спектрограф не той модели, которая была ему знакома. Провинциальному подростку когда-то не повезло с образованием: достался устаревший тейп — та учебная лента, с помощью которой он получил профессию. Молодой человек знал, что на Олимпиаде придется иметь дело с другим прибором, но освоить его самостоятельно по книгам — такой путь для него не существовал. Получив образование с помощью тейпинга, он не научился учиться.

Формальное образование дало герою способность действовать в пределах изученной модели. Он не привык и не подготовлен к самостоятельному исследованию. Компетентность вроде бы не подвергается сомнению, но развитие фиксируется на уровне содержания «учебных лент», поэтому в серьезном соревновании он не может быть конкурентоспособен. Единственное, что могло бы его сделать победителем, это индивидуальные проявления его интеллекта, но стандартное обучение унифицирует образовательные результаты, и шансов на Олимпиаде у такого юноши нет. Провинциалу нечего противопоставить «столичным» соперникам, у которых, кроме собственной компетентности, всегда находятся дополнительные козыри.

А вот главный герой новеллы постоянно говорит о возможности подняться над предложенным уровнем за счет собственной интеллектуальной деятельности: чтения книг, размышлений, самостоятельных опытов. И существенно здесь не то, что способность к познавательной деятельности, когнитивному развитию приводит его к личной победе. В конце концов, он ведь представлен личностью исключительной. Но для меня взгляды героя важнее его собственного поведения. Он пытается донести до всех своих собеседников, что ментального предопределения не существует, что усилия, направленные на собственное интеллектуальное развитие, будут не напрасными. Правда, ему не верят, а жаль!

Еще одной интересной для меня темой, раскрытой в новелле Азимова, был

мотив преемственности поколений. Мне представляется, что для сегодняшнего образования важнейшей задачей является поиск баланса между горизонтальной и вертикальной идентичностью. В информационном мире глобализации мне представляется серьезной опасностью потеря культурной традиции при следовании стандартам открытого общества. Азимов же рисует картину системы образования, тяготеющей к вертикальной идентичности. Династии дипломированных специалистов, восприятие мира через идею следования по пути родителей — важные характеристики модели, представленной в «Профессии». Общество, поделенное по профессиональному признаку, выглядит кастовым и потенциально конфликтным. Ему определенно не хватает единого информационного пространства для реализации горизонтального общения. Азимов, как мне представляется, связывает такое положение с акцентом на профессиональное образование в ущерб единству культурного пространства. Сегодня мы видим, скорее, противоположную картину, но любая потеря баланса, очевидно, таит в себе опасности.

Впрочем, идея сохранения традиционных конкурентных преимуществ тоже представлена в новелле. Я имею в виду общую специализацию землян в нарисованной картине будущего. Свой шанс в конкуренции представители Земли видят в умении готовить «дипломированных» профессионалов для инопланетных цивилизаций. «Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для подготовки специалистов низкой квалификации, и это обеспечивает единство культуры для всей Галактики». Это не моя формулировка, так в тексте новеллы. Пусть земная система обучения не совершенна, но само по себе умение «образовывать» людей, подбирать им необходимые специальности, готовить к профессиональной карьере представляет в мире будущего несомненную ценность. Даже суперцивилизации — планеты класса А — вынуждены считаться с приоритетом Земли в образовании. И не надо думать, что этот приоритет достигнут только за счет тейпирования. Будь так, монополия Земли не могла бы существовать сколько-нибудь длительное время. На самом деле все устроено гораздо хитрее, и земляне могут этим гордиться.

Главный герой очень близко подошел к разгадке тайны. Стремясь доказать, что достоин профессии, к которой готовился с детства, он невольно чуть было не выдает секрет настоящего образования завидному потенциальному работодателю с другой планеты. К счастью, представитель другой цивилизации не смог оценить значимость той стратегии создания системы профессионального образования, которая была ему предложена. Иначе конкурентные позиции Земли были бы навсегда утеряны.

Формальное образование через тейпирование — это технология отбора кадров для массовых профессий. Но это лишь видимая часть образовательной системы, выпускающая «дипломированных» специалистов. Но есть и другая, скрытая от глаз общества и действующая за кулисами. Именно она и обеспечивает потребности Земли в постоянном общественном и технологическом прогрессе. Специалисты высокой квалификации анализируют способности детей, отбирают тех, кто обладает незаурядным интеллектуальным потенциалом и необходимыми личностными качествами: нестандартностью суждений, упорством, трудолюбием. Именно такие люди становятся предметом особой заботы в этой общественной системе. Нам прямо не показаны, но существуют на Земле Институты высшего образования, в которых работают «мужчины и женщины, способные к самостоятельному мышлению». А люди гуманитарных профессий создают необходимые условия для отбора в эти Институты и их деятельности. Здорово придумано, правда?!

«...Чтоб было у кого потом учиться»

Больше полувека назад Евгений Винокуров закончил стихотворение фразой, которая стала крылатой: «Художник, воспитай ученика,/ Чтоб было у кого потом учиться». Со временем художник в обиходе превратился в учителя, и эта формула стала расхожей, но своей сущностной точности не утратила. Мы предложили писателям, рискнувшим работать школьными учителями (ну да, конечно: писатель=художник слова=инженер человеческих душ?), продолжить фразу: «Мои ученики научили меня...» У школьной доски «ДН» Ованес АЗНАУРЯН, Дмитрий БЫКОВ, Ирина ВАСИЛЬКОВА, Александр ОРЛОВ, Арслан ХАСАВОВ.

Ованес Азнаурян

Доживем до понедельника!

Школа учит. Всегда. К тому же не только тех, кто сидит за партами, но и (однозначно!) тех, других — стоящих у доски, преподающих, *передающих знания*. Не случайно я вспомнил этот глагол «передавать». Ведь у Конфуция есть такое: «Учитель сказал: "Я передаю, а не сочиняю"». И в процессе этой передачи учатся обе стороны. Пятнадцать лет я преподавал в ереванской школе им. А.П.Чехова (которую сам и окончил). Это — несколько «поколений» выпускников. И могу сказать, чему научили меня ученики: никакое поколение не лучше и не хуже. Просто другое. А по большому счету такое же. Ведь человек по сути своей не меняется. Но мы все равно вечно ворчим: НЕ ЧИТАЮТ! — например. О, мы можем сотни раз сокрушаться: «Как?! Ты не читал(а) "Таинственный остров", "Три товарища", "Фиесту", "Сто лет одиночества", "Чуму"!?! Как же ты живешь без того, чтобы не знать, как из двух часов раздобыть огонь?!» — но это мало что даст. Причем представитель «молодого» поколения может усмотреть в нашем недоумении некий снобизм и будет не так уж и не прав. «Ну да, не читал. Ну и что?» — думал я порой. Ведь пользы от того, что я знаю, что Леонардо придумал «сфумато», и это не что иное, как *эффект передачи дымки, рассеянного света*, никакой. Порой думаешь, зачем я это все знаю? Это — во-первых. Во-вторых, «непонятки» происходят оттого, что у нас, «стариков», и у них, «молодых», разный язык понимания и объяснения мира (мироздания). В этом случае, согласитесь, глупо считать неправым того, язык которого ты не понимаешь. Тут нужно или нанять переводчика, или выучить язык. Ни то, ни другое никогда не получится. Кстати, чем дальше, тем больше будет этих «непоняток». Ведь уже теперь фраза «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя» малопонятна. Молодой читатель просто

не представляет рыбу второй свежести: в магазине он видит, как рыба, которую он собирается сварить и съесть, плавает в аквариуме.

И еще: никогда раньше жизнь не менялась так быстро, как за последние тридцать лет. Информации слишком много, прямо хоть вешайся. Скажем, даже можно «погуглить» — КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ДЕВУШКОЙ? — и найти сотни тысяч результатов поиска. Мы же учились ухаживать на примере книжных героев, скажем, тех же «Трех товарищей». Отсюда невольно напрашивается вывод, что молодых нужно просто заинтересовать. Чтобы заинтересовать, нужно узнать их жизнь, а мы порой просто отгораживаемся от них полками тысяч книг и смотрим на них свысока. Напрасно! Они интересны, они правильнее порой смотрят на жизнь, они крепче стоят на ногах, потому что знают, что им хочется получить от этой жизни. Знаете, иногда при общении с учениками мне казалось, что они старше, мудрее, опытнее меня во многих вопросах, что они знают жизнь лучше меня (и удивленное: откуда они могут знать все это, если не читали «нужных книг»?!) У них можно научиться, понял я, одной очень важной мудрости — поменьше рефлексировать. И в-третьих: это неправда, что нынешнее поколение не читает. Читают. Как и раньше: кто-то читает, кто-то не читает. Так и теперь. Недавно я узнал, что в Ереване существует Клуб книголюбов. Они каждую субботу организовывают встречи-обсуждения, а если есть возможность, то и приглашают на эти встречи самих писателей или критиков. И это не два-три студентика, их много. Они «красивые, здоровые молодые люди», умно, грамотно говорят, мыслят. Думаю так: нужно оставить молодое поколение в покое. (Ах, это же всегда было, во все времена: Hey teacher leave us kids alone. All in all you're just another brick in the wall!) И вместо того чтобы осуждать и проявлять надменность, нужно пытаться понять, чего они хотят. Писать, издавать те книги, которые их могут заинтересовать. И поменьше ворчать. Время слишком быстро идет вперед. И знаете, чему еще меня научили мои ученики? Тому, что на них можно положиться. Да-да! Поверьте мне! Помню случай. Прошло уже пятнадцать лет с тех пор... 3 декабря. Международный день инвалидов. С моим «классным» классом решили поехать в Центр реабилитации детей с органическими поражениями ЦНС, дать маленький концерт. Разучивали песни из мультиков, поставили сценки из сказок и... поехали. Я предполагал, что будет тяжело, но чтоб настолько? Приехали, зашли. Нас ждали. Зал полный: дети-инвалиды (прошу прощения за это слово!), кто в специальных колясках, кто просто на стульях, родители (мамы в основном) стояли... Увидев этих детей, мои — тогда еще девятиклассники — оцепенели сначала, а потом все же начали концерт. Запели, заиграли, затанцевали, вовлекали в хороводы детей-инвалидов, пытались их рассмешить, привлечь их внимание... Они — РАБОТАЛИ. Как профессионалы! Два часа длился концерт! Дети уже улыбались, смеялись, позволяли нам играть с ними... Потом мы уехали. В автобусе, который вез нас обратно, было темно и очень тихо. Все молчали. А потом, когда уже подъезжали к школе, мои вдруг почему-то все разревелись. И девочки, и мальчики. Только тогда я понял, насколько им было тяжело и насколько они все понимали. Но они отыграли свой концерт. Они его отработали, несмотря ни на что. На них можно положиться, и это было самое главное.

Время идет вперед всегда. Я уже не преподаю в школе. Но я знаю, что покуда есть дети, которые нас чему-то могут научить, а значит, есть дети, на которых мы можем положиться, мы обязательно *доживем до понедельника*!

Дмитрий Быков

«Я теперь не считаю себя виноватым во всем вообще»

Мои ученики научили меня трем важным вещам, которым сам я не мог научиться в силу обучения в советской школе и связанной с этим общей подавленности.

Во-первых, они научили меня не стесняться себя. Филологи, книжники — особенно в детские годы — существа диковатые и фриковатые. Я слишком долго думал, что это я неправильный, а когда понял, что правильный, — было уже поздно меняться. Так вот, хоть и с огромным опозданием, но лучшие из моих учеников научили меня некоторой (без зазнайства) вере в свою правоту. Или по крайней мере я теперь не считаю себя виноватым во всем вообще.

Во-вторых, именно новое поколение — те, кому сейчас от 15 до 25, — наглядно объяснили мне, что обучаемость важней начетнической образованности, что любая информация с нуля усваивается лучше, что честнее не знать (и хотеть узнать), чем с отвращением вызубрить. Сегодняшний школьник и студент лучше понимает, где взять информацию, и быстрей забывает ее, когда она становится не нужна.

А в-третьих, я убедился, что любовь, которой я придавал так много значения в их годы, не так важна, как эмпатия и понимание. Любовь — это очень часто похоть, а вот сострадание и единомыслие — высшая форма отношений. Боюсь, что я не смогу этого объяснить, но глядя на их романы — весьма, впрочем, целомудренные, потому что секс для них вовсе не главное и вообще он стал доступней и проще, — я и сам, кажется, научился обходиться в любви без истерик и ценить человеческое, а не звериное. И это не возраст, хотя и возраст тоже, увы, — а нормальный процесс обучения у здоровых людей, для которых постель перестала быть испытательным полигоном и стала местом особенно открытого общения. Как у Кушнера — «продолженьем разговора на новом, лучшем языке».

Ирина Василькова

«Розовые очки пришлось снять»

В общем-то это красивая иллюзия — что у детей можно чему-то особенному научиться. Когда я пришла в школу, причем человеком вовсе не молодым, на мне были розовые очки, да еще какие! Густо-розовые! Начитавшись передовых статей, я искренне верила, что все дети талантливы, отзывчивы и добры, надо только любить их и быть честным и терпеливым. Понравиться им, подружиться с ними — и тут уж можно петь соловьем, вливая им в уши свой предмет. Да не просто по программе, а с красивыми подробностями, с интеллектуальными завлекалочками, и дело пойдет само собой. И ты при этом тоже учишься у них и совершенствуешься как личность.

Как бы не так!

Другое дело, что сама профессия предъявляет учителю довольно жесткие требования. Наука выживания! В конце концов вставать ни свет ни заря я привыкла, хотя «сове» это далось нелегко. Но этому ведь не ученики научили — они и сами встают

с трудом. Выдерживать четкий, почти конвейерный ритм жизни — тоже получается, хотя детям как раз в основном свойственна лень, чего уж там. Терпением и простодушием меня и так наградила природа, и хотя это мне в работе очень пригодилось, но ...

С детьми, конечно, легче, чем со взрослыми, потому что у них еще нет двойных стандартов. У ребенка на лбу написано, что он обо мне и о моем предмете думает. А иной раз и на языке. Тут еще надо учесть влияние родителей, которые в беседе со мной вынуждены соблюдать политес, зато дома дитя нередко слышит совсем другие разговоры о непрестижности литературы, простодушно донося это мнение до меня («Какой дурак, — оправдывается потом родитель, — я же его просил вам этого не передавать!») Ну и хорошо в общем-то. Детская искренность в данном случае позволяет более трезво оценить расстановку сил.

А дальше, собственно, о процессе. Розовые очки пришлось снять. Неожиданное открытие: я поняла, что мне не со всеми детьми интересно работать. Понятно, что буду работать со всеми, куда денусь, но с некоторыми у меня глаз не горит, как любит выражаться моя подруга. Знаете эту учительско-родительскую мантру, что все дети — личности? Вот то-то и оно. Можете кидаться в меня помидорами, но некоторые личности мне совсем неинтересны. Может, они хорошие люди и вырастут во что-то успешное, но — другая порода. Я не то имею в виду, что ребенок может быть совершенно не гуманитарный и в моем предмете незаинтересованный. У меня и с математиками складывается — мне, например, интересно смотреть, как совершенно неэмоциональный семиклассник, весь такой компьютерный мальчик, строит график чинопочитания в повести Гоголя. Ну если он так материал усваивает! Нет, я другой тип не воспринимаю — когда «ленив и нелюбопытен». Такой может даже иногда мимикрировать под отличника и честно все выполнять, но мне с ним скучно. Наверное, можно сказать, что я именно этому научилась — не всех детей подряд любить, а только некоторых, с которыми «контакт». А что это за контакт — бог весть. Тайна! Как у Воннегута, в «Колыбели для кошки» — «ты из моего карасса». Словом, научилась не комплексовать по поводу избирательной любви — я на это тоже как личность имею право.

Но это о чувствах, а давайте о предмете. Оказывается, детям может быть совершенно неинтересным то, что мне казалось интересным в их возрасте. Хочется поделиться, а они не берут. Скажем, придумала интересный урок по Державину, с какими-то неожиданными ходами, зацепками, хочу порадовать, удивить — а им кисло. После уроков захожу в класс, гляжу — они там день рождения чей-то отмечают, и меня зовут, и кока-колой радостно готовы поделиться, а я ее терпеть не могу, как они моего Державина.

Открытие следующее — чтобы детей чему-нибудь научить, надо с ними жить. Мокнуть под дождем в какой-нибудь поездке. Делить на всех последнюю сушку. Спать в одной палатке. Рисовать до ночи декорации к спектаклю. Съездить в археологический лагерь. Скакать с ними по сцене, изображая Бабу-Ягу. Но при этом все-таки соблюдать дистанцию, сурово отсекая всякие «А можно с вами покурить?» Совместная жизнь в служебные задачи совершенно не входит, но без нее педагогический процесс становится симулякром. Не то чтобы я об этом не догадывалась раньше, но процент внеурочных усилий явно недооценивала. Тоже наука.

А чему мне хотелось бы у них научиться — это скорости работы с гаджетами. Но это недостижимо, я думаю. И еще — здоровому пофигизму, хоть самую малость, без этого гиперответственный перфекционист сам себя доводит до состояния загнанной лошади.

«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться...», — написал когда-то Евгений Винокуров. Вот с этим я согласна — потом. Когда они становятся взрослыми, разлетаются по свету, но не забывают, пишут письма, зовут в гости, присылают стихи и романы, просят советов, неутомимо спорят. У каждого свой рисунок жизни, совершенно не совпадающий с моим, но я стараюсь его понять. Вот тогда у них и учусь — любви, благодарности и свободе.

Александр Орлов

Звезды

Найти себя в себе самом
И не терять из виду...
Александр Твардовский

Когда я обращаюсь в прошлое, то всегда вспоминаю одно из самых ярких детских впечатлений, оно связано со словами Вячеслава Тихонова, исполняющего роль учителя истории Ильи Семёновича Мельникова в пасторальной кинокартине «Доживем до понедельника». В ответ на вопрос коллеги — учительницы русского языка и литературы: *«Это кому я буду доказывать?»* — герой Тихонова говорит: *«Им! Каждый день, каждый урок, а если не можем, то давайте заниматься другим ремеслом, где брак дешевле обходится»*. Я и сейчас каждое первое сентября собираюсь на работу под «Журавлиную песню» из этой эпохальной картины. Почему? Видимо, в настоящее время я всё больше понимаю, насколько верны слова вымышленного историка, насколько они привлекли сердце реального третьеклассника советской школы, стали моим жизненным провожатым, в них я вижу высшее промышление о себе и обо всём, что окружает нас. Вслушиваясь, я размышляю о том, кто такой учитель. Для меня учитель — это выразитель всего собранного опыта предков, его культурных ценностей, духовных основ, нравственных начал. Учительство — это один из не подлежащих сомнению видов служения господу, Отечеству и народу. Сама жизнь учителя выстраивается таким образом, что он, проповедуя высоконравственные идеалы, преобразовывается сам, и в этом заслуга как учителя, так и учеников, которые не смогут воспринимать учителя как носителя духовных ценностей, если он не будет им соответствовать, а следовательно, они соучастники личностных образовательных процессов, происходящих с учителем. Я ощущаю, что когда пробуждаю в учениках природные, родовые, житейские и исторические связи, во мне все более совершенствуется инстинкт национального самосохранения, то есть происходит процесс взаимного обогащения, то есть мне платят уроком за урок. Я становлюсь еще больше русским, чем был до этого, осознаю, что учитель — это богопроповедник и вероучитель. И за этим самоопределением стоят дети, их судьбы, их вера, их уроки.

Уже не первый год я замечаю, что общаясь с ребятами, я лучше понимаю великое житие русского народа, его фундаментальные основания, выразительную индивидуальность, горькое и великое существование. Это особенно остро испытываешь, когда они рассказывают о судьбах своих близких, которых коснулись Первая и Вторая мировые войны, революции, репрессии, развал Российской империи и Советского государства.

Если вдуматься, то дети, завтрашнее России, являются словно зеркальным отражением нашей страны, жизнедеятельных процессов, которые происходят с нами и вокруг нас. Именно с нашими юными гражданами перечитывая прославленные строки, пересматривая любимые фильмы, слушая общенародные песни, рассказывая им о славных сынах Отчизны, я, вновь и вновь перелистывая страницы жизни, вспоминаю и переоцениваю свое отношение к окружающим. Передо мной, как и перед киношным учителем, стоит вопрос: «*Каким должен быть учитель истории?*». И ответ дают ученики, которых нельзя обманывать, сглаживать исторические неровности, умалчивать трагические события, скрывать слабые места национального характера. Для меня самый нужный урок — это урок правды, чтобы те, которых учу я, не сказали

бы спустя годы: *«Историк обманывал нас!»* И этот урок правды исходит не от меня, это урок самоидентификации и самоопределения, который задают мне ученики, являющиеся, как и я, провожатыми высшего промысла. Я уверен, что, только выучив этот урок на отлично, можно учить духовной и нравственной преемственности, всматриваться в будущее моего народа, понять его прошлое, жаждать стать настоящим национальным наставником.

Не секрет, что профессия учителя во многом состоит в отдаче, полной и безвозмездной, и настоящий учитель неустанно задает себе вопрос, которым мучился и герой одного из моих любимых фильмов киностудии имени Максима Горького: *«Что у нас есть, чтобы отдать?»* Ведь каждый из нас понимает, что мы передаем накопленную частицу себя, и скорее всего нас будут вспоминать изредка в семейных и дружеских беседах, а наша жизнь и далее будет проходить в служении делу. Ученики будут приходить и уходить, а мы обязаны их учить, взращивать и провожать навсегда, и, как не странно, этому учат нас именно они. Меняются лица, люди, убеждения, и ты видишь изменения в ребятах нового поколения, да что там поколения, каждого нового выпуска. Случается, год разницы, а люди совершенно полярные, и каждого ты должен научить, а прежде всего научить себя понимать их. Сдать им экзамен на профессиональную пригодность, уважение, любовь, память.

Может быть, поэтому с годами я становлюсь похож на того школьного романтического героя, которого выдумал и взрастил в своем сердце, но это видение уже не мое, это дети своим чутким внутренним оком высмотрели во мне, казалось, ушедшие навсегда ребяческие грезы, и посчитали своим, близким, для кого-то родным, и научили, как когда-то родители, быть чище, увереннее, сильнее. Как и многие другие преподаватели, для них я узнаю больше, им вручаю накопленное, а порой словом или взглядом становлюсь с ними со-тайником.

Время идет, и когда вдруг я поступаю опрометчиво, то испытываю чувство стыда за неосторожное действие и сравниваю это укоризненное чувство с похожими и забытыми ощущениями детства. А почему? Потому что становится стыдно и перед собой, а главное, перед ними, и я начинаю размышлять, как бы отреагировали они — те, кто доверяет мне, и понимаю, что они учат меня, а вернее, через них нас обучает Создатель. Как здесь не вспомнить слова из одной древней молитвы, с которой меня познакомил духовник братии Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря схиархимандрит Власий: *«Господи Боже мой, удостой не чтобы меня утешали, но чтобы я других утешал. Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал. Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил»*. Мне верится, что слова этого нежного обращения к Творцу больше всего подходят учителям. Ведь так схожи христианская этика с этикой учителя своей жертвенной любовью.

Как часто учителя называют проводником во взрослую жизнь, но каждому проводнику освещают дорогу звезды, они ведут его сквозь темень, туман, препятствия, и звезды эти — его ученики. Он идет на их свет и тепло, он забывает обо всем, желая им бессрочного горения, он в состоянии пересчитать все звезды и рассказать о каждой из них.

Арслан Хасавов

Учить и учиться

В последнее время я все чаще стал слышать о том, что мои знакомые идут работать в школу. Репетиторство в неблагополучные студенческие годы нередко сменяется калейдоскопом офисных будней по специальности, после чего буйный дух выныривает из вязкой трясины, широко, словно рыба, выброшенная на берег, раскрывая рот.

Пробудить, разжечь любопытство, распространить в меру способностей свет, который когда-то передали тебе, — вот она, задача педагога. Впрочем, задач у него миллион, и все они — одна важнее другой.

Мои сверстники, наконец, поняли, что если кто и находится в привилегированном положении, так это учитель. И речь здесь далеко не о соотношении потраченных душевных сил и бонусов вроде продолжительности отпуска, удивляющей непосвященных. В этом смысле педагоги в большинстве своем — подвижники, порой напоминающие бурлаков с известной картины Репина. Нет, я о другом. Вдумайтесь только — конкретные родители и общество в целом доверяют преподавателю самое, без каких-либо оговорок, дорогое, что у них есть, — своих детей. А значит и будущее, в котором нам по объективным причинам не придется пожить.

Сужу по себе: духоподъемное волнение, охватывающее, когда ты оказываешься лицом к лицу с целым классом новых людей, ни с чем не сравнить. Каждый из них — озаренная светом первородной чистоты личность, только-только начинающаяся разбираться в том, что такое жизнь. И твоя задача — обрести свой голос и, мысленно взяв их за руку, пусть совсем чуть-чуть, но провести в бескрайний мир накопленных человечеством знаний, идей и образов.

Важно, на мой взгляд, что и у них, этих маленьких Будд, одновременно знающих и не знающих все обо всем, можно многому научиться. Например, истинному терпению или искреннему, без задней мысли, духу товарищества. Неподготовленные уроки, которые они преподают внимательному педагогу, всегда стремительны, словно сцена остросюжетного фильма. Вода, как известно, камень точит, а регулярное общение с детьми может смягчить даже самое черствое сердце.

Коллега рассказывал, что он, некогда заядлый драчун, в ходе недавнего дорожного конфликта остановил набросившегося на него лихача фразой: «Успокойся, здесь школа — нельзя драться». И что удивительно, словом заставил оппонента отшатнуться, словно от щелчка по подбородку.

Другой получил от одного из своих учеников еще более практическое знание, разобравшись, наконец, в разновидностях криптовалют. Третий с подачи учащихся зарегистрировался на портале для публикации фанфиков — сочинений по мотивам оригинальных литературных произведений, куда и сам стал со временем пописывать. И таких историй великое множество.

Не так давно, прогуливаясь по Москве, я наткнулся взглядом на размашистую мозаику на застывшей в ожидании неизбежного высокой стене. Под изображением Спасской башни Кремля, заводов, домов и пароходов — люди с сосредоточенными лицами советских «сверхчеловеков». Каждый из них держит в руках по книге, кто-то читает, а одна девушка и вовсе, подняв внушительный том над головой, словно бы освещает себе путь.

Венчает это произведение цитата из, самой собой, Ленина: «Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали».

Изменилось время, советская Атлантида пошла ко дну.

Но школа осталась и, как и государство, застыла было на время, чтобы поднабрать сил, стряхнуть пыль прошлого и двинуться вперед в попытке догнать как-то вдруг ускорившуюся эпоху.

В этом новом времени ученик уже не слушатель ранее неизвестных истин, а равный партнер, который способен в доли секунды проверить любое сомнительное, на его взгляд, утверждение.

И здесь новый вызов, перед которым оказался учитель: с одной стороны, конкуренция с другими источниками информации, с другой (и эта задача становится все сложнее) — умение завладеть вниманием класса и удержать его.

Научить и показать может каждый, а вот вдохновить на подлинный прорыв — только тот, кто ищет и находит среди проторенных путей нестандартные ходы.

Мне повезло, что мое сотрудничество с одной из московских школ не ограничено рамками программ, стандартов и требований. Занятия студий дополнительного образования и в советское время было дверью в монолите беспрекословно соблюдающихся норм. Так дела обстоят и сейчас, ведь ни для кого не секрет, что среднее образование сконцентрировано в первую очередь на результатах тестирований и экзаменов, к которым эти студии не имеют никакого отношения. И в этом смысле педагог, особенно дополнительных занятий, пожалуй, одна из самых творческих профессий.

Что любопытно, современная, во всяком случае столичная, школа готова к сотрудничеству с максимально творческими людьми. Отныне школа — не пропитанный нафталином мир скучных обязательств, а опытная площадка и ресурсный центр, готовый к любым, даже самым смелым, экспериментам.

И дело тут не только и не столько в техническом оснащении или материальных возможностях. Времена, когда можно было искренне удивляться хорошо оборудованному компьютерному классу или лаборатории, ушли в прошлое. На передний план снова выходит интеллектуальное и духовное содержание образовательного процесса, которое стремится успеть за как будто все ускоряющимся календарем. На передний план вновь выходит личность.

Насытить ученика знаниями для успешного прохождения экзаменационных испытаний сравнительно легко, но дать ему ключ к открытию до времени запертых дверей внутри себя способен лишь по-настоящему увлеченный своим делом — нет, не учитель — наставник.

Но для того чтобы колесо образовательного процесса не увязло в трясине смрадной скуки, ему нужно не только учить, но и непрестанно учиться. В первую очередь — у самих школьников.

НА СТРАНИЦАХ «ДН» — ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ ИВАНА ШМЕЛЁВА

В Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана Шмелёва «Лето Господне», учрежденном в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участвуют школьники 6—12-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и Зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования.

Сегодня на страницах журнала мы публикуем эссе победителей конкурса 2017 года, написанные на темы «Герои духа» и «В горнице моей светло».

Герои духа

Жизнь надо прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Н.Островский. «Как закалялась сталь»

Боровкова Кристина, 11 класс (Смоленская область, г.Десногорск)

Встречи

Пролог

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он рвётся к свету из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

Когда я читаю эти вечные строки Тютчева, мне не дают покоя слова «человек отчаянно тоскует». О чем же эта вселенская тоска? Это что, мироощущение современников Тютчева, моих современников? А может, это тоска многих думающих людей по чему-то несбыточному, несделанному? Чтобы растворилась тоска, а жажда веры вновь заполыхала огнем любви, должна произойти Встреча. Та самая встреча, о которой так мудро поведал митрополит Антоний Сурожский: «Встречи бывают

разные: поверхностные, глубокие, истинные, ложные, во спасение, не во спасение, с человеком, с искусством». Мне выпала встреча с удивительным писателем, чья жизнь являла собой образец жертвенности, смирения, подвига, духовного героизма. Свою жизнь он посвятил литературному труду, а самой большой любовью его стала «лапотная, странная, богомольная Русь».

I. Встреча-удивление

Мученик за веру и творчество Василий Акимович Никифоров-Волгин

Есть Бог, есть мир. Они живут вовек.
А жизнь людей мгновенна и убога.
Но всё в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Н. С. Гумилёв

Василий Акимович Никифоров-Волгин... Православный писатель. Слагатель благодарений молящейся, кающейся России. Знаковое имя. Оно состоит из двух слов: «Никифоров» и «Волгин». Сколько Никифоров на Руси пахали землю, сеяли хлеб, тачали сапоги! «Волгин»... Чем-то гордым, волнующим, необъятным веет от этого слова. Волга — матушка всех рек, она поит нашу родную землю, орошает ее, дает ей жизнь. Так и творчество Никифорова-Волгина питает своими живительными родниками каждого, кто однажды открывает его искренние, «согретые жаром православной души» книги. Скупые строки его биографии (до 1991 года писатель считался запрещенным) раскрывают перед нами человека сильного духом, бессребреника, мастера.

1901 год. В старинном селе Маркуши в семье сапожника родился будущий писатель. С детства полюбил он волжские дали, колокольный звон, народные праздники. Окончил всего 3 класса церковно-приходской школы. Всю жизнь занимался самообразованием. Революцию 1917 года воспринял как катастрофу. Стал православным писателем, воплотившим в своем творчестве «святые глаголы Писания», любовь к России и мучительные раздумья о ней — «России монашеской, в молитве сгорающей, и России разбойной, глумящейся над верой».

Читая духовные рассказы Никифорова-Волгина из циклов «Дорожный посох» и «Земля-именинница», я думаю о том, каким духовным героем был этот человек.

II. Встреча-переживание

Размышления о добре и зле

Я думал о таинственных жутких путях русской души, о величайших падениях её и величайших восстаниях.

В. А. Никифоров-Волгин

Всегда ли зло побеждает добро? Вопрос философский, неразрешимый. Но ответ удивительно прост. Вы что предпочитаете, бездну или взлет? Никифоров-Волгин верит в героическое возрождение человеческой души. А ведь на календаре знаменательная дата — 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, 1917 год... Что

он изменил в мировоззрениях, жизнях людей? Почему Россия, знаменитая своими сокровищами, собственными руками разрушила все, решив строить новый мир, где «кто был никем, тот станет всем»? Смогут ли эти строители приумножить или построить новые духовные ценности? Не будет ли их жизнь бесцельной, мучительной?

Вот рассказ «Оскудение». В нем писатель показывает нам жестокую правду истории, слагавшуюся в те времена совсем иначе, за что поплатился и он сам. По заснеженному полю едут рассказчик и пожилая монахиня. Матушка говорит, что подъезжают к «Пригвожденной Богоматери». Значит, скоро монастырь. Но что это за редкая икона? Все знают Смоленскую, Казанскую, Донскую. А здесь — Пригвожденная. Вместо ответа монахиня подводит героя к придорожному кресту с Суздальской иконой Богородицы. Рассказчик поражен: «Я вгляделся в образ. Чья-то кощунственная рука вбила в глаза Богоматери гвозди». Но все равно ее лик светится любовью к каждому, молящемуся на нее или оскверняющему, бесцельно живущему или в труде и молитве нашедшему счастье.

Что же случилось с Россией, где раньше звучал благолепный малиновый звон, где время мерили церковными праздниками и молились на краюшку ржаного хлеба? Василий Акимович Никифоров-Волгин ясновидящей любовью верит: ужаснется человек содеянному, покается, как в рассказе «Безбожник», заплачет горькими слезами... И возродится, восстанет душа его, служить будет миру и людям во имя истинной цели, следуя собственному духовному призванию. Так же, как возродился и сам писатель: не телесно, но духовно.

...Май 1941 года. Арест органами НКВД.

...Декабрь 1941 года. Расстрел в Вятской пересыльной тюрьме за «вредоносные книги, разрушающие мораль советских людей». Но спустя десятки лет ожили трепетные, трогательные рассказы, в которых хранится истинная любовь к родной России. А за что ее любить? «Дитя она — Русь! Цвет тихий, благоуханный... Кроткая душа Господня. Дитя Его любимое. Неразумное, любое. А кто не взлюбит деток, не умилится цветикам? Русь — это кроткая душа Господня...»

Так как же мы должны жить? «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно...» Так ее прожил В.А.Никифоров-Волгин. А встреча с ним дала и мне ответ на этот сложный вопрос.

Шахматова Екатерина, 7 класс (Новосибирская область, г.Искитим)

Рассказать тебе сказку?

Сказку о тебе, о земле, о шелковой воде, которая ласково обнимает золотистые берега. Сказку о звездном небе, шепоте ветра, цветочных полянах и утренней алмазной росе.

Может быть, тебе интересна сказка о людях и Боге? Ты, человек, одно из самых удивительных и совершенных созданий неба, думал ли ты когда-нибудь о Боге? Как ты думаешь, какой Он? Прекрасный человек в длинных одеждах из обрывков тумана, который крошит пряники в птичьи кормушки и подкладывает детям звезды в карман? Или суровый владыка, восседающий на небесном троне и внимающий тихим, торопливым молитвам с невероятной чуткостью? Каким бы Он ни был, Он стоит за нашим плечом и вдохновляет нас. Вдохновляет на подвиги. Его взгляд проникает в трещинки на доспехах, Его тяжелое дыхание ласкает наши горящие щеки. И вот люди поднимают мечи, встают с пропитанной кровью и слезами земли, бегут навстречу боли и ужасу — и все это ради Бога. Ради мира, добра и неба.

Герои могут быть разными. Вспомни суровые и печальные лики святых. Подумай о том, насколько удивительно сильны эти люди. Представь темно-алую кровь мучеников, темнеющую на светлых одеждах, подобно лепесткам мака, представь священника с посеревшим от усталости мудрым лицом, который крестит дрожащей рукой уходящих на войну солдат, представь, как чьи-то пересохшие губы шепчут слова молитвы — шепчут тихо, испуганно, с щемящей нежностью и светлой печалью. И слова этих молитв взлетают высоко в голубое небо, вспархивая с губ, подобно мотылькам. Есть что-то в этих людях, что-то вечное и глубокое, что делает их героями.

Вспомни русских солдат, которые шли на войну, держа дрожащие руки у сердца. Вспомни все, что ты слышал о них, и представь толпы бледных испуганных юношей, молящихся за свою Родину, толпы грязных и вспотевших мужчин, которые с болью смотрели на небо и целовали землю, ощущая запах недавно прошедшего дождя. И в них есть это — только это и помогло им. И небеса до сих пор помнят светлые, испуганные и бесстрашные взгляды этих героев.

Вспомни длинные, пропахшие ладаном церковные залы, мерцающие в полумраке не то звездами, не то золотом. Вспомни ослепительные сияющие купола, скребущие синеву небес, и цветные стекла витражей, вспомни иконы, покрытые множеством ласковых и искренних поцелуев. Красиво, правда? А знаешь, сколько людей пожертвовали своими силами ради этого? Создание чего-то красивого, святого и вечного — подвиг. И люди, своим терпением и трудом сделавшие это, — герои.

И в каждом человеке живет истинный герой: в человеке смешались недостижимый космос, мощь и сила океана, ласковый, но обжигающий свет огня. Мы подобны игрушкам, ценным и хрупким, но в своем стремлении к вечности мы сильны, отважны и до боли прекрасны. История человечества тянется бесконечной сияющей дорогой, омытой кровью и сияющей рассыпанными на ней звездами. И по этой дороге истории всегда смело шагал человек, обычный живой человек с невидимыми могучими крыльями за согнувшейся от усталости спиной, шагал и с помощью силы духа творил все самое великое и прекрасное. Посмотри на небо за окном — усеянное ли звездами, ясное и чистое, или затянутое тяжелыми серыми занавесками хмурых туч. Это небо отразилось в миллионах глаз, вдохновило многих на отважные поступки или на создание музыки и стихов. Посмотри на него и соверши подвиг, который сделает тебя героем. А потом закрой глаза и услышь, как белоснежные облака или пахнущий цветами ветер шепнут тебе в самое ухо: «Спасибо...»

Рассказать тебе сказку? Сказку о героях духа, сказку о небе, добре, солнце, ромашках, звездах и мотыльках? Сказку о крови, боли, сказку о поражениях и победах?

Хотя, знаешь... Рассказывать ее не имеет смысла — ведь ты знаешь ее давным-давно. Ты и сам герой этой сказки.

Эта сказка называется «Жизнь», и ее автор — призрачный человек, улыбающийся и всесильный. И пишет Он ее там, на небе, усеянном звездами и укутанном облаками небе.

Ухова Мария, 8 класс (Московская область, Истринский район, с.Павловская Слобода)

Герои — люди, готовые пожертвовать собой, своими интересами ради окружающих. Герои России — ее цари, ее реформаторы и военачальники, ее солдаты и просто люди, которые самоотверженно служили и служат ради ее процветания, ради благополучной жизни ее народа.

Но мне хочется рассказать о людях, которые совершают менее заметный, но,

может быть, более значимый подвиг — спасают человеческие души. Эти люди — священнослужители. Они помогают людям, приходящим в Дом Божий — храм — за утешением и наставлением, чтобы попросить помощи или поблагодарить за дарованные блага.

Храмов много, но у каждого человека есть какой-то свой, самый родной и близкий для него. Для меня такой храм находится в городе Суздаль, в городе церквей. Множество золотых маковок тянутся к небу, сверкая на солнце. На берегу реки Каменки стоит белокаменный Александровский монастырь. Он небольшой: храм, колокольня да пара келий. Но удивительно, как маленький однокупольный храм, лишенный всяких украшений и кажущийся звеняще пустым и суровым, преображается, когда в алтаре за Царскими вратами раздается возглас: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков». На амвон выходит седовласый монах-священник, и начинается служба. Все погружаются в древние слова молитвы, возносящиеся под купол храма.

Седовласый монах-священник — настоятель этого монастыря, архимандрит Авель. Он кажется одновременно далеким, когда предстоит в молитве перед алтарем, и очень близким, родным, когда окидывает отеческим, наполненным бесконечной любовью, взглядом прихожан.

Этот монастырь стал моим вторым домом, а батюшка Авель — моим духовным отцом. Мы часто ездили к нему, когда я была совсем маленькой. Мне рассказывали, что я в три года ходила за кадящим батюшкой, собирала благоухающие камни ладана и складывала в карман под молнию, чтобы «благодать не улетела». Прошло немного времени, и батюшка благословил меня помогать собирать догоревшие свечи на подсвечнике. Я помню, с каким нетерпением ждала, когда догорит свеча и можно будет потушить огарок. Совсем маленькой, я простаивала всю долгую монастырскую службу, наблюдая за десятками завораживающих меня огоньков. С девяти лет батюшка разрешил мне подпевать на клиросе. Сначала у меня не очень хорошо получалось — наш регент часто меня поправляла, но, со временем я выучила монастырские распевы и стала полноценным членом хора. Только недавно я поняла, как мудро поступил батюшка Авель, поставив меня у подсвечника, тогда я перестала отвлекаться от службы хождением по храму, а с назначением в хор — и мыслями. Наш духовный отец очень щедр на любовь: если водосвятный молебен — все мокрые с ног до головы, если Пасха — то похристосуется и обменяется крашеными яйцами со всем приходом, а на Рождество Христово сладкий подарок получила даже моя маленькая сестренка, хотя она еще была у мамы в животике.

Но главное, ради чего к нему едут люди с разных уголков России, это молитва и духовный совет. Нас с отцом Авелем разделяют триста километров, и каждый раз, когда удается приехать к нему, для нас — маленький праздник. Чтобы успеть на литургию, нам приходится вставать в четыре часа утра. Дорога проходит незаметно, когда наблюдаешь, как меняется пейзаж за окном: ниже становятся дома, чаще появляются деревни, гуще становятся деревья. Наконец из-за деревьев начинают проглядывать купола церквей — мы почти на месте. Проезжаем старинные улицы, торговые ряды, несколько больших храмов, окруженных крепостными стенами.

Приехали! Входя в храм, понимаешь, что долгий путь был проделан не зря. Батюшка нас встретит, благословит, что-то скажет родителям, обнимет нас с братом. Брат встает у подсвечника и, как я раньше, караулит свечи, рядом папа с мамой, я встаю на клирос. Служба идет своим чередом.

В нашем храме очень долгая исповедь — почти два часа. Пока мы, исповедовавшись, успеваем выйти наружу почитать книги в церковной лавке или тихонько побеседовать, батюшка не позволяет себе даже присесть, лишь изредка обопрется об аналой и

прильнет к голове кающегося чада. А если исповедь слезная, если человек действительно осознал свои грехи, отец Авель так скорбит и молится вместе с ним, что, как стон, слетает с его губ «Помилуй, Господи».

Очень интересно наблюдать за малышами, приходящими на свою первую исповедь: волнуясь, на негнущихся ногах подходят они к аналою, а батюшка нарочно строгим голосом говорит: «Ну, иди сюда, "великий грешник"». И, внимательно выслушав эти «ужасные» грехи, с торжественным видом отпускает их; малыш спешит в объятья мамы, больше него волновавшейся за своего карапуза. А когда малыш отойдет подальше, батюшка оборачивается к прихожанам и произносит: «Нам бы такие "страшные" грехи исповедовать.

Отец Авель все свои силы отдает приходу, каждую минуту беспокоясь о нас и наших проблемах. Он все время выглядит задумчивым и печальным, переживая горе каждого вместе с ним. Но в Пасхальную ночь батюшка преображается, он как бы молодеет, и его ликование передается и нам, полусонным и уставшим. А на трапезе, среди оживленно беседующих прихожан, мы замечаем, что наш батюшка уснул, так и не притронувшись к пасхальным угощениям, тогда келейник трогает его за плечо и произносит: «Пойдем, отче, я провожу тебя в келью».

Отец Авель для меня герой духа, и без сомнения можно сказать про него: он живет так, что ему не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы, потому что его цель — это служение Господу и людям.

«В горнице моей светло...»
Размышления о прошлом, настоящем и будущем моего края

Титович Александр, 6 класс (Ростовская область, г.Гуково)

Бескрайнее море степей, бушующий ветер, пение птиц. Это моя Родина, мой любимый край. Часто с семьей в выходной день мы едем за город. Родители хотят отдохнуть от тяжелой работы, а я люблю побегать и пожарить с папой и братом шашлыки.

Весна! Степь в это время года особенно красива. Вы только представьте: голубое небо, а по нему плывут пушистые облака, лучи солнца поблескивают в воздухе и касаются твоих щек.

Небольшие кустики пестрят разными цветами. При виде розовых, красных и синих радуется душа. Если пройти еще немного подальше, то мы увидим озеро фиолетовых ирисов. А какой аромат стелется вокруг него!

Где-то, шурша крыльями, пролетят куропатки. Взлет спугнул фазанов: те стайкой побегут к островкам с пышной зеленью и что-то прокричат. Наверное, недовольны, что мы их потревожили.

Ой! А какие ароматные степные грибы! Режешь их ножиком, а они хрустят и издают такой приятный запах, что даже хочется сразу их съесть.

Лето. Хорошо у нас и в это время года. Белым пухом, как снегом, украшена степь. Это цветет ковыль. Как в море волны, так и он колышется от каждого дуновения ветерка. Хочется упасть в эту перину пуха и забыть обо всем...

Лежишь, смотришь в небо, мечтаешь и думаешь, как все-таки хорошо жить, дышать и любоваться этой красотой.

Хорошо смотреть на папу и маму, они тоже любят подурачиться на природе. Вообще, они как дети! Они любят друг друга, жалеют друг друга, беспокоятся и радуются вместе. Я их очень люблю! Хочется, чтобы они были всегда вместе. У нас в семье живет теплый огонек, и пока он горит, в нас царит счастье и любовь.

Вот вам и Родина, и дом, и семья. В любой природе, как и в жизни, есть что-то яркое, что-то темное. Хочется побольше яркого и светлого, а темное пусть обходит стороной мой дом, мою Родину, мою Россию!

Алисова Полина, 8 класс (Тульская область, г.Ефремов)

Мы часто слышим «русская душа», «русский характер». Так трудно понять ее, эту душу. Особенно человеку, далекому от России.

Широка моя страна, необъятна, не пройти ее и за пять лет. Все в ней есть: и моря, и горы, тундра и пустыня, тайга и степь. Будешь лететь, шагать, ехать, все равно не узнаешь ее всю, былинную, великую, прекрасную. А сердцем обнять можешь, а душой крылатой окутаешь, любовью своей нежной согреешь.

Моя Россия — это моя семья, мои корни, которые питают меня, вливают в жилы мои мощь и силу предков, и в душу — бесконечную живую нить любви от прадеда к внучке и обратно.

Мой папа из Тулы, вырос и пустил свои корни. И деревня моя родовая, под стать всем нашим предкам, называется Толстая дубрава. В этой дубраве мне полкладбища родня, здесь мои корни, моя душа и любовь.

Если вы хотя бы раз бывали на сельских кладбищах, то вы уже на треть разгадали извечную тайну рождения и воспитания «русской души». Здесь тепло и уютно, будто тысячи ладошек прикасаются к тебе, приветствуя и радуясь. Мои дедушки и бабушки, прабабушки и прадедушки жили и умирали на этой земле. Чистые, аккуратные холмики, и выжженные на солнце лица с фотографий улыбаются тебе, светятся глаза в лучиках морщинок. Мне не грустно, я будто впитываю силы на долгую и трудную жизнь. И это частичка моей души.

Нигде нет таких храмов, как у нас. Большие и величественные, маленькие и уютные. Светятся их маковки на солнце, точно тысячи свечек горят над моим степным краем. И в какую сторону бы ты не пошел, обязательно благословит тебя Храм-батюшка, проводит Царица Небесная ласковым взглядом.

Есть в нашем крае деревушки, вслушайтесь, вдумайтесь, перечислите их, и получится сама собой молитва: Тюртень, Благодать, Богово, Кадное, Ясеневая, Яблонево, Вязово, Новопокровка, Новокрасивое.

И во всех этих селах звонят на православные праздники колокола. И сердце сжимается, а потом выплескивается от смешанных чувств счастья, радости, блаженства. Этому дано точное название — благодать Господня. Именно о ней до конца своих дней тосковал Бунин. Без него, без этого томления души, маялся русский до боли, до криков И.С.Шмелев. Ну как тут объяснить иностранцу, что весной сольются воедино запахи жасмина и яблони с трелью соловья, и вкрадчиво, а затем громко и торжественно прозвучит пасхальный благовест. И душа выпорхнет и запоет, обнимая всю Россию, всю, что не обойдешь и не объедешь.

Но это только половина моей души, половина моего «русского характера».

Вторая моя половина в Сибири, за тысячи километров отсюда, где родилась и выросла моя мама. За тайгой, за лугами и лесами в таежной дымке люди в годы войны сохранили важнейшие реликвии и, что самое главное, веру в Бога. В семидесятые годы прошлого столетия здесь вели церковный календарь. На Рождество наряжались «шулюканами». На Троицу приносили свежие ветви березы, а в Вербное воскресенье пучки живой вербы. Конечно, освятить было негде, ближайший храм был в Томске. Наверное, Господь сам освящал Свои дары.

Неразделима, нераздвоима, живет моя душа и в Томске, и в Туле, и в Карелии, и на Алтае. Русский дух, сила и мощь передаются по наследству к новому поколению, чтобы сохранить лучшие качества дедов и прадедов.

Вот и весь секрет!

Сидорова Алина, 10 класс (г. Донецк)

Давайте представим, что все хорошо, нет злобы, войн, преступности, политических репрессий, терактов и радикального способа достигать своих целей. Нет в мире ни единого минимального проявления агрессии. Даже не в мире — слишком много счастья тогда подарит нам Бог, и, вероятнее всего, разрушится некий баланс, — пусть хотя бы в одном государстве так произойдет. Что же настанет? Опустеет ли жизнь без бесконечных новостей по телевизору с ошеломляющими, ранящими трагедиями?

Иногда мои фантазии такого рода в моей же юной (и оттого довольно светлой) головушке проникаются реальными образами. Будто бы мой город наполнен неведомыми искрами и звоном юношеского смеха, словно тот колокол в Храме Христа Спасителя, где мне удалось побывать недавно. И тогда же мне чудится, что никакой войны нет. И не было. И никогда не будет больше. Только умиротворение, которое вместе с тем сплетается плотными шерстяными нитями с возбужденными толпами в городских парках, возле достопримечательностей, кинотеатров. Будто бы снова к нам едут туристы с забавным акцентом, а аэропорт, недавно построенный, принимает гостей и бережно отправляет их на Родину. Будто бы так, как раньше. Но... просыпаюсь. Начинаю все осознавать заново, и тогда прихожу к такому разочарованию, моральному опустошению, похожему на то, как у малыша отнимают любимую игрушку, уже такую потрепанную и кое-где рваную... Никто из взрослых не понимает, как важна эта игрушка. Так никто из властей и хмурых военных не понимает, как мне хочется мира в Донецке. Да! Я оттуда. Но это не так важно. В мире должно все быть хорошо не только в моем крае.

Мне хочется так много, но я понимаю, что лишь со временем мы придем к желаемому. Помните же, что «без труда не выловишь и рыбку из пруда»? Я помню! И верю. Я никогда не теряю надежду, потому что понимаю — без нее жить еще более трудно, чем без мира в городе. Тут же я думаю, что те военные с вражеской стороны — истинные взрослые. Знаете «Маленького принца» у Экзюпери? Там взрослые действительно отвратительные — просто необыкновенно! Почему-то мне их жаль. Я никогда не забуду: «Не суди и не судим будешь». И я тоже не хочу, чтобы кто-то посмел судить меня за то, что я жалею глубоко потерянных. Я желаю им Света!

...У каждого города отдельная история. Даже если он совсем небольшой, то за ширмой загадочного прошлого скрывается много всего. Мой Донецк не всегда был таким, не всегда так назывался — ранее Сталино, позднее — Юзовка, в честь британского промышленника и основателя города Джона Юза. Со временем Донецк

стал великим городом: в тот же медицинский университет ежегодно приезжают сотни ребят.

Если приезжать на Донбасс, то без знакомства с розами не обойтись. Нестандартно пышные, яркие, ароматные розы — донбасская традиция, которую берегут, лелеют и любят.

Некоторые вещи исчезли после начала войны: авиаперелеты, электрички и поезда. За почти три года исчезли почтовые письма, прогулки ночью (комендантский час ведь). Но я ценю то, что есть.

Настоящее Донецка мне почти нравится. Признаюсь, что иногда я все же засматриваюсь на другие города: Ростов, Москва... Но сердце мое навсегда привязано к Донецку. Я-то знаю, куда оно хочет, в какие края.

Будущее Донецка — реальное. Там к жителям не относятся, как к подопытным, а город не сравнивают с Чернобылем. Мы не «мутанты», не «гибриды». Нужно действовать, тогда все получится. Будущее моего края, моего уставшего Донбасса — Мир. Мы не можем не справиться!

Мне время от времени чудится, что так нужно, и что все испытания — на выносливость. Мне нравится, что война даже что-то особенное пробуждает. Например, мы начали ходить в церковь, молиться утром и вечером.

Мой край — это Любовь. Бесконечная, искренняя. Знаете, как пес любит хозяина? До самой смерти. Японский Хатико ждал своего хозяина более десяти лет. Так и я — пока мое сердце бьется, пока надежда плещется внутри, пока циркулирует воздух, и точеные позвонки остаются на месте, я продолжаю любить.

Я поделюсь тем, что сейчас чувствую. Это мое стихотворение, написанное только что под вдохновением. Может, где-то ритм сбивается, рифмы плывут, но предположим, что так стучит мое сердце, хорошо?

Здесь тебя любят и ждут,
Обнимают, чешут за ухом.
Если нужно — укроют грудь,
Не позволят пасть духом.

Здесь тебя не пускают
На фронт и на гибель,
На шум разрывается — лает
Собака, заставшая ливень.

Здесь всё почти как всегда:
И солнце, и розы.
И не хочется куда-то (на острова),
Мне нравится тут,
Даже если замерзну.

Мне нравится тут,
Даже если надо ждать вечно.
Мне нравится тут.
Донецк — бесконечен!

Кулешов Серафим, 9 класс (Ростовская область, г.Таганрог)

«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Евангелие от Матфея 19:21-22.

Не смог две тысячи лет назад библейский юноша расстаться с богатством. А черниговский дворянин в полной мере исполнил завет Спасителя. Было это в начале XIX века. И звали сего подвижника Павел Стожков. Огромное наследство, полученное от отца, он раздал нуждающимся. Темным крепостным крестьянам даровал вольную. Взяв родительское благословение, юноша отправился в путь. С посохом в руке и заплечной котомкой пошел молодой паломник по святым местам матушки России. 10 лет странствий, беседы с удивительными людьми закалили горячее сердце христианина. Промысел Божий привел его в южный портовый город Таганрог. Совсем не безлюдным было это место, не похожим на лесные дебри севера России и глубокие пещеры монахов Киева. Торговая жизнь кипела в Таганроге. Выходцы из России, Греции, Османской империи, Ближнего Востока вели здесь бурную коммерческую деятельность. Город задыхался в житейской суете. Нужен был человек Божий. И Господь даровал горожанам святого Павла.

Святость Павла Таганрогского многогранна. Он сочетал в себе черты блаженного и праведного, пророка и пастыря, хотя и не имел священного сана. Абсолютно очевидно одно — это величайший святой. Величие Павла Господь явил всему миру небесным знамением. 20 июня 1999 года, в день прославления, во время Божественной литургии на фоне ясного неба солнце украсилось нимбами разноцветной радуги. Светило, обрамленное радужным ожерельем, водрузилось над куполом храма. Канонизация подытожила многочисленные доказательства святости избранника Божьего.

Ежегодно идет крестный ход из Ветова в Таганрог. По пути христиане делают несколько привалов. Последний — в селе Приморка, где наша семья проживает на летних каникулах у бабушки. Однажды папа спросил пожилого бывалого пилигрима:

— Вы проделываете такой длинный путь пешком, а от Приморки до Таганрога едете на электричке. Почему?

— Потому, сынок, — ответил бывалый, — ночью с детьми идтить несподручно, а ежели поутру — на обедню опаздываем. Зараз самое подходящее — колесный транспорт.

Тогда отец и решил: а что если недостающий отрезок пешего пути выполнить нашей семье? Все дружно согласились.

Восходящее июньское солнышко игриво ласкает изумрудный ковер степного разнотравья, отражаясь в мириадах зеркал утренней росы. Свежо и пряно пахнет молодой полынью, чабрецом, мятой. «Ку-ка-ре-ку!» — запоздало голосит деревенский петух. Мы уже давно проснулись. Деревянную калитку степенно открывает строгая, но милая бабушка Александра. Тяжелым медным крестом она благословляет папу, маму, меня и сестру Аню, окропляет в путь святой водой. Крестный ход начался. Папа, взглянув на часы, отмечает в своем блокноте время. «Для истории», — поясняет нам. Конечно, больше мы похожи на обычных путешественников. Одежда походно-спортивная, за спинами — рюкзаки. Вместо величественных хоругвей — маленькие иконки и нательные крестики.

Идем гуськом по узкой тропинке. Впереди — папа, за ним сестра Анна, семнадцатилетняя красавица с пшенично-рыжей копной волос, выбившихся из-под

косынки. Аня обула в дорогу босоножки на высоких каблуках. Немудрено, что, едва отойдя от дома, она заныла:

— Ой-ой, я не могу, у меня все ноги болят.

— А зачем такие каблучищи? Говорили тебе, не на дискотеку идешь, — резонно заметил отец.

— Досвидули. Дойду как-нибудь. Че я, как дурочка, в лаптях должна ходить?

— В лаптях, как раз, умные ходили. Они бы сейчас не помешали.

— Ну ладно вам ссориться, — вмешивается мама, — у нас же все-таки крестный ход...

Она приостанавливается и вынимает из своего рюкзака кеды. Мамин сюрприз ошеломляет модницу:

— Досвидули. Я че — бабка старая?

— Где это бабки в спортивных кедах ходят? — съехидничал я. Сообща уговариваем нашу модницу переобуться.

— Все, молимся! — командует отец и тут же запевает: «Святый праведный Отче Павле, моли Бога о нас». Мама подхватывает. Преодолев стеснение, поем и мы с Анютой.

Солнце уже припекает, летняя жара набирает силу. Подходим к источнику. Его живительная влага как нельзя кстати. Из толщи грунта бьет серебристый клокочущий ручей. Устремляясь в низину, он образует маленькое, словно игрушечное, озеро.

— А вот и наш Байкал, — шутит мама.

— Хорошо, что купальник надела, — радуется Анюта. Мгновение, и она уже в глубине водоема.

— Серафим, прыгай! — звенит голос юной паломницы.

Опускаю руку в ледяную воду. Бр-р-р. Холодно.

— Ты ж мужик, не трусь, — подзадоривает сестренка.

Я собрался с силами и нырнул. Дыхание перехватило, мышцы ног свело судорогой. Попрыгав по ребристым камешкам, согрелся, пришел в себя. Анна в очередной раз вынырнула из воды и завизжала:

— Ой, тушь потекла! Как же я на людях покажусь? Ой, глаз течет. Ой, щиплет. Ой, ой, ой!

— Водой ключевой промой хорошенько, — посоветовал папа, — все будет нормально. Доброго дела без искушения не бывает. Тебе за твои труды и страдания блаженный Павел хорошего жениха пошлет.

Наконец мы добрались до города. Увидев трамвай, надумали схитрить, воспользоваться услугой транспорта, очень уж ножки ныли. Но не тут-то было. Решили потрудиться ради Благодати Божьей — нечего себя жалеть. Проехав одну остановку, трамвай сломался. Снова пешком. Чем ближе цель, тем меньше сил.

И вот уставшие, но счастливые мы у каменных стен Свято-Никольского храма, выкрашенных золотистой охрой. Там, в раке, покоятся мощи старца Павла. Однако врата церкви оказались закрыты — проводилась уборка. Папа со свойственной ему непосредственностью громко запел тропарь: «Взыскуя Отечества Небеснаго». Дверь приоткрылась, и в проем выглянула изумленная прихожанка:

— Ой, родненькие, вы к батюшке Павлу? Подождыть трэшки, хай полы просохнуть, — певуче проговорила она.

Терпение, терпение и терпение — без него никак нельзя. Это знает каждый христианин. Минут через пятнадцать мы вошли. Совершив крестное знамение, поклонившись, по очереди прикладываемся к распятию Спасителя, образу Божьей Матери, престольной иконе святителя Николая, мощам праведного Павла — ангела-

хранителя нашего города. У каждого свои сокровенные просьбы к святому. Позже мы поделились друг с другом «секретами». Жизнь показала: все наши молитвы были услышаны. Родители благополучно отметили двадцатилетний юбилей совместной жизни. Анна познакомилась с хорошим парнем, скоро у них будет свадьба. У меня замечательно увеличился объем движений левой руки, парализованной с рождения. Слава Богу, Пресвятой Богородице и праведному Павлу! Знаменательно, что в 2017 году два юбилея: годовщина общецерковного прославления святого Павла и 225-летие со дня его рождения.

Это стихотворение я посвящаю нашему покровителю и помощнику — блаженному праведному Павлу Таганрогскому:

Оставив свой родной Чернигов,
Пришёл жить Павел в Таганрог.
Блаженного приял вериги,
Чтоб ближе стал к южанам Бог.

Сменил богатые одежды
На ризу грубого сукна.
Взял посох веры и надежды,
Чашу Христа испил до дна.

Творец избранника прославил,
Светил движенье изменив,
И радугу блистать заставил,
Как нимб, на солнце водрузив.

PS: Кто-то задастся вопросом, почему я рассказал именно эту историю? Почему привел в пример данного святого? И я отвечу: Павел Стожков обменял богатства на простую жизнь христианина в небольшом городке. Если бы он не пришел в Таганрог для нас в прошлом, то, возможно, и не было бы такого будущего: светлого, спокойного, с верой в душе.

Максудов Алибек, 10 класс (г.Саратов)

Трагическое событие, произошедшее около 100 лет назад, принято называть Великой Октябрьской Социалистической революцией. Оно достаточно сильно повлияло на будущее и настоящее нашего народа и края. Революция перевернула мир «с ног на голову», изменив или даже искоренив все традиции и исторические устои. Основополагающим у революции был лозунг: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...»

Активисты революционной борьбы свято верили в правильность выбранного курса. Большевистская власть, казалось, сделала все возможное, чтобы не сбиться с выбранного пути. Вся государственная машина и все области человеческих отношений строго держали курс на маяк коммунистической идеологии, обещавшей народу построение нового, свободного от старых «пережитков» общества. Все механизмы власти были обращены на ликвидацию островков дореволюционных взглядов и традиций.

В связи с приближением столетнего юбилея Октябрьской революции на страницах СМИ вновь разгораются споры о ней. Множество людей осмысливает идеи, лозунги и плоды революции.

Одни революцию признают и восхищаются, оправдывают все методы в достижении революционных целей.

Другие резко критикуют, осуждают, обвиняют во всех существующих проблемах и кризисных ситуациях в настоящее время.

Уже нет живых людей, участвовавших в революции. Нет тех политических сил, которые были вовлечены в вихрь революционной бури. Но до сих пор идут жаркие споры о возможности построения свободного общества по тем идеологическим принципам, которые полностью отрицали веками сложившиеся устои жизни нашего народа.

Так можно ли строить будущее без прошлого? Можно ли построить нравственное и гармонично развитое общество, полностью заменив все старые законы развития человеческих отношений новыми?

С одной стороны, революционные идеи были направлены на улучшение жизни народных масс. Девизом новой власти были греющие душу слова: «Свобода. Равенство. Братство». Воодушевленные красивыми лозунгами и девизами о новой счастливой жизни, многие люди старательно стали добровольно отбрасывать все, что было связано с дореволюционной жизнью нашего общества.

С другой стороны, выдвигая, казалось бы, справедливые лозунги, ставя во главу угла свободу развития человеческой личности, идейности и благосостояния большинства людей, революционеры строили новый мир на крови и терроре. Унижение достоинства человека, уничтожение нравственных, веками сложившихся устоев, были узаконены ради построения новой счастливой жизни. В результате произошел радикальный разрыв с системой традиционных российских ценностей.

А ведь любое государство можно представить в виде живого организма или дерева, развивающегося по законам природы. Чтобы начала расти красивая молодая крона, необходимо удалить все больные, отжившие и слабые побеги. Но никакое дерево не сможет развиваться и расти без корней и почвы.

Так что же является исторически сложившейся основой развития дореволюционной России? Без чего нельзя было представить себе жизнь наших дедов и прадедов?

Подсказку могут дать пословицы и поговорки, из уст в уста, из поколения в поколение передающие истинные ценности. «Без Бога — не до порога», — гласит народная мудрость.

Другими словами, наши предки ни один день не начинали без молитвы Всевышнему. Вера в Бога была той живительной силой, которая поддерживала дерево жизни всего Российского народа. Без молитвы не начинали ни одного дела: ни сеять, ни пахать, ни хлеб печь, за ложку не брались, свадьбы не играли, в последний путь не провожали.

Молитва — это беседа с Богом. С малых лет детям объясняли, что такое молитва и грех. Без родительского благословения и венчания не создавали семьи. После венчания супруги жили, стойко перенося тяготы и помогая друг другу во всем. Семьи были многодетными. Но революционные идеи провозглашали отказ от «религиозного дурмана» как пережитка старого мира. Пропаганда безбожия провозглашала целенаправленное конструирование новых традиций и ценностей.

Новомодные революционные настроения отрицали нравственные вековые традиции, которые являлись генами нашей идентичности.

Коммунистическая идеология вела с ними жестокую борьбу, не гнушаясь расстрелами и репрессиями священнослужителей, а также всех, кто не хотел жить по-новому. Богоборческая власть безжалостно уничтожала остатки «религиозного дурмана». Поэтому на смену духовно-крепким вековым традициям жизни наших предков стали

приходить чуждые русской душе «свободы» — распущенность, безбожие, безнравственность. Так, рождение семьи — «малой церкви» — стало цинично называться «браком». Бракованные семьи легко образуются и так же легко распадаются.

Все больше в нашу жизнь стала проникать всеразрушающая западная идеология.

Человеческая жизнь перестала рассматриваться через «грех». Стали применяться противоестественные гуманным принципам законы.

На Западе узаконили эвтаназию, узаконены однополые браки. Но однополые браки не продолжают род.

В нашей стране после революции было разрешено и убийство еще не рожденных детей. А слово «убийство» заменили туманным словом «аборт».

В обществе наступил кризис нравственности.

Сегодня со страниц СМИ все чаще звучит исторический вопрос: «Что делать?»

Педагоги спорят, пытаясь найти новые педагогические технологии.

Но ведь законы природы отменить нельзя. Ведь наше настоящее и будущее никаким образом не может существовать без прошлого!

Таким образом, мы можем сделать вывод, что будущее не может быть построено без прошлого, как невозможно построить крепкое здание без добротного фундамента. Распущенное общество не имеет будущего. От однополых браков не рождаются дети. Такой народ будет уничтожен, а его земли будут отданы другим народам. Об этом четко сказано в Библии. И разве не подтверждением правоты Священного Писания являются события, происходящие сегодня в Европе?

В нашей стране корабль «свободной революции» потерпел крушение. Так что же все-таки поможет нашему краю и стране обрести почву под ногами? Что поможет не погибнуть в пучине бездуховности и безнравственности?

Ответ на этот вопрос я увидел на баннере, проезжая по Мордовии:

«Русь Святая, храни Веру Православную».

Ольга Балла

Голоса из хора

Школа жизни. Честная книга: любовь — друзья — учителя — жесть / Сост. и вступ. ст. Дмитрий Быков. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2017. — 507 с. — (Народная книга).

Эта книга хороша, прежде всего, уж тем, что не вписалась в изначальные ожидания собственного ее составителя, Дмитрия Быкова, и издателей. (Значит — живое и настоящее.) А кроме того — тем, что составитель и издатели честно это признали и приняли. И опубликовали тексты, попавшие к ним в руки, в том виде, в каком они были, — не подминая их под концепцию. Ну разве только распределив их по восьми, вполне очевидным, тематическим разделам: «Моя школа», «Учителя», «Одноклассники», «Школьные мучения», «Первая любовь», «Школа жизни», «Поступок и проступок» и «Запомнилось на всю жизнь». Не слишком четко, конечно, распределив, — и мучения вспоминаются в разговоре об учителях, и одноклассники — в воспоминаниях о первой любви и школе жизни (о набирании, так сказать, общесоциального и экзистенциального опыта), и то, что запомнилось на всю жизнь — вообще во всех разделах, — но это и понятно, живое же.

Авторы книги — с двумя только исключениями — не литераторы. (Из людей, имеющих профессиональное отношение к литературе, здесь лишь прозаик Инна Иохвидович и поэт Евгений Бунимович.) Откуда взялись их тексты, по какому принципу они отбирались — читателю остается неведомым, но, пожалуй, это не так важно, точнее, не важно даже совсем: это — голоса из хора, тексты, в которых важна не оригинальность, не виртуозность или значительность работы со словом и смыслами, а как раз типичность. То, что носится в воздухе времени, — во всем его разноголосии. Ну, точнее — времен довольно разных: время рождения авторов, насколько можно высчитать, — от конца 1930-х до конца 1980-х (и количественно они представлены неравномерно. Самая старшая из авторов сборника, Вера Прокопьева, пошла в первый класс в 1945-м, но других ее ровесников тут нет), а место их обучения — вся территория тогдашнего Советского Союза, тоже представленная с изрядной степенью неравномерности (кроме безусловно преобладающих жителей России, здесь есть еще люди, учившиеся в Украине и Белоруссии и одна — Лусине Кандилджян — училась в 1980-х в Армении). То есть, о социологически репрезентативной выборке говорить не приходится, но, во всяком случае, перед нами — люди примерно трех поколений (если считать единицей поколенческой разницы двадцать лет: последние годятся первым во внуки) и, соответственно, — нескольких культурных эпох. Кстати сказать,

по поколениям и эпохам тексты в книге не рассортированы (то есть, это различие не рефлектируется составителем никак — даже на уровне структуры сборника). Видимо, составитель не счел этого главным. Главным же, насколько можно догадаться, были антропологические универсалии: детство, взросление, овладение принятыми в обществе моделями поведения и условностями, отношения с ровесниками и старшими... — и, скорее, — общее в проживании всего этого, чем различия.

Проект — не исследовательский. В этом смысле он принципиально отличается от того, на который очень похож, даже структурно: «XX век. Письма войны»[1]. Составители книги, вышедшей в прошлом году в издательстве «Новое литературное обозрение», тоже собрали «голоса из хора» (письма с фронта и на фронт, вообще — так или иначе связанные с войной как общественным состоянием и человеческой ситуацией) — да за целый век, тоже распределив их по отчасти пересекающимся тематическим разделам. Только там каждый раздел снабжен большой вводной аналитической статьей, где все эти человеческие документы представлены как предмет теоретического осмысления. Здесь — почти никаких комментариев: небольшое предисловие от автора-составителя да еще более короткое послесловие от издателей. В остальном же голосам предоставлено звучать самим по себе. Даже никаких сведений об авторах. Вполне возможно, это тоже принципиально: авторы тут важны, может быть, именно как люди-вообще, голоса из хора, в которых существенно только то, что они представляют свое время. (С этим же, вероятно, связано то, что включенные в книгу школьные фотографии разных времен вообще никак не подписаны: ни года, ни места, не говоря уже хотя бы о том, из чьего они взяты архива. Не люди здесь важны, но типы.) Но все-таки, кажется, некоторые минимальные данные об участниках сборника стоило бы добавить. Хоть год рождения, род занятий и место — ну пусть не нынешнего жительства, но проживания школьного опыта: из того, что они написали, даже это последнее вычисляется не всегда.

Итак, расхождение с ожиданиями.

«Книга о школе 60-80-х, — пишут в послесловии издатели, — изначально предполагала острый материал. По предположениям редакции и прогнозам составителя Дмитрия Быкова мы ждали "конструктивную критику", "национальный протест" против той советской школы, которая убивала в нас личность, учила быть "такими, как все", не давала свободы полета и т.п.»

А вот не получилось ни острого материала, ни, о ужас, конструктивной критики. И тем более — никакого национального протеста. Хотя да, признают издатели, письма такого содержания к ним тоже приходили. Но они не были в большинстве.

К слову сказать, не вышло и того, на что надеялся и что обещал нам уже с самого начала сборника его автор-составитель (раз имя Дмитрия Быкова стоит на обложке, значит — мыслился он как авторское, личностное, пристрастное и избирательное высказывание. Вы не поверите: оно вышло не пристрастным совсем). А обещал он, во-первых, трудную работу рефлексии над основаниями собственного опыта, ради того, чтобы «разобраться в себе нынешних» («попытка реконструкции школьных времен, — говорит составитель, — довольно мучительна», — и тут с ним невозможно всей душою не согласиться), во-вторых — ответ на один принципиальный вопрос: «почему наша генерация» (это, надо думать, те, кто родился в середине — второй половине 1960-х, наши с Быковым ровесники — пятидесятилетние. — *О.Б.*) «почти всё сдала и все-таки удержалась на краю пропасти».

---

[1] XX век: Письма войны / С. Ушакин, А. Голубев, сост., вступ. статья, ред; Е. Гончарова, И. Реброва, подготовка документов. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 840 с., ил. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

Вот ничегошеньки из сказанного в книге не проясняет ни того, почему наши ровесники «почти всё» сдали (почти всё — это что же именно? и кому сдали? и чего все-таки не сдали? может, вопрос не так поставлен?), ни того, благодаря чему мы удержались «на краю пропасти» (удержались ли — еще большой вопрос). Не говоря уже о том, что голоса родившихся в 1960-х в книге не преобладают вообще (больше всего тут тех, кто рожден в 1940-х-1950-х). То, чем различаются разные поколения в проживании школьных обстоятельств, тоже артикулируется не очень, хотя тут некоторые выводы сделать можно: о более высоком уровне поколенческой солидарности и вообще межчеловеческой близости у поколений более ранних, а также о заметно более высоком уровне у них идеализма и наивной очарованности — в начале жизни — собственной страной (ни один из тех, кто учился в 1990-е, в начале 2000-х, да даже в конце 1980-х, не признается в том, что чувствовал себя живущим в самой лучшей и самой счастливой стране в мире, тогда как, скажем, учившиеся в 1950-х-1960-х повторяют это не раз и независимо друг от друга). Но все это достаточно очевидно и без того, чтобы быть подкрепляемым обилием свидетельств. Некоторые из авторов сборника, правда, сами эту разницу проговаривают. «Иногда смотрю на встречи выпускников поколения моих родителей, — пишет Дарья Семенюк, родившаяся в конце 1980-х, — и чуть моложе их, и чуть постарше. Вижу, как искренне люди радуются возможности встретиться, готовятся, ездят к учителям. Завидую им белой завистью, и такая тоска сжимает в этот момент сердце от мысли, что для нашего поколения это скорее исключение, чем правило».

Не выполняется даже (поворчу еще немного) обещание «составить хронику ушедших детских, школьных лет»: хронологически вошедшие в книгу тексты, как и было сказано, не упорядочены. Да и сам автор-составитель, однако, ничего о собственном опыте не написал, не показав примера «мучительной реконструкции прошлого». Он ограничился только парой замечаний: о том, что школьный опыт лично для него «был отвратителен, поскольку двойная мораль уже свирепствовала, и травля, столь ярко и страшно показанная Железниковым и Быковым в «Чучеле», была уделом всех думающих детей» (ну зачем же так размашисто обобщать: совсем не всех) и что в советской школе существовал «настоящий культ учителя» (тут я, учившаяся в одно время с Быковым, с первой половины 1970-х до первой половины 1980-х, могу только воскликнуть — вот уж нет! В нашу с ним пору — за исключением культа отдельных харизматических фигур, которые не каждому встретились на школьном пути — в отношении учителей и вообще любых представителей власти преобладало, скорее, ироническое дистанцирование — механизмы которого прекрасно описаны в незабываемой книге Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось»[1]).

Зато получилось нечто более глубокое — более красноречиво свидетельствующее о человеческой природе.

Очень похоже на то, что — по своим изначальным внутренним движениям, которые предшествуют идеологическим установкам, — человек не слишком расположен к конструктивной критике — во всяком случае, в отношении того, что связано с коренными для него обстоятельствами. С такими, например, как детство и юность. Вообще — изначальное.

---

[1] *Алексей Юрчак*. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / предисл. А. Беляева; пер. с англ.; 3-е изд.— М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 664 с.: ил. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

И к тому, чтобы прояснять свои основания всерьез, человек обыкновенно тоже не очень склонен. И к тому, чтобы мучительно их проговаривать.

Так вот, для меня это — книга об изначальном. И о глубокой вторичности идеологического, чем бы это последнее ни было.

Кстати, то, что советская школа «убивала в нас личность» — тоже идеология, ничуть не хуже той, что ей противоположна. Живые свидетельства — хотя бы и только те, что собраны в эту книгу, — показывают, что все существенно сложнее. Все эти пионерско-комсомольские условности, к последним советским годам уже совершенно себя изжившие, все эти звездочки, галстуки и флажки, слеты и линейки, как мы теперь, с дистанции, особенно хорошо видим, не только ложь и фальшь, но и некоторая правда. Они — за неимением других — служили декорациями, в которых разыгрывались спектакли всевременных человеческих чувств и смыслов, экранами, на которые эти чувства и смыслы проецировались.

(К слову сказать, двоемыслие — «двоемирие», как говорит одна из авторов, — которое привычно связывать с советской системой, в воспоминаниях участников сборника оказывается свойственным и временам после ее краха, — так и хочется думать, что оно — устойчивая черта всего официально-обязательного вообще. «Позже я узнаю, — пишет та же Дарья Семенюк, учившаяся в Красноярске в 1995—2005 годах, — что такое явление называется двоемирием: в школе я была спокойной, послушной девочкой, почти отличницей, а в душе ненавидела всю школьную систему».)

Смысл же и назначение изначального — совсем не в том, чтобы быть проясненным, выговоренным, осознанным, раскритикованным и вообще реконструированным в своей подлинности. И неспроста так мучителен — тут Быков категорически прав — процесс его реконструкции, и недаром мы, «бывшие дети», «многого о себе не договорили, не поняли». И не должны договаривать. Естество сопротивляется.

Нет, отталкивание от школы, от официального и навязанного, от неминуемо сопутствующих этому лжи и лицемерию здесь тоже есть. «Я никогда не ностальгировал по школе, — говорит Андрей Славин, учившийся в 1970-х в подмосковном Ногинске, — ибо благодаря ей твердо усвоил, что процесс обучения не может быть интересным, как и прочая "обязаловка" в жизни. Поэтому самая любимая из школьных фотографий — выпускная <...>». Марина Шатерова, ходившая в школу с конца 1980-х до конца 1990-х на Украине и в Белоруссии, высказывается еще резче: «Для меня <...> школа была очень тяжелым испытанием, поэтому тот день, когда я ее закончила, был одним из самых счастливых дней в жизни!» Учившаяся же на рубеже столетий Дарья Семенюк категоричнее всех: «Сейчас, оглядываясь на свою жизнь, я вижу на месте временного отрезка — 1995-2005 годов — под названием "школа" черную глубокую яму». Жестких слов в адрес школьной жизни, ее участников, современной учению жизни вообще в книге изрядно. «Время, надо сказать, было унылое, какое-то серое», — вспоминает Елена Литинская, пошедшая в первый класс в 1955-м в Москве. «...Понимаю, — пишет человек следующего поколения — ленинградская школьница 1970-х Ирина Завьялова, — что взрослые нас обманывали и сами заигрались до искреннего лицемерия. И масштаб этой игры и этого вранья — целая страна...» В книге есть даже раздел, специально посвященный школьному травматическому опыту: «Школьные мучения» (кстати, по объему не самый большой), да еще по меньшей мере один, с травматическим опытом, с виной и наказаниями тоже связанный: «Поступок и проступок». Но вообще, прямо скажем, отталкивание от школьного прошлого в воспоминаниях участников сборника не преобладает. Куда больше здесь совсем другого. Ностальгии и благодарности. И да, конечно, идеализации, которая неминуемо всему этому сопутствует.

Да и умолчаний хватает — особенной формы умолчаний: отделываются байками, рассказывают смешные или странные, вообще — яркие случаи. Светлана Кайсарова, начавшая учиться в 1973 году в Ленинграде, вообще вспоминает только то, как мучительно жали новые лакированные туфли на первой школьной линейке, бывшие «важным элементом праздничного сценария», — именно это «запомнилось на всю жизнь». Но благодарность все-таки преобладает.

«Во сне я возвращаюсь в наш оазис тепла, дружбы и любви, — признается горьковская школьница 1960-х Ирина Дементьева, — бегаю по траве, летаю над домами и клумбами, играю в мяч со своими одноклассниками, пою пионерские песни... И я счастлива...»

И не так даже важно, когда именно эта благодарность и идеализация возникают. Как раз очень естественно, что не сразу: что «то, что казалось в юности скучным или неинтересным, навязанным школьными "правилами", теперь кажется ярким и запоминающимся на всю жизнь», а «пионерские сборы, выезды "на картошку", сбор макулатуры и прочий советский "антиквариат" так же милы сердцу, как великим русским классикам усадебный быт в их воспоминаниях о детстве и отрочестве».

Господи боже, да ведь оно и было скучным и неинтересным, а уж навязанным школьными правилами — точно было. Просто к определенному возрасту человек дозревает до идеализации собственных оснований. До потребности в ней. До понимания (хотя бы — чувства), что эти основания — архетипичны. Именно в их навязанности, в том, что мы их не выбирали и выбирать не могли. Сборы макулатуры и выезды на картошку, как вещи совершенно вынужденные, милы хоть и менее усадебного быта, но все-таки важны, потому что — начало, потому что другого начала не было.

«Может, и нет волшебных стран, кроме детства, — пишет московский школьник 1960-х Евгений Бунимович. — Даже если через него проехал Ленин на велосипеде».

(Ну, справедливости ради скажем, что возможны — и в интересующем нас сборнике тоже представлены — и другие реакции. «Иногда мне кажется, — пишет учившийся в 1950-х-1960-х в Ульяновске Сергей Поляков, — что моя школьная жизнь оказалась очень странной, а иногда, что школа была, в общем-то, нормальной, а странной она стала позже, сейчас».)

Изначальное должно оставаться в дымке, в умолчании. Если угодно, оно должно оставаться мифом (причем не так важно — положительным или отрицательным, предметом притяжения или предметом отталкивания), образующим надежную основу для всего, что происходит с человеком потом.

Праведность неправильности

Рубрику ведет Лев Аннинский

Слово «неправильность» может напугать школьников, а может — по нынешним парадоксальным временам — напротив, заинтриговать их.

На обложку вынесен подзаголовок: «Неправильное литературоведение». Заглавие же книжки и вовсе ставит ее в ряд, непривычный для общепринятой жанровости: «Ни то, ни сё». Маленькая книжечка карманного формата и впрямь неожиданна в списке научных трудов Марианны Дударевой, автора доброй сотни научных статей о русской литературе и фольклоре.

Впрочем, следы этой академической фундаментальности отражены в трех с лишним десятках сносок — ученик может нырнуть и туда, в сугубо научную глубь. Но лучше, если он, ученик, почувствует то «необъяснимое», что сквозит в фольклорных мотивах литературы и чем объясняется *неведомое путешествие,* зовущее современного человека (не только русского, а уж русского — фатально!) — «вставать ни свет ни заря и идти туда, не зная куда».

Он отлично знает, куда. Но привержен «окольной темной речи», берущей начало во тьме древних заповедей и загадок.

Оттуда же — ожидание «иного царства» в подсознании русского героя. То, что продиктовало Пушкину магию «неведомых дорожек и невиданных зверей», Лермонтову — диалог Печорина с загадочной таманской собеседницей: «Где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко...» И эта же готовность к инобытию — у Есенина в сопряжении с «миром навыворот», и у Маяковского, где «солнцем встает бытие иное», и у Бунина, называвшего словом «славящизм» все, что — соответственно русской душе — «чудесное, древнее и необъяснимое».

Не надо думать, что это русские пронесли сквозь века из фольклора в современную литературу это стремление за грань привычного. Славяне, попавшие к круговорот мировой истории, *стали* русскими по ходу этого драматичного процесса. Как и соседи их, втянутые в катаклизмы этой мировой истории. Недаром же в имени нашей столицы отзывается плеск болота, когда его переходят вброд. И в имени нашего народа — рычание зверя, прятавшегося в чаще и готового выпрыгнуть на степную гладь...

Марианна Дударева. Ни то ни сё: Неправильное литературоведение. — М.: «Художественная литература», 2017.

Древние, в фольклоре свершившиеся тенденции угро-финского Северо-Востока и тюркского Юго-Запада скрестились, порождая великорусскую реальность.

Язык, вырабатываемый этой реальностью, был готов к нововведениям и заимствованиям... и он переменился по ходу истории настолько, что славяне, оставшиеся верными истокам, по сию пору удерживают себя от этих перемен — изначальной *мовой*.

А те народы, которые решились исполнить свою роль в мировой исторической драме, они и составили — все вместе — ту великую общероссийскую многонациональную общность, в которой отзываются и древне-славянские, и древне-угорские, и древне-тюркские, фольклором увековеченные ценности.

С тем однако важнейшим условием, чтобы этот полет в «иную реальность» (всемирную) не увлек нас в беспредметную невесомость, а вернул обратно — в ту действительность, которая сделала нас всех — русскими.

«Ни то, ни сё»? — переспрашиваю я Марианну Дудареву.

И отвечаю в ее духе: и то, и сё!

Тут и ощущение «иного бытия»! И ощущение глубинных корней культуры. И готовность выдержать ту боль, ту горечь, без которых не бывает ни иного бытия, ни мировой роли, ни национальной культуры..

Плодотворного чтения, любознательные школьники!

Цена свободная Индекс 70250

«ДН» — 2017-2018

Романы, повести:

Севак АРАМАЗД. Гора солнца. *Роман. С армянского*
Владимир БЕРЕЗИН. Расцвет жизненных сил. *Главы из новой книги*
Игорь БУЛКАТЫ. Цорион. *Повесть*
Анатолий КОРОЛЁВ. Хохот. *Роман*
Елена КРЮКОВА. Евразия. *Роман*
Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. *Документальная повесть об Алексее Аджубее*
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть
Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Небесная Call of Duty. *Повесть*
Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. *Роман. С армянского*
Отар ЧХЕИДЗЕ. Артистический переворот. *Роман. С грузинского*
Владимир ШПАКОВ. Формула Атлантиды. *Роман*

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.
Ольга КЛЮКИНА. Муравей на мониторе. *Как мы жили с Инной Львовной ЛИСНЯНСКОЙ летом на даче*
Валентин ОСИПОВ. Двадцать девять сюжетов о Евгении ЕВТУШЕНКО
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ. Борис СЛУЦКИЙ: майор и муза. *Главы из новой книги*

Новые сочинения: Василия АВЧЕНКО, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Алисы ГАНИЕВОЙ, Валерия БЫЛИНСКОГО, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фарида НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Ульи НОВЫ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Макса ФРАЯ, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Вадима МУРАТХАНОВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Ильи ФАЛИКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»
«ПЕРВЫЕ СТИХИ» *Сергея НАДЕЕВА*
«БИБЛИОНАВТИКА» *Ольги БАЛЛА*
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» *Евгения АБДУЛЛАЕВА*

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2017, № 11, 1—272

Summary

The November issue of "DN" is traditionally dedicated to the children: it's for them and about them – "Friendship for Growth". This time the prevailing theme is — the school.

Two years ago we invited some well-known writers of different generations from Russia as well as from "near" and "far" abroad to recall The Book of Their Childhood and to name the favourite books of their children and grandchildren. The experience turned out to be successful and we decided to repeat it. This time we present the answers of Ildar ABUZYAROV, Vassilij AVCHENKO, Valerij AYRAPETYAN, Andrej ASTVATZATUROV, Olga BREININGER, Igor BULKATY, Alexander GRIGORENKO, Mikhail DURNENKOV, Natalya KLUTCHAREVA, Maya KUCHERSKAYA, Sergej PAGYN, Andrej RODIONOV, Vladimir SALIMON, Igor SAKHNOVSKIJ, Olga STOLPOVSKAYA, Dmitrij TRIBUSHNIJ, Alexej USTIMENKO.

Bulat Khanov. Variable Dimentions

The protagonist of Bulat KHANOV's novel comes from Moscow to Kazan to begin his new free life. The scene is a local gymnasium. Task № 1: "to estrange from oneself and to cognize the modern life". Task № 2: not only to teach the children Russian language and literature but to help them to preserve their spirit of nonconformism. (To be continued)

John KNOWLES. A Separate Peace

This is the story of maturing of the adolescents in an American boarding-school for boys against the background of the World War II. It's about the youth friendship, betrayal, false choice of "the enemy" fighting with whom the adolescent gives way to his craving for rivalry and his anger and makes others to pay off for them. Translated from English by Irina Doronina. Version for the magazine.

Keren KLIMOVSKY. The route. The speed. Visotskij

The young prosaist Keren KLIMOVSKY was born in Moscow, grew up in Israel, studied in the USA, lives in Sweden. Her long short story is a confessionary narration about growing up with the songs of Vladimir Visotskij.

Poetry

The reader will make a tour to the sky with the young poet from Yaroslavl Anastasiya ORLOVA. Svetlana MIKHEEVA's verses are about the girls – "captives of the educational process" and Ekaterina POLYANSKAYA's poems – about the boys, one of whom "reads books and watches films, but doesn't know who Kotovslij is", and another is a violinist, "small as a cricket". In Stanislav LIVINSLIJ's lyrics you'll feel the light melancholy of childhood reminiscences.

Dmitry RUBASHKIN. Going forward, looking backward

There is now hardly anyone who doubts that the system of education in this country is in crisis. The author of the essay, Director of Innovarion Center "Tecnologies of modern education" shares his views on what and how would be changed first and foremost in this field to improve the situation.

"Master, raise a disciple!"

A number of well-known authors who also ventured to make a career of a school-teacher (Ovanes AZNAURYAN, Dmitry BYKOV, Irina VASILKOVA, Alexander ORLOV and Arslan HASAVOV) agreed to gather at DN's School board and rephrase this windy line into "My disciples have taught me..."

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»